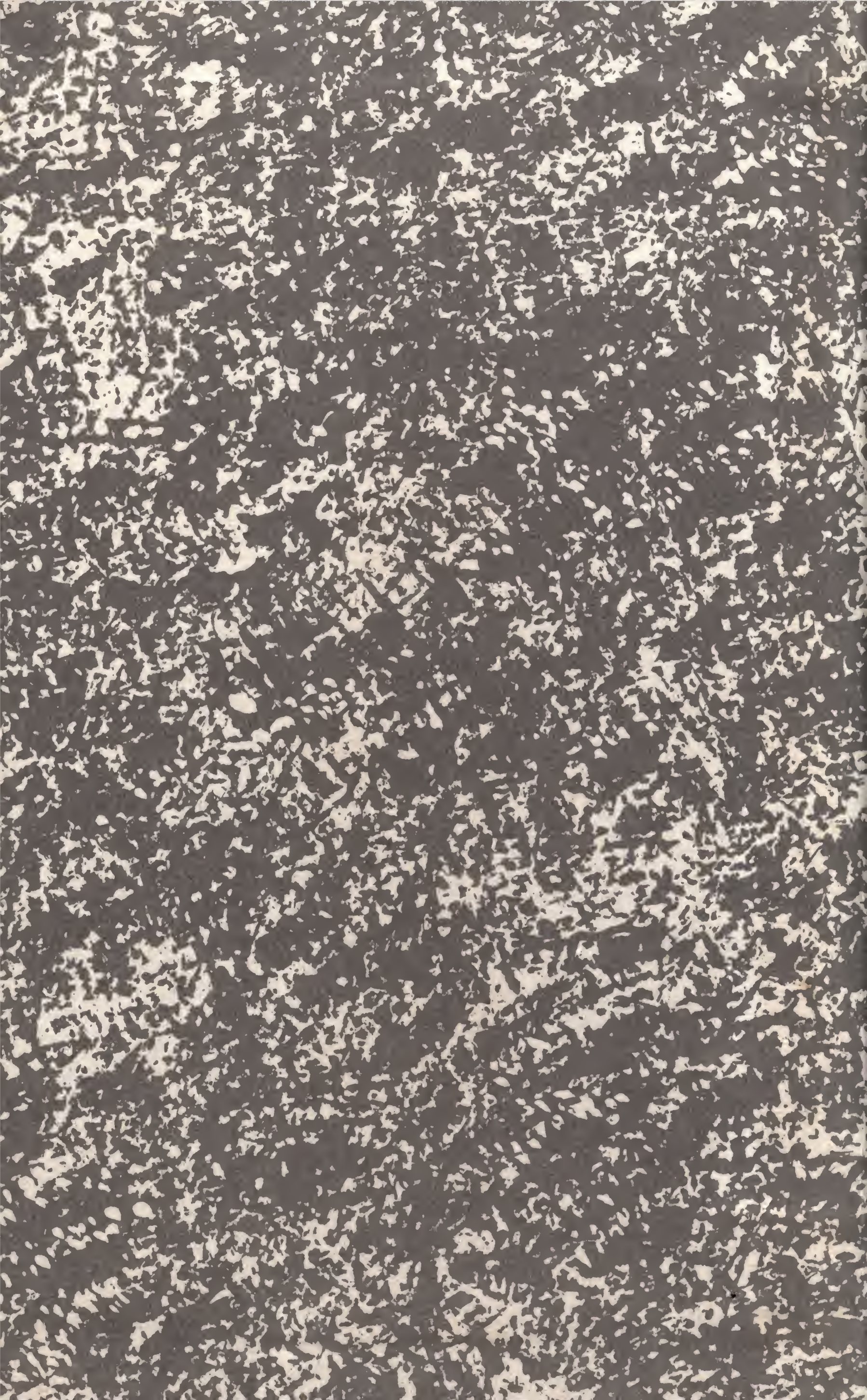
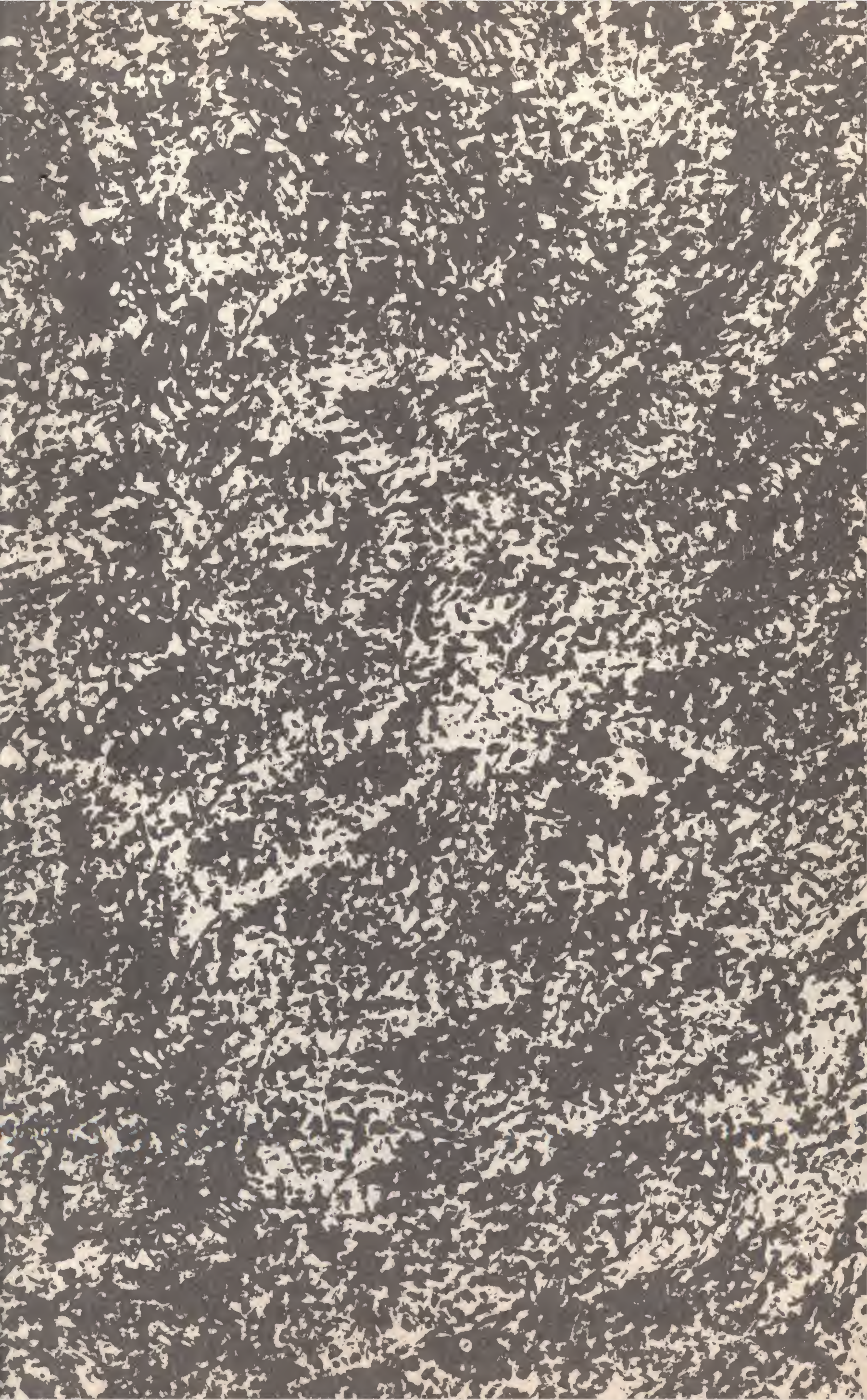
Дмитрий Жуков

БОГАТЫРСКОЕ СЕРДЦЕ







Дмитрий Жуков

БОГАТЫРСКОЕ СЕРДЦЕ

Повести

Очерки

МОСКВА
СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ
1985

ББК 84.Р7
Ж 86

Художник
НИКОЛАЙ КРЫЛОВ

Ж $\frac{4702010200-141}{083(02)-85}$ 56–85

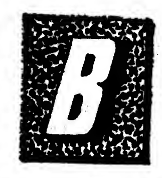


ПОВЕСТИ



ХУДОЖНИК ВЕРЕЩАГИН

1. ПРЕДЧУВСТВИЕ



ерещагин вернулся из Парижа через двадцать дней, но не задержался в шумной и людной главной квартире, взбудораженной прибытием в армию царя, а сразу же переехал из Плоешти в Журжево, где стоял старый Скобелев со своей дивизией. Уже наутро от начальника дивизии прибежал казак.

— Ваше благородие, турки из пушек стреляют. Их превосходительство просят — пожалуйте на берег.

Дмитрий Иванович Скобелев, красивый старик с большими голубыми глазами и рыжей окладистой бородой, сидел со своим штабом под плетнем и смотрел на реку. Солнце уже съело утреннюю дымку, и раскинувшийся на том берегу Дуная городок Рущук, с его фортами, минаретами и большим военным лагерем, был виден как на ладони. Форты плевались клубками дыма, потом доносился треск пушечных выстрелов и слышался вой гранат, разрывавшихся то в воде, то далеко на берегу, там, где начинались городские дома.

— Василий Васильевич! — гнусаво закричал Скобелев.— Полюбуйтесь! Турки пронюхали, верно, что мы готовим переправу.

Перед городом, между берегом и островком, стояли на приколе старинные купеческие суда, какие-то допотопные барки.

— Туда метят,— добавил генерал.— Думают, мы на этих ковчегах переправляться будем.

Художник Верещагин, приложив ладонь козырьком к высокому и гладкому лбу и прикрыв ею от солнца узковатые, глубоко сидящие глаза, смотрел, как сыплют из домов жители с прихваченным впопыхах скарбом. Статный, высокий, он не производил впечатления человека мирной профессии, случайно затесавшегося в толпу офицеров. Орлиный нос, усы, густая борода, плотно облегающий фигуру сюртук с Георгиевским крестом в петлице, шашка на тонком ремне, револьвер — вид был весьма воинственный.

...Гранаты рвались уже возле барок, но именно там, на палубе одной из них, оказался художник, наблюдавший как завороженный за кутерьмой в домах и за падением снарядов в воду. Турки пристрелялись, и гранаты уже ударяли в самый песок берега. На что похожи взрывы? То ли на букеты, то ли на кочны цветной капусты... Взрываясь в воде, снаряды вздымали высокие фонтаны. Один снаряд угодил в нос барки, на палубе которой стоял Верещагин. Другой пробил борт и взорвался в трюме, встряхнув судно так, что художник еле устоял на ногах.

Было жутковато. Над турецким фортом появился очередной клубок дыма, и Верещагин подумал: «Вот ударит в то место, где ты стоишь, расшибет, снесет тебя в воду, и не будут знать, куда девался человек».

Видение собственной смерти пронизало всю плоть его дрожью ужаса, вещего ужаса, ибо через четверть с лишним века суждено будет художнику умереть именно той смертью, какую нарисовало ему воображение, но он поборол страх... Он всегда умел подавлять страх. Чтобы уметь бороться со страхом, надо родиться мужественным человеком и упорно воспитывать себя.

2. ВОСПИТАНИЕ МУЖЕСТВА

Прошло почти тридцать пять лет с того дня, когда череповецкий помещик Василий Васильевич Верещагин записал в своей «памятной книжке»: «1842 года, 14 октября, в

семь часов вечера родился сын Василий». На стене висел портрет деда новорожденного, тоже Василия. Длинные напудренные волосы, зеленый с красными отворотами павловский мундир. Род Верещагиных терялся в веках, но знатностью и богатством не отличался. Все это был средний служилый люд, да и сам Василий Васильевич дослужился в сенате лишь до чина коллежского асессора, вышел в отставку, поправил дела женитьбой на богатой невесте Анне Николаевне Жеребцовой и три трехлетия подряд избирался предводителем дворянства в Череповецком уезде Новгородской губернии.

Имея характер спокойный, рассудительный, флегматичный даже, но упорный, он уживался со своей красивой узкоглазой женой, внучкой не то татарки, не то турчанки, нервной, раздражительной, вспыльчивой. Он не мешал ей зачитываться французскими романами, а когда пошли дети, предпочитал сам их воспитывать, боясь, что Анна Николаевна, безудержная на ласку и на гнев, испортит их. Детей была дюжина, а остались в живых семеро. Василий родился вторым, Сергей — третьим. Самого младшего звали Александром.

Ребенком Вася Верещагин был болезненным, но резвым. От отца ему досталось упорство, от матери — впечатлительность, самолюбие и вспыльчивость. Но лучшее из качеств человеческих — совестливость — привила ему няня Анна Ларионовна. Он любил ее больше всех на свете, больше отца, матери и братьев, а она покрывала его проказы, выгораживала перед родителями, выхаживала любимца.

Часто потом, в дальних краях, являлся перед его мысленным взором родительский дом с мезонином в полуверсте от реки Шексны, службы вокруг, поля, сосновый бор в отдалении, прогулки с няней за грибами, катанье с гор зимой... Не катаясь ли с гор, сломал он себе руку и, когда деревенская костоправка занималась ею, не вскрикнул ни разу, боясь потревожить болевшую мать... Шесть лет ему было. Он с восторгом всматривался в образа во время церковных служб, перед любой литографией или картиной млел и терялся. То ли в шесть, то ли в семь лет срисовал он с платка своей няни картинку — тройку лошадей преследуют волки. И волки, и стреляющие в них седоки, и деревья, покрытые снегом, получились у него так хорошо, что няня, отец, мать и многие приезжие дивились и хвалили маленького художника, но никому и в голову

не пришло, что это может оказаться его призванием, что не худо бы дать ему художественное образование. Ему, сыну столбовых дворян, записанных в 6-ю родословную книгу, сделаться художником? Что за срам!

Семи лет Васю Верещагина отдали в царскосельский «малолетний» кадетский корпус. Плакал он, расставаясь с няней, с родителями, переходя на попечение дядек и классных дам. Вставать по барабану, молиться по сигналу, есть по команде, ни шагу не делать без строя, получать розги в наказание за проступки — это не отцовский дом, где тоже водились розги и для крепостных и для детей, но не такие обидные. У гордого мальчика хватило способностей, чтобы стать лучшим по успехам, избегать наказаний, быть первым по чину в своем классе. Он овладел французским и английским языками, но математика давалась туго. Она и подвела его через три года, когда подошла пора переходить в Морской корпус, и Вася Верещагин оказался лишь в подготовительном классе.

Ему казалось, что товарищи смеются над ним, и он работал, не признавая усталости, вставал в три-четыре утра, занимался до двенадцати ночи, чтобы стать первым во всем. Упорство его вызывало удивление и одобрение старших.

В десятилетнем возрасте он как-то гостил в Петергофе у генерала Лихардова, своего дальнего родственника. Тот решил пошутить над Васей и сказал, что, хотя он молодец, одного молодецкого поступка ему не сделать.

— Сделаю!

— Нет, не сделаешь!

— Сделаю! — настаивал мальчик.

— Ну, тогда стань на колени, заложи руки за спину и бросься лицом вниз...

Необдуманная шутка стоила генералу тяжелого перелома руки. Он надеялся на благоразумие кадета, а тот и в самом деле стал на колени, заложил руки за спину, и... генерал успел перехватить рукой стремительно падающего мальчика у самого пола.

Еще в «малолетнем» корпусе Верещагин увлекался книгами по русской и военной истории, боготворил героев Полтавского и Бородинского сражений. Морской корпус, основанный в 1701 году Петром I и воспитавший в своих стенах флотоводцев Ушакова, Крузенштерна, Сенявина, Корнилова, Невельского, Нахимова, свято хранил военные трофеи и реликвии русского флота и заносил

имена питомцев, отдавших свою жизнь за родину, на мраморные доски.

Имя же Василия Верещагина часто записывалось на красную доску, потому что он из месяца в месяц получал по всем предметам высший балл — 12. «Долг» и «честь» не были для него просто словами. Как и большинство русских офицеров-патриотов, выходивших из стен корпусов, он считал эти понятия необходимым условием существования. Начальство отметило его характер и наклонности присвоением воинского звания унтер-офицера. Он плавал на пароходе «Камчатка», фрегатах «Светлана» и «Генерал-адмирал» за границу, побывал в Копенгагене, Бресте, Бордо и Лондоне, где в музее восковых фигур удивлялся малому росту императрицы Екатерины II, изображавшейся на портретах всегда стройной и высокой. Это удивление потом переросло у него в негодование на историков, живописцев и писателей, извращавших истину из лести...

После плавания на «Генерал-адмирале» его признали «весьма способным к морской службе» и назначили фельдфебелем гардемаринской выпускной роты, сделав самым старшим и уважаемым кадетом Морского корпуса. А он, получив в полное свое распоряжение большую и светлую комнату и некоторый досуг, развесил на стенах гипсы и с увлечением занялся рисованием.

Он и прежде брал уроки у художников, но теперь появилась возможность ходить в Рисовальную школу петербургского Общества поощрения художников. Ее смотритель Ф. Гернер, оценивая первый же его рисунок, сказал:

— Помяните мое слово — вы будете великим художником.

Ради школы Василий Верещагин отказался от кругосветного плавания. По его примеру братья — кадеты Сергей и Михаил — тоже стали ходить в Рисовальную школу.

Ему было семнадцать лет, когда в корпусе состоялись выпускные экзамены, которые принимала представительная комиссия во главе со знаменитым адмиралом Федором Петровичем Литке. Самый молодой на своем курсе, Верещагин набрал высшую сумму баллов — 210. У второго ученика набралось всего 196.

Но, к ужасу наставников Верещагина, тотчас после производства он подал в отставку. Морское ведомство не хотело расставаться с лучшим из выпускников корпуса. Отец пригрозил лишить его всякой денежной помощи,

пророчил голодное, нищенское существование. Мать плакала...

— Брось, Вася,— уговаривала Анна Николаевна,— не оставляй прекрасно начатой службы, чтобы стать рисовальщиком... Ведь рисование не введет тебя в гостиные, а службой ты откроешь себе доступ повсюду.

Но Верещагин был непреклонен. Он настоял на своем, и 11 апреля 1860 года его произвели «в прапорщики ластовых экипажей с увольнением от службы за болезнью, согласно его просьбы».

И он тотчас поступил в Академию художеств.

В нем не было страха перед жизнью. Почувствовав свое призвание, он не хотел терять ни года, ни месяца, ни дня. Если человек смалодушествует раз, то будет и другой. Он испугается потерять благополучие, а проживет жизнь впустую, потому что редко кому удается потом преодолеть инерцию движения в сторону и наверстать упущенное. Блаженны ходящие трудными, но прямыми путями. Они успевают сделать многое...

Но постоянная борьба с устоявшимися мнениями, стремление к самоутверждению отнюдь не способствуют формированию характера благостного. Нетерпимость к фальши, нежелание подлаживаться к кому бы то ни было, горячность, приводившая порой к взрывам, неистовствам даже, делали Верещагина человеком далеко не легким в общежитии, и у не знавших того, что знал о себе он сам, раздражительность его нередко вызывала враждебные чувства. Однако в его поступках, во всей линии жизни была своя внутренняя логика — подчеркиваемая независимость, кажущаяся противоречивость побуждений и сама вспыльчивость обнаруживали в конце концов напряженную работу ума и поиски справедливости, глубочайшее уважение к людям и вечным ценностям, упорство в постижении «секретов» мастерства и в умении доводить до конца всякое задуманное дело, что, вкупе с талантом, и считается гениальностью.

Тонкий и бледный юноша жил на небольшую стипендию и поражал всех в Академии исступленной любовью к искусству и умением раздвигать представление о пределах человеческой выносливости. Но сама Академия, вычивая своих питомцев, делая из них настоящих мастеров, сеяла семена бунта. Она не осмеливалась преступить черту классицизма. Увлеченная красотой пропорций и навязывавшая ученикам консервативные каноны, она не слы-

шала зова жизни и новых идей, западавших в пытливые умы. И художник Лев Жемчужников, с которым Верещагин познакомился через своего профессора Александра Бейдемана, призывал: «Начните же с живой любви к народу, да не словами, а всем, что в вас живет; плачьте и смейтесь, смейтесь над его судьбой, как Федотов смеялся над своей; но, чтобы так живо любить народ, надо его изучать, узнать; тогда только произведения ваши будут верны и прекрасны».

Бейдеман был другом Федотова и сторонником народности и национальной определенности в искусстве. Ядовитые замечания профессора о классических пристрастиях его коллег и призыв следовать натуре привели к тому, что Верещагин стал много рисовать на улицах и площадях.

Во Франции, куда Верещагин вместе с Бейдеманом выезжал в начале 1861 года расписывать фронтон русской церкви в Париже, к молодому художнику, рисовавшему в свободное время с натуры, приглядывался известный художник Эжен Девериа.

— Копируйте,— наставлял он,— копируйте великих мастеров. Работайте с натуры только тогда лишь, когда сами станете мастером!

— Нет, не буду копировать! — возражал Верещагин.

— Вы вспомните меня, но будет поздно,— говорил француз.

Верещагин было послушал его и поработал в академических традициях. К концу первого года учения он представил эскиз «Избиение женихов Пенелопы возвратившимся Улиссом» и получил за него серебряную медаль, чем «подорвал недоверие» к его силам даже у матери. Но, сделав по тому же эскизу рисунок сепией на большом картоне, он тотчас после экзамена изрезал и сжег картон, сказав изумленным товарищам и профессорам, что академический псевдоклассицизм в его глазах «опошлел» и что он не намерен больше «возвращаться к этой чепухе».

Он посещал публичные лекции историка Костомарова, зачитывался Пушкиным, Гоголем, Толстым и Тургеневым. Время подчиняло себе живопись, становившуюся похожей на литературу. И он уехал на Кавказ учиться жизни, бросив, по сути дела, Академию. Но был ли это бунт или просто поиски своего пути? Он был благодарен Академии за ученье, но восставал против ее претензий на роль исповедальницы сердец и помыслов молодых художников.

— Поставила на ноги, талантливому помогла, дома ли или для поездки за границу, и баста, более не мешайся,— говорил он.

Он ушел из Академии за несколько месяцев до знаменитого «бунта» дипломантов, которые во главе с Крамским отказались писать выпускные работы на заданные сюжеты, демонстративно порвали с оплотом классицизма и образовали Артель художников. Верещагин демонстраций не устраивал. Он просто сделал то, что считал нужным, так как «довольно много читал и слышал, голова развилась, и глупость условных форм и рамок стала ясна».

В 1863 году Верещагин уехал работать на Кавказ.

Трое друзей-художников — Лев Жемчужников, Александр Бейдеман и Лев Лагорио — опекали молодого Верещагина. Они не были избранниками Славы, и совсем бы забылись их имена, если бы не близость их к замечательному явлению русского юмора, если бы не нарисовали они в молодости втроем портрет Козьмы Пруткова, размноженный ныне в десятках миллионов оттисков. Странна судьба художников — творчество их забылось, а живет их шутка, и живет еще память о прикосновениях их к жизни тех, кто пережил свое время.

Верещагина увлекли рассказы Бейдемана, не раз бывавшего на Кавказе, и Лагорио, прикомандированного к свите наместника Кавказа.

Василию Верещагину было двадцать лет, когда он предпринял это путешествие. Отпустив для солидности бороду, с несколькими сотнями рублей в кармане, он смотрел во все глаза на необыкновенные картины по обе стороны дороги и то и дело хватался за карандаш. На грязных станциях, где он сиживал днями «за неимением лошадей», карандаш оказывался палочкой-выручалочкой, потому что пугал станционных смотрителей, спешивших отделаться от художника и умолявших его ничего не писать. Он питался лишь молоком и хлебом, сохраняя деньги на прогоны, и приехал в Тифлис с сотней рублей и громадной папкой зарисовок.

Кавказу и дороге к нему самой судьбой было предназначено оплодотворять всех гениев российской литературы девятнадцатого века. Верещагин увидел то, о чем читал, но калейдоскоп впечатлений заслонял словесность, хотя талант художника был сродни ей. Он видел первобытную дикость калмыков, полуголых, зарывавшихся в теплую золу для согрева в холодные ночи. Он видел ли-

хих казаков, с одинаковой ловкостью управлявшихся плугом и шашкой. Он схематично, пользуясь одной штриховкой, почти без растушевки, жестко, быстро набрасывал картины кавказского быта, пестрые толпы, говорящие едва ли не на сотне языков, теснящиеся на красочных восточных базарах, костюмы, дома, сакли, скачущих всадников, передавал ломаный ритм лезгинки, любовался устрашающими красотами Дарьяльского ущелья.

В резиденции наместника его радостно встретил Лагорио, по рекомендации которого Верещагин стал вести уроки рисования в школах и семьях местных начальников. «Как я ни был занят,— вспоминал художник,— но урывался еще между уроками ходить на пески рисовать верблюдов, коров, лошадей и баранов и прочих животных, пригоняемых туда на продажу, рисовал по лавкам, за городом и т. п. Конечно, только молодость и свобода моя были причиною того, что эта масса уроков не задавила меня. Трудно передать, как я был живуч...»

Верещагин разъезжал по всему Кавказу. Но писать маслом еще только учился, и свалившаяся на него тысяча рублей дядюшкиного наследства привела его в Париж, в тамошнюю академию, в мастерскую французского исторического живописца Жана-Леона Жерома.

Париж, Париж... Эта Мекка художников еще в первый приезд поразила его разнообразием талантов, которые работали здесь, встречались, спорили и развлекались... Но соблазны прекрасного города прошли мимо Верещагина, работавшего по шестнадцать часов в сутки. И он научился работать маслом. Богема, учившаяся у Жерома, пыталась прохаживаться на его счет и даже унизить, но он быстро поставил юных французов на место. Когда они окружили новичка в мастерской и стали требовать, чтобы он сбегал и принес на два су черного мыла, Верещагин отказался наотрез.

— Господа! Это животное, этот прохвост русский не хочет идти за мылом...

Они угрожающе наседали на него, а он молча отступил в угол, чтобы никто не мог зайти со спины или сбоку, и опустил руку в карман, где у него лежал револьвер. Сделал он это спокойно, но именно спокойствие его, внимательный взгляд вдруг напугали задорных юнцов, смелых в своре и готовых на расправу, оттого что их много... Они издали выкрикивали угрозы, пытались заставить его спеть песню. Никто из них так и не рискнул подойти, а

он в тот же день дал им сорок франков на угощенье. Они кутнули и прониклись к нему таким уважением, что не осмеливались в его присутствии мучить других новичков.

И снова ему не сидится на месте. Он вырвался из Парижа, точно из темницы, поехал в Закавказье и принялся рисовать на свободе — «с каким-то остервенением»... Французские живописцы Бида и Жером неплохо знали Восток и могли оценить рисунки, сделанные Верещагиным в Шуше в середине мая 1865 года, во время праздника Мохаррема. Наверно, он пожалел, что не мог передать в красках картину, которую увидел, въезжая в Шушу поздно вечером. Зарево сотен нефтяных факелов, рев толпы, окружавшей бесновавшихся людей, треск барабанов, стон зурн и звон медных тарелок.

— Шах-сей! Вах-сей!

Толпа кричала. Некоторые в исступлении наносили себе удары плетьми, били себя кинжалами плашмя, иногда разрывая кожу и заливаясь потоками крови. Самоистязание входило в обряд оплакивания имама Хуссейна, убитого своими коварными врагами. На десятый день праздника кончался пост, во время которого мусульмане ничего не ели с рассвета до сумерек, зато объедались ночью. Верещагин запечатлел религиозную процессию, состоявшуюся в этот день, фанатиков, рассекающих лбы обнаженными клинками, струйки крови, стекающие на белые балахоны, людей, увешанных оружием...

Тысячи и тысячи рисунков скопились у художника после путешествия по Кавказу. Но кто их увидел? Он решил издавать ежемесячный художественно-литературный журнал и даже получил разрешение, но денег на это предприятие не хватило. Отец сменил гнев на милость, но соглашался оплачивать лишь учение в Париже.

Французские художники восторгались:

— Никто не рисует так, как вы!

Лето Верещагин проводил у родителей на Шексне. По берегу реки то и дело проходили ватаги бурлаков. Десятки их, упершись в лямки и свесив руки плетьми, двигались медленно, мерно и одновременно переставляли ноги, переваливались с боку на бок все вместе, в такт, то и дело выкрикивая хором:

— По-де-ернем! По-де-ернем!

Верещагин рассказывал, как приводил в родительский

дом бурлаков. Они по очереди впрягались в лямку, привязанную к вбитому в стену гвоздю, и он писал с них маслом этюды для большой картины.

Дав натурщику гривенник на выпивку, он спрашивал:

— Что нового в кабаке?

— Да что, Василь Василич, нового? Говорят, ты фармазон, в бога не веруешь, родителев мало почитаешь. Говорят: разве ты, дурак, не видишь, что ён под тебя подводит. Кабы он тебя раз списал, а то он тебя который раз пишет-то! Уж это, брат, недаром!

— Ну, а ты что же им на это говоришь?

— Да что говорить-то? Говорю: уж мне, господа, недолго на свете-то жить, подделывайся под меня али нет, с меня взять нечего!..

Верещагин набросал уже эскиз большой картины, да нечем стало жить — опять рассорился с родителями, время уходило на добывание денег. Это было уже снова в Париже, в последний год пребывания в тамошней академии. Оттуда он и уехал в Туркестан, где его захлестнули новые впечатления. А «Бурлаков» написал Репин. Получились они у него более красивыми, чем задумывал Верещагин, который хвалил репинскую картину, но считал, что она далеко не передает сущности бурлачества.

— Где впечатление той двухсотенной толпы, безнадежно качающейся из стороны в сторону, без порывов, без усилий, в полном сознании, что тут ничего не поделаешь? — спрашивал Верещагин.

Еще летом 1867 года Бейдеман сказал Верещагину в Петербурге, что командующий войсками Туркестанского военного округа генерал Кауфман хочет пригласить в Среднюю Азию молодого русского художника. Верещагин пошел на прием к генералу. Тот поглядел на рисунки, подержал в руке серебряную медаль и согласился взять с собой «прапорщика» Верещагина, но художник настоял, чтобы его не заставляли носить форму и не присваивали ему новых чинов.

Кавказ, а теперь Туркестан... Что за странная тяга к Востоку? Друзья недоумевали. Да и сам он пытался разобраться в причинах, толкавших его на утомительные и опасные поездки. Страстная любовь к Востоку? Нет ее. Лучше жить в России, но в поездках уединяешься, входишь, что ли, сам в себя. И учиться вольготнее, чем в парижских мансардах и комнатах Среднего проспекта Васильевского острова. И еще его тянуло на войну, хотелось

увидеть настоящую войну. Впрочем, война представлялась чем-то вроде парада, с музыкой и развевающимися султанами, со знаменами и грохотом пушек, с галопирующими всадниками. Убитые, конечно, есть, но совсем немного, «для обстановки»...

Путь на войну был длинный. На лошадях и верблюдах. Через Оренбург, форт Перовский, Джулек, Чимкент... Восточная действительность плотно обступила художника. Экзотика. Узкие кривые улицы без единого окна, со стоками нечистот посередине. Базары с их непролазной грязью и одетым в пестрые лохмотья людом. И неожиданно величественные мечети, построенные этими же людьми. В Ташкенте Верещагин осматривал караван-сараи, еще недавно бывшие невольничьими рынками, говорил с теми, кого покупали и продавали здесь.

Столько странного было кругом... Люди живут в глинобитных лачугах, заливаемых дождем, спят на полу в грудах грязных тряпок, мрут от голода. В притонах опиумоеды и опиумокурильщики, кутая иссохшие тела в рваные халаты, сидят неподвижно, все во власти навеянных дурманом грез. Мужчины сидят без дела, а женщины работают без устали. Их кормят отбросами. Продают девятилетних девочек и мальчиков, щупают детей пухлые похотливые пальцы... Вон за девушкой гонятся несколько всадников. Догнали, скрутили, заткнули рот, надели на шею аркан и поволокли.

— Да что же это делается! — закричал художник.— Зачем мучаете женщину?

— Это жена нашего друга. Она убежала из дому, а он заплатил за нее триста коканов,— говорят Верещагину.

Он выхватил револьвер, велел развязать женщину. Но он ничего не добился этим, а жизнь его висела на волоске...

Бухарский эмир начал газават — «священную войну» против русских. Верещагин поспешил к Самарканду, под которым разыгралось сражение и еще валялись неубранные трупы.

С холма Чапан-Ата открылся вид на утонувший в зелени Самарканд. Громадные мечети времен Тимура Хромого возносились к небу. Жители города не впустили войска эмира и сдались на милость русских. Освобождено десять тысяч эмирских рабов...

Как только генерал Кауфман с войсками ушел из города искать встречи с эмиром, муллы натравили фанати-

ков на русских. К городу стекались со всех сторон вооруженные всадники. Более пятидесяти тысяч их осадило крепость, в которой заперлись семьсот русских солдат.

Верещагин пил чай, когда послышалась перестрелка и страшный протяжный вой:

— Уррр! Уррр!

Художник понял, что начался штурм крепости, схватил свой револьвер и побежал к Бухарским воротам. Малочисленные защитники крепости, перебегая в дыму, отвечали со стен редкими выстрелами. Верещагин подобрал ружье возле убитого и с этой минуты все восемь дней обороны не выпускал его из рук. Пуля ударила в бок его соседу. Тот уронил ружье, схватился за грудь и побежал по площадке стены вкруговую, крича:

— Ой, братцы, убили, ой, убили! Ой, смерть моя пришла!

— Что ты кричишь, сердечный, ты ляг,— сказал ему другой солдат. Раненый описал еще один круг, упал и умер. Верещагин подобрал его патроны.

— Всем нам тут помирать,— говорили солдаты.— О господи, наказал за грехи! Спасибо Кауфману, крепости не устроил, ушел, нас бросил...

— Стыдно унывать! — сказал им художник.— Мы отстоимся... Неужели дадимся живые?

Трудно защищать стены в три версты в окружности. Обвалившиеся местами, они были ненадежны. Верещагин всегда появлялся в тех местах, где кипели схватки, метко стрелял и как-то не удержался от крепкого словца. Солдаты тотчас остановили его:

— Нехорошо теперь браниться, не такое время.

Они называли Верещагина «ваше степенство», а за глаза «Выручагиным». Когда же услышали, что оставленный в крепости полковник Назаров назвал его Василием Васильевичем, то все тоже стали звать его «Василь Василичем».

Назарову доложили, что осаждающие готовятся ворваться в крепость через один из проломов, и они с Верещагиным бросились туда. За стеной слышались крики. Солдаты притаились у стены.

— Пойдем на стену, встретим их там,— прошептал художник Назарову.

Лишь только осаждающие показались на гребне, солдаты грянули «ура!», открыли пальбу и отбили приступ.

— Тсс! — ответит тот.— Пусть войдут.

Однажды неприятель затих, и надо было узнать, что он готовит. Офицеры посылали на стену солдат, но те отнекивались, не хотели идти на верную смерть.

— Постойте, я учился гимнастике,— сказал Верещагин и полез на стену.

— Что вы, Василий Васильевич, перестаньте, не делайте этого! — закричал полковник Назаров.

Верещагин был уже под самым гребнем.

«Как же я, однако, перегнусь туда, ведь убьют»,— думал он. И выпрямился во весь рост.

За стеной он увидел множество народа, а в стороне кучку начальников в больших чалмах. Едва художник успел спрятаться, как десятки пуль впились в то место, где он только что стоял, только пыль пошла.

Солдаты закидали осаждавших бомбами, и штурм был сорван.

Верещагина поражало великодушие солдат. Когда один из них хотел вторым выстрелом прикончить раненого неприятеля, то другие не дали ему этого сделать.

— Не тронь, не замай, Серега.

— Да ведь уйдет.

— А пускай уйдет, он уж не воин!

И это несмотря на жестокость, с которой осаждающие добивали всякого раненого русского. Обезглавливали и раненых, и пленных, и убитых. За каждый доставленный головорезами кровавый трофей эмир выдавал награду одеждой. Из отрубленных голов складывались пирамиды. Головы насаживали на шесты.

Многие из впечатлений штурма самаркандской твердыни стали потом темами жестоких и правдивых картин Верещагина. Однако правду сочли тенденциозностью...

Во время штурма у него пулей снесло шапку с головы, другая пуля перебила ствол ружья на уровне груди. И все же художник в тот же день снял под огнем красное знамя с какими-то письменами, привязанное атаковавшими у ворот. Полковник Назаров отдал этот трофей солдатам на портянки, чем огорчил Верещагина. Но еще больше его огорчили слова одного офицера:

— Вам первый крест, Василий Васильевич.

Художник возмутился. Разве ради награды рисковал он жизнью?

Генерал Кауфман с войсками подоспел на выручку осажденным через несколько дней. Увидев часов в одиннадцать вечера 7 июня 1868 года взвившуюся вдалеке

ракету, все заликовали. Осада была снята. На другой день никто из офицеров уже и не вспоминал, как вслед за солдатами ругал Кауфмана за неосмотрительность, едва не кончившуюся гибелью гарнизона. Вспомнил об этом один Верещагин...

Кауфман вышел на площадь в окружении штабных и поздравил всех героев шестидневной осады — больных, раненых, утомленных. От собственной речи его прошибла слеза... Когда пришло время раздавать награды, к Кауфману подступил Верещагин и, по словам самого генерала, «огорошил» его.

— Ваше превосходительство! — сказал художник.— Когда наступила на нас беда в Самарканде, то все мы говорили: «Вот лысый черт, ушел, а нас оставил тут погибать»...

В свите Кауфмана стали что-то возмущенно кричать. Лысина генерала побагровела. В голове мелькнуло: «Военное время, прапорщик запаса, нарушение дисциплины, военный суд, расстрел...» Генерал-губернатор был облечен в Туркестане властью императорской... Перед ним стоял человек в сером пиджаке. «Типичный шестидесятник,— подумал генерал.— Рисуется своей утрированной неблаговоспитанностью. А художник талантливый и... храбрец».

Генерал оставил дело без последствий, и Верещагин получил за оборону Самарканда «офицерского Георгия».

Верещагин считал, что чины и ордена художнику ни к чему, и отказывался от любых других званий и наград. В 1874 году он прислал редактору газеты «Голос» письмо из Бомбея:

«М. Г.! Прошу дать место в вашей уважаемой газете двум строкам моего за сим следующего заявления:

Известясь о том, что императорская Академия художеств произвела меня в профессора, я, считая все чины и отличия в искусстве безусловно вредными, начисто отказываюсь от этого звания.

В. Верещагин».

Все были ошеломлены этим отказом. Звание профессора считалось высшим отличием художника. Оскорбленными почувствовали себя многие художники, обле-

ченные званиями. И лишь Крамской написал Третьякову:

«Ведь что, в сущности, сделал Верещагин, отказавшись от профессора? Только то, что мы все знаем, думаем и даже, может быть, желаем; но у нас не хватает смелости, характера, а иногда и честности поступить так же».

А Георгиевский крест Верещагин носил. И подчеркивал, что это единственная награда, которую он получил «за дело».

С этим крестом он появился на туркестанской выставке в Петербурге, которая принесла ему всеобщее признание. Но тогда, в 1869 году, он раздарил свои картины, уклонился от встречи с царем, несмотря на уговоры Кауфмана.

— Лично мои ты правила знаешь,— скажет художник позже своему брату Александру,— я не люблю ходить по важным господам.

И он помчался снова в Туркестан набираться впечатлений и рисовать, рисовать, рисовать... И снова он ввязывался в схватки. Ходил в набег с русским отрядом, сражался, спас командира отряда, по счастливой случайности избежал смерти...

Что же влекло его в дальние странствия? Что заставляло ввязываться в опасные передряги? Страсть к приключениям? О нет. Он вспыльчив, он горд, но в здравом смысле ему не откажешь. Он своими глазами должен был увидеть все, что предстояло ему написать. Он хотел быть документально точным в своих картинах. А если надвигалась опасность, он не мог стоять в стороне и всякий раз тоже брался за оружие, становился в солдатский строй. Оттого-то так и захватывали зрителей его картины. В них была правда. Чувствовалось, что за каждой из них в тысячи раз больше переживаний, чем отразилось их на полотне. А что касается обвинений в сатиричности полотен, которые начали предъявлять ему власть предержащие, то Верещагин лишь повторял слова Ивана Сергеевича Тургенева: «Правда злее самой злой сатиры».

Большую часть картин по туркестанским впечатлениям он написал в Мюнхене. Там и работать было удобно, а главное — привлекли его прелести пятнадцатилетней Элизабет Марии Фишер-Рид, которая стала его граж-

данской женой, переименовавшись в Елизавету Кондратьевну.

Верещагину досталась хорошая просторная мастерская живописца Теодора Горшельта. Но это после смерти немца. При жизни они дружили. Верещагин все допытывался:

— Сколько времени вы делали этот рисунок? Только говорите правду. Художники всегда подвирают, уменьшают, чтобы казаться гениальными, работающими легко.

Горшельт рассмеялся:

— Этот рисунок я делал семь дней, то есть семь дней приходил на то же место.

— Ну вот спасибо! — со вздохом сказал Верещагин.— А то эти обыкновенные ответы «полчаса», «два часа» и прочее приводят меня в отчаяние. Я так тихо рисую, мне все так трудно дается, что я принужден считать себя каким-то тупицею сравнительно с другими, уверяющими, что труднейшие наброски они делают в один-два часа. Я употребляю на все громадный труд, только скрываю это!

Три года Верещагин никуда не ходил, разве что в музеи и на выставки. Знакомых в Мюнхене у него почти не было. А по истечении трехгодичного отпуска, который предоставило ему военное ведомство, назначив содержание три тысячи рублей в год, он привез в Петербург несколько десятков картин.

За год до того была у него первая персональная выставка в Лондоне. Все в ней было сенсационно — от надписи в каталоге: «Эти картины не продаются» — до невероятного наплыва публики и отзывов английских газет: «Мы отроду не видывали более живого изображения мира, почти вовсе неведомого...» В России за успехами Верещагина следил Стасов. Он писал об английской выставке, выпросил у вдовы Бейдемана портрет Верещагина, и в марте 1874 года художник посетил критика в Публичной библиотеке, где тот заведовал художественным отделом.

Седьмого марта открылась выставка Верещагина в Петербурге. Ее посетили тысячи людей, и с каждым днем все большие толпы теснились у дверей. На зрителей пахнуло жаром раскаленных степей Туркестана, они увидели жителей этого края и их быт. И главное — война, жестокая и страшная война обрушилась на них во

всей своей неприглядной красе. Как непохоже это было на все виденные прежде картины батальных живописцев, на стройные ряды воинов в элегантных мундирах, осененных белыми клубами пушечных выстрелов...

Впечатления самаркандской осады теснились на стенах. «Пусть войдут!» Слова полковника Назарова стали названием картины. «Вошли!» Трупы, кровь, солдатские типы... Еще долго будут удивляться, как густо населил свои картины художник, не повторив ни одного лица, ни одной позы... «Забытый» — в горной долине, среди высушенных солнцем колючек, лежит, раскинув руки, русский солдат. На прикладе его ружья и на груди сидят вороны, слетаются к трупу другие хищники. А на раме картины Верещагин написал эпиграф, слова народной песни:

Ты скажи моей молодой вдове,
Что женился я на другой жене;
Нас сосватала сабля острая,
Положила спать мать сыра земля...

И тут же «Смертельно раненный», что бежал тогда по площадке стены вкруговую. И «Парламентеры», предлагающие сдаться окруженному русскому отряду. «Убирайтесь к черту!» — кричит им офицер...

А вот целая серия под названием «Варвары». Картины «Высматривают», «Нападают врасплох», «Окружили, преследуют...», «Представляют трофеи» — бухарский эмир переворачивает носком сапога отрубленную голову, «Торжествуют», «У гробницы святого — благодарят всевышнего». И на раме картины — строки из Корана:

Хвала тебе, богу войн! —
Нет бога, кроме бога!

И «Апофеоз войны» — громадная груда черепов. «Посвящается всем великим завоевателям: прошедшим, настоящим и будущим» — таков эпиграф к этой завершающей серию картине. Верещагин проклинал фанатизм и изуверство среднеазиатского рабовладельческого Востока, но в его картинах было прозрение грядущего варварства «цивилизованных» наций...

Любовь Верещагина к русскому солдату зрители заметили сразу. Крамской тогда же написал отсутствовав-

шему Репину: «Верещагин — явление, высоко поднимающее дух русского человека». А Гаршин в стихотворении «На первой выставке картин Верещагина» восклицал:

Плачь и молись, отчизна-мать!
Молись! Стенания детей,
Погибших за тебя среди глухих степей
Вспомянутся чрез много лет,
В день грозных бед. .

Мусоргский написал музыку к балладе Голенищева-Кутузова «Забытый». Газеты сравнивали Верещагина с Львом Толстым. Такого успеха еще не имел ни один художник.

Но вскоре начались неприятности. Выставку посетил Александр II. Выставка царю понравилась, он выразил лишь неудовольствие картиной «Забытый». Уже на другой день генерал Кауфман обежал залы выставки, разыскал художника и начал его отчитывать:

— Это неправда! Вы опозорили туркестанские войска! Скажите, вы лично видели когда-нибудь солдата брошенного, непохороненного в степи?

— Нет, не видел,— признался художник.

— Выходит, вы клеветник! Вы бесчестите славу русского оружия!

Верещагин не продавал своих картин до сих пор, ожидая, что все их купит русское правительство, а он на полученные деньги совершит еще несколько путешествий и устроит художественно-ремесленную школу. Но теперь уже никто не говорил о покупке картин казной. Высокопоставленные деятели на все голоса ругали Верещагина. Разъяренный художник в порыве гнева сжег «Забытого» и еще две картины.

— Я дал плюху этим господам,— сказал он.

Верещагин несколько дней после сожжения картин не мог прийти в себя и в марте же, не дожидаясь окончания выставки и переговоров о покупке картин Третьяковым, уехал вместе с Елизаветой Кондратьевной в Индию.

Ему хотелось поездить по России, но художника возмущали полицейские порядки, паспортный режим. Однажды во время поездки он забыл паспорт и насиделся в кутузках вместе с ворами, пока не выяснили его личность. «Каждый раз,— вспоминал он,— что я намеревался побыть в России подольше, случалось что-либо

скверное, заставлявшее унижаться!.. Батюшки мои,— подумал я,— да мыслимо ли путешествовать и свободно работать? Тут надобно только уметь отмалчиваться...»

Он исколесил Индию, рисуя и собирая костюмы, украшения, амулеты — материал для будущей работы. Вскоре он уже путешествовал во главе целого каравана кули, которые несли подарки, закупленные еще в Петербурге, и приобретенные в Индии коллекции. Вместе с женой художник задумал совершить восхождение на Джонгри, одну из гималайских вершин. Носильщики отстали в пути. Глубокий снег, лед, стужа. Верещагин и Елизавета Кондратьевна падали, подымались и вновь брели, пока не достигли вершины. Небо там было поразительное — краска сильнее всякого чистого кобальта, почти ультрамарин с небольшой дозой кармина. И розовато-белый снег на темном фоне. Замерзая, художник не переставал работать. Через два дня подошли носильщики. Не раз он бывал и потом на краю гибели. Его донимали дурные вести из России, где его картинами распорядились не так, как он хотел. В Индии его принимали за «русского шпиона». Но он упорно писал этюды, которые, по сути дела, были прекрасными законченными картинами. Художник пересылал их на хранение Стасову в Петербург.

Два года провел Верещагин в Индии. Оттуда он поехал в Париж, на окраине которого, в Мэзон-Лаффитте, строилась его мастерская. Он попросил Стасова прислать ему в Париж индийские этюды. Критик написал художнику: «Вчера утром, во время укладки... я снова пересмотрел все этюды, один за другим, на прощанье и, кажется, поцеловал бы их каждый: столько тут положено таланта, правды, мастерства».

Похвалы похвалами, а дела шли худо. Подрядчики, строившие мастерскую, обманывали художника, заставляли за все переплачивать вдвое. Деньги из России (туркестанская коллекция была продана Третьякову за девяносто две тысячи рублей) не шли. Верещагин был на грани краха. Он стал еще более раздражительным и неуравновешенным, почти не спал, даже чтение писем вызывало у него продолжительные головные боли. Лишь Стасов сносил, как он выражался, натуру Верещагина с ее дикостью и необузданностью, свирепостью и младенческой чистотой взглядов, прямотой и порывами, смелыми выдумками и жаждой знаний.

Верещагин принадлежал к тому типу талантливых людей, которые с самого начала неколебимо верят в свое предназначение, проявляя нетерпимость ко всякому прекословию и даже сомнению. Они искренне считают, что каждый, оказывающий им услуги, должен проникаться сознанием служения большому делу. Оттого-то он заваливал Стасова мелкими поручениями, но стоило тому усомниться в намерении Верещагина писать громадные полотна, для чего и строилась большая мастерская, и сказать, что большое содержание не связано с размерами полотна, как художник прямо и резко объявил это посягательством на свободу творчества и поставил в один ряд критика и публику. «Пусть Ваша излюбленная, за свои деньги хающая публика судит мои работы, когда они готовы; но чтоб я пустил всякое неумытое рыло рыться в моих проектах и затеях? Дозволил бы на французский манер фабриканту, отдыхающему от стука и пыли своей фабрики, и бакалейщику — от вони запертой в праздник лавочки, давать мне советы, что, в каком размере делать? Никогда! Пусть эта толпа, желающая воспроизведения своих идей и вкусов, представителем которой Вы являетесь (к моему удивлению и ужасу), пусть она обращается к тем фешенебельным мебельщикам, о которых я говорил... и имя которым легион, прямее сказать — 99% существующих художников».

К началу 1877 года мастерская в Мэзон-Лаффитте была готова. Зимнее ее помещение имело в длину 25 метров, а летнее, открытое, легко вращалось по рельсам вокруг своей оси с тем, чтобы всегда иметь нужное освещение. Свет и воздух в картинах — вот что было главным для Верещагина.

В работе над гигантскими полотнами и застала его весть о русско-турецкой войне.

3. СКОБЕЛЕВЫ

Уже год Верещагин следил за событиями на Балканском полуострове. Сербия вела освободительную борьбу, стремясь сбросить пятисотлетнее турецкое иго. Вся Россия бурлила — создавала славянские комитеты, собирала пожертвования в помощь сербам. Верещагин посылал деньги и сам собирался поехать на Балканы. Осенью 1876 года в России началась мобилизация. Верещагин

тотчас стал просить о причислении его к штабу русских войск. Просьба его была уважена.

В апреле 1877 года Россия объявила Турции войну, и художник немедленно выехал в действующую армию. В главном штабе, находившемся в Кишиневе, его причислили к составу адъютантов главнокомандующего, великого князя Николая Николаевича, но при этом он оставался вольным, штатским человеком, что было весьма удобно для него.

Вскоре Стасов получил от Верещагина телеграмму: «Я иду с передовым отрядом, дивизионом казаков генерала Скобелева, и надеюсь, что раньше меня никто не встретится с башибузуками».

Стасов осуждал художника за то, что тот рискует жизнью, однако телеграмму его опубликовал в «Новом времени», присовокупив:

«Этот факт, мне кажется, будет интересен многим из нас. Верещагин — первый пример русского художника, покидающего покойную и безопасную мастерскую для того, чтобы пойти под сабли и пули и там, на месте, в самых передовых отрядах, вглядываться в черты великой современной эпопеи — освобождения народов из-под векового азиатского ига.

Зато у одних подобных художников, у тех, для кого художество нераздельно с жизнью, у них только и бывают те создания, что захватывают и наполняют душу.

В этом талант Верещагина родствен таланту первого современного нашего писателя, графа Льва Толстого. Кто знает, быть может, из-под кисти Верещагина выйдут теперь такие же потрясающие и глубоко художественные картины, какие у того из-под пера вылились однажды рассказы о сражающемся Севастополе. В отношении жизненной правды склад обоих художников — одинаковый».

Еще в Париже художник решил, что пойдет с кавказской казачьей дивизией, которой командовал генерал-лейтенант Дмитрий Иванович Скобелев. И тотчас послал телеграмму брату Александру, молодому офицеру, советуя тому определиться в ту же дивизию. На Балканах к ним присоединился и третий брат, художник Сергей Верещагин.

В Кишиневе в главной квартире Василия Васильевича представили целому сонму генералов. Среди них был

и высокий худощавый блондин, свитский генерал Михаил Дмитриевич Скобелев.

— Я знал в Туркестане одного Скобелева,— сказал Верещагин.

— Это я и есть!

— Вы! Может ли быть? Так вы изменились! Мы ведь старые знакомые.

За семь лет, что они не виделись, Скобелев возмужал, у него появилась генеральская осанка и важность в речи. Впрочем, важность с него тотчас слетела. Он быстро говорил, картавя, произнося «г» вместо «р» и «л», нервно потирая руки и рассматривая свои блестящие длинные ногти на худых пальцах, трогая пуговицы на сюртуке Василия Васильевича.

«Сколько ему сейчас? — подумал Верещагин.— Да, ведь на год моложе меня... Значит, тридцать три».

Он вспомнил, как семь лет назад в единственном ресторане Ташкента познакомился со Скобелевым, совсем еще молодым гусарским штаб-ротмистром. Офицер был симпатичен художнику, который подружился со Скобелевым, хотя тот только что стал обладателем сквернейшей репутации. Скобелев доложил начальникам, что во время недавней рекогносцировки он разогнал шайку бухарских разбойников. Однако уральский казак, которого офицер как-то ударил в ссоре, донес тут же, что никакой стычки не было. Генерал Кауфман, не разобравшись, в присутствии других офицеров жестоко распек Скобелева:

— Вы наврали, вы налгали, вы осрамили себя!

Два офицера вызвали Скобелева на дуэль. Верещагин жил в гостинице и видел все приготовления.

— Да перестаньте вы конспирировать, пощадите малого,— говорил он злословившим офицерам.

Хотя Скобелев с достоинством дрался на дуэли, положение его было невыносимым — хоть уезжай из Туркестана.

— Да плюньте вы, все перемелется,— утешал художник.

Теперь перед Верещагиным стоял молодой генерал, награжденный двумя Георгиевскими крестами. Это он, переодевшись в туркменское платье и чудом избежав смерти, сделал глазомерную съемку пути, по которому потом прошли русские войска. Генерал Кауфман рас-

сказал Верещагину, что, поздравляя Скобелева с крестом, он прибавил:

— Вы исправили в моих глазах ваши прежние ошибки, но уважения моего еще не заслужили.

Но и Кауфману пришлось признать заслуги Скобелева, водившего солдат в походы через пустыни. Тот отдавал коня под больных, нес ружья отстававших, пил свою порцию воды последним — истомившиеся солдаты все примечали... Он первым пролез в брешь, пробитую пушками, при взятии Хивы. Поехав отдыхать после этого похода на Ривьеру, Скобелев оказался в Испании, где шла война карлистов против правительства.

— Мне надо было видеть и знать, что такое народная война и как ею руководить при случае,— объяснял Скобелев.

Во время сражений он сидел на камне под пулями и делал заметки. Однажды он даже остановил бежавших с поля трусов и повел их в бой.

Верещагин, считавший поездку Скобелева в Испанию «дурачеством», признавал, однако, не одну лишь его дерзость и молодечество, но и воинский талант.

Потом снова были лихие операции в Средней Азии, после одной из которых недоверчивый Кауфман, проверив, окровавлены ли сабли у казаков, снял с себя Георгиевский крест и надел его на грудь Скобелеву, а в Петербург доложил: «Дело сделано чисто!» Кончил войну в Туркестане Скобелев генерал-майором и начальником Ферганской области, которую бросил тотчас, как наметилась война с турками, и примчался в Кишинев.

Но здесь над его Георгиевскими крестами посмеивались, говорили, что их еще нужно заслужить. Кабинетные генералы, вроде начальника штаба Непокойчицкого, считали, что ему нельзя доверить и роты солдат. Скобелев признавался Верещагину, что согласен на любую черную работу.

— Лучшие из генералов удивляются — чего я лезу? Дай другим получить то, что следует! А про то, что душа болит, что русское дело губится, никто и не думает. Скверно. Неспособный, беспорядочный мы народ. До всего доходим ценою ошибок, разочарований, а как пройдет несколько лет, старые уроки забыты. Для нас история не дает примеров и указаний. Мы ничему не хотим научиться, все забываем...

— Ничего, все образуется, подождите немного, Михаил Дмитриевич,— утешал генерала художник.

— Буду ждать, Василий Васильевич. Я ждать умею и свое возьму,— сказал Скобелев.

В день объявления войны Скобелев с отрядом казаков стремительным броском занял Барбошский мост через реку Серет, чтобы не дать туркам взорвать его. Он старался быть полезным, но в результате его назначили начальником штаба дивизии, которой командовал его отец, Дмитрий Иванович Скобелев. И это после того, как он водил в бои едва ли не армию!..

Так художник и генерал оказались в одной дивизии, состоявшей из полка донских казаков, полка кубанских и еще полка осетин и ингушей. Вскоре они перезнакомились со всеми командирами и многими рядовыми. Еще в Галаце, где Верещагин увидел Скобелева-отца на смотру, Дмитрий Иванович поразил его своей фигурой: красивый, с большими голубыми глазами, окладистой рыжей бородой, старик сидел на маленьком казацком коне как влитой.

Верещагин ехал со Скобелевыми через Бухарест до Фраешти. Жили дружно, весело. По очереди сочиняли стихи «к обеду». Верещагин тоже написал вирши:

Шутки в воздухе несутся,
Песни громко раздаются,
Все кругом живет,
Все кругом живет.
Старый Скобелев, с полками,
Со донскими казаками,
В Турцию идет,
В Турцию идет...

Полки шли с большими предосторожностями.

За столом обычно старый Скобелев подтрунивал над подвигами сына. В шутливых перебранках Верещагин становился на сторону молодого Скобелева, отчего старик надувался. К художнику все в дивизии относились очень уважительно, казачьи командиры почитали за честь называть его своим другом. Молодой Скобелев всем надоедал своими рассказами и великим множеством планов ведения будущей кампании. «Шальной!» — говорили офицеры.

Верещагин посоветовал ему быть сдержанным. Молодость, фигура, Георгиевские кресты — все это хорошо, а вот надоедать людям пока не стоит.

— Спасибо! — горячо сказал Михаил Дмитриевич.— Это совет истинного друга.

В Бухаресте художник с генералом купили себе хороших лошадей, ездили по городу, но Верещагин, как он выражался, «немного совестился его товарищества». Встречным барыням, особенно хорошеньким, молодой Скобелев показывал язык. В генеральских кутежах художник принимать участие остерегался. Скобелев то и дело посылал к отцу за деньгами, но скупой старик больше четырех золотых не давал.

— Ведь я лакеям на водку больше даю! — с сердцем говорил Михаил Дмитриевич и делал долги.

Старика как-то вызвали по начальству, и молодой Скобелев стал временно командовать отрядом. Куда и слетела вся его несерьезность. Он тотчас позаботился о лучшей пище для людей, навел всюду порядок. «Вот бы нам какого командира надо»,— заговорили казаки. Узнав об этом, старый Скобелев жаловался Верещагину на сына.

— Он не может быть на этом месте, потому что я на нем,— сказал старый генерал.

Как-то вечером Дмитрий Иванович позвал художника:

— Пойдемте смотреть, как поведут шпиона.

На крыльцо дома, перед которым спереди и сбоков стояли по два солдата, вывели шпиона, какого-то барона, австрийского подданного. Он держал руки в карманах пиджака. Видно было, что ему наплевать на все. И в самом деле, сосланного в Сибирь, его уже через два месяца воротили по чьему-то заступничеству. Верещагину же эта встреча послужила сюжетом для картины.

Во Фраешти серебристой, сверкающей на солнце полосой впереди показался Дунай. Здесь художник вынужден был оставить отряд. В пути свалилась под откос вьючная лошадь, и полотна, краски, мольберт оказались основательно помятыми. Пришлось ехать в Плоешти и отпрашиваться у главнокомандующего в Париж. Великий князь Николай Николаевич отпустил художника, посоветовав лишь быть осторожным в разговорах с французами.

Верещагин вернулся через двадцать дней, застал дивизию в Журжеве и на другой же день оказался на барках под обстрелом турецкой артиллерии.

— Где это вы были? — возбужденно говорили Верещагину офицеры.— Как же вы не видели такого интересного дарового представления?

— Я его видел лучше, чем вы, потому что все время был на судах,— отвечал художник.

— Не может быть! — сказал старый Скобелев.— Впрочем, пойдемте туда и посмотрим аварии.

Осматривая обломки, все бранили Верещагина, называли его поведение «бесполезным браверством», но никому и в голову не приходило, что ради таких вот наблюдений он и приехал на место военных действий. Жаль только, думал он, что нет с ним ящика с красками... Впредь он уже не забывал своих рабочих принадлежностей, брал их с собою всюду, писал казацкие пикеты на Дунае, сцены солдатской жизни. Но вскоре он попал в такую боевую передрягу, что было ему не до кисти и красок...

Русские войска готовились к форсированию Дуная. Ширина реки достигала 700 метров, а на том берегу стояли десятки тысяч турецких солдат. Но уже готовы были понтоны и плоты, уже инструктировал десантный отряд генерал-майор Драгомиров. Мешала речная флотилия турок — мониторы, канонерские лодки и вооруженные пароходы. Против них ставили мины под прикрытием быстроходных катеров. Одним из них — миноноской «Шутка» — командовал лейтенант Николай Ларионович Скрыдлов.

Верещагин встретился с лейтенантом на главной квартире еще до поездки в Париж. Коренастый, поросший дремучей бородой Скрыдлов от удивления выронил из глаза монокль и бросился в объятия художнику. Боже, сколько они не виделись! Скрыдлов учился вместе с Верещагиным в Морском корпусе, но на два года младше по классу. Они вместе плавали на фрегате «Светлана», и Верещагин, как фельдфебель гардемаринской роты, не раз, бывало, распекал Скрыдлова за разговоры в строю и всякие проказы, от которых тот не мог удержаться по живости характера.

Скрыдлов звал Верещагина в Малы-Дижос, где располагался Дунайский отряд гвардейского флотского экипажа.

— Василий Васильевич, я буду на своей «Шутке» атаковать турецкий монитор. Пойдем под турку вместе!

Художник обрадовался случаю увидеть взрыв и по возвращении в Журжево тотчас поехал в гости к морякам. Те жили в отдалении от всех, со своим большим складом динамита и пироксилина. Верещагин остался у моряков, спал вместе со Скрыдловым и его помощником на крыльце дома, защищаясь пологами от лютовавших майских комаров. В соседнем доме стоял начальник всего минного отряда капитан первого ранга Новиков. Верещагин уже познакомился с ним на обеде у главнокомандующего, который спросил Новикова, за что тот получил своего Георгия.

— Пороховой погреб взорвал в Севастопольскую кампанию,— ответил грузный капитан таким густым и оглушающим басом, что всех за столом покачнуло. Теперь этот бас гремел, сыпались приказания, где и как ставить мины, которые Новиков называл «бомбами».

Каждую ночь Верещагин выезжал вместе со Скрыдловым ставить вехи на Дунае, чтобы обозначить будущие пути миноносок. Они подплывали на лодке к самому турецкому берегу. Ездили они также с секретным поручением ко всем частям, стоявшим у Дуная. В Парапане они встретились с генералом Драгомировым, энергично готовившим переправу. Генерал говорил о будущей переправе умно, логично, не раскрывая, однако, ее места.

— Я потребую от офицеров, чтобы последний солдат знал, куда и зачем мы идем,— сказал генерал.— На том берегу у нас не будет ни флангов, ни тыла. Пусть действуют самостоятельно. Фронт там, откуда неприятель...

Возвращаясь, Скрыдлов стер о седло себе мягкую часть до крови. Он все старался ехать на коне по-английски, подпрыгивая на стременах, и при этом поучал художника:

— Ты вот как езди.

— Уж известно, что женщины и моряки самые смелые и неукротимые ездоки,— подшучивал над ним Верещагин.

«Шутка», выкрашенная под цвет воды, делала прикидочные выходы, пробовала машину. Да и то в дурную погоду, чтобы турки не обнаружили, что у русских есть паровые миноноски. В тумане проглядывались утюжив-

шие Дунай турецкие мониторы и пароходы. Искушение напасть на один из них было велико. Но обещание, данное Скрыдловым художнику, отодвигалось.

— Дело не в том,— оправдывался моряк,— чтобы уничтожить у турок один лишний монитор, а чтобы заложить мины и дать возможность навести мост для переправы армии. Тут уж неблагоразумно, пожалуй, преступно рисковать одной из лучших миноносок, которых у нас мало. Как ты думаешь?

— И то дело,— разочарованно отвечал художник.

Так продолжалось до тех пор, пока Скрыдлов не сообщил по секрету, что видел у Новикова бумагу из главной квартиры, в которой великий князь Николай Николаевич требовал срочной установки мин. Самому Скрыдлову приказали атаковать вражеские корабли, если будут мешать. Верещагин бросился к Новикову.

— Модест Петрович, разрешите пойти на «Шутке».

— Нельзя,— пробасил капитан.— Смотрите с берега.

— Ну, Модест Петрович...

Новиков сдался. Приятели занялись приготовлениями к походу «под турку». Скрыдлов велел сварить несколько куриц и достал припрятанную бутылку хересу, а художник складывал бумагу и краски в небольшой ящик, чистил ножиком палитру. За этим занятием и застал его младший брат, Александр Верещагин, прибывший наконец в действующую армию.

Александр закончил военное училище, прослужил восемь месяцев в полку и вышел в отставку. Он жил с родителями в Петербурге, когда пришла телеграмма от старшего брата: «Если хочешь участвовать в войне, определяйся в кавказскую дивизию генерала Скобелева (отца), он согласен тебя принять». Громкое имя брата открыло перед ним двери военного ведомства, и вот уже молодой сотник, обряженный в черкеску с серебряными газырями, в громадную папаху и довольный своим видом, спешит к Дунаю. Он удивляется, с каким почтением говорят генералы и офицеры о его брате. Всякий из них, отправляя Александра по инстанции вниз, добавляет:

— Кланяйтесь Василию Васильевичу.

Александр не видел брата года три. Василий Васильевич, на его взгляд, заметно «постарел»: залысины стали заметнее, борода подлиннее, глаза глубже ушли в свои орбиты.

— А, здравствуй! — закричал художник, обнимая брата.— Ну-ка, покажись! Ай, какая смешная папаха! Засмеют казаки.

Молодой сотник, гордый своей экипировкой, сник. Но его тут же обрядили как положено.

— Пожалуйста, смотри за собой хорошенько,— наставлял брата Василий Васильевич,— казаки народ тонкий, сразу заметят, если что неладно. Не панибратствуй, не сходись сразу на «ты», держись самостоятельно, а главное, не обижай своих казаков.

Александр начинал понимать, чем заслужил всеобщее уважение его брат. В тот же день, на обеде у Якова Петровича Цветкова, хитрого и вместе с тем простодушного казачьего офицера, много воевавшего на Кавказе и выслужившегося из рядовых, Василий Васильевич похваливал борщ и курицу, за что хозяин отблагодарил их, собрал казаков пятнадцать из своей сотни, которые «заспивали» старые казацкие песни. Яков Петрович дирижировал хором, а потом схватил со стены свою походную скрипку и стал пиликать не в лад, то и дело вытирая рукавом черкески вспотевшее лицо и гордо поглядывая на слушателей.

— Ай да Яков Петрович, молодец! — кричал старший Верещагин, хлопая в ладоши. Он дорожил товариществом симпатичных ему людей. И не обижал их высокомерием.

— Мэнэ ж никто не учив, сам дошов,— сказал довольный Цветков, вешая скрипку на гвоздик.

Только к вечеру художник сказал брату, что уходит в дело на «Шутке». Уже темнело. Катера, готовые к постановке минных заграждений, стояли в небольшой бухте. Матросы обкладывали их железные крыши мешками с песком.

Неожиданно прискакал молодой Скобелев и, отведя в сторону Новикова, стал с жаром проситься на одну из миноносок. Новиков наотрез отказался взять генерала с собой.

Художник Верещагин вспоминал впоследствии:

«Священник Минского полка, молодой, весьма развитой человек, стал служить напутственный молебен. Помню, что, стоя на коленях, я с любопытством смотрел на интересную картину, бывшую предо мною: направо — последние лучи закатившегося солнца, и на светло-красном фоне неба и воды черным силуэтом выделя-

ющиеся миноноски, дымящие, разводящие пары; на берегу — матросы полукругом, а в середине — офицеры, все на коленях, все усердно молящиеся; тихо кругом, слышен только голос священника, читающего молитвы.

Я не успел сделать тогда этюды миноносок, что и помешало написать картину этой сцены, врезавшейся в мою память, сцены просто поразительной».

На прощанье Василий Васильевич Верещагин крепко обнялся с Михаилом Дмитриевичем Скобелевым.

— Вы идете,— сказал молодой генерал.— Этакий счастливец! Как я вам завидую!

«Не терпится тебе показать себя»,— подумал с одобрением художник.

— Смотрите же не проспите, мы завтра рано против вас будем,— сказал на прощанье лейтенант Скрыдлов младшему Верещагину.

На другое утро юный сотник вглядывался в противоположный берег Дуная, казавшийся из-за ослепительно сверкающей на солнце воды сплошной темной полосой. Донесся пушечный выстрел, и показался то ли турецкий пароход, то ли монитор. Маленькие миноноски сливались с водой и были не видны. Три часа продолжалась стрельба, пока турецкий пароход не скрылся. Александр так и не разобрался, что же происходило. Лишь к вечеру к нему в комнату торопливо вошел Левис-оф-Менар, обрусевший швед, командир Владикавказского полка, в котором начал службу младший Верещагин, и отрывисто сказал:

— Ступайте наверх, там брата вашего привезли...

5. «ШУТКА»

Пары поспели, и «Шутка» двигалась все быстрее и быстрее. Кругом было темно. Художник Верещагин едва различал по сторонам неподвижные черные массы. Это были миноноски отряда.

— Мы с тобой фарватер изучили,— сказал Скрыдлов,— а они все на мели.

С миноносок их окликали, и «Шутка» стаскивала застрявшие суда. Уже начало светать, уже пора было войти в русло Дуная и ставить мины, а «Шутка» все не уходила вперед, стояла за густыми деревьями островка, чтобы дать время подтянуться остальным. Только флотилия показалась из-за островка, как на недалеком уже

турецком берегу зашевелились, вокруг судов забулькали пули.

Вперед вышла флагманская миноноска. На корме ее стоял Новиков, облокотясь на железную крышу. Тучная фигура его в черной шинели представляла прекрасную мишень, но он и не думал прятаться от пуль, барабанивших по железу. Флотилия ставила мины...

Со стороны Рущука пришел вооруженный турецкий пароход и стал обстреливать флотилию. Скрыдлов, весело морща короткий нос, поглядывал на него.

— Николай Ларионович, что же ты его не атакуешь? — спросил художник.

— Выстрелы ему не вредят, пусть поближе подойдет.

Пароход вскоре ушел, а к «Шутке» на всех парах подлетела миноноска Новикова.

— Николай Ларионович, почему вы не атаковали монитор? — загремел командирский бас.

— Это не монитор, Модест Петрович, а пароход,— ответил Скрыдлов.— Я думал, вы приказали атаковать в том случае, когда он подойдет близко...

— Я приказал вам атаковать его во всяком случае. Извольте атаковать!

— Слушаюсь!

Новиков отвалил к флотилии, а Верещагин похлопал по плечу Скрыдлова:

— Ну, брат, Николай Ларионович, смотри теперь в оба. Если будет какая неудача в закладке мин, сделают из тебя козла отпущения...

— Ладно,— сказал Скрыдлов.— Я буду спереди, у штурвала, наблюдать за носовой миной, а ты, Василий Васильевич, сиди на корме. Как крикну «Рви!», так и бросай кормовую мину.

Он приказал всей команде помыться, загнав в воду и художника, велел надеть пробковые пояса. Потом командир с художником съели курицу, глотнули хересу, и Скрыдлов улегся вздремнуть.

Нервы у Верещагина были не столь крепкие, он стоял на корме, облокотясь на железный навес, закрывавший машину, смотрел на Рущук, на далекие горы за ним, на тонкий длинный шест на носу «Шутки» с привязанной к нему миной, которую требовалось взорвать электрическим током, когда шест упрется в борт вражеского судна. Тут, пожалуй, и от самой «Шутки» ничего не останется...

— Идет,— тихо, почти шепотом, сказал один из матросов.

Между турецким берегом и высокими деревьями острова показался дымок. Скрыдлов вскочил.

— Отчаливай, живо!.. Вперед, полный ход!

Пароход стремительно приближался. По сравнению с «Шуткой» это была громадина. Но и на пароходе и на берегу поняли, что маленькая скорлупка с дымящей трубой несет смерть. С берега и парохода по «Шутке» лихорадочно стреляли. Миноноска вздрагивала всякий раз, когда ее охаживали куском металла.

«Ну, брат, попался,— сказал себе Верещагин,— живым не выйдешь».

Он снял сапоги и крикнул Скрыдлову, чтобы тот сделал то же самое. Командир приказал разуться всем матросам. Верещагин оглянулся, ожидая увидеть другую миноноску, которой приказали поддержать атаку. Ее не было.

Уже пробило снарядом железную крышу. Над ватерлинией, под тем самым местом, где стоял Верещагин, тоже была пробоина. Сидевший у штурвала Скрыдлов передернулся — в него ударила пуля, потом другая.

Высокий борт парохода навис над «Шуткой». Любопытство взяло верх, и Верещагин поднял голову. Турки оцепенели, ожидая взрыва. Рулевой «Шутки» было струсил и переложил руль направо. Раненый Скрыдлов схватил его за плечо:

— Лево руля, сукин сын, трам-тарарам, убью!

«Шутка» уткнулась шестом с миной в борт парохода, но взрыва не последовало.

— Рви, по желанию! — подал команду Скрыдлов. Взрыва не было снова.

«Шутку» уже относило от парохода. В ее пробоины вливалась вода. Ожидая, что судно вот-вот уйдет под воду, Верещагин поставил ногу на борт, и вдруг раздался сильный треск... В бедро, словно обухом, что-то ударило. Художник перевернулся и упал. Поднявшись на ноги, он почувствовал какую-то неловкость в правой ноге и стал ощупывать бедро. Штаны были разорваны в двух местах, и палец свободно вошел в мясо...

От турецкой крепости к тонувшей миноноске на всех парах шел монитор, вызванный, очевидно, пароходом.

— Николай Ларионович,— закричал художник, перекрывая треск выстрелов,— видишь монитор?

— Вижу. Атакуй его своей миной; приготовь ее и бросай, когда подойдет.

Монитор уже дважды выстрелил по «Шутке». Верещагин обрезал веревку мины и велел было матросу сбросить ее, как миноноска вдруг свернула в открывшийся слева мелководный рукав реки, куда войти монитор не мог.

Скрыдлов велел подвести под киль парусину, чтобы задержать течь, и все стали считать раны. Верещагин смотрел на лившуюся из бедра кровь и думал: «Так вот что значит рана. Как это просто! Прежде казалось, что это сложнее. Хорошо, что кость не задело, тогда бы верная смерть».

— Ваше благородие,— доложил Скрыдлову минер,— все проводники пулями перебиты.

Так вот отчего не взорвалась мина. Скрыдлов был в отчаянии.

— Сколько трудов, приготовлений — все прахом!..

— Перестань,— рассердился Верещагин,— что за отчаяние такое. Это неудача, а не неуменье...

В сборном пункте на берегу, за островом, их уже ждали.

— Взорвали?

— Нет,— ответил Скрыдлов.

Все неодобрительно молчали, пока Новиков не поблагодарил моряков и художника за неравный бой.

Скрыдлова понесли на носилках, сделанных из весел, а Верещагин сгоряча пошел сам, но уже через версту ослабел и повис на плечах матросов. По дороге их встретили молодой генерал Скобелев и полковник Струков. Михаил Дмитриевич расцеловал Верещагина и только повторял:

— Какие молодцы, какие молодцы!

Огибая залив, моряки понесли раненых в деревню Парапан и не видели, как на противоположном берегу развернулась конная турецкая батарея, чтобы обстрелять их. Наблюдавший за турками в бинокль Скобелев сказал Струкову:

— Александр Петрович, беги, плыви, извести Новикова о том, что по ним сейчас начнут бить, пусть немедленно уходят с миноносками!

Полковник Струков бросился напрямик к морякам по воде. Проваливаясь, плывя, захлебываясь, он успел добежать и предупредить Новикова. Моряки снялись и

ушли. Верещагина и Скрыдлова предложили перенести в один из домов в глубине деревни. Скрыдлов согласился, а Верещагин уперся и рассмешил всех.

— Не надо,— сказал он.— В крестьянском домишке будут, наверное, блохи, а тут их нет.

6. НА ГРАНИ СМЕРТИ

Верещагин со Скрыдловым были первыми ранеными в турецкую войну семьдесят седьмого года. Все проявляли к ним особенное внимание и как один советовали перевезти их в госпиталь при главной квартире, но Верещагин отказывался ехать. «Быстро подлечусь и опять буду на ногах,— думал он.— Буду ехать потихоньку за авангардом армии. Для того я бросил в Париже начатые полотна, чтобы проваляться в госпитале и не увидеть войны?»

Он с удовольствием воспринял решение георгиевской думы, присудившей кресты Скрыдлову и Струкову. В журжевском госпитале Скрыдлову вырезали пулю из икры, и тот даже не охнул. Верещагину только промывали его сквозную рану и при каждой перевязке вытаскивали из нее пинцетом кусочки сукна и белья. Местный лекарь, «не то румын, не то австрийский еврей», сделал художнику подкожное впрыскивание морфина, и он не чувствовал боли. Ухаживали за ранеными плохо, однажды они несколько часов не могли никого докричаться, хотя у Скрыдлова голос был как труба. И встать оба не могли.

— Давай бить стекла в окнах,— предложил отчаянный лейтенант.

Раны воспалились и гноились. Пришлось все-таки согласиться на переезд в бухарестский госпиталь Бранковано.

Вскоре в госпиталь приехал сам император Александр II с большой свитой, в которой были румынский принц Карл и знаменитый врач Боткин. Царь положил Георгиевский крест Скрыдлову на грудь.

— Я принес тебе крест, который ты так славно заслужил,— сказал Александр II, говоривший «ты» только родственникам, друзьям и георгиевским кавалерам.— А у тебя уже есть, тебе не нужно! — добавил царь, обращаясь к Верещагину.

— Есть, ваше величество, благодарю вас,— сказал художник.

— Скрыдлов-то смотрит бодрее тебя,— сказал Александр, стараясь быть приветливым.

Скрыдлов и в самом деле стал быстро поправляться, а у Верещагина начались невыносимые боли, от которых не помогал даже морфин. Разыгралась тропическая лихорадка, полученная в странствиях по Востоку. Художника перевели в отдельную палату. При нем неотлучно была сестра милосердия Александра Аполлоновна Чернявская, отгонявшая веткой мух от его лица, менявшая раз десять за ночь намокавшее от пота белье. В забытьи перед ним открывались какие-то громадные пространства подземных пещер, освещенных ярко-красным огнем; в кипящей от жары бесконечности мимо него проносились миллионы человеческих существ на метлах и палках и дико хохотали в лицо...

Очнувшись как-то, он продиктовал сестре завещание. Картины просил продать, а деньги употребить на создание народного художественного училища. И еще надо бы обеспечить Елизавету Кондратьевну... Но как? Законной наследницей сделать он ее не может, потому что они не обвенчаны, и милые родственники обдерут ее до юбок. Если он останется жив, непременно обвенчается, хотя между ними уже нет прежней близости.

Окно было открыто, лицо обвевал ветерок. У него вдруг появилось ощущение, что он снова в детской и это няня Анна Ларионовна сидит поодаль, а там, за тремя дверями, сидят в гостиной мать и отец...

Как не хочется умирать! Зачем только он вздумал посмотреть, как будут взрывать монитор? И взрыва не увидел, и получил такую нашлепку, что теперь не увидит ни будущих работ, ни старых. И о том, что еще не закончено, не отделано, будут судить вкривь и вкось. И уже судят, хотя бы тот же Стасов... Хорошо бы сейчас очутиться в своей чудесной мастерской. Сидел бы, работал. Что же его оттуда гнало?

А гнало то, что захотел он увидеть большую войну и представить ее потом на полотне не такой, какой она по традиции представляется, а такой, какая она есть в действительности. И попался! Что делать, приходится умирать, но ведь мог и проскочить благополучно и написать все, что увидел бы! А может, и проскочит? Какое это будет счастье!

Все друзья осуждают его, считают блажью, дурью желание достигнуть цели, которой он задался,— дать обществу картины настоящей войны, не глядя на сражение в бинокль из прекрасного далека. Нужно самому все прочувствовать и проделать, участвовать в атаках, штурмах, победах, поражениях, испытать холод, голод, болезни, раны. Нужно не бояться жертвовать своей кровью, своим мясом, иначе картины его будут «не то».

Опытные врачи советовали разрезать и прочистить рану, но лечащий врач Кремниц (из чувства противоречия, наверно) не делал этого и еще укорял Верещагина, что тот не хочет выздоравливать, не хочет помочь ему, врачу...

И Верещагин, сильный человек, вдруг разрыдался:

— Доктор, доктор, что вы говорите! Я энергичен, деятелен, стал бы я из упрямства задерживать свое выздоровление! Просто слышу, что силы покидают меня... Спасите меня, доктор, решитесь на что-нибудь!

Выделения из раны уже имели подозрительный цвет. Явно начиналась гангрена. Врач наконец решился сделать операцию и вырезать разложившуюся плоть. Когда усыпленный хлороформом художник очнулся, к губам его поднесли бокал шампанского. От вина ли, от улыбок ли окружающих или оттого, что в организме его произошел перелом, Верещагин почувствовал легкость в теле. Вскоре появился аппетит, и дело пошло на поправку.

Едва ли не каждый день художника навещали в госпитале знакомые, приезжавшие по делам в Бухарест и с театра военных действий и из Петербурга. Он уставал от этих визитов, зато был в курсе всех событий.

Он уже знал, что Михаил Дмитриевич Скобелев предложил отцу переправить дивизию через Дунай вплавь и сам, чтобы доказать такую возможность, переплыл реку на коне. 15 июня Драгомиров начал переправу на плавучих средствах, под прикрытием расставленных Новиковым мин, у Систово, где недавно еще главнокомандующий турецкой армией Абдул Керим-паша напыщенно сказал своей свите, показав ладонь:

— Скорее тут у меня вырастут волосы, чем русские здесь переправятся через Дунай!

Захватив плацдарм, наши войска соорудили мосты. На правый берег перешла значительная армия. Болгары радостно приветствовали братьев-славян. Шесть болгарских дружин влились в передовой отряд генерала Гурко, кото-

рый наступал на Тырново, стремясь захватить Шипкинский перевал и перебросить часть войск за Балканский хребет, чтобы поднять восстание болгар. Молодой Скобелев, откомандированный в Габровский отряд, во главе его авангарда поднялся на Шипкинский перевал, куда пришел и генерал Гурко. Так встретились два генерала, которым суждено было прославиться в этой войне.

После взятия города Стара Загора турки перешли в отчаянное контрнаступление. Несмотря на героическую оборону русских и болгар, Стару Загору пришлось отдать. Турки вырезали двадцать тысяч мирного болгарского населения. Генерал Гурко отдал должное мужеству болгарского ополчения в приказе:

«...вы сразу показали себя такими героями, что вся русская армия может гордиться вами и сказать, что она не ошиблась послать в ряды ваши лучших своих офицеров. Вы ядро будущей болгарской армии. Пройдут года, и эта будущая болгарская армия с гордостью скажет: «Мы потомки славных защитников Эски-Загры (Стара Загора.— *Д. Ж.*)».

Западный отряд русских войск после овладения Никополем попытался взять Плевну, Михаил Дмитриевич Скобелев уже командовал отрядом. В обоих неудачных штурмах Плевны он прорывался до самых ее окраин, но его отряд был невелик, проявленную им инициативу не поддержали.

Дурные вести доходили до Верещагина, когда он был еще в плохом состоянии. В те тяжелые дни приехал к нему из Вологды другой его младший брат, Сергей Васильевич Верещагин. Василий Васильевич был очень слаб.

— Подойди поближе, наклонись ко мне,— сказал он брату.— Что тебя привело сюда?

— Не могу ли я быть чем-нибудь полезен тебе?

— Ничем, любезный друг. Если ты приехал только для этого, поезжай назад. Но если ты не прочь посмотреть на войну, съезди на главную квартиру и оттуда к действующим войскам. Послушай, как свистят пули. Когда вдоволь наслушаешься, уезжай обратно.

Художник с усилием нацарапал рекомендации, велел своему ординарцу-казаку отдать юноше свое походное снаряжение и лошадей.

Сергей был на Шипке, когда ее заняли в первый раз. Находясь при Скобелеве, где был и Александр Вереща-

гин, Сергей бесстрашно выполнял все поручения генерала.

— Какой-то он странный, ваш брат,— передавали в госпитале Василию Васильевичу люди, не спешившие подвергать себя опасности.— Ходит в атаку с плетью в руках!

В боях он был пять раз ранен, но в госпиталь не уходил. Под ним убили восемь лошадей.

Во время второго штурма Плевны, как рассказали Верещагину, генерал Скобелев с батальоном пехоты и горстью казаков дошел до самого города, нагнал страху на турок и тем самым спас от преследования и уничтожения разбитые и отходящие войска князя Шаховского. Скобелев подозвал во время боя Сергея Верещагина и сказал:

— Уберите всех раненых. Я не отступлю, пока не получу от вас извещения, что все подобраны.

В том же бою под Скобелевым убили лошадь. Художник Сергей Верещагин подскакал к нему и соскочил с седла.

— Не угодно ли вашему превосходительству взять мою?

— Не нужна мне ваша дрянная гнедая стерва! Не хочу, нет ли белой?

Белой не оказалось, и гнедая вынесла его из огня не хуже белой. У Скобелева был свой предрассудок — белая одежда и белая лошадь, говорил он, сохраняют ему жизнь. На самом деле ему хотелось, чтобы каждый солдат узнавал его и вдохновлялся примером генерала, не кланявшегося пулям. Оттого он и получил позже от турок прозвище «Ак-паша» — «белый генерал».

При взятии Ловчи высоко взлетела звезда Скобелева. Чтобы не губить зря солдат, генерал провел усиленную артиллерийскую подготовку.

— Развернуть знамена! Музыка, вперед! — командовал генерал, появлявшийся на белом коне в самых опасных местах. Его начальник генерал Имеретинский отправил главнокомандующему телеграмму, в которой впервые была употреблена фраза, часто повторявшаяся впоследствии «Героем дня — Скобелев».

Верещагина навещали в госпитале журналисты и государственные деятели. Много горького услышал он и о командовании армией, начальнике штаба Непокойчицком, про которого говорили, что он «купно с еврейским

товариществом морит армию голодом». Непокойчицкий ходил в друзьях у одного из руководителей компании Грегор — Горвиц — Коган и заключил с ними договор на поставку продуктов, но те считали это лишь хорошей сделкой, не брезговали никакими махинациями, снабжали армию гнильем и нажили миллионы.

Нередко приезжал канцлер князь Горчаков, человек, осведомленный едва ли не лучше всех. Неоднократно справлялись о здоровье Верещагина румынский король (тогда еще князь) и его супруга.

Госпиталь навещал великий Пирогов, престарелый уже, но не раз выручавший профессоров и ординаторов своими советами. Профессор Богдановский настаивал на том, чтобы Верещагин отказался от уколов морфина, так как это мешало его выздоровлению. Несмотря на жесточайшие приступы лихорадки, художник чудовищным усилием воли прекратил приемы наркотика. Рана обильно кровоточила. Появились пролежни. Верещагин, несмотря на отговоры, заставил себя встать и к концу июля уже делал первые шаги по палате. Начав ходить, он приглядывался к работе сестер милосердия и восторгался ими. «Даже там, где доктор не наклонялся над раной и не осматривал без крепкой сигары во рту — до такой степени бывал силен запах,— сестрица, как нагнется над гнойным поражением, так и не разогнется, пока всего не промоет, не прочистит, не перевяжет»,— записал Верещагин.

Еще не поправившись, с еще кровоточащей раной, Верещагин решил выписаться и выехать в действующую армию. Не помогли никакие уговоры...

7. ПЕРЕД ПЛЕВНОЙ

Верещагин торопился к Плевне. Милая сестра Чернявская («мама», как он ее называл) решила поехать в передовой госпиталь, и такая попутчица в его состоянии была очень кстати. До Журжева ехали поездом, а оттуда берегом Дуная в фаэтоне, влекомом тройкой лошадей. После двух с половиной месяцев пребывания в госпитальной духоте речные дали, чистый воздух вызвали необыкновенный подъем духа, ощущение полноты жизни.

Понтонный мост через Дунай был цел и невредим, хотя возле Рущука по-прежнему стояли турецкие мониторы и пароходы — миноноски Новикова напугали их раз и навсегда, и они боялись высунуть нос за пределы круга, за-

щищаемого крепостной артиллерией. В Систово художник расстался с Чернявской. Он сделал несколько эскизов и выехал под Плевну, так как, по слухам, там готовилось что-то интересное.

Местность под Плевной поразила его своей неживописностью, безотрадностью даже. Какие-то холмы на горизонте, среди них — грязный восточный городишко. Видны были широкие короткие черточки далеких редутов. Наши войска залегли на равнине. Слышалась пальба, над землей стлался дым. Никакой красочности, никакой крепости с башнями, воротами и рвами, которую штурмовали бы славные воины.

На одном из холмов расположились царь и главнокомандующий со своими свитами. Главнокомандующий заметил Верещагина и бросился обнимать его:

— Как! Вы! Молодчина, молодчина вы эдакий! Как ваше здоровье? Что рана? Видели ли вы государя? Пойдем к нему!

Он потащил художника на холм, с которого Александр II, сидя на складном стуле, наблюдал в бинокль бомбардировку Плевны.

— Здравствуй, Верещагин,— сказал он с любезной улыбкой.— Как твое здоровье?

— Мое здоровье недурно, ваше величество.

— Ты поправился?

— Поправился, ваше величество.

— Совсем поправился?

— Совсем поправился.

Спрашивать царю больше было нечего. У художника эти равнодушные знаки внимания вызывали лишь неловкость и досаду. Царь силился придумать еще вопрос, но тут художник (с точки зрения придворного этикета) совершил бестактность. Стоя с непокрытой головой под моросившим дождиком, он почувствовал назревавший насморк и, подавив желание чихнуть, надел фуражку. Не спросив дозволения! Царь тотчас отвернулся и поднес к глазам бинокль.

Наступила минутная неловкость. Царская свита не знала, как себя вести по отношению к художнику. Выручил князь Суворов, схвативший Верещагина за руку и потащивший в толпу.

— Земляк, земляк! Ведь я Суворов! Ваш, новгородский...

Тогда и другие — румынский князь, генералы — начали жать ему руку и справляться о здоровье.

Верещагин услышал, как Суворов стал говорить царю о Сергее Верещагине:

— Он тоже художник, ваше величество. Состоит волонтером-ординарцем при молодом Скобелеве. У него пять ран, под ним убито восемь лошадей! Наградите его, ваше величество!

— Пусть представят к солдатскому Георгиевскому кресту,— сказал царь.

Обстрел Плевны продолжался. Плевна, Плевна! Слава русского солдата и позор командования русской армии! И это после успехов, после переправы через Дунай, взятия Никополя и набега Гурко за Балканы... Ведь брал же Плевну русский отряд. Легко взяли, легко отдали город, а турки стали укреплять его, возводить редут за редутом, и вот теперь уже позади два неудачных штурма, громадные потери. Через несколько дней, 30 августа, будет третий штурм, приуроченный ко дню тезоименитства Александра II. И останется в народе песня об этом дне:

> Именинный пирог из начинки людской
> Брат подносит державному брату...

Это по поводу Плевны Верещагин сделал запись: «Как мало, как поверхностно мы изучаем историю, и как зато мало, как поверхностно она учит нас!»

Страшная была паника после того, как турки отбили второй штурм. До самой переправы через Дунай бежали некоторые. Потоком бегущих было увлечено и начальство. И лишь Скобелев по примеру Суворова, встречая толпы обезумевших от страха беглецов, кричал им:

— Так, братцы, так, хорошо! Заманивайте их! Ну, теперь довольно! Стой! С богом вперед!

Теперь Плевна обложена с трех сторон русскими и румынскими войсками. На блокаду не хватало сил. Верещагин спросил одного из штабных генералов:

— Неужели опять будут штурмовать?

И получил ответ:

— Что смотреть на этот глиняный горшок — надобно разбивать его.

«Старая история,— подумал художник,— шапками закидаем».

Он думал о братьях, состоявших по его рекомендации ординарцами при Михаиле Дмитриевиче Скобелеве. Алек-

сандр эгоистичен и трусоват, служил в драгунах и не ужился, стал управлять доставшимся ему большим имением и доуправлялся до продажи его. Зато Сергей не срамит имя Верещагиных... Художник решил съездить на левый фланг, чтобы повидать братьев и Скобелева. По дороге заглянул на одну из батарей. Экипаж привлек внимание турок, решивших, что приехало какое-то начальство. Начался обстрел...

Недовольный этим, командир батареи начал стращать художника:

— Вот тут, где вы сидите, вчера двоих убило, а троих ранило...

Но Верещагин спокойно зарисовывал расстилавшуюся перед ним местность, редут, окутанный дымом...

— Ну и обстрелянный же вы,— с уважением сказал командир батареи.

Не добравшись до левого фланга засветло, художник поворотил назад. Накануне штурма к нему приехал «на минутку» Александр Верещагин. Художник, живший в одной хате с полковником Струковым, с ним и с братом отправился обедать к главнокомандующему.

— Верещагины,— сказал за обедом великий князь,— государь приказал послать от своего имени вашему штатскому брату Георгиевский крест.

После обеда, вернувшись к себе, художник сказал Струкову:

— Да ведь грязь-то какая — по колени! Неужели по такой грязи можно идти на штурм?

— Так и пойдут,— ответил тот.

— Да с чем же, с какими силами?

— Пятьдесят пять тысяч наших и тридцать тысяч румын, так решил его высочество. Приказ отдан, отмены не будет.

— Знаешь что?— сказал брату Александр Верещагин.— Мне что-то не хочется быть завтра в деле, у меня есть предчувствие, что меня убьют.

— Вздор, не убьют, не беспокойся,— насмешливо сказал художник.— Много, если ранят, так это ничего, вылечим. И не забудь же, передай брату о награждении. Да смотри будь молодцом! Прощай!

Верещагин больше беспокоился о судьбе Сергея, зная безоглядность его.

Если бы не рана, разве проторчал бы он весь этот день на холме в мучительном неведении, наблюдая издали проклятое сражение?

Во время завтрака Верещагин сидел рядом с великим князем Николаем Николаевичем, который суетливо теребил свои жидкие бакенбарды, а потом, зажав голову ладонями, стал нервно повторять:

— Как наши пойдут, как пойдут сегодня!..

Полководец он был никакой. Штурм назначили на три часа дня, а диспозицию еще не разослали. Моросил дождь. Глинистая почва так облипала сапоги, что ходить было трудно, не то что бежать в атаку. Генералы помалкивали. Что скажешь, если государю обещано взятие Плевны в день его именин!

На холме собрались царь со свитой, главнокомандующий. Верещагин познакомился с князем Баттенбергом, красивым молодым человеком, будущим государем Болгарии. К художнику подошел граф Муравьев, министр иностранных дел, тоже будущий...

— Позвольте мне, как русскому, осведомиться о вашем дорогом для всех нас здоровье?

О здоровье же спрашивал и доктор Боткин. Он увел Верещагина в кусты, чтобы осмотреть рану.

— Однако, разворотило-таки вам! — сказал он.— Как вы думаете, возьмем Плевну?

— Сомнительно...

— Позор! — понизив голос, продолжал Боткин.— Ничему не научились... Терпеть поражения с такими солдатами! Остается надеяться на русского человека, на его мощь, на его звезду в будущем. Может быть, он сумеет выбраться из беды, несмотря на этих стратегов и интендантов. Стóит поближе приглядеться к русскому солдату, к его уму, находчивости и одновременно покорности, и начинаешь со злобой относиться к тем, кто не умеет руководить им...

Темные облака и дым над полем битвы — вот и все, что было видно с холма. Царь и его свита стояли на коленях. Священник служил молебен по случаю именин царя, прося высшие силы «сохранить воинство его». Вдруг раздался сильный ружейный треск и с позиций донеслось громкое «ура!». Что же это? Штурм назначен на три часа

дня... С войсками нет никакой связи. Что же там происходит?

На холме поставили стол со стульями для царя, его брата и генерал-адъютантов и подали завтрак с шампанским. Александр II поднял бокал:

— За здоровье тех, которые там дерутся,— ура!

— Ура-а!

Начался штурм. Выстрелы слились в беспрерывный рев. Чтобы хоть что-нибудь увидеть, Верещагин вместе с князем Карлом румынским и старым Скобелевым, прихрамывая, спустился вниз и стал в кустах, где изредка шлепались гранаты с Гривицкого редута.

Гранаты косили шеренги солдат, медленно продвигавшихся по скользкой и вязкой почве. Солдат, приблизившихся к редутам, расстреливали оттуда картечью. Войска стали отходить.

— Отбиты! — сказал румынский князь, не спускавший глаз с правого фланга, где сражались его полки. Он был смертельно бледен и пошатывался.— Коня, скорей коня!

Князь ускакал, а Верещагин спросил оставшегося румынского полковника:

— Что это он так перебудоражился?

— Очень просто,— сказал с неожиданной откровенностью румын.— Прекрасно знает, что не усидит на троне, если его разобьют.

— Миша, как там Миша? — беспокоился о сыне старый Скобелев.

Художник вернулся на холм, где царь по-прежнему сидел на стуле и тщетно пытался разглядеть, что же делается на поле битвы. За ним толпой стояли осанистые генералы. Не скакали ординарцы, не отдавались приказы... Кучка людей в богатых мундирах и при саблях на холме и густые клубы дыма в долине. «Армией никто не руководит!» — пришло вдруг в голову художнику. Эта картина врезалась в его памяти, и потом он написал ее, дав пищу для сотен толкований. «Под Плевной».

В шесть часов вечера из сплошного дыма показался всадник в широкополой шляпе. Это был американский агент капитан Грин, единственный вестник с поля битвы. Он сказал, что штурм отбит повсюду. На лицах царя, главнокомандующего, свиты был ужас. Никто и не подумал узнать, что же на самом деле происходило у плевенской твердыни. Никто ничего не предпринял...

Лишь поздно ночью штаб узнал о действительном положении дел, да и то со слов случайно приехавшего офицера. Американец соврал. На Гривицком редуте развевались русские и румынские знамена. На левом фланге отряд молодого Скобелева захватил и удерживал несколько редутов, названных потом «Скобелевскими». Они висели над самой Плевной, путь в город был открыт...

Все повеселели. До утра офицеры сидели у костра, шутили. Художник радовался, хохотал так, как не хохотал во всю свою жизнь. И, как оказалось, по старой примете, не к добру.

Утром с левого фланга, от Скобелева, прибыл с донесением офицер. Увидев Верещагина, он подошел к нему:

— Я должен сообщить вам, Василий Васильевич, что один брат ваш убит, а другой — ранен.

Художник понял сразу: Сергей — убит, Александр — ранен.

9. ПОСЛЕ АТАКИ

Потом говорили, что всю неделю после злополучного дня художник Верещагин казался окружающим полупомешанным. Он настойчиво искал тело брата. Взгляд его был отрешен. Он напряженно думал. Думал о героизме и страданиях одних и глупости, тщеславии и подлости других.

Теперь можно восстановить события этого дня.

Сотник Александр Верещагин, расставшись со старшим братом, вернулся на левый фланг. Скобелев, наверно, уже был на позиции. Александр ехал по раскисшей дороге. По небу медленно ползли низкие свинцовые тучи. Сотник ежился. «Неужели,— думал он,— я самый трусливый, самый малодушный? Отчего я не на позиции, словно беглец какой! Что подумает обо мне Скобелев?»

Завидев высокую фигуру Скобелева, ходившего взад и вперед по дороге и потиравшего по обыкновению руки, Александр тихонько сполз с лошади и, точно школьник, который опоздал в класс, постарался как можно незаметнее смешаться с толпой офицеров.

Приближалось время атаки. Скобелев велел подать коня, офицеры бросились к своим лошадям. В это время подъехал Сергей Верещагин, в короткой черной куртке, на маленькой турецкой лошадке.

— Сережа,— крикнул ему Александр,— Василий Васильевич просил тебе передать, чтобы ты возвратил ему вещи, повозку, краски, а то ему работать нельзя.

— Не время, братец мой, теперь об этом разговаривать! — возразил Сергей Верещагин и, перекинувшись еще несколькими словами с братом, хлестнул лошадь плетью под брюхо и карьером понесся на позицию.

Больше они не увиделись.

Художник Верещагин потом допытывался у брата Александра, почему тот хотя бы не сказал Сергею о награде, о Георгии. Зависть, обыкновенная зависть трусоватого человека. Зависть к родному брату.

«Он отложил это на после, а после оказалось поздно,— записал художник,— братишка был убит наповал. Разбери, кто может, все изгибы человеческого сердца!»

Михаил Дмитриевич Скобелев ехал впереди, изредка обращаясь с вопросами к своему начальнику штаба Куропаткину. Они объезжали полки, напряженно ожидавшие сигнала к атаке. Турки изо всех сил палили по всадникам, но Скобелев по-прежнему ехал медленно. Пули свистели, и Александр Верещагин старался все забирать левее, прячась от пуль за Куропаткина и Скобелева. Но это не помогло, раздался щелчок, и на сапоге у щиколотки показалась кровь. Александр вскрикнул. Боли он не чувствовал, но ему казалось, что его убили.

— Стой! Стой! Кто-нибудь, помогите!

Скобелев обернулся, мельком взглянул на Александра и, поняв, что рана несерьезная, поехал дальше.

В три часа Скобелев двинул в атаку Владимирский и Суздальский полки, но они не дошли до гребня Зеленых гор, где были редуты. Вслед пошел, развернув знамена, под музыку, Ревельский полк. Следом двинулся в бой третий и последний эшелон — Либавский полк. У генерала оставался один резерв — он сам. Пришпорив коня, Скобелев поскакал вперед, скатился с лошадью в ров, высвободился из-под нее и одним из первых ворвался в редут Каванлык. Через полтора часа пал и редут Иса-ага. Турецкая армия была рассечена надвое. Плевна висела на волоске. Но тщетны были просьбы о подкреплении. Турки начали бешено контратаковать. Тогда-то и погиб Сергей Верещагин.

«Почему же Скобелева не поддержали? — писал Василий Васильевич Верещагин.— Во-первых,— говорю это

сознательно,— потому что он был слишком молод и своими талантами, своею безоглядною храбростью многим намозолил глаза... Во-вторых, потому что на главной квартире понятия не имели об успехах штурма 30 августа. Виноват, конечно, штаб, но с другой стороны, виноваты и начальники частей: я свидетель того, что и главнокомандующий и государь были плохо извещаемы об успехах и неуспехах дня...»

Силы Скобелева таяли. Он потерял едва ли не половину людей. Художник Верещагин подоспел, когда уже геройски погиб майор Горталов, отстаивая редут Каванлык, когда уже, подобрав раненых, скобелевские части отошли. Среди раненых Сергея не было. Его тело осталось там...

Скобелев рыдал, как ребенок.

— До третьей Плевны я был молод, теперь я старик! — сказал он.

Верещагин все еще на что-то надеялся, искал брата, спрашивал всех встречных, особенно врачей.

— Верещагин, Верещагин, гм,— говорили ему.— Фамилия-то известная! Кажется, убит, а впрочем, право, не знаю...

А раненых тащили и тащили на носилках, тысячи раненых...

По воспоминаниям Верещагина, война была безобразна. Где они, красавцы, лежащие картинно, возведя очи к небу и зажав руками рану? Это не люди лежат, это комочки грязно-зеленоватого цвета, скорчившиеся, прикрытые дырявыми, вонючими шинелишками. А из-под шинели глядят воспаленные глаза, и «помертвевшие губы шепчут слова прощания с батюшкой, матушкой, Грушкой или Анюткой». Художник заметил — как ни тяжка рана, как ни упал дух, все-таки последняя мысль солдата вертится около родного гнезда...

Он ходил из палатки в палатку на перевязочных пунктах, видел кучи отрезанных рук и ног, раненых и простуженных, заедаемых блохами и вшами, видел кучи мяса и гноя, наросшие на местах, где были раны. Он присутствовал при операциях профессора Склифосовского, резавшего живое тело без хлороформа, который весь вышел. Видел сестер, залитых кровью и падавших от изнеможения...

Писатель Василий Иванович Немирович-Данченко 6 сентября записал в своем дневнике:

«Я встретился с известным художником Василием Васильевичем Верещагиным. Он был сильно потрясен смертью своего брата Сергея.

— Мучит меня одно... Может быть, братишка теперь лежит раненый, может быть, он и не умер вовсе...— терзался Верещагин, раненый сам...

— Да ведь говорят, что по тому месту, где упал ваш брат, турки прошли, а уж они в живых не оставят.

— Мне вон рассказывали, некоторые в бинокль видели, как оттуда раненые руки подымают, ползают там... А подойти нельзя.

— Пухнет он, поди, теперь, если умер.

И Василий Васильевич вздрагивал, представляя себе эту картину.

Сам наш знаменитый художник почти уже здоров. Он было попробовал поездить верхом — да рана дала себя знать, опять началось нагноение. Бездействие мучит его до крайности. «Стыдно на людей смотреть — ничего не делаю». Третий брат его — казак Владикавказского полка, тоже ранен в ногу и лежит в бранкованском госпитале в Бухаресте».

И еще мучило Верещагина то, что он и в самом деле просил Сергея вернуть повозку и краски. Надо было работать, рисовать, писать. И все же он казнился...

Казнился он и тем, что нечаянно предсказал рану Александру. Рана была легкая, пуля засела в мясе возле пятки, ее легко извлекли.

— Останусь калекой,— говорил Александр.

— Ничего, мы еще потанцуем,— утешал его художник. Наложив в свою коляску подушек, он усадил в нее брата и отправил в Бухарест.

На другой день главнокомандующий держал военный совет — не снять ли осаду Плевны. После совета молодой Скобелев подошел к Верещагину. На совете Михаила Дмитриевича произвели в генерал-лейтенанты и дали 16-ю дивизию. Скобелев со слезами на глазах вспоминал о Сергее Верещагине.

— Он очень, очень был полезен мне,— повторял Скобелев.

Художник интересовался решениями военного совета. Генерал был недоволен.

— Представьте себе, Василий Васильевич, человека,— говорил он, нервно дергая Верещагина за пуговицы своими худыми пальцами,— несведущего в художестве. Но

накладывающего на холст разные краски: красную, синюю, белую, зеленую, накладывающего долго, старательно, но из этого накладывания ничего не выходит. Так и тут...

Скобелеву не по душе было осторожное решение прекратить активную деятельность против Плевны. Из Петербурга вызывались гвардия и знаменитый военный инженер Тотлебен. Скобелев был раздражен из-за упущенной победы. И вообще он отпросился в Бухарест, собираясь крепко кутнуть, разрядиться...

У Верещагина нервы тоже были натянуты туго. К тому же рана опять воспалилась, но два дня отдыха поправили дело. Получив свои художественные принадлежности, он лихорадочно работал. Он был достаточно опытным человеком, чтобы знать, почему во время военных действий не заболевают люди, существующие в самых жутких условиях. И почему их начинала косить смерть, как только кончалась война и казалось, что все позади... Он работал, работал, работал.

10. НА ШИПКЕ

Шипкинский перевал в свое время взяли легко, но отстоять его оказалось совсем непросто. Армия Сулеймана-паши непрерывно атаковала позиции генерала Радецкого, под началом которого были и русские и болгары. Укрепления на перевале простреливались со всех сторон. Один офицер германского генерального штаба сказал, что такую позицию мог выбрать лишь умалишенный и что ей не продержаться и трех дней. А она держалась месяц за месяцем. Сулейман-паша назвал Шипку «сердцем Балкан» и «ключом к Болгарии» и был прав. Но поделать ничего не мог. Русские батареи на горе Святого Николая и других возвышенностях держали турок под перекрестным огнем. Те гибли тысячами и снова шли... В минуты передышек жители болгарских деревень доставляли своим воду, пищу, выносили раненых. Шесть тысяч ведер чистой и холодной воды привозили они на своих осликах каждый день по дороге, осыпаемой пулями, и еще останавливались по пути, курили, смеялись...

Направляясь на Шипку через Тырнов и Габрово, Верещагин приглядывался к болгарам. Перед самым Тырновом он поднялся в пещерный монастырь, откуда был виден город, долина с рекой за ним, Балканы,— место удивительно красивое. Старцы рассказывали ему о подви-

гах, но не духовных, а иных, кровавую летопись открытой и подпольной борьбы с турками, в которой и они принимали участие. И тем более им было интересно наблюдать и слышать из своего горного гнезда народный восторг встречи русских войск, военную музыку, крики, объятия...

Вскоре Верещагин писал Стасову: «Трудно Вам передать все ужасы, которых мы тут насмотрелись... По дороге зарезанные дети и женщины... масса бродящего и подохнувшего скота, разбросанных и разбитых телег, хлеба, платья и прочее. Отовсюду бегут болгары с просьбой защиты... У меня целовали руки с крестным знамением, как у Иверской... Духовенство с крестами и хоругвями... депутации, народы разных стран и физиономий — все это гудело, орало. Женщины и старики крестились и плакали с самыми искренними приветствиями и пожеланиями».

Тырнов ему очень понравился. «Благорастворение воздухов и обилие плодов земных» не могли испортить даже сточные канавы, проходящие прямо по улицам. Художник остановился в одном болгарском доме, где хозяева просили его побольше говорить с другими по-русски. Звуки родственного языка приводили их в восторг.

С первых же дней в Болгарии солдатам и офицерам бросилось в глаза, что, несмотря на стеснение их политической свободы, болгары живут несравненно зажиточнее русских. Да, турки режут их, с церквей сняты колокола, но большая часть домов куда лучше тех, в которых живет три четверти России. В домах порядок, закрома набиты добром. Иные говорили: «Кроем чужую крышу, когда своя хата течет...» Но Верещагин не поддерживал подобных разговоров, хотя проблемы взаимоотношений русских и болгар оценивал весьма трезво...

Город Габрово, стоящий на реке, в ущелье, с красиво выстроенными домами, обвитыми виноградом и зеленью, по выражению художника, «так и просился на картинку». Несмотря на близость Шипки, массу раненых и беженцев, в городе кипела жизнь, велась бойкая торговля.

По прославленному Шипкинскому шоссе Верещагин добрался до землянки генерала Радецкого и застал его за излюбленным занятием... за картами. Генерал сидел в глубоко нахлобученной фуражке и гнул углы. Физиономия у него была добродушная.

— Винтите? — спросил он художника простуженным басом.

— Нет, ваше превосходительство.
— Располагайтесь.

Наутро Верещагин выглянул из землянки и ахнул. Над расположением русских нависла Лысая гора, откуда туркам все было видно как на ладони. Хромая, с палочкой, со складным стулом и ящиком красок в руках, художник отправился на позиции. Впрочем, как говорил потом военный инженер и композитор Цезарь Кюи: «У нас не было ни тыла, ни флангов, почти не было и фронта». Верещагин же вспоминал, что путь его постоянно устилался пулями, «как розами». Чувство было пренеприятное — возьмешь вправо, и пули летят правее; повернешь налево, и пули летят туда. «Пели» эти комочки свинца по-разному, каждый на свой лад. Верещагин примечал, как ударяются пули: о камень — стучат, в песке — шуршат, а в тело входят с едва заметным звуком «тсс». Только когда ударит в тебя самого, ничего не слышишь.

Он не забывал раненого брата и написал ему в госпиталь:

«...Все время стреляют и пулями, и гранатами, и бомбами, похуже Плевны — просто рисовать нельзя. Сел, например, в одном из маленьких домиков, находящихся на позиции, чтобы нарисовать долину Тунджи, или Роз, как получил одну за другой две гранаты в крышу. И меня и краски мои засыпало землею и черепицею; даже дорога обстреливается и проезжать по ней опасно. Рана моя совсем зажила, хотя кожица еще нежная. Но я уже всегда езжу верхом и недавно с Шипки проехал 120 верст. Скажи это докторам и кланяйся им всем... Никогда не забуду внимания, которым я был там окружен, несмотря на то, что страшная моя азиатская лихорадка делала меня очень беспокойным и задала им немало работы».

Услышав о деле под Горным Дубняком, художник выехал туда на второй же день. Об этом он и писал брату. По дороге было время поразмыслить о том, что он увидел и услышал на Шипке.

Местные жители предупреждали, что на Шипкинском перевале зимовать нельзя, рассказывали о страшных осенних и зимних бурях. Художника беспокоило то, что солдаты легко одеты. Затребованных полушубков и валенок интендантство присылать и не думает: все передоверено нечистоплотным людям...

Сбылись худшие опасения художника. Вскоре после его отъезда начались холода. Одежда солдат на ветру

промерзала до тела, образуя сплошную ледяную кору. В землянки набивалось по многу солдат, стены и потолок «отходили», и уже через два часа оказывалось, что люди лежат в воде. Промокшие, они потом выходили на мороз... В мороз ружья Бердана не стреляли. Начальник прибывшей на подмогу 24-й дивизии самодур Гершельман требовал, чтобы солдаты вели себя «щегольски» и надевали башлыки только на часах. «Бывали случаи,— писал Н. Бороздин,— разводящий унтер-офицер идет по постам со сменой. Часовой стоит у бруствера, по положению, с ружьем на плече. Смена подходит к нему вплотную, он не шевелится. Унтер-офицер окликает его: «Часовой! Ты спишь?» В ответ — гробовое молчание. «Эй! Проснись!» Унтер-офицер толкает часового, и на ледяной пол падает труп, с характерным хрустом замороженного мяса. Однажды оказалось, что всю западную позицию охраняли... трупы».

Погибла едва ли не вся дивизия.

А в сводках неизменно сообщалось: «На Шипке все спокойно!»

11. С ГУРКО

Когда Верещагин приехал под Плевну, Горный Дубняк был уже взят. Прибывшая из Петербурга гвардия поступила под начало генерала Гурко. Ему было приказано отрезать турок, засевших в Плевне, от их тылов. На шоссе в Софию и были укрепленные пункты турок — Горный Дубняк, Дольный Дубняк и Телиш. Гвардейцы шли на штурм сомкнутым строем и гибли тысячами. Тогда они сами рассредоточились, стали наступать цепями, перебегать и переползать опасные места. Так возникла новая тактика.

Художника представили генералу и перезнакомили с офицерами, составлявшими штаб. Они сгруппировались в нечто вроде клуба, который называли почему-то «английским», столовались вместе, на паях. Верещагин подружился с ними и вошел в «клуб».

Увидев тысячи трупов перед редутом, художник выразил удивление, отчего перед штурмом мало применялась артиллерия. Гурко ответил заносчиво:

— Ничего, впоследствии разберутся в деле под Горным Дубняком. Оно войдет в историю военного искусства.

— А мне кажется, что не стоило класть четыре тысячи

человек из-за небольшого редута. Результата можно было достигнуть действием одной артиллерии.

И генерал, и художник были по-своему правы. Впрочем, несогласие их не омрачилось неприязнью. При взятии Телиша была применена «артиллерийская атака», деморализовавшая турок. После шести часов стрельбы в редут был послан князь Цертелев, близкий друг недавно умершего поэта Алексея Константиновича Толстого. Он вез записку:

«70 орудий направлено на вас. Если вы не сдадитесь немедленно — все будете перебиты».

Подружившись с Верещагиным, Цертелев признавался потом, что чувствовал себя так, будто клал голову в пасть льву. Но турецкий комендант не обладал львиным характером, он постарался уцепиться за эту записку и сдался.

Гурко, Верещагин и весь штаб стали свидетелями трогательной сцены. Солдатик-артиллерист гладил и целовал свое орудие, приговаривая:

— Спасибо тебе, голубушка, поработала ты на нас и заработала!

Привели телишского пашу, вертлявого человечка с елейными манерами, и спросили, где находятся русские раненые от дела третьего дня. Паша заегозил и все уходил от ответа...

Вскоре художник сделал страшное открытие. Как-то он съехал с шоссе на ровное место, покрытое высокой, сухой травой, и увидел две фигуры. Это были священник и причетник из солдат, совершавшие прямо в поле заупокойную службу. Художник спешился и подошел поближе. В траве лежали отрезанные головы русских солдат. Окончив службу, батюшка показал художнику на множество бугорков свежей земли, из которых торчали руки и ноги...

Вернувшись на Софийское шоссе, Верещагин встретил Струкова, ставшего уже генералом.

— Подумайте только, Александр Петрович, какую штуку сыграли турки с нашими егерями!

— Что такое?

— А вот поедем, увидите.

Уже на другой день в поле было откопано около полутора тысяч трупов. Все были когда-то крепкими и красивыми гвардейцами, а теперь лежали обобранные, голые и страшно изуродованные. Турки добивали раненых с чу-

довищной жестокостью, резали ремни из спин... Художник поклялся, что напишет картину этой панихиды...

Оставив за спиной Плевну, армия Гурко двинулась к Балканам. Турки отходили, огрызаясь. Солдаты, целыми ротами, втаскивали на горы пушки. Гурко не знал снисхождения. «Втащить зубами!» — приказывал он. И втаскивали. И громили турок. В одном месте генерал в присутствии Верещагина заметил воз, который волокли в гору десятки солдат.

— Чья повозка? — спросил Гурко.

— Полкового командира, ваше превосходительство.

— Позвать сюда полкового командира!

Явился полковник и поднес дрожавшую руку к козырьку.

— Вы полковой командир?

— Точно так, ваше превосходительство!

— Вашу хурду-мурду тащит по грязи целая рота солдат — стыдитесь, полковник!!! В кручу спущу вашу повозку!..

Во время тяжелых боев у Шандорника художник часто выполнял обязанности генеральского ординарца, скакал с приказаниями, доставлял просьбы о подкреплении.

Гурко стоял на высотке и, если замечал, что какая-нибудь из частей дрогнула, кричал громовым голосом:

— Стыдитесь, срам!!!

Там-то Верещагин и увидел совершенно необычную картину. Надвинувшееся облако расступилось и обвило сражавшихся кольцом, которое в лучах заходящего солнца засияло всеми цветами радуги — от красного в свете до зеленоватого и синеватого в тени.

Все ахнули, а Гурко сказал художнику:

— Это уж по вашей части!

Верещагин достал краски и кисти и тотчас принялся за работу.

Он дошел с Гурко до Орхание, где услышал, что Плевна наконец пала.

12. ОПЯТЬ ПЛЕВНА

Все-таки он не терял надежды разыскать тело Сергея. Комендантом в захваченной Плевне был Михаил Дмитриевич Скобелев. Генерал обрадовался художнику, предложил остановиться, жить и харчеваться у него. Скобелев и окружавшая его молодежь занимали большой дом.

— А теперь, Василий Васильевич, загляните в вертеп, увидите много старых знакомых.

— Какой вертеп?

— Это туда, по коридору...

В большом помещении, названном Скобелевым «вертепом», действительно собрались многие старые знакомые художника. Веселая компания пела хором.

— Вниз по матушке по Волге...— степенным баском запевал начальник штаба полковник Куропаткин, щуплый и некрасивый, и помахивал руками, дирижируя. Скобелевский штаб отдыхал...

Верещагину рассказали, что Тотлебен сдерживал Скобелева при взятии Плевны, но в конце концов тот сам повел казаков на турецкие траншеи. Во время турецких контратак его дважды контузило. Многие считали, что Скобелев рискует жизнью без надобности. Он и в самом деле иной раз зря позировал под обстрелом (солдаты поговаривали, что его заколдовали в Хиве). Нежелательным посетителям передовых позиций он предлагал совместную прогулку под огнем и отбил у высоких визитеров привычку приезжать без дела.

На другой день Верещагин отправился к местам боев. Трупы русских были уже убраны, а турки еще валялись повсюду. У костров пытались согреться пленные. На левом фланге, где сражались скобелевцы, трупы русских еще не были убраны. Художник помнил, что брат был в черкеске и в ситцевой с крапинками рубашке. Он вглядывался в уже разложившиеся трупы и плакал. Чтобы отвлечься, он решил набросать картину побоища. Взялся писать, потом разрыдался и бросил. За слезами не видел ничего.

Кто-то сказал ему, что Сергея будто бы похоронили, и даже показал могилку. Верещагин увеличил насыпь и посадил по углам могилы кусты.

По дорогам брели пленные турки. Они валились, их вдавливали в снег, шли по ним...

Встречные солдаты теперь глядели на них с состраданием и говорили:

— Что, брат турка, плохо дело! Вот и знай, как воевать с нами, и другу и недругу закажи...

Плевна — «это логовище дикого зверя». Так сказал Верещагин, когда с Немировичем-Данченко и доктором Стуковенко обходил плевненские турецкие госпитали. Дома с турецкими ранеными по приказанию турецких же па-

шей наглухо заколачивались, и люди умирали взаперти от голода. Русские власти разыскивали эти дома и поручали оставшихся в живых заботам врачей.

Молодой Скобелев торопился привести Плевну в порядок. Город собирался навестить Александр II перед своим отъездом в Россию. Царь никому не забыл сказать «милостивое» слово. Разговор его с художником не отличался от прежнего.

— Здравствуй, Верещагин! Ты поправился?

— Поправился, ваше величество.

— Ты совсем поправился?

— Совсем поправился, ваше величество.

Скобелев лихорадочно работал, готовясь к походу за Балканы. И в самой Плевне было достаточно дел. Назначенный помогать ему, старый Скобелев ничего не делал и дал перепортиться массе прекрасных ружей и боеприпасам, брошенным турками. За столом между отцом и сыном велись такие разговоры:

— Дай денег! — требовал молодой Скобелев.

— Миша, оставь! — гнусавил Дмитрий Иванович.

— Говори: дашь денег?..

— Дам, дам, только оставь!

Молодой Скобелев сорил деньгами, кормя целую ораву теснившегося вокруг него народа и ссуживая ими без отдачи всякого, кто умел разжалобить его.

Художник Верещагин переписывался с братом Александром, лежавшим в бухарестском госпитале, стыдил за капризы и советовал: «Скобелев зовет тебя к себе, и я думаю, что если он пойдет вперед, то тебе не следует уходить от него».

В Плевне художника застало еще одно письмо Александра. Тот хотел по выздоровлении улизнуть из действующей армии в Петербург и просил протекции. Художник тотчас написал ему:

«Я никак не советую тебе теперь проситься на какое-либо место в Петербурге, потому что ты еще не калека...»

От гнева у художника дрожали руки. И это Верещагин! Но он старался быть в письме сдержанным.

«Уходить с театра войны офицеру, легко раненному, не следует, и я теперь не возьму на себя кого-либо просить о твоем переводе, да и тебе не следует покушаться на это — не советую... Я советовал бы... тебе не говорить того... что ты «не пойдешь более под пули!». Поверь,

что все... не одобрят таких выражений в устах юного офицера, казака, да еще Верещагина... Не невозможно, что в нынешнем году армия пойдет за Балканы и тогда тебе... следует пойти туда же... Смотри же не малодушничай, помни, что время для России тяжелое, и не переходи добровольно с первого ряда в раек...»

Александр Верещагин, выписавшись из госпиталя, вернулся в Плевну. Расспросив, где комендантский дом, он попал к самому обеду. За громадным столом на первом месте восседал старый Скобелев в своей синей гвардейской черкеске. По правую руку сидел молодой Скобелев. Среди генералов и офицеров Александр увидел и брата, Василия Верещагина, в драповом пиджаке, с Георгием в петлице.

Михаил Дмитриевич был весел, он хохотал и разговаривал громче всех.

— А-а-а, Верещагин, здравствуйте, батенька! Как ваше здоровье?

Молодой Скобелев усадил молодого офицера возле себя и налил ему шампанского. Александр, обрадованный генеральской лаской, подумал, что все забыто... Но не тут-то было.

— А помнишь, Алексей Николаевич,— сказал Скобелев, обращаясь к Куропаткину,— как он защищал нас с тобой, когда его ранили?

Александр жалобно посмотрел на брата Василия, ища сочувствия. Но тот отвернулся.

Скобелев непрерывно мял своими тонкими худыми пальцами хлебный мякиш. Руки его ни на секунду не оставались в покое. Он дергал Александра за рукав черкески.

— Нет, вы представьте, как вы защищали, ну, представьте...

И сам стал представлять, как трусил и прятался за него Александр, как визжал тот при ранении... И это при всех!

Наконец Скобелев кивнул отцу, давая знать, что пора вставать из-за стола. Старик тотчас улегся на диван. Молодой Скобелев никогда не ложился после обеда. Он скидывал мундир, надевал коротенькую кожаную куртку на красной фланелевой подкладке и читал или думал, быстро шагая по комнате взад и вперед. Скобелев очень много занимался. Его записки о положении солдат и офицеров, о причинах неудач и планы ведения войны были

полны наблюдательности и метких замечаний, но весьма досаждали главнокомандующему и его штабу. Прекрасно владея французским, немецким и английским языками, Скобелев выписывал десятки иностранных журналов, превосходно знал военную литературу разных стран, ориентировался в политической обстановке. Он предлагал идти через Балканы и наступать к Адрианополю, считая, что в случае успеха война может быть закончена до весны.

И тем более странное впечатление производил Скобелев на Верещагина некоторыми своими легкомысленными поступками и склонностью к богемной жизни. Художник даже считал нужным опекать генерала, удерживать его...

Если Скобелев ехал в коляске и было свободное место, он непременно подвозил по дороге какого-нибудь солдата, расспрашивал его обо всем, прямо-таки очаровывал своей доступностью и простотой. Солдат рассказывал у себя в полку об этой встрече, и, если часть потом поступала под командование генерала, солдаты считали это удачей. Верещагин не мог понять, чего больше в поведении Скобелева — намеренности или полководческого инстинкта.

— Я почитаю за величайший талант того, кто возможно меньше жертвует людьми,— любил говорить Скобелев. И это не была просто фраза. Когда гибли люди, он не щадил и себя.

Бывало, он говорил своим офицерам:

— На массу дурно одетых, изнуренных дурною пищею солдат мало повлияет и ваша доблестная храбрость...

Горячую пищу у него возили на позиции при любом обстреле, и поэтому солдаты рассуждали: «Со Скобелевым драться можно — всегда сыт будешь». Раненых на поле битвы он никогда не оставлял. Под Ловчей, подавая пример, генерал ездил с казаками выручать раненых. И снова солдатский восторг: «Сам поехал; и лошадь под ним убили, а двоих вывез». Денщик у него креста получить не мог. «За чистку сапог?» — фыркал генерал. Когда присылали голосовые кресты на роту, солдаты обычно присуждали их фельдфебелям и богатым вольноопределяющимся. Скобелев заставлял проводить голосование вторично, разъясняя солдатам, что присуждать ордена надо только самым храбрым. Если результаты голосования повторялись, Скобелев приказывал представлять отличившееся начальство к именным Георгиевским крес-

там. «Иначе простой армейской кирилке ничего не достанется».

Георгиевские кавалеры, бывало, менялись крестами, считаясь потом побратимами. Скобелев уговаривал Верещагина поменяться еще в Румынии, при первой встрече. И добился этого только в Плевне, два дня назад. Однако, узнав, что генерал хочет совершить еще один размен, художник решил вытребовать обратно дорогой ему крест. Что ему и удалось сделать после обеда.

Генерал все же не отпускал Александра Верещагина.

— Ну, что же вы, батенька, пойдете с нами вперед?— спросил он.

— Не знаю, ваше превосходительство, как моя нога позволит,— промямлил Александр.

Василий Верещагин наконец пришел ему на выручку:

— У него еще рана не зажила. Ему трудно будет следовать за нами.

— Так пускай едет в моей коляске. Эх, батенька, да разве вам придется когда второй раз переходить с войсками Балканы? Я бы на вашем месте хоть ползком, да пополз бы.

Шагавший из угла в угол Скобелев вдруг направился к отцу и стал его тормошить. Старый генерал отпихивал его ногами и гнусаво кричал:

— Миша, отста-ань, Миша, не шали!

13. ЧЕРЕЗ БАЛКАНЫ

Готовясь к походу, Верещагин решил отправить в Россию готовые эскизы, наброски, этюды. Он положил этюды в сумку из непромокаемого полотна, обшитую для верности ремнями. Доставить сумку в Петербург и передать в верные руки должна была старая знакомая, сестра милосердия Чернявская, но она находилась в Систово, и вручить ей работы взялся доктор Стуковенко. Свои услуги предложил и командир гренадерского полка полковник Пущин.

— Я знаю,— сказал он,— как вам дороги эти этюды, Василий Васильевич, и сам понимаю цену их. Будьте уверены, что я в точности исполню ваше поручение.

Уже сговорившийся со Стуковенко, художник отказался. Но случилось несчастье — Стуковенко заболел, и сумка потерялась. Верещагин напрасно выезжал в Систово. Скобелев снарядил на поиски этюдов нескольких офице-

ров. Но работы Верещагина пропали бесследно. Их ищут и по сей день...

Две колонны, Скобелева и Святополк-Мирского, должны были перейти через Балканы справа и слева от Шипкинского перевала. Декабрь сулил большие трудности. Скобелев распорядился, чтобы каждый солдат взял по полену сухих дров — разжигать костры из сырых веток. Он сам проверял, у всех ли солдат есть просаленные портянки и теплые набрюшники.

Скобелев написал приказ и зачитал его:

— Нам предстоит трудный подвиг, достойный испытанной славы русских знамен: сегодня мы начнем переходить Балканы с артиллерией, без дорог, пробивая себе путь на виду неприятеля через глубокие снеговые сугробы...

Обращаясь к болгарским дружинам, выступавшим в авангарде, он добавил:

— Болгаре-дружинники!.. В сражениях в июле и августе вы заслужили любовь и доверие ваших ратных товарищей — русских солдат. Пусть будет так же и в предстоящих боях! Вы сражаетесь за освобождение вашего отечества, за неприкосновенность родного очага, за честь ваших матерей, сестер, жен... Словом, за все, что на земле есть ценного, святого... Вам бог велит быть героями!

Верещагин нагнал Скобелева в Топлише и сунулся было к генералу. Но тот спал богатырским сном. Художника удивляла способность нервного, всегда взвинченного генерала засыпать быстро и крепко именно накануне тяжелых испытаний. Утром Скобелев уже уехал вперед, и догонять его по глубокому снегу было трудно. Лошадь спотыкалась, проваливалась. Солдаты уступали дорогу и еще пошучивали:

— Штык подними, прими! Смотри, сейчас глаз вон верховому выколешь!

Художник догнал генерала у Марковых столбов, где для Скобелева и Куропаткина разбили палатки. Верещагин согрелся чаем и тотчас сел писать этюд.

Наутро стали видны турецкие и русские позиции у Шипки. Глядя с вершины, Верещагин узнавал гору Святого Николая и Лысую гору, вспоминал мучительное сидение на перевале.

Вниз было страшно смотреть — спуск оказался невероятно крутым.

Верещагин сказал Куропаткину, что неплохо было бы занять два пика по обеим сторонам спуска.

— Что, что вы говорите, Василий Васильевич? — спросил ехавший впереди Скобелев. Он всегда чутко прислушивался к тому, что говорили вокруг него, и не брезговал дельными советами.

Верещагин сказал насчет высот.

— Да, Алексей Николаевич, это совершенно верно. Прикажите сейчас же занять их и окопаться.

— Слушаюсь,— недовольно откликнулся Куропаткин, косясь на штатского, рискующего подавать советы. Прекрасный исполнитель и храбрый человек, он оказался негодным главнокомандующим впоследствии, в 1904 году, во время русско-японской войны. Впрочем, и на днях он проявил недальновидность — высказался против перехода через Балканы, как и Радецкий. Но Скобелев повторял:

— Перейдем! А не перейдем, так умрем со славою!

— Он только и знает, что умрем да умрем,— ворчал Куропаткин.— Умереть-то куда как нетрудно, надобно знать, стоит ли умирать...

Скобелев дал команду спускаться. Солдаты скатывались вниз, иные со смехом и шутками. Однако многие тяжело ушиблись. На лошади было спускаться еще труднее. Художник и не помнил, как он скатился вместе с лошадью с кручи. Поднявшись на ноги, он увидел вдали хижину, из окна которой когда-то пытался написать долину Роз... Внизу, между деревнями Шипка и Шейново, виднелись укрепленные курганы, центр турецкой позиции.

Теперь уже турки были близко. Они осыпали русских пулями из своих дальнобойных ружей Пибоди, оставаясь в пределах недосягаемости. Художник сел писать, а генерал собрался на рекогносцировку. Стоявший рядом с Верещагиным Куропаткин вскрикнул и упал. Его тяжело ранило навылет. Он все просил сказать, не смертельна ли рана.

Скобелев велел унести Куропаткина и отер слезы. На рекогносцировку он поехал вместе с Верещагиным.

Вскоре им пришлось спешиться. Художник шел слева от генерала и с тревогой прислушивался к назойливому свисту пуль.

«Вот сейчас тебя, брат, прихлопнет, откроют тебе секрет того, что ты хотел знать,— что такое война!» — думал художник.

Он наблюдал за Скобелевым, за лицом генерала, за руками. Боится ли тот хоть немного? Нет, лицо спокойно, руки в карманах. Походка с развальцем. Кажется даже, что он замедляет шаг.

Лишь оказавшись в безопасном месте, Скобелев сказал:

— Ну, Василий Васильевич, мы сегодня прошли сквозь строй!..

Это художник знал и сам, его интересовало, что испытывал Скобелев.

— Скажите мне откровенно,— сказал Верещагин,— неужели это правда, что вы приучили себя к опасности и уже не боитесь ничего?

— Вздор! — ответил генерал.— Меня считают храбрецом и думают, что я ничего не боюсь, но я признаюсь, что я трус. Каждый раз, когда начинается перестрелка и я иду в огонь, я говорю себе, что в этот раз, верно, худо кончится... Когда под Плевной меня задела пуля и я упал, моя первая мысль была: «Ну, брат, твоя песенка спета!»

Художник был доволен. Уж больно терзала мысль, не трус ли он сам.

— Я взял себе за правило,— добавил генерал,— никогда не кланяться под огнем. Раз позволишь себе сделать это — зайдешь дальше, чем следует... Кстати, Василий Васильевич, как вы думаете, ладно у меня идет? Нет ли беспорядка? Вы были у Гурко, скажите по правде, больше у него порядка, чем у меня?

— Порядка не больше, но он меньше вашего горячится.

— Да разве я горячусь?

— Есть немножко...

Верещагин подумал о том, как еще вчера недовольный генерал раздавал оплеухи, а потом пытался шутками задобрить пострадавших.

В этот день атака не состоялась. Не подоспели пушки и кавалерия. Начальник бригады болгарского ополчения князь Вяземский доложил, что доставить орудия к вечеру невозможно. Скобелев и не настаивал. Верещагин сравнил про себя — Гурко приказал бы: «Втащить зубами!» Со стороны колонн Святополк-Мирского доносился шум боя.

Скобелев метался.

— Василий Васильевич, хорошо ли я сделал, что не

штурмовал сегодня? Я знаю, скажут, что это я нарочно, будут упрекать... Я подам в отставку!

— О какой отставке вы говорите! Вы сделали все, что могли. Отвлекли часть турецких сил... Штурмовать с одним полком было немыслимо.

14. ШИПКА — ШЕЙНОВО

С утра густой туман скрыл от турок подходившие русские колонны. Верещагин выполнял обязанности ординарца, передавал приказы выступать. Заговорила и артиллерия.

Турки защищались отчаянно и отбили первую атаку.

— Музыку сюда! — приказал Скобелев.

Теперь долина Роз напоминала Верещагину парадный Царицын луг. Полки шли под звуки маршей. Заметив, что одно из знамен в чехле, Верещагин подскакал к командиру и приказал развернуть знамя.

— По чьему приказанию? — спросил командир.

— Генерала Скобелева.

Турки осыпали снарядами Скобелева и его штаб.

— Да разойдитесь вы,— кричал генерал.— Черт бы вас побрал! Перебьют вас всех, дураков!

Когда новый начальник штаба отъехал куда-то по делам, оформлять письменно приказы Скобелева пришлось художнику. Это оказалось чистым наказанием. Скобелев в энергичных выражениях приказывает начальнику кавалерии генералу Дохтурову действовать решительнее. А записку не подписывает.

— Это старый генерал, я не могу так писать ему.

Верещагин был рад, что подоспел начальник штаба.

Впереди длинной полосой вырисовывалась дубовая роща, в которой была расположена деревня Шейново. Художник сделал набросок поля битвы...

Скобелев двинул на турок Казанский полк. В два часа противник выкинул на кургане белый флаг.

Верещагин поскакал вслед за Скобелевым. Всюду попадались толпы пленных, масса трупов, брошенное оружие. Под курганом у деревянного барака стоял хмурый седой турецкий генерал. Это был командующий шипкинской армией Вессель-паша, за ним толпилось до полусотни турецких генералов и офицеров.

Скобелев пытался позолотить пилюлю и заговорил о храбрости войск Вессель-паши. Но тот молчал и злобно

смотрел на русского генерала, который наклонился к Верещагину и тихо сказал:

— Поезжайте скорей к генералу Тимоловскому и скажите, чтоб он, нимало не медля, отвел пленных от оружия. Я имею сведение, что Сулейман-паша идет сюда из Филиппополя. При первом известии об этом турки схватятся за оружие.

Художник поскакал, передал приказ и вернулся.

Пригрозив не оставить камня на камне в Шипке, Скобелев вынудил Вессель-пашу послать туда своего начальника штаба с приказом сдаваться.

И вот уже за дубовой рощей, фронтом к Шейнову, а левым флангом к горе Святого Николая, стоят в строю русские войска. Скобелев дал шпоры коню и понесся так, что Верещагин и остальные едва поспевали за ним. Генерал, высоко подняв над головой фуражку, звонко крикнул:

— Именем отечества, спасибо, братцы!

Шапки полетели вверх. «Ура» перекатывалось по строю.

Впоследствии Верещагин написал картину «Шипка — Шейново» — Скобелева, скачущего вдоль строя, и себя, едва поспевающего за генералом. Это единственный автопортрет художника.

Потом начались неприятности. Скобелеву завидовали. Молодого генерала обвинили в том, что он не поддержал атаки накануне. Уже было доложено по инстанции, что Скобелев, поздравляя солдат, нарушил формулу — сперва надо было поблагодарить их от имени государя, а потом — отечества.

Скобелев попросил Верещагина съездить в главную квартиру и рассказать главнокомандующему, почему он не мог атаковать днем раньше.

— Вам поверят более, чем кому-либо другому,— добавил генерал.

— Признаюсь, Михаил Дмитриевич,— сказал Верещагин,— такое поручение крайне мне неприятно. Великий князь может просто сказать мне, что это не мое дело...

— Нет, не скажет, поезжайте, сделайте это для меня!

Перед отъездом Верещагин предложил Вессель-паше отправить телеграмму из главной квартиры в Константинополь и получил клочок бумаги, где было написано по-французски:

«После многих, кровопролитных усилий спасти армию я и мои паши сдались с армией в плен. Вессель».

Набрав всяких поручений, Верещагин выехал вместе с Немировичем-Данченко через горы в Сельви. Дорóгой художник развеселился. Денщик Скобелева сбыл писателю лошадь, которая брыкалась и не слушалась повода. Полное и обычно довольное лицо Немировича-Данченко исказилось от гнева. Он пускал в ход плетку, приговаривая:

— Постой, подлец, я тебя проучу...

Но конь только брыкался и кружил на месте. Художник, наверно, меньше бы подшучивал над писателем, если бы знал, что тот будет описывать недавнее сражение такими словами:

«28-го Скобелев повел войска на штурм... Несколько редутов взяли штыками. Бой был упорный и отчаянный. Кругом люди падали как мухи. С злобным шипением пули уходили в снег Казанлыкской долины, другие словно вихрь проносились мимо, и посреди этого ада В. В. Верещагин, сидя на своей складной табуретке, набрасывал в походный альбом общую картину атаки... Много истинного мужества и спокойствия нужно было для этого...»

И еще он рассказывал о художнике:

«В[асилий] В[асильевич] до вечерней зари каждый день работал там, рисуя с натуры картины, полные нечеловеческого ужаса. Я удивлялся тогда, до какой степени поднялись нервы у Верещагина... Он не только рисовал — он собирал и свозил с полей целые груды пропитанного кровью тряпья, обломки оружия, мундиры турецких солдат. До некоторых из этих предметов было противно дотронуться, но такой реалист, как Верещагин, собственноручно связывал их в узлы и таскал на себе».

Узнав в Габрово, что главнокомандующий едет туда, художник решил дождаться его, переночевал у брата, жившего в городке после ранения, навестил Куропаткина.

Адъютант главнокомандующего Скалон (родственник и давний приятель художника) тотчас провел его к великому князю. Как он и думал, объяснения его были приняты холодно.

— Ваше высочество, Скобелева упрекают за то, что он не атаковал турок днем раньше, но это было материально невозможно. Отряд его еще не спустился, и нападать с ничтожными силами было крайне рискованно. Даже в

счастливом случае большая часть неприятеля ушла бы, так как у нас не было кавалерии, чтобы перегородить неприятелю дорогу...

— Ну, разумеется, так, — сказал главнокомандующий, давая понять, что аудиенция окончена.

Верещагина ждали Скалон и старый Скобелев.

— Вы бы сказали его высочеству, сколько Мишей взято знамен, орудий, а то вы только говорили, что атаковали стройно, с музыкой... — упрекнул художника старик.

— Ну рассказывал, что знал. Об орудиях великий князь узнает и без меня.

Разговор со Скалоном был серьезнее. Тот сообщил художнику, что теперь, когда победа близка, когда турки на грани разгрома, верхи решили заключить мир.

— Не может быть! — возмутился художник.— Это измена. Стоило ли столько крови проливать! Я сейчас скажу ему это.

— Скажите,— согласился Скалон.— Вы можете...

Верещагин ворвался к главнокомандующему.

— Ваше высочество, я хочу сказать несколько слов!

— Пожалуйста!

— Правда ли, что ваше высочество хотите заключить мир?

— Не я, любезный друг, а Петербург хочет.

— Обойдите как-нибудь приказание.

— Нельзя. Коли прикажут, заключу мир.

— Да это невозможно, не надобно тогда было начинать войну,— горячился художник.— Оборвите телеграфные проволоки, поручите это мне, я все порву... Немыслимо заключать мир иначе как в Константинополе или, по меньшей мере, в Адрианополе!

— Где уж нам до Адрианополя дойти! Сухарей и тех нет — интендантство не заготовило. Вы собираетесь обратно к вашему приятелю? Ну, скоро увидимся. Я еду в Шейново. Радецкий, Мирский и ваш Скобелев покажут мне своих молодцов...

Великий князь встал. У него была представительная, высокая фигура. Верещагин откланялся.

Когда он вернулся, Скобелев уже знал о смотре, который собирался сделать главнокомандующий, и готовился к нему. Художник видел, что генерал совершенно растерялся перед этим испытанием, поскольку не знал тонкостей разводов и парадных учений, не знал, где стоять, как

командовать... Учил его ординарец, некогда служивший в гвардии.

— Вы, ваше превосходительство, должны выехать и скомандовать...

— Что вы, Василий Васильевич, смеетесь, однако? — перебил его генерал.

— Да как же не смеяться: генерал, перед которым турецкая армия сложила оружие, как школьник заучивает разные слова, приемы, уловки...

Скобелев совсем оробел, когда показался главнокомандующий со свитой. Великий князь еще издали помахал фуражкой Радецкому и закричал:

— Федору Федоровичу ура!!!

Он обнял и поцеловал Радецкого, повесив ему на шею большой крест и поздравив со званием генерала от инфантерии. Верещагину главнокомандующий весело крикнул:

— Базиль Базилич, здравствуйте!

А Скобелеву он едва кивнул головой. Генерал окончательно смешался и заледенел...

Совсем недавно в архиве Верещагина была найдена такая запись: «Солдаты, видимо, почувствовали невнимание, оказанное их любимому начальнику, они встретили великого князя с таким малым проявлением энтузиазма, кричали «ура» так неохотно, что их холодный прием должен был броситься в глаза; не знаю только, понял ли он, понял ли, что хоть не награда, а один сердечный поцелуй... герою — и солдатские шапки полетели бы вверх не по приказу, как это обыкновенно делается, а от восторга».

15. К БЕРЕГАМ БОСФОРА

Все утряслось как-то. Гурко разбил войска Сулеймана-паши под Филиппополем, и путь на Константинополь был открыт. Скобелев оставил обозы и с одними вьючными лошадьми начал свой стремительный бросок. Ну, а сухарей хватало, несмотря на небрежение и воровство интендантов. На складе в Шейново оказалось двенадцать тысяч пудов превосходных турецких белых сухарей и еще кое-что. Скобелев поприжал запасы, да Верещагин его выдал. Сообщил в главную квартиру о сухарях. Главнокомандующий обрадовался. Художник потом утверждал, будто бы именно сухари повлияли на решение двигаться вперед. Впрочем, у Скобелева всегда был для солдат и

припас, и приварок. Недаром великий князь, увидев скобелевские части после Шейново, воскликнул:

— Это что за краснорожие! Видимо, сытые совсем. Слава богу, хоть на мертвецов не похожи.

Выступая, Скобелев звал Верещагина с собой. Художник и рад был бы поехать, да казак при спуске с перевала разбил ящик с красками. Требовалось привести все в порядок.

На другое утро пришло известие, что начальник авангарда генерал Струков захватил подожженный турками мост через Марицу, потушил огонь и занял железнодорожную станцию Семенли. Начальник кавалерии Дохтуров, встретившийся утром Верещагину вместе со Скобелевым, сказал с завистью:

— Посмотрите, пожалуйста, на этого Струкова, куда только он не примажется... Ведь вот победу одержал.

Художник собирался было вступиться за Струкова. Ему нравился спокойный худощавый генерал, с громадными усами вразлет. Но Скобелев опередил Верещагина.

— Вы не правы,— возразил он.— Струков обладает высшим качеством начальника в военное время — способностью к ответственной инициативе.

Верещагин выехал к Струкову. Дорога была усеяна отставшими солдатами. Скобелев распорядился не гнать силой переутомившихся и верно рассчитал — дошли все, больных не было. При первой же встрече генерал сказал художнику:

— Знаете, Василий Васильевич, Сулейман-паша идет нам навстречу.

— Откуда вы знаете это?

— Я верные сведения получил, скоро пойдем в битву, не отставайте!

Скобелев за сутки прошел с пехотой восемьдесят верст. Он боялся, что Сулейман-паша, гонимый Гурко, будет прорываться вдоль железной дороги в Адрианополь. Но паша с остатками войск бежал через Родопские горы. Скобелев был весел и устроил пир...

На другой день драгуны Струкова захватили город Германлы. Верещагин был с ними. На станции они увидели поезд, в котором сидели турецкие уполномоченные, томившиеся в страхе. Кругом кипел бой.

Струков и Верещагин вошли в вагон-зал. Их встретили турецкие министр иностранных дел Сервер и ми-

нистр двора Намык. Первый — с широким живым лицом, в европейском пальто и галошах, второй — старый совсем, остроносый, в широкой турецкой одежде и с феской на голове. Струков представился как начальник авангардного отряда, а Верещагин — как секретарь Струкова. Оба были в бурках и имели диковатый вид, хотя и говорили безукоризненно по-французски.

Струков дипломатично упомянул стойкость турок в сражениях, но министры перебили его, и Сервер спросил напрямик:

— Скажите мне откровенно, неужели Вессель не мог долее удержаться?

— Не мог, паша, уверяю вас,— сказал Верещагин и начертил на бумаге позиции турок и русских под Шейново. Министры хмурились.

— Поезд, на котором мы приехали, вы, надеюсь, сейчас же отправите назад? Он стоит под парламентерским флагом.

— Я испрошу на этот счет приказания моего начальника, генерала Скобелева,— ответил Струков.

Турецкие министры отправились в карете к русскому главнокомандующему хлопотать о перемирии, а поезд Скобелев забрал себе.

Во время переговоров в главной квартире турки напирали на то, что Адрианополь еще не взят и взять его будет нелегко. Ночью их разбудили.

— Что, что такое?

— Имеем честь поздравить со взятием Адрианополя!

Министры долго еще не могли прийти в себя.

А дело было так.

Верещагин шел в авангарде, вместе со Струковым. Он дивился выносливости и подвижности этого генерала, такого худого, что непонятно было, в чем душа держалась. Вставал Струков рано, сам убирал свою постель, вина не пил, табаку не курил, не только за людьми, но и за лошадьми смотрел как за детьми; по ночам вскакивал по нескольку раз, чтобы лично выслушать все донесения.

В авангарде было три полка. Командиры их да еще Верещагин со Струковым и составили военный совет, когда из уже близкого Адрианополя прибыли два посланца — болгарин и грек. От имени своих общин они приглашали русских занять город. Турки, мол, уже взорвали

арсенал, население боится грабежей. Турецкие солдаты покинули форты и бродят по городу.

Струков спросил у совета, можно ли занять тремя полками громадный город, вторую столицу султана.

— У нас пехоты нет,— добавил он.— Численность же турецких отрядов, расположенных в городе и вокруг города, во много раз превышает численность нашего передового отряда.

Верещагину, как младшему чином, предложили первому подать мнение.

— Наступать! — сказал он решительно.

— Хорошо вам советовать, не неся ответственности! — возразил один из полковников.— А если мы наткнемся на пехоту в городе? Необходимо подождать генерала Скобелева. Я подаю голос за ожидание подхода главного отряда!

Второй полковник поддержал Верещагина, а третий не сказал ни да ни нет. Струков молчал, и совет разошелся.

Наутро художник проснулся и увидел сидевшего у его постели Струкова. Тот, видимо, давно уже ждал пробуждения Верещагина.

— Я решился,— сказал генерал.

— Браво!

Посланцам было велено ехать в город. Пусть предупредят, что в знак покорности Адрианополя должны быть поднесены ключи от него.

— Да ключей нет у города,— ответили смущенные посланцы.— Где же их взять?

— Чтобы были, знать ничего не хочу! — ответил Струков.

Когда полки подошли к Адрианополю, навстречу им двинулась громадная толпа. С криками люди бросались на колени перед русскими солдатами, целовали землю, обнимали их, едва не стаскивая с седел.

И вдруг Верещагин всполошился.

— Александр Петрович,— сказал он,— нам немыслимо входить в город.

— Отчего?

— Посмотрите на эти узкие улицы... Всякий трусливый крик, всякий выстрел произведет панику. Мы-то еще ничего, а орудия совсем застрянут, не поворотишь ни одного.

— Так что же делать?

— Не входить в город. Остановиться где-нибудь здесь.

— Да где же встать?

Верещагин осмотрелся кругом.

— Вот, налево гора, свернем туда.

Возвышенность оказалась идеальной боевой позицией. Город с нее был виден как на ладони. Залитые солнцем, ярко желтели его глинобитные дома, ослепительно сверкали белые стены дворцов, нацелились в небо стройные минареты многочисленных мечетей...

Прибыло духовенство всех вероисповеданий и городские власти. Струкову поднесли на блюде ключи (как выяснилось, их купили на базаре). То ли в шутку, то ли всерьез власти перестарались — к трем большим ключам добавили еще две связки маленьких. Самый большой ключ Верещагин взял себе — колоть орехи, два поменьше были отправлены главнокомандующему, а потом в Петербург.

Струков велел депутации создать совет из выборных (по два человека от каждой национальности) для управления городом и доставки продовольствия русским войскам. Он сказал, что за все будет заплачено русским командованием. Отпустив депутацию и построив отряд в каре, Струков поблагодарил солдат и приказал разбить бивак на окраине Адрианополя.

Все свои занятия в те дни Верещагин считал «малохудожественными». А дел было много. Это он в сопровождении болгарина-переводчика разъезжал по главным улицам города и оповещал паникующих жителей, что русские никого не дадут в обиду. Это он переловил нескольких пытавшихся мародерствовать драгун и заставил Струкова распорядиться, чтобы им всыпали горячих. Продовольствия из города не поступало. Командиры частей уже начали коситься на щепетильного художника, как вдруг принесли хлеб, суп, говядину, вино и даже табак на всех.

Верещагин вел дипломатические переговоры с консулами великих держав, ставил караулы к складам, чтобы не разграбили, осмотрел знаменитую мечеть султана Селима с ее четырьмя великолепными минаретами.

Раз только он пытался взяться за кисть, но ничего из этого не вышло... К Струкову привели двух отчаянных головорезов-башибузуков, и было доказано, что они без жалости уничтожали болгар и даже вырезали младенцев из утроб матерей. Толпа болгарских женщин и детей бросала в них комьями грязи, а русский часовой старался это-

го не замечать. Волна ненависти к хищникам вдруг захлестнула Верещагина, и он предложил Струкову распорядиться, чтобы бандитов повесили.

— Что это вы, Василий Васильевич, сделались таким кровожадным? — спросил генерал.— Я не знал этого за вами.

— А что это вы, Александр Петрович, вдруг стали миндальничать с негодяями? Я бы их еще и написал на виселице... в назидание всем, кто надумает еще зверствовать!

— Нет, я не возьму этого на свою совесть. Пусть Скобелев решает.

К вечеру того же дня в роскошном поезде, отнятом у турецких министров, приехал Скобелев. Адрианополь встречал Ак-пашу с превеликим энтузиазмом. Мужчины высыпали на улицы, а женщины высовывались в окна. Среди гречанок оказалось столько красивых, что Верещагин, ехавший рядом со Скобелевым, то и дело командовал:

— Глаза направо! Глаза налево! Выше!

Оба они были ценителями женской красоты, и им обоим не исполнилось еще и по тридцати пяти...

Узнав о зверствах башибузуков, Скобелев по просьбе Верещагина велел предать их полевому суду. А Скобелев всегда отличался гуманным отношением к пленным. Он приказал под Шейново приготовить в солдатских котлах двойной запас пищи. «Бей врага без милости,— сказал он солдатам,— покуда оружие в руках держите. Но как только сдался он, аману запросил, пленным стал — друг он и брат тебе. Сам недоешь — ему дай». И солдаты зазывали пленных к своим котлам. Признавал он, правда, что бывают случаи, когда в плен нельзя брать, когда силы малы и пленные могут быть опасны...

Скобелев рвался к Константинополю и был уже на самых его подступах, когда его остановило перемирие. Адрианополь стал тыловым городом, теперь там располагалась главная квартира. В ней прижился казачий сотник Александр Верещагин. В начале февраля он получил письмо от брата-художника, ушедшего с войсками вперед. Василий Васильевич прослышал, что Александр заискивает перед штабными, «добровольно лезет в ливрею». Возмущение его поведением брата было так велико, что пригрозил публичным разоблачением его недостойного поведения. Верещагин писал:

«...пожалуйста, никому не льсти, как бы дешево тебе и как бы приятно это субъекту ни было. Не заискивай! У тебя есть это в характере уже, ты не прочь ластиться. Я уверен, что ты не прочь был бы получить какое-нибудь лакейское место при великом князе, например, где ты мог бы стоять у двери, докладывать и т. п. Самым серьезным образом не советую тебе мечтать об этом... Если же ты ударишься в искательство, то обругаюсь не только тебе в глаза, но и обругаю тебя перед теми, у кого станешь заискивать,— слышал?»

Художник становился все более желчен. Его раздражала неопределенность воззрений царя и его родственников, внешний либерализм сановников, сочетавшийся со склонностью приобретать политические и иные капиталы, не брезгуя никакими средствами, а это, в свою очередь, разлагало офицерство, тоже стремившееся урвать по возможности...

Брату он советовал перейти в строевую часть, но, зная порядки там, написал как-то:

«Смотри, Александр Васильевич, будь образцовый сотенный командир, не зажиливай ни одной копейки у казаков, не смотри на то, что делают другие, *делай казакам ученье* и спрашивай с них, коли не будешь их обворовывать, они за выучку в претензии не будут; *не смущайся тем, что другие скажут:* лишь бы ты знал, что делаешь».

Лишь бы ты знал, что делаешь! Слова не просто вырвались. За ними была цепь мучительных размышлений. Во что бы то ни стало сохранить независимость и тот покой, который дается уверенностью в собственной праведности. Это нужно для исполнения того, что задумано. Пора было садиться за работу. От Сан-Стефано, где остановились русские войска, до Константинополя всего пятнадцать верст. Офицеры ездят в штатском осматривать древнюю столицу. Можно было бы махнуть через Константинополь в Париж, но надо еще собрать оставленное по пути оружие и другие материалы, нужные для работы над новыми картинами.

Скобелев в последнее время ходил пасмурный.

— Что вы думаете,— спросил он как-то,— кончились военные действия?

— Кончились,— ответил художник.

— Вы думаете, будет заключен мир?

— Думаю, что будет заключен мир, и немедленно же утекаю.

— Подождите, может быть, еще не заключат мира, пойдем на Константинополь.

— Нет! Заключат мир, а я уеду писать картины.

— Счастливец вы! — со вздохом сказал Скобелев.— Я тут предложил, займу-ка я самовольно Константинополь. Пусть меня на другой день предадут суду и расстреляют, лишь бы не отдавали. Не хотят... А мы не можем отступать. Это вопрос нашей чести. Следует занять Галлиполи, и ни одно английское судно не прорвется в Босфор...

16. РАБОТА

Впечатления от войны, на которой он провел десять месяцев, еще не отстоялись. Надо было обдумать темы, представить себе направление всей серии картин. Все свежо в памяти, но мысль скользит по поверхности... Что-то вроде этого он написал Стасову тотчас по приезде в Париж: «Вот теперь комедия окончилась, публика аплодирует, актеры вызваны или будут вызваны, скоро будут потушены лампы и люстры, и декорации, такие красивые и такие натуральные, выкажут свою подделку и картон. Оказывается, что и мне приходилось смывать малую толику румян и белил с лица».

Чтобы не терять времени, Верещагин принялся заканчивать полотна своей индийской серии, брошенные в Мэзон-Лаффитте в апреле прошлого года. Надо торопиться, нужны деньги. Требуют денег подрядчики, не выплачено еще все за землю, на которой стоит мастерская. Дом не успели построить, а уже просела крыша... И родителям надо посылать. Отец намеревается хлопотать у правительства пенсию за убитого Сергея. Щепетильный художник сразу усмотрел в этом корысть, а ему не хотелось, чтобы даже тень легла на имя Верещагиных. Но что толку в таких его заверениях: «Я прошу Вас, дорогой папа, верить, что я непременно буду помогать Вам и мамаше, как только продам кому-нибудь мои работы...» А торговать картинами не хочется. «Лавочка мне теперь, как всегда, была и будет противна».

Он почти не выходил из мастерской, ни с кем не виделся, почти никого не принимал, разве что Тургенева, говорившего за глаза, что Верещагин «замечательный, крупный, сильный, хоть и несколько грубоватый талант».

Пришлось выехать в Лондон за индийскими костюма-

ми, предметами быта. Принц Уэльский сделал ему выгодное предложение, но художник отказался от заказа, чтобы не стеснять себя. Так же складывались и отношения с Петербургом. Брату Александру он написал:

«Не будет ли возможности переслать золотую перевязь к сабле? Серебряную прислал недавно Струков, который, спасибо ему, все исполняет. Только недавно сделал он порядочную глупость: сказал наследнику, на вопрос его высочества, что я не откажусь исполнить те картины, которые его высочество пожелает поручить мне исполнить. Между тем мне и в голову никогда не приходило работать по заказу, для кого бы то ни было, и я ему этого не говорил».

Работая над индийскими картинами, Верещагин неотступно думал о военных эпизодах, перебирал их в памяти. К концу года не выдержал и отправился в Болгарию, посетил окрестности Шипки. Рисовал, наблюдал, думал... Оказавшись проездом на Балканы в Петербурге, художник тотчас был приглашен наследником в Аничков дворец на переговоры по поводу покупки его картин. Он поехал и дожидался, пока ему не сказали, что его высочество сегодня занят, и назначили другой день. Он ушел взбешенный, дав себе слово не шляться больше по передним.

Брат передал, что его хочет видеть Скобелев.

Генерал таинственно затворил дверь кабинета. Верещагин стал было рассказывать о несостоявшейся аудиенции:

— Найдутся желающие иметь мои работы и помимо таких важных и занятых особ, Михаил Дмитриевич...

— Ну, погодите же! Дайте мне дружеский совет, Василий Васильевич. Болгарский князь предлагает мне пойти к нему военным министром. Я ему после войны, когда командовал там четвертым корпусом, обучил и оставил целую армию. Он дает слово, что, как только мы поставим солдат на ноги, затеет драку с турками, втянет Россию. Будет снова большая война... Принять или не принять?

Верещагин рассмеялся.

— Признайтесь,— сказал он,— что вы неравнодушны к белому перу, что болгарские генералы носят на шапках. Вам оно будет к лицу.

— Черт знает что вы говорите! Я у вас серьезно спрашиваю совета, а вы смеетесь. Ведь это не шутка!

— Знаю, что не шутка. Втянуть Россию в войну, да

еще с такой безнравственной легкостью! Что Баттенберг это затевает, оно понятно. Он авантюрист, которому нечего терять. Но что вы, Скобелев, поддаетесь на эту интригу — это мне непонятно. Плюньте на это предложение, бросьте и думать о нем!

— Да что же делать, ведь я уже дал почти свое согласие!

— Откажитесь под каким бы то ни было предлогом... Скажите, что вас не отпускает начальство.

— Он обещал говорить об этом с государем...

— Ну вот и попросите, чтобы государь отказал ему.

Этот разговор со Скобелевым художник записал и опубликовал в воспоминаниях о генерале, присовокупив: «Что мне случалось слышать от Скобелева в дружеских беседах, то теперь, конечно, не приходится рассказывать. Довольно заметить, что он был сторонником развития России и ее движения вперед, а не назад... повторяю, что распространяться об этом неудобно». И, несмотря на это, цензура многое вымарала.

В Скобелеве художник нашел собеседника себе по настроению. Оба были нетерпимы к вельможным бездарностям, к безделью, прикрываемому фразой, к фальши, к своекорыстию. И у обоих были заткнуты рты. Генерал говаривал:

— Я не знаю, почему так боятся печати. За последнее время она положительно была другом правительства. Все крупные хищения, злоупотребления были указаны именно ею... Почему все правительство относится к ней с такой подозрительностью, почему только и думает о том, как бы ее ограничить? При известном положении общества печать — это спасительный клапан. Излишек недовольства, желчи — все уходит в нее.

Под «известным положением общества» подразумевались революционные настроения. И мысль эту он почерпнул у славянофилов, ратовавших за «свободное слово». Генерал не проезжал Москвы, не побывав у Ивана Сергеевича Аксакова, газета которого «Русь» всегда читалась Скобелевым и испещрялась пометками. Стихи Хомякова и Тютчева он знал на память и пересыпал ими свои разговоры о России. Из старых славянофилов в живых оставался лишь Иван Аксаков. Генерал любил его, но, как человек с практическим взглядом на вещи, отзывался о нем так:

— Он слишком идеалист. Вчера он это говорит мне:

«Народ молчит и думает свою глубокую думу». А я так полагаю, что никакой думы народ не думает, что голоден он и деваться ему некуда.

Мысли Верещагина о войне во многом складывались под влиянием Скобелева. Немирович-Данченко называл генерала фанатиком военного дела, но приводил слова Скобелева, опровергающие это утверждение: «Подло и постыдно начинать войну так себе, с ветру, без крайней, крайней необходимости... Черными пятнами лежат на королях и императорах войны, предпринятые из честолюбия, из хищничества, из династических интересов. Но еще ужаснее, когда у правителей не хватает духу воспользоваться всеми результатами, всеми выгодами войны...»

В Сан-Стефано Скобелев потерял сон:

— Что будет, что будет с Россией, если она отдаст все... Зачем была тогда эта война и ее жертвы!

Берлинский конгресс, который почти свел на нет все сделанное, приводил его в бешенство. Позже Скобелев говорил:

— Я не люблю войны. Я слишком часто участвовал в ней. Никакая победа не вознаграждает за трату энергии, сил, богатств, за человеческие жертвы. Но есть одна война, которую я считаю священной...

Он стоял за освобождение и объединение славян. Ему возражали:

— Никогда ни чех, ни серб не уступят своей независимости и свободы за честь принадлежать России.

— Да об этом никто и не думает,— отвечал он.— Напротив, я рисую себе в будущем вольный союз славянских племен. Полнейшая автономия у каждого. Одно только общее — войска, монета и таможенная система. В остальном живи, как хочешь, и управляйся внутри у себя, как можешь... А что касается до свободы, то ведь я говорю не о завтрашнем дне. К тому же времени, пожалуй, Россия будет еще свободнее их... Мой символ краток: любовь к отечеству, свобода, наука и славянство! На этих четырех китах мы построим такую политическую силу, что нам не будут страшны ни враги, ни друзья.

Он предвидел, что извечная угроза немецкого нашествия минует не скоро. О Бисмарке он сказал: «Ненавижу этого трехволосого министра-русофоба, но вместе с тем и глубоко уважаю его как гениального человека и истого патриота, который не задумается ни перед какими мерами, раз идет вопрос об интересах и благе его отечества...

Вот бы нам побольше людей с таким твердым и решительным характером». И обещал в будущей войне обойтись с немецкими вояками по-немецки.

Верещагин журил Скобелева за горячность в публичных выступлениях. Генерал, наверно, вспомнил это, когда однажды, много позже, на торжественном обеде велел наполнить свой бокал чистой водой, чтобы не кивали, будто он в подпитии, и сказал:

— Если русский человек случайно вспомнит, что он, благодаря своей истории, все-таки принадлежит к народу великому и сильному, если, боже сохрани, тот же русский человек случайно вспомнит, что русский народ составляет одну семью с племенем славянским, тогда в среде известных доморощенных и заграничных инопламенников подымутся вопли негодования... Почему нашим обществом и отдельными людьми овладевает какая-то страшная робость, когда мы коснемся вопроса, для русского сердца вполне законного, являющегося результатом всей нашей тысячелетней истории?

Скобелев утверждал, что «космополитический европеизм не есть источник силы и может быть лишь признаком слабости. Силы не может быть вне народа, и сама интеллигенция есть сила только в неразрывной связи с народом».

Побывав в Германии на маневрах, Скобелев приехал в Париж, где они вели с Верещагиным долгие задушевные беседы. Это тогда генерал, получив приветственный адрес от сербских студентов, высказался весьма резко:

— Почему Россия не всегда стоит на высоте своих исторических обязанностей вообще и славянской роли в частности? Это потому, что как внутри, так и извне ей приходится вести борьбу с чужеземным влиянием. Мы не хозяева в своем доме. Да! Чужеземец у нас везде... Если, как надеюсь, нам удастся когда-нибудь от них избавиться, то не иначе как с мечом в руках...

Скобелева возненавидели за это не только в Германии, но и в России, где и царская семья, и большая часть ее окружения либо были иностранцами по крови, либо носили немецкие фамилии. Обстоятельства странной смерти генерала, не достигшего сорокалетнего рубежа, до сих пор не ясны.

Когда Скобелев умер, в Москве остановились фабрики и заводы... Из Москвы гроб генерала повезли в Рязань. «Поезд двигался по коридору, образованному массами на-

рода, столпившегося по обеим сторонам полотна,— вспоминал Немирович-Данченко.— Это было что-то до тех пор неслыханное. Крестьяне кидали свои полевые работы, фабричные оставляли свои заводы — и все это валило к станциям, а то и к полотну дороги... Уже с первой версты поезду пришлось поминутно останавливаться. Каждое село являлось со своим причтом, со своими иконами. Крестьяне служили по пути сотни панихид... Ночью иногда впереди горели сотни огней; это крестьяне выходили со свечами и зажигали их в ожидании поезда...»

Верещагин в те дни написал Третьякову: «Я телеграфировал Вам, просил подробностей о смерти Скобелева — не откажите. Поди император сожалеет теперь, что шельмовал Скобелева».

Сожалений не было. Верещагин не догадывался еще, что чувством ответственности перед историей наделены очень и очень немногие из стоявших у власти в те времена.

Отношения Верещагина с царским двором после войны испортились безнадежно. Через восемь месяцев после того, как художник напрасно прождал приема у наследника в Аничковом дворце, будущий Александр III приехал в Париж и изъявил желание посетить мастерскую Верещагина. Но художник сказал посланцу наследника:

— Пусть его высочество не изволит трудиться, ибо я не желаю показывать ему свои работы, как он не пожелал видеть мою картину.

Вернувшись из Болгарии, где поклонился могилам и набрасывал пейзажи для будущих картин, художник, руководствуясь правилом доводить до конца любую работу, дописывал индийские храмы и помпезные процессии слонов, однако мысли его возвращались к раненым, к их мукам, перед глазами стояло поле под Горным Дубняком, убитые и замученные егеря, едва присыпанные землей, торчащие из земли руки и ноги, отрезанные головы с кровавыми крестами на лбах... Щемило грудь, и Верещагин «всплакивал» едва ли не каждый день. А уж когда взялся за сами картины, то и вовсе приходилось проглатывать слезы и прятать заплаканные глаза от прислуги и рабочих, то и дело наведывавшихся в мастерскую со своими хлопотами и привыкших видеть хозяина всегда сдержанным и даже суровым.

Было задумано и написано тридцать полотен. Верещагин стремился к максимальной верности натуре и по-

тому во второй раз съездил в Болгарию, побывав теперь уже под Плевной, о чем и написал Третьякову: «Не могу выразить тяжесть впечатления, выносимого при объезде полей сражения в Болгарии, в особенности холмы, окружающие Плевну, давят воспоминаниями. Это сплошные массы крестов, памятников, еще крестов и крестов без конца. Везде валяются груды осколков, кости солдат, забытые при погребении. Только на одной горе нет ни костей человеческих, ни кусков чугуна, зато до сих пор валяются пробки и осколки бутылок шампанского,— без шуток. Вот факт, который должен остановить на себе, кажется, внимание художника, если он не мебельщик модный, а мало-мальски философ... Так я и собрал на память с «закусочной» горы несколько пробок и осколков бутылок шампанского, а с Гривицкого редута, рядом, забытые черепа и кости солдатика да заржавленные куски гранат».

Верещагин написал картину «Под Плевной». Слева затянутое дымом поле боя, справа — царь и великий князь в креслах, а позади них — свита. Никакого движения на картине. Смотрят. И бездействуют. Да, бездействие — это и есть главное впечатление, которое вынес художник от своего пребывания поблизости от тех, кто должен был руководить боем. Лев Жемчужников, его друг, писал потом, будто он изобразил рядом со свитскими пирамиду из шампанских бутылок, а потом закрасил. Неверно это. Он не карикатурист. Шампанское было до боя. И он не мог написать неправды. «Правда злее самой злой сатиры». Исправлял он картину? Да. Отрезал слева кусок, слишком удлинявший композицию.

И в картинах «Перед атакой», «Атака», «После атаки. Перевязочный пункт под Плевной», «Транспорт раненых» он стремился к правде, мучился, переделывал вещи по нескольку раз, каждый день собирался рвать холсты, а потом все-таки добивался целостности восприятия... И в других картинах, в «Победителях», где турки мародерствуют, добивают раненых, сдирают с них мундиры и напяливают на себя, в «Побежденных», а иначе в «Панихиде по убитым», он ничего не преувеличил. Разве что в триптихе «На Шипке все спокойно» он позволил себе намек на преступную беспечность Радецкого и других, и вместе с тем это гимн мужеству и самоотверженности русского солдата, погибающего, но не оставляющего своего поста... И не он ли воспел победу в картине «Шипка — Шейново»? Солдаты и Скобе-

лев. Прежде всего солдаты — и те, что бросают вверх шапки, и те, что лежат грудами...

Его картины называют батальными.

— Это картины русской жизни, русской истории! — говорил упрямо Верещагин.

А как он работал! Уверяют, что все дело в «быстроте», с которой он пишет свои картины. Мыслимое ли дело написать за два года столько полотен? Слухи расстраивали художника, и он потом ответил на них так:

«Не менее 12 часов работы в сутки, никогда никаких приемов или визитов буквально. «Непокладание кисти» — при таких условиях два года стоили, наверное, четырех лет обыкновенных, да и то еще сильных занятий. Воображаемая «быстрота» моя сводится на из ряда вон выходящую трудолюбивость, чистую боязнь терять время в праздности. Только желудок и кишки, причинявшие сильнейшую боль, когда я принимался заниматься сейчас после еды, заставляли меня отдыхать часа два в день; остальное время изо дня в день я работал и работал... Уставал я так, что не знал, буду ли в состоянии продолжить на другой день, и, конечно, опять принимался. И во время еды и во время отдыха или поездок — думал о картинах и об недостатках исполнения. Лихорадки, которым за это время я беспрерывно подвергался, были, как я теперь убедился, часто изнурительного характера, хотя и имели свое начало в лихорадочном яде, захваченном на Востоке».

Болезненное состояние и неприятности навевали мрачные мысли. Верещагин ложился в постель с мыслью о близкой смерти, с нею вставал утром... И он торопился в мастерскую, чтобы успеть сделать хоть что-то, прежде чем умрет... Но это неправда, что изнурительная работа сокращает жизнь. Безделье убивает быстрее.

17. ЗА МИГ ДО ГИБЕЛИ

31 марта 1904 года, через двадцать пять лет после завершения работы над картинами русско-турецкой войны, художник Верещагин чувствовал себя как нельзя лучше.

Он стоял на мостике броненосца «Петропавловск» рядом с адмиралом Макаровым. Дул порывистый холодный ветер, но адмирал не запахивал шинели, разгоряченный и взволнованный. На горизонте маячил флот японского адмирала Того. Макаров энергично распоряжался. «Ходит по-скобелевски, что твой тигр или белый медведь...» — отме-

тил про себя Верещагин. Художник набрасывал в альбом видневшиеся вдали японские корабли с такой точностью и быстротой, что вызывал у всех на мостике неподдельное изумление. Макаров то и дело останавливался возле художника, заглядывал ему через плечо и одобрительно хмыкал.

Всего несколько дней назад они встретились на одной из улиц Порт-Артура.

— Приходите сегодня ко мне,— сказал Макаров,— потом поедем топить судно на рейде — загораживать японцам ход.

С тех пор они не расставались. Им было о чем поговорить. Адмирал окончил Морской корпус шестью годами позже, но в русско-турецкой войне участвовали оба. Макаров тогда с бо́льшим успехом, чем Верещагин, подрывал минами турецкие корабли. Верещагин недавно вернулся из Японии. Адмирал и художник делились впечатлениями об этой стране и ее фантастически быстро выросшей военной мощи. Художник Владимиров, присутствовавший при одной из их бесед, написал впоследствии о том, как Верещагин и Макаров «возмущались нравами, царившими при петербургском дворе, придворными интригами, грязной подоплекой ряда военно-государственных дел, поставивших Россию в тяжелое положение перед лицом внешнего врага».

И адмиралу и художнику пришлось немало перенести в их патриотическом старании о славе и силе России. Все разваливалось из-за косности царствующего дома, окружившего себя интриганами, а то и просто врагами страны, действовавшими по принципу: «чем хуже, тем лучше».

Верещагину эти разговоры с Макаровым напомнили мытарства с его картинами о русско-турецкой войне, которые ему так хотелось оставить в России и неразрозненными. Но правительство не покупало их. Он тогда бедствовал, задолжал всем, даже у братьев брал по мелочам. А ведь обещал помочь всем, и в первую очередь родителям. Не дождался помощи отец, помер. Не помог ему сын, заслуживший уже мировую славу. Тогда художник написал брату Александру: «Биографии мои теперь так и сыплются. То-то счастье, что называется, на брюхе *шелк,* а в брюхе щелк! Что-то недостает оттого, что не могу поделиться успехом с милым розовым старичком, который ушел от нас. Что мама?.. Кабы дотянуть до времени, когда буду в состоянии предложить ей проехаться в теплый климат! *Надеюсь*, недолго до этого, но как бы не свернулась и она раньше этого; папа милый только выслушал обещание. Дырявые галоши его не

идут у меня из ума — вот истинная нравственная казнюшка».

От него хотели, чтобы он лицемерил, вымарывали из его воспоминаний о войне все, что он писал о злоупотреблениях и несправедливостях, все его предложения, которые, по его мнению, способствовали укреплению боеспособности армии. Третьяков и то советовал ему переключиться на воспевание одних лишь подвигов и не увлекаться показом страданий... За границей успех его выставок был оглушительный — толпы выламывали двери, врываясь в залы. Ему давали любые деньги за картины, говорили, что это «эпоха», «новые горизонты», а он отказывался, готов был на что угодно, лишь бы они остались на родине. Но где там! Наследник, памятуя свой парижский афронт, сказал человеку, склонявшему его на покупку верещагинских картин:

— Читая этот каталог и тексты к картинам, я не могу скрыть, что мне противны его тенденциозности, оскорбляющие национальное самолюбие, и можно по ним заключить одно: либо Верещагин скотина, или совершенно помешанный человек!

А на выставку в восьмидесятом году пришло в Петербурге двести тысяч человек. Какие жаркие схватки вспыхивали в залах! Одни говорили, как наследник. Другие, вроде писателя Данилы Мордовцева, восклицали:

— Этот ужас, который я испытываю перед картинами, возвышает в моих глазах подвиг русского народа так, как не возвысили бы тысячи других батальных изображений его храбрости!

Радикалы гнули свою линию:

— Республику в Болгарии побоялись установить, а посадили на престол Александра Баттенберга; но все же, хотя при немце, дали конституцию, а Россия, обагрившая кровью болгарские поля, продолжает оставаться рабской страной...

Революционеры использовали картины Верещагина для своей пропаганды.

Выставку пожелал увидеть царь. Великаны гвардейцы перенесли на руках полотна в Зимний дворец. Сам художник показывать свои картины не пошел, а послал брата Александра, но того без церемоний удалили из белого Николаевского зала, и царь смотрел один. Александр II воздержался от каких-либо замечаний, но ему нашептывали, что будто бы в Париже картина «Под Плевной» имела табличку «Царские именины»,

Верещагин был издерган до крайности. Разругался со Стасовым. Особенно после того, как критик хотел свести художника со Львом Толстым, а тот внезапно уехал в Москву, и его напрасно ждали в Публичной библиотеке. Верещагин написал Толстому злое письмо. И Стасову написал: «Больше батальных картин писать не буду — баста! Я слишком близко принимаю к сердцу то, что пишу; выплакиваю (буквально) горе каждого раненого и убитого...»

Он вроде бы окончательно бросил кисть и взялся за перо. И тут попадал в больные места. Писал о необходимости теплой одежды для солдат — вычеркивали. Написал, что ружья нужны хорошие,— тоже не прошло. Писал хлестко: «Недаром солдаты наши под Плевной в отчаянии хватали за штык свои тяжелые, переделанные ружья с засорившимися, не действовавшими более замками и разбивали их обземь: коли, дескать, нет от тебя толку, так и не живи же ты на свете... Постыдились признаться в том, что знала и громко говорила вся армия, именно, что наши переделанные ружья никуда не годятся в сравнении с турецкими. Так армия и Балканы перешла с кренковскими дубинками, а десятки тысяч ружей Пибоди пролежали грудами под снегом». Последнее было камнем в огород Дмитрия Ивановича Скобелева, отвечавшего за трофеи. Зато Михаила Дмитриевича Скобелева он ставил в пример всем, при всяком удобном случае...

Картины он не писал, но выставки свои устраивал во всех европейских столицах. Клеветники говорили, что картины Верещагина годны для украшения султанского дворца, а в Вене турецкий консул демонстративно ушел с выставки, заявив, что художник возводит напраслину на турок и чрезмерно возвышает русских. В Берлине сухопарый фельдмаршал Мольтке, посмотрев выставку, запретил офицерам посещать ее. В Париже некий Цион, владелец выставочного зала, нахальный тип, вздумал нагрубить Верещагину. «Тогда я ударил его по роже два раза шляпою, которую держал в руке; на вытянутый из кармана револьвер я вынул свой и направил ему в лоб, так что он опустил свое оружие...» — писал художник Стасову.

Но это были все мелкие неприятности на фоне гигантского успеха, многотысячных очередей на выставки, обвала газетных статей, согласно твердивших о Верещагине как о гениальном художнике. Торговцы картинами всей Европы осаждали его с самыми выгодными предложениями. Мечта Верещагина отдать все картины в одни руки не исполни-

лась. Часть их купил Третьяков (и недорого), часть — Терещенко, а остальные ушли за границу. Большую часть полученных денег Верещагин раздал на художественные школы.

Истинный художник не может бросить своего дела. И рука снова потянулась к кисти. Поездить бы по России, «это более заняло бы голову, чем разные Индии; но ведь теперь это положительно немыслимо, затаскают по участкам и канцеляриям за разными дозволениями...». После балканской серии это действительно было немыслимо, и он поехал в Индию. Он писал изумительные этюды и портреты, но ему было скучно. Впрочем, один сюжет увлек его — «Подавление индийского восстания англичанами».

— Уж это проберет не одну только английскую шкуру,— сказал Верещагин, выписывая пушки и привязанных к их дулам индийских крестьян.

Английские газеты кричали о клевете, а на одной из выставок старенький сухонький отставной английский генерал, всмотревшись в картину, сказал горделиво, что это он первый придумал такой способ казни.

Художник рвался на родину. Франция ему надоела.

— Французы — великие поборники свободы, но с нею не очень церемонятся,— говаривал он.

Художник все чаще приезжал в Россию, писал Кремль, работал в старинных русских городах. Он восторгался памятниками старины и выступал публично в их защиту. Он писал портреты простых русских людей и выставлял их в Нью-Йорке. Тамошние газеты заявляли: «Верещагин производит великие творения свои не ради искусства, но ради человечества вообще и в особенности ради русской народности...» В Америке художника носили на руках, но это не помешало торговцам — «сутенерам искусства» — ободрать его как липку. Он убедился, что гигантские цены, о которых сообщают в газетах,— фальшивка, нужная торговцам, чтобы потом выгоднее торговать произведениями искусства. Художник не пошел на сделку с бизнесменами, и они, сговорившись, сбили цены на аукционе, и более ста картин были куплены по низкой цене.

— Великий художник и совершенный младенец для жизни практической,— говаривал Стасов о Верещагине.

А деньги художнику были нужны. В жизни его произошла большая перемена. В Америке он нашел свое счастье...

С Елизаветой Кондратьевной он все-таки обвенчался, однако отношения их оставляли желать лучшего. В январе 1890 года он писал ей: «Доверие мое к тому, что ты мо-

жешь не поддаваться соблазну, утратилось и не воротится; держать тебя взаперти в деревне я не могу и не хочу, а следить, присматривать за тобой мне просто противно — ввиду этого жить с тобою вместе я не буду больше никогда...»

Художник не видел своей легкомысленной жены уже несколько лет. Он предлагал ей развод и свободу и просил лишь, чтобы она не позорила имени, которое носила.

Еще в Нью-Йорке условлено было, что он проедет с выставкой по всем крупным американским городам. И он решил — на русской выставке должна звучать русская музыка. И вот московская филармония получила письмо с просьбой прислать в Америку хорошую пианистку. Выбор пал на Лидию Васильевну Андреевскую. Вопреки воле родителей, она двинулась в «безумное» путешествие за океан.

Ей было двадцать три года, Василию Васильевичу — сорок шесть. Тихая, задумчивая, прилежная, она понравилась Верещагину, но он не сразу разглядел ее неброскую красоту, тем более что Лидия Васильевна характер имела замкнутый. Когда его пленила женственность Лидии Васильевны? Тогда ли, когда он решил, что ей надо сидеть за роялем в русском народном костюме, и жемчуга нарядного кокошника заставили светиться бирюзой ее светлые глаза? Или во время долгих бесед, когда он изумился ее глубоким познаниям в живописи и литературе? Как бы то ни было, но Лидия Васильевна, Лида, стала необходима ему ежечасно, ежеминутно, а с рождением первого ребенка, девочки, появились заботы о собственном доме, который хотелось непременно построить в России. Дети должны расти на родине. Вот тут-то и понадобились ему деньги...

Покончено было со всеми ссорами и дрязгами эпизодического совместного жития с Елизаветой Кондратьевной. Верещагин высылал ей тысячу рублей в год и обещал (и выполнил обещание) платить эти деньги пожизненно. Художник не сразу получил развод, но это было уже неважно. Его переполняла нежность к Лиде и детям, с которыми он перебрался жить под Москву, в Нижние Котлы, где вырос большой дом с просторной мастерской.

Характер у художника был тяжелый. Неприятности делали его раздражительным, он не выносил никакого прекословия в семье, кричал на Лиду, а потом мучился сам. Во время одной из разлук перед переездом в Россию он написал Лидии Васильевне:

«Правду тебе сказать, никогда еще неизвестность так не тяготила меня, как теперь. Что-то будет? Как-то я буду ра-

ботать? А главное, самое главное — будем ли мы дружно жить?.. При малейшей ссоре, малейшей неприятности с тобою у меня все застилает в глазах, все делается не мило, начиная с тебя самой, работы делаются противны, просто хочется какую-нибудь пакость сделать, хоть бы это стоило боли страдания».

Но время сглаживало шероховатости семейной жизни. Верещагин стал мягче, спокойнее. Во время частых путешествий он тосковал по жене и детям, привязанность к которым в его возрасте становится особенной, и он писал письма нежные и тревожные.

Россия, ее природа и люди полностью завладели помыслами художника. Он все время в пути... Нет числа пейзажам, портретам, статьям — этим его объяснениям в любви к родине. И он обратился к прошлому отечества, как бы предвидя грядущие испытания мужества и стойкости русского народа. Семнадцать лет он отдал серии картин о событиях 1812 года. И снова правительство не захотело их приобрести. Тот, у кого нет будущего, не проявляет интереса и к прошлому. В отчаянии Верещагин хотел «предать казни», сжечь всю серию картин. Русские эмигранты, издававшие в Лондоне газету, запрещенную в России, писали, что картины о народной войне 1812 года заставляют биться русское сердце от восторга за Верещагина, что в них выражена справедливая мораль: «Всякий захватчик, который думает о покорении России, осужден на гибель!»

Предчувствуя приближение новой войны, Верещагин в своих статьях все чаще вспоминал балканские события, предостерегал от беспечности. Он рассказывал о Шипке и считал необходимым, «чтобы солдат наш, с одной стороны, возможно развился нравственно и физически, с другой — сбросил бы с себя немецкий облик... и, одетый в полушубок, с теплыми рукавицами и носками, наловчился бы во всех маневрах, изворотах и движениях зимой... Одна уверенность иностранцев в том, что войска наши, тепло одетые, обучены по-домашнему устраиваться в снегу, на больших морозах, отобьет охоту у ближних и дальних соседей постоянно собираться к нам в гости, стращать, что вот-вот придут. Милости просим — поиграем в снежки!»

Пацифизмом, который ему часто приписывали, от этих слов и не пахнет.

Правительство вынуждено было публиковать официальные опровержения, звучавшие смешно. В заявлении военного министерства говорилось:

«Вообще генерал Радецкий жил на Шипке в чрезвычайно тяжелых условиях и если играл в свободное время в карты (по очень маленькой ставке), то самая эта игра действовала успокоительно на окружающих...»

Возмутился даже бывший начальник скобелевского штаба генерал Куропаткин, написавший:

«Радецкий, чтобы не тревожить Россию, доносил, что «на Шипке все спокойно», и это в то время, когда вверенные его командованию войска самоотверженно умирали, засыпаемые снегом. Знаменитая картина В. В. Верещагина *верно* передает то, что в снежные бураны переживали наши герои офицеры и солдаты на шипкинских позициях».

Отправившись в 1903 году в Японию, художник видел не одни лишь экзотические картины быта и природы этой страны. Тотчас по возвращении он сказал при встрече с Репиным:

— Японцы давно превосходно подготовлены и непременно разобьют нас... У нас еще нет и мысли о должной подготовке к этой войне... Разобьют, голову дам на отсечение — разобьют!

Он написал несколько писем лично Николаю II, делясь своими впечатлениями о японской военщине и пытаясь дать полезные советы. Ему не ответили. Японцы атаковали русскую эскадру в районе Порт-Артура без объявления войны в феврале 1904 года, но еще в январе, уже зная твердо, что это произойдет, художник написал Куропаткину:

«Пожалуйста, устройте мое пребывание при главной квартире Вашей ли или другого генерала, если дело дойдет до драки. Напоминаю Вам, что Скобелев сделал бы это...»

Верещагин понимал, что Куропаткин — это не Скобелев. Сильные люди в ветшающей империи были не в почете. Если они и появлялись, то их ждало либо забвение, либо гибель... И все же художник соглашался стать ординарцем у любого генерала и выехал на Дальний Восток уже в феврале. Он хотел всюду поспеть, побывал в Мукдене и Ляояне, добрался до Порт-Артура...

И вот он стоит на мостике «Петропавловска» с альбомом в руке.

Утром, переходя с крейсера «Диана» на броненосец «Петропавловск», Степан Осипович Макаров сказал Верещагину:

— Василий Васильевич, вернитесь в порт. Будет бой, и бог знает, кто из нас уцелеет. Вы нужны России...

— Степан Осипович, я приехал в Порт-Артур не ради праздного любопытства, а именно для того, чтобы запечатлеть морское сражение,— почти раздраженно ответил художник.

Броненосцы «Петропавловск», «Полтава», «Победа», «Пересвет» и другие русские суда атаковали эскадру японских крейсеров, пока на горизонте не показались главные силы неприятельского флота.

Макаров называл художнику вражеские броненосцы, а тот быстро набрасывал их силуэты. Сил у японцев оказалось больше, чем в макаровской эскадре. Адмирал приказал ей отходить на внешний рейд, чтобы принять бой при поддержке береговой артиллерии. Верещагин пошел на корму броненосца...

Часы показывали 9 часов 34 минуты утра, когда палуба под художником всколыхнулась от взрыва. «Петропавловск» наткнулся на мины, поставленные японцами. Тотчас взорвались торпедный погреб и паровые котлы броненосца. Через полторы минуты он, зарывшись носом в воду, ушел в глубины Желтого моря.

Из семисот с лишним человек команды другие корабли подобрали лишь семь офицеров и пятьдесят два матроса. Минный офицер Иениш рассказал о последних секундах жизни художника Верещагина:

«Смотрю, на самом свесе стоит группа матросов и среди них в расстегнутом пальто Верещагин. Часть из них бросается в воду. За кормой зловеще шумит в воздухе винт. Несколько секунд — и взорвались котлы. Всю середину корабля вынесло со страшным шумом вверх. Правая 6-дюймовая башня отлетела в море. Громадная стрела на спардеке для подъема шлюпок, на которой только что остановился взгляд, исчезает из глаз,— я слышу над головой лишь басистый вой... Взрывом ее метнуло на корму, и место, где стояли еще люди и Верещагин, было пусто — их раздробило и смело...»

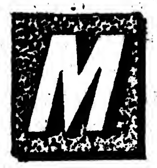
О чем он успел подумать за мгновенье до гибели?

Наверно, как и любой русский воин, о жене, о детях, о родине. И еще о том, что совесть его чиста...

1977

БОГАТЫРСКОЕ СЕРДЦЕ

1

не, что называется, повезло. Вроде бы совсем недавно надумал я писать эту повесть, съездил в родное село своего героя, и тотчас Александр Андреевич Сенаторов, бывший борец и чемпион, сообщил мне, что ровно через неделю, а именно 7 октября 1971 года, в курортном городе Ейске будет торжественно отмечаться столетие со дня рождения Поддубного и что туда приглашены его родственники и борцы-ветераны.

— Кто приглашен? — уточнял я.

— Посланы приглашения почти всем, кто хоть как-то был связан с Поддубным. А кто приедет — не знаю. Помните, что Ивану Максимовичу было бы сейчас сто лет...

Через несколько дней я уже был в Ростове-на-Дону.

Капризная осень, поившая багрец подмосковных лесов несильным, но устойчивым солнечным светом, дохнула холодом на южные края, и я шел по ростовскому аэродрому, утопая по щиколотку в снегу. Местные рейсы были отменены. Радио спокойно объявило, что ейское летное поле

погребено под снегом и над ним гуляет порывистый ветер, способный перевернуть легкие бипланы, которые летали на этой линии.

Огорчен был не я один. В толпе, осаждавшей дежурного, я заметил кряжистого пожилого человека и с первого же взгляда на его могучий затылок, сливавшийся без всякого перехода со складчатой широкой шеей, понял, что это бывший борец. Он прислушивался к нервным вопросам пассажиров и полным неопределенности ответам дежурного.

— И завтра, наверно, самолетов не будет. Погода, снег...

На массивном розовом без единой морщинки лице борца не дрогнул ни один мускул, но из внезапно потемневших глаз брызнула такая досада, что я невольно подался вперед и оказался рядом с ним.

— Вы тоже на праздник! В Ейск? — спросил он, разглядев во мне товарища по несчастью.

— Да. А вы знали Поддубного?

— Ивана-то Максимовича? Еще бы! Я ж его крестник. Позвольте представиться — Михаил Иванович Греков. Бывший борец. Я с Ростова. Наши все еще вчера поездом уехали, а я решил самолетом... Так что же мы стоим? Сядем, подождем. Может, что и прояснится...

Усевшись в глубокое металлическое кресло, он согнул руку, и ткань его просторного пиджака оттопырилась бицепсом величиной с человеческую голову.

— Сила и здоровье! — с простодушной гордостью произнес Греков.— Ивана Максимовича Поддубного школа... Тренируюсь каждый день с гирями и мячиком, как он учил. Ну как?

— Завидно,— признался я.

— Не скажу, что был его другом... Где нам до него — как на бога смотрели! А вот на жизнь мою он повлиял сильно. Я ведь начал спортом заниматься, потому что совсем еще пацаном увидел Поддубного. Что у нас в Ростове творилось, когда он приезжал! Билетов в цирк не достанешь ни за какие деньги. Вокруг цирка — конный заслон... И разговоры все о нем, все о нем... Хотите верьте, хотите нет, а выпало мне тогда такое счастье, что и передать вам не могу. Верчусь я, знаете ли, возле цирка, мечтаю попасть, и вдруг... глазам своим не верю: сам Поддубный идет с чемоданчиком, усы и все такое... Я к нему: «Разрешите ваш чемоданчик поднести», а он посмотрел на меня сверху и

усмехнулся: «Ну что ж, поднеси». Прошел я с ним в цирк. Вот тут-то все и началось... Красиво боролся Иван Максимович, я прямо обмирал от восторга! На другой день я пришел к нему в гостиницу. Он оглядел меня и говорит: «Вот что. Я тебе дам рекомендательную записку в спортивное общество, будешь заниматься борьбой». Многим он так-то дорогу в спорт указал. Я и теперь еще выступаю.

Греков извлек из чемоданчика афишу, на которой большими красными буквами было напечатано:

«Выступление старейшего спортсмена Дона Михаила Грекова. Путь к здоровью, силе и долголетию...»

Под надписью на неясной синей фотографии Греков держал над головой две громадные гири. Рядом он же делал мост. На груди Грекова лежала широкая доска, а на ней сидели и стояли десятка два парней.

Такую афишу теперь можно увидеть только где-нибудь в районном городке. Но не в Москве или, скажем, в Ленинграде, где клубные начальники презирают подобный провинциализм. И, может быть, зря...

В памяти всплыла картина тридцатипятилетней давности. Гарнизонный клуб, куда я привел солдат своей роты; на сцене пожилой, но могучий дядя подбрасывает и ловит двухпудовые гири, поднимает целую гроздь облепивших его солдат... И ведь заразил, заразил же такой вот Греков всю роту, появились в казарме гири, началась азартная накачка мускулов и борьба за первенство!

Уже через месяц командир батальона тихо подошел к солдатам, которые столпились вокруг ротного силача, казалось, без всякого усилия выжимавшего двухпудовую гирю второй десяток раз. Постояв немного, батальонный удивленно спросил:

— Да что она у тебя, Фетисов, картонная, что ли?

И я было подумал, уж не сам ли Греков выступал тогда в клубе, как старый атлет достал из кармана пиджака какое-то письмо, аккуратно завернутое в целлофан.

— А ведь мы с Иваном Максимовичем Поддубным вместе выступали со спортивно-оздоровительной программой. Ему тогда уж за семьдесят пять было. Потом с ним случилась беда... Прислал он мне в Ростов письмо...

Письмо Греков держал своими толстыми, могучими пальцами бережно, как величайшую драгоценность, да оно и было для него бесценной реликвией, воскрешавшей его связь с самым замечательным борцом прошлого. Выпустил из рук письмо он неохотно, а я сразу впился глазами в лист-

ки, исписанные каким-то квадратным, рубленым почерком, во фразы, где не было иных знаков препинания, кроме точек, в слова, не подчиняющиеся признанной орфографии...

Я заставил себя оторваться от письма и взглянул на Грекова. Глаза его были внимательны и тоскливы. Для него столетие Поддубного было не просто датой в спортивном календаре.

В маленьком домишке, где он обитал один после того, как умерла жена, а дети выросли и зажили своей жизнью, все дышало Поддубным. На стенах висели афиши, оповещавшие когда-то население об их совместном прибытии в какой-нибудь забытый богом городок на берегу тихого Дона. На столе лежал альбом с фотографиями и вырезками, любовно обведенными цветными карандашами. «Ученик Поддубного» — это звание было дорого для него, чья известность не выходила за пределы родного края. Громкая чужая слава грела его, создавала атмосферу собственной значительности. И теперь вот он не увидит того, о чем хватило бы разговоров по меньшей мере на год в его мире, мире человека жизнерадостного и немного хвастливого, сильного и очень доброго. Все это я скорее почувствовал, а узнал потом...

Но фортуна бывает снисходительна к отчаявшимся так часто, что уже начинаешь не верить в закон, подтвержденный ныне даже ученейшими математиками и называемый в просторечии «законом бутерброда».

Мы с Грековым побывали в кабинете начальника всех местных авиалиний, предъявили ему свои мандаты, выслушали вежливый отказ и объявили, что пойдем выше, к начальнику всего аэропорта.

— Не советую,— сказал местный начальник.— Приехал сам замминистра гражданской авиации — вас не примут...

Но мы с Грековым уже посмотрели в глаза друг другу, в головах наших одновременно созрел коварный план, основанный на точном психологическом расчете...

Мы вломились в громадный кабинет, обойдя секретаршу, вставшую на нашем пути. В кабинете десятка полтора чинов гражданской авиации в застегнутых на все пуговицы мундирах и при фуражках внимали московскому начальству. Наше шумное появление имело успех. Лакированные козырьки фуражек повернулись в нашу сторону; от толпы внимавших отделилась плотная фигура, очевидно, начальника аэропорта и мановеньем пальца подозвала чина пониже.

— Обеспечьте товарищей,— сказал начальник.

Мы так и не успели заявить свои претензии. Нас вытеснили из кабинета, а через полчаса мы были в воздухе.

Десятиместный биплан, раскачиваясь, помчался по заснеженному полю. Оторвавшись от земли, он как бы повис над окраинами Ростова. Скорость его была невелика, и потому внизу еще долго виднелась темная широкая лента Дона...

В самолете Греков стал самим собой. Уныния как не бывало, он похохатывал. Чувствовалось, что для самоутверждения ему не хватает небольшой похвалы. И Михаил Иванович напросился на нее сам.

— Как вы думаете, сколько мне лет?

— Пятьдесят... Ну, пятьдесят пять,— ответил я.

— Ха-ха-ха! Семьдесят три! — почти выкрикнул он торжествующе.

2

Я слушал Грекова и словно бы окунался в собственное детство...

Среди довоенных мальчишек ничто так не ценилось, как физическая сила. Силачам завидовали, силачей почитали и боялись.

В мечтах мальчики вдруг обрастали мышцами и становились защитниками слабых и грозой уличной шпаны. Казалось, стань сильным, и все тебе покорится. Не будет больше никаких обид в жизни, а за спиной — лишь робкое перешептывание почитателей.

Вырастали мальчишки, но не скоро развеивался миф о счастье сильных.

Среди юнцов тогда ходили легенды о футболисте «Железная нога». Будто бы запрещено ему было бить по воротам правой ногой, будто бы убил он уже несколько голкиперов-вратарей — такой силы у него был удар.

А еще рассказывали про Ивана Поддубного, непобедимого борца, способного согнуть рельс, свернуть шею быку и даже остановить трамвай. В разговорах мелькал непонятный, но убедительный «двойной нельсон», в пыльных дворах процветала «французская борьба», а по вечерам ждали нас родительский суд и скорая расправа за разорванные штаны...

Поддубный не был легендой.

Правда, он не гнул рельсы и не сворачивал шеи быкам,

но зато неизменно клал на лопатки тех, кто показывал эти трюки в поисках хлеба насущного. Поддубному тогда было под семьдесят. Он еще выступал, его наградили орденом, чествовали в газетах.

Газет мы в том возрасте еще не читали, но слушали взрослых, которые при упоминании имени Поддубного пускались в красочные воспоминания о тех временах, когда русский футбол делал первые робкие шаги, когда полет из Петербурга в Москву казался чудом, а самым привлекательным и волнующим зрелищем были борцовские чемпионаты.

Даже в тридцатых годах одно его имя заставляло ломиться в цирки тысячи людей. В те дни, когда он боролся, на арену выходили парадным шагом все борцы. Кроме него. Арбитр представлял борцов и лишь после этого объявлял:

— В чемпионате принимает участие чемпион чемпионов, чемпион мира Иван Максимович Поддубный!

Оркестр играл туш, и под гром оваций на арену не выходил, а, скорее, выбегал знаменитым цирковым аллюром сам Поддубный...

Театральные режиссеры и актеры ходили тогда в цирк не только любоваться могучими телами борцов, демонстрацией силы и ловкости, но и наслаждаться отработанным ритуалом чемпионатов. Народный артист Петров с восторгом вспоминал о Поддубном: «Как подавал он себя! Как подавал!..»

Они еще долго жили, эти чемпионаты, привлекая провинциальную публику под серый брезент цирков шапито. Помнится, в одном городишке тотчас после войны на ярко освещенную арену вышел квадратный дядя в лаковых сапогах, в поддевке и картузе и пронзительно скомандовал:

— Парад, алле!

Подтянув животы и расставив широко толстые руки, появились могучие борцы. Их складчатые шеи и расплющенные уши малиново блестели, на лицах была написана важность, приличествовавшая моменту.

— Прибыли и записались...

Дядя в поддевке называл имена и чемпионские титулы. Имена громкие, принадлежавшие тем, кого уже давно не было на свете.

— Лурих!

Где он, Лурих? Но борец на арене делал шаг вперед и кланялся. Он был уже третьим или четвертым Лурихом,

фигурировавшим в борцовских чемпионатах. Присвоение знаменитых имен стало традицией.

Из публики спросили:

— А где сейчас Денисов?

Дядя в поддевке торжественно ответил:

— Борец Денисов погиб смертью храбрых на фронте Великой Отечественной войны!

В цирке наступила скорбная тишина. Дядя снял картуз и перекрестился.

Потом началась борьба. Силачи играли мускулами и добросовестно кидали друг друга на ковер. Появлялся борец в черной маске, клавший на лопатки всех подряд... Но чем дальше, тем удрученнее вздыхали зрители постарше. Пожилой мужчина в пенсне произнес приговор:

— Поддубного на вас нет!..

«Поддубный», «Поддубный»,— у всех это имя было на устах. И, глядя на богатырей, стоявших на арене, я думал, что это за человек? Какими качествами он обрел народную любовь? Почему о нем рассказывали чудеса еще наши деды?

В дореволюционной России его знали все — «от дворника до царя». До сих пор рождаются легенды о подвигах Ивана Поддубного, и теперь уже трудно отделить легенды от истины. Но не в том ли и есть подлинная слава?

На II Всесоюзном съезде писателей Михаил Александрович Шолохов сказал:

— На днях я увидел человека в штатском — вся грудь в золоте и медалях. «Батюшки, думаю, неужели воскрес Иван Поддубный?..»

Шолохов, наверно, видел Поддубного.

Но когда сейчас, в семидесятых годах, слышишь, как на школьной перемене один мальчишка говорит другому: «Расхвастался! Тоже мне Поддубный!» — то начинаешь понимать, что имя это стало символом физической мощи.

Само имя «Поддубный» по своему смыслу и звучанию порождает в воображении нечто внушительное.

Личность Поддубного трудно переоценить. Своей славой, своим примером он толкнул на спортивную стезю тысячи и тысячи юношей. С борьбы начинали многие спортсмены, замечательно проявившие себя в других видах спорта. Что же касается народного здоровья, то можно без преувеличения сказать, что, прививая своими выступлениями любовь к физической культуре, Поддубный один сделал работу за легион врачей...

«Я видел Поддубного»,— могут сказать очень многие. Но ни от кого вы не услышите рассказов о дряхлом старике. Помнят, что усы у него были уже не рыжие, а седые, но у всех оставалось впечатление статности и мощи.

...Вот он колет дрова зимой, по пояс голый. Перекатываются под белой кожей громадные бугры мышц, взлетает колун, и узловатые колоды рассыпаются в поленья, которые в считанные минуты образуют холм выше человеческого роста.

Из-за забора смотрят мальчишки на это чудо и слышат хрипловатый басок:

— Что, хлопцы? Старого побачить пришли? Ходьте сюда, я вам приемы покажу.

Начинается возня в снегу под одобрительную воркотню полуголого седоусого великана. И навсегда запоминает этот день будущий чемпион...

Но уходят годы, и чем дальше, тем свободнее и индивидуальнее толкуются поступки человека и даже его внешность.

Скульптор Е. Вучетич в своей книге «Художник и жизнь» рассказывал, как в середине тридцатых годов он сделал этюдный портрет «чемпиона чемпионов».

«Это был громадный человечище колоссальной физической силы, богатырь воистину. Он меня поразил своими размерами.

И несмотря на то, что у Ивана Максимовича действительно был и низкий лоб, и нос картошкой, и многое другое в таком же роде, я обращал внимание совсем на другое. И вот теперь, спустя почти 30 лет, когда я смотрю на этот портрет — сырой и далекий от совершенства этюд, я вижу борца, причем не просто борца, а чемпиона, с достоинством носящего это звание».

Итак, нос картошкой...

Поэт Илья Сельвинский в автобиографическом романе «О, моя юность» придумал большой эпизод, где гигант «с еврейским носом» будто бы согласился показать приемы борьбы крымской сионистской боевой дружине.

Но пока речь идет не о подлинном блеске, а об отблесках величественного, о «живой легенде», уходящей истоками в глубь десятилетий. О той поре, когда звезда Поддубного сияла на спортивном небосклоне, написаны десятки романов и рассказов. Прошествовал по экранам фильм «Борец и клоун», живет оперетта «Под черной маской»... Скудость сведений о жизни Поддубного (не о схватках его

на ковре — о них писала спортивная пресса едва ли не пятьдесят лет подряд) заставляет художников напрягать воображение и порождать новые легенды...

Как ярчайшая примета предреволюционной действительности, Поддубный — непременный персонаж мемуарной литературы, многочисленных воспоминаний старых борцов и цирковых артистов, где встречи с ним (подлинные и вымышленные) столь колоритны, что становятся основными событиями всего повествования.

Легенды и анекдоты, нагромождаясь, все же не заслоняют настоящего Ивана Максимовича Поддубного. Правда, память человеческая устроена странно — легенды она сохраняет прочнее, чем быль.

Я еще раз убедился в этом, посетив родные места Поддубного...

3

Иван Максимович Поддубный родился 26 сентября (по старому стилю) 1871 года в селе Красёновке, что затерялось в черноземной степи между Оржицей и Золотоношей...

Здесь некогда начиналось недоброе Поле, безбрежное море высоких трав, примятых кое-где табунами полудиких коней и опаленных кострами становищ. Сбивались в орды степные кочевники и шли на север к богатым возделанным землям Руси...

Здесь, на краю лесостепи, их встречали богатырские заставы, и начиналась великая сеча. Скудно повествует история о тех временах, но никогда не изгладятся они в народной памяти, обессмертившей имена Ильи Муромца, Добрыни Никитича и Алеши Поповича...

Именно здесь немного позже шел походом на Переяславль хан Кончак. Ржали кони, скрипели телеги, кружились над полчищем хищные птицы, готовясь к тризне... «Загородите Полю ворота!» — звенел тревожный голос певца, призывавшего к прекращению усобиц.

Проходили века, и Поле отступало. Заселялась степь, ставились низкие мазанки, маслянисто поблескивал на солнце чернозем. Но не скоро пришел мир на берега Днепра. Русские «украины» волею исторических судеб долго еще истекали кровью и слышали чужие голоса.

И родилось здесь казачье племя, выросли люди, легкие на подъем, могучие телом и духом, не знавшие ни страха,

ни жалости в бою и жадные до работы. Щедрая земля вознаграждала за опасность хлебным и иным изобилием, наливавшим изловчившееся в трудах и боях тело двойной силой.

Много поколений воинов и хлеборобов насчитывал род Поддубных. Когда Ивана Максимовича, уже завоевавшего титул «чемпиона чемпионов», спрашивали, встречал ли он людей сильнее себя, богатырь отвечал:

— Если говорить о борцовской силе, то, пожалуй, нет. А так, сильнее люди попадались. Мой батько Максим Иванович был сильнее меня...

Земля. В ее плодовитости, взывавшей к благодатному труду, была тайна силы Поддубных. Словно мифические герои, они черпали силу в неразрывности с землей.

Биографы борца охотно возводят его род едва ли не к Федьке Поддубному, «сухощавому детине, кривому на один глаз и со множеством рубцов на лице», забывая, что этот персонаж замечательного исторического романа «Князь Серебряный» порожден воображением Алексея Константиновича Толстого.

И еще пересказывают легенду о некоем казаке Поддубном, который был замечен Петром I и взят им в личную охрану, а потом, будучи в составе русского посольства в Англии, оказался замешанным в романтическую историю...

Доподлинно ж известно, что Максим Иванович Поддубный, отец борца, был потомственным хлеборобом и дюжим парубком. Жил он в Красёновке. В двадцать лет женился на крепкой дивчине Ганне из соседней Богодуховки, на дочери Данилы Науменко, который тоже не жаловался на немощь и прожил на свете 125 лет.

Молодые поселились в Красёновке в том краю села, что и по сей день зовется Болюковкой. Поставили хату-мазанку, с маленькими окошками и соломенной крышей. Когда просох и зажелтел глиняный пол, его застелили ряднами. Большая деревянная кровать, печка, шкафчик «мысник», стол и лавка, божница, украшенная пучками чебреца, любистка и васильков,— такой помнил всегда Иван родную хату.

В ней он и увидел свет, захлебываясь криком на радость отцу Максиму, с опаской потрогавшему его громадной мозолистой рукой, и матери Ганны, измученной родами.

Первенец был очень крупный.

Ныне в Красёновке мазанку найдешь с трудом. А Поддубные есть. У них, как и у прочих, дом большой, крытый черепицей, с телевизионной антенной... В селе есть и колхоз и совхоз, директор которого Михаил Владиславович Концовский — кавалер Золотой Звезды.

— Меньше тридцати семи центнеров пшеницы с гектара не берем,— говорит он,— оттого и живем так.

Широким жестом он проводит горизонт, и под ним умещается ровная, как стол, ухоженная земля, добротные дома, нарядная школа и мраморный бюст Поддубного перед ней. Иван Максимович изображен молодым, бравым. Мрамор блестит на солнце.

Концовский рассказывает, что открыли бюст в сотую годовщину со дня рождения знаменитого земляка, которая по «Украинской энциклопедии» выпала на 1970 год. Я его заверяю, что по метрикам за номером 3031 эту торжественную дату следовало бы отметить годом позже.

— И тут мы досрочно управились. По привычке. Как с урожаем,— солидно шутит Концовский.— Ну вы поспрошайте, поспрошайте наших стариков про Поддубного. Они вам такого наговорят...

И точно, наговорили...

Пересказывали старую брошюру о Поддубном, расцвечивая ее плодами крестьянской фантазии.

Работал, мол, Иван Поддубный в Феодосии. Видит раз: бежит босяк, а за ним — городовые. Двое. Он возьми и брось им под ноги мешки, которые нес. Будто уронил нечаянно. Городовые попадали, а босяк убежал. Вечером встретил его Иван, повел в трактир, накормил, напоил... А босяк-то оказался Максимом Горьким. С той поры и пошла у них дружба на всю жизнь...

— Да не было этого, Нестор Митрофанович,— говорю я.

— Як не було. То ж люди говорять и у книгах пишуть...

— Не было, и все. Горький побывал в Феодосии в 1891 году, а Поддубный приехал туда только в 1895-м... В книгах писали об их встрече. И не раз писали. Да только быть этого не могло.

Нестор Митрофанович смотрит на меня недоверчиво.

— Мы люди тэмни,— говорит он уклончиво, и я чувствую, что ничуть не поколебал крестьянской веры в печатное слово. Более того, сам я со своим опровержением легенды

становлюсь личностью подозрительной, этаким самозванцем с поддельными документами и намерением потрясти всяческие устои...

И еще услышал я пересказ фильма «Борец и клоун», который не раз прокручивали перед земляками Поддубного. Про любовь и про коварство...

Реальными были только пеньки старых акаций, некогда осенявших мазанку, в которой родился Иван Поддубный. Они торчали в огороде, метрах в тридцати от дома Григория Кононовича Поддубного, колхозного шофера и такого здоровяка, что любо-дорого было смотреть.

Старая мать его вспоминала у пеньков, как бедно жили в селе, и все оборачивалась на свой богатый дом, словно бы в страхе, что он вдруг исчезнет.

— Колы Иван родився, говорять, у неби щось вроде змия летало. Знамення таке було.

— Що вы говорите, мама? — возразил Григорий Кононович.— Це ж не змий. Це ж по-нашему, по-научному, комета...

— Та нехай буде комета. И еще говорять, когда поп крестив Ванюшу Пиддубного, то вин був такой крепкий та шустрый, що вырвався из рук и упав в купель. Батюшка после крещения казав всим: «Поздравляю вас, миряне, с сильным богатырем». Никто тоди ничого не подумав, а после вспомнили...

Но постепенно за миражами легенд стал вырисовываться быт старого села и судьба крестьянского сына...

Еще светлей и ярче увиделась она в Золотоноше, в доме младшей сестры Поддубного Евдокии Максимовны. В этом доме у дороги, запорошенном пылью, которую щедро вздымали в воздух колеса проносившихся автобусов, мне показалось, что время вдруг стало. Так останавливаются громко тикающие ходики и наступает тишина, в которой слышишь, как бьется собственное сердце.

Мы торопимся. Нас увлекают скорости космических ракет. Наш мозг проигрывает гонку с быстродействующими электронными машинами. У нас нет времени, чтобы остановиться, привести в порядок свои мысли и оглянуться на прошлое, вспомнить род свой и определить его место в жизни народа. Оттого, верно, и исчезли со стен наших комнат портреты отцов и дедов.

Здесь они были.

Среди рушников, ковриков-клеенок, расписанных лебедями, замками, ангелами и спящими красавицами цвета

первосортной лососины, ситцевых занавесок висело несколько десятков увеличенных фотографий, старательно раскрашенных, потому что крестьянская душа не принимает условности серого мира, порожденного мокрым мраком лабораторий.

Венчал это собрание знаменитый портрет Поддубного, на котором он стоит, заложив руки за спину, расслабив мышцы и устремив взор куда-то поверх камеры. Тень падает на выемку в широком подбородке, и только он один говорит о чудовищной воле и силе, скрадываемой пропорциональным сложением, отсутствием гипертрофии в этом теле, рожденном для невиданных перегрузок и молниеносных движений. Вся фигура Поддубного источает уверенность, которой всегда веет от подлинного величия.

В гордом повороте головы, в колечках нафиксатуаренных усов угадывается тот «чемпион чемпионов», который в наивном высокомерии делил мир на людей очень сильных и на прочих... Первым, здороваясь, он сжимал руку всей своей могучей пятерней, а вторым — протягивал для пожатия лишь два пальца.

Через плечо у него надета широкая лента, а по ней в лавровом обрамлении под золотыми звездами плывет золотой же кораблик Лютеции, символ столицы прекрасной Франции, нашедший тихую пристань на стене украинской хаты...

Но было бы неправомерно отделять этот портрет от других — от усачей с «Георгиями» времен первой мировой, от сержантов и лейтенантов второй, от лиц напряженных и сильных, от дюжих людей, наделенных фамильной волей.

Застыли на свадебных фотографиях молодожены — расшитые рубахи, мониста, венки...

А вот и новое поколение — инженеры и ученые. И их дети, уже с иным выражением лиц и глаз. Исчезла старая фотографическая окаменелость, зато простодушия нет и следа.

Я насчитал на стенах пять поколений. По современным понятиям это около ста пятидесяти лет.

Евдокии Максимовне, сестре Поддубного и старшей в доме, за восемьдесят. Она широка в кости и румяна.

— Ох, молода бедова я была,— говорит она.— У нас в селе часто боролись. Подставишь ногу, ось так, и через себя кинешь. Любого мужика брошу. Тикают од мене. А Ванюшу в двенадцать рокив уже все боялись. Его толкнут, а он по-

дывится, всем туловищем повернется, и — «не лизь!»... Тильки батя наш, Максим Иванович, був его сильнее...

Она кивает на семейный портрет Поддубных. Максим Иванович, положив грозные кулаки на колени, сидит рядом с женой Анной Даниловной. Позади в черкеске стоит младший сын Митрофан, двухметрового роста, косая сажень в плечах. Девочки...

Но тут не все...

5

Было у Максима четыре сына — Иван, Никита, Емельян и Митрофан. И три дочери — Матрена, Марина, Евдокия.

...И вот его первенец Ванюша уже переступил порог чисто выбеленной хаты и гоняет по улицам села, поросшим гусиной травой. А село чудо как хорошо! Белые хатки с соломенными крышами утопают в вишневых садах. Белые акации осеняют улицы, полого спускающиеся к тихой речке Ирклий. Она берет начало неподалеку, петляет в поросшей камышом низине, пока не поглотит ее воды величавый Днепр.

Клонятся к речке могучие вербы, купая длинные гибкие ветки в застойной воде стариц. У белой церковки — кладбище с буйными зарослями бузины вместо ограды.

А за околицей поля, поля до самого горизонта. Кругом ни рощицы, только дрожит жаркий воздух над пшеницей и житом да купаются в нем невидимые жаворонки, поют самозабвенно. Ветер набежит, погонит волнами хлеба́...

У Максима Поддубного земли было немного — около хаты саженей сто и в поле две десятины. Была та землица для здешних мест бедновата, больше суглинка, чем чернозема, а все же семья скудно, но кормилась. Сам Максим работал как вол и только силой наливался. Большого роста, жилистый, он легко брал на плечи два пятипудовых мешка, поднимал вилами целую копну сена.

Балуясь, он останавливал любую телегу, ухвативши ее за колесо, валил наземь за рога здоровенных бугаев, а когда собирались мужики в круг побороться на кушаках, равных ему в округе не было.

Рассказывают, что незаурядной силой отличались и все его дети.

Марина в дивчинах, бывало, рассердится на парубка, снимет с него смушковую шапку и подсунет ее под бревна, сложенные на улице, подняв их плечом. Парень бегает, пока кучу народу не соберет, чтобы шапку свою вызволить.

Самый младший сын в семье, Митрофан, со временем вымахал в двухметрового детину. Соседи говорят, что он как-то вытащил из ямы вола весом в восемнадцать пудов. Позже, в Туле, куда он приезжал к брату, Митрофан потешил публику, подержав на плечах помост с оркестром, который играл «Многая лета». Этот случай упоминается в книге об Иване Поддубном, которую от имени Митрофана написал один украинский журналист.

До подвигов первенца Ивана мы еще дойдем, а пока кончилась его привольная жизнь — лет в семь он пас гусей, потом коров. Вскоре он уже возил на волах зерно в Золотоношу — налыгач в руки, и «цоб-цобе!». Помогал отцу. Платили по копейке за пуд. Двадцать пять копеек за воз.

С двенадцати лет Иван работал батраком — пас овец в экономии пана Кублицкого, богатые земли которого обжали со всех сторон скудные поля красёновских крестьян.

Много хлопот доставлял Ивану громадный и своевольный племенной баран, гордость панской экономии. Упрется животное, твердолобость которого вошла в пословицу, и ни с места. Ухватив его за витые рога, Иван тянет, рвет, толкает, пока баран не тряхнет головой и не отбросит мальчонку в пыль.

Прекрасной гимнастикой было это единоборство с бараном. Нынешнее поколение рода Поддубных преисполнено наивной уверенности, что едва ли не она заложила основы спортивных достижений Ивана Максимовича.

Крепли мышцы, раздавались плечи, и вскоре Иван уже мог оторвать барана от земли, перебарывал всех своих сверстников, а в пятнадцать лет рисковал схватиться с отцом. Крепко взяв друг друга за пояса, пыхтя и обливаясь потом, старались они положить один другого на лопатки, и не сразу удавалось теперь матерому Максиму бросить юношу в траву.

—О це Пиддубный, гарный казак,— говорил Максим, похлопывая сына по широкой, как бочка, груди.

Как ни работящ был Максим Иванович, а семья все жила бедно. Иван ходил на поденщину к «Шлихтерке», помещице, от которой осталось только имя да недобрая память. Ходил жать хлеб к родственникам побогаче за обед и «малы гроши».

Одновременно Иван помогал по хозяйству отцу, обре-

мененному большой семьей — самая младшая дочь, Евдокия, родилась, когда старшему было уже семнадцать.

Тогда же пришла первая любовь. Оленке Витяк не было и шестнадцати, а она уж заневестилась. Полная, красивая, широкоплечая — под стать Ивану.

Начались тайные свидания за околицей, у громадной скирды, жаркие объятия и уверения...

Деревенские кумушки быстро известили об этом отца Оленки. Старый куркуль Витяк не желал родниться с «незаможниками» Поддубными.

Он пришел в хату к Максиму Ивановичу, снял шапку и перекрестился на икону.

— Сидайте,— сказала Ганна Даниловна и суетливо обмахнула лавку.

Витяк, вздохнув, сел и покосился на Ивана.

— Нехай Иван не слухае,— сказал он.

— Ваня, выдь с хаты,— приказал отец.

О чем они говорили, Иван мог только догадываться. Отец отправил его жить к деду Даниле в село Богодуховку.

Семь верст оказались серьезным препятствием для юной любви. Да и работа от зари до зари в экономии богодуховского помещика Абеля не оставляла времени для походов в родную Красёновку.

Богодуховка была громадным волостным селом, насчитывавшим до четырех тысяч жителей. Кроме украинцев там обитало много евреев, державших постоялые дворы и лавки.

По четыре ярмарки в год собиралось в Богодуховке, и тогда улицы ее заполнялись пришлым народом. Украинцы, евреи, цыгане яростно торговались, хлопали по рукам. Толпу прорезали верхами офицеры-ремонтеры, покупавшие лошадей у богатых крестьян и на местном заводе в имении «Ракиты». Иные покупатели и продавцы обмывали сделки горилкой в корчмах, спуская там порой все носильное платье с себя.

Жили в селе, придерживаясь дедовских обычаев и приговаривая при этом: «Лучче свое латане, ниж чуже хапане». Еще праздновали понедельники, еще существовали «парубоцтва» — товарищества юнцов, выбиравших себе атамана, имевших свои хоругви. Весело было Ивану ходить с друзьями колядовать на рождество, играть роль боярина на свадьбах, ходить на «музыки» и «вечерницы». Любопытно, что «парубоцтво» было еще и хранителем девичьей чести, строго каравшим провинившихся.

Но работа в экономии тяготила Ивана Поддубного. Не то чтобы сама работа — крестьянский труд Иван любил и даже мечтал обзавестись землей... Но много ли заработает батрак? Своей земли ему вовек не видать. Да к тому же Иван и смолоду отличался независимым характером, не раз схватывался с управляющим абелевской экономией, противным и придирчивым мужиком.

Деревня выплескивала из себя «лишние руки». Всякий год село провожало до выгона молодых мужиков, уходивших на заработки в города. Голосили жены и матери, суя в торбы хлеб и сало.

Всякое случалось в далеких городах.

Одни приезжали в гости гладкие, в лаковых сапогах, при часах и ходили по селу гоголем, распустив по жилетке серебряную цепку. Другие — таких было больше — возвращались как в воду опущенные и приносили вести о погибших от холеры и тифа, о раздавленных неведомой «машиной»...

Но Иван Поддубный, как и многие, меньше всего думал, что несчастье может случиться именно с ним.

О той поре своей жизни он потом скажет коротко:

«После призыва, когда был освобожден от военной службы, как старший сын в семье, я не захотел больше жить в деревне и уехал на заработки в город Севастополь».

«Не захотел» — и все тут. Решил уехать в Крым во что бы то ни стало. Отец было стал возражать, но Иван отрезал:

— Может, в Таврии краще? Пошукаю счастья. Люди ж ходят...

Анна Даниловна тихо плакала, собирая сына в дорогу. Даже Максим Иванович отвернулся.

— Щось в око влетело. Якась козявка,— сказал он.— Ну, сынку, прощай. Вот тебе мое родительское благословение — береги честь нашего рода... Ну, старая, хватит плакать.

Шел тогда Ивану двадцать второй год. Легко переносились невзгоды. Не повезло в Таврии, уехал в Одессу. Потом подался в Севастополь, где встретил односельчанина, друга детства Петра Кота. Пошли в порт наниматься вместе.

Иван Максимович вспоминал:

— Пришел до грека. Смуглявый такой, сухонький — один нос длинный торчит морковкой. Пощупало оно мои

руки и пропищало: «Фирма «Ливас» принимает тебя». И пошло как журавель — ноги как ходули...

За громадную силу и немногословный юмор полюбила Ивана ватага грузчиков, работавших постоянно на греческую погрузочно-разгрузочную фирму со странным названием «Ливас». Играючи сносил он в трюмы судов многопудовые мешки с отборной пшеницей, которой обильная Русь кормила едва ли не половину Европы.

Земляки с Полтавщины прозвали Поддубного «Иваном Великим» — «Иваном Большим». Даже бывалые грузчики разевали рот от изумления, когда он взваливал на плечи громадный ящик, что не под силу был и троим, вытягивался во весь свой большой рост и шагал вверх по дрожащим сходням, похожий на вдруг ожившего атланта. Прозвище пристало к нему. Так называли его и ватажники-великороссы, и греки, и турки, и независимо державшиеся, как говорил А. М. Горький, «космополиты-босяки». Впрочем, уважением грузчиков эти люмпены не пользовались — рабочему люду неприятна была их волчья повадка и стремление ловчить на каждом шагу.

По четырнадцать часов в сутки ватажники сновали с тюками, ящиками, мешками, а по вечерам собирались у рыбацких артелей, покупали на гривенник бычков, варили уху и пели украинские песни: «Закуковала та сива зозуля», «Ой, там за Дунаем молодец гуляет». Иван Максимович любил эти песни и толково их пел до старости, хотя голос у него был не то что у младшего брата Митрофана, который певал и в церкви, сотрясая могучим басом ее крепкие стены.

В Севастопольском порту Поддубный работал с начала навигации 1893 года. Сперва тосковал по родным местам, по отцу, по матери. Все вспоминал свою хату. Светит каганец, журчит прялка... Мать достает из «мысника» леденцы и сует младшеньким...

К рождеству Анна Даниловна украсила хату чебрецом и бессмертником, сварила кутью и все выглядывала на улицу... Иван обещал приехать и приехал. Весь обвешанный связками бубликов. Матери он привез на плахту материи заморской, отцу — молдавских смушек на шапку. Так все было хорошо и просто! Колядовать ходил с парубками и дивчинами...

Всякий год он приезжал домой. Но однажды не дождались его на кутью. Уже и крещенские морозы прошли, а Иван как в воду канул. Максим Иванович подзанял денег

и поехал чугункой в Крым. Вернулся мрачный, молчаливый. Через несколько дней сказал матери с укором:

— Родила на посмешище. Полюбуйся, кем стал твой сынок. Артистом в цирке, Иванушкою-дурачком... Гири кидает... Силой с такими ж лоботрясами меряется... Говорит, такова уж моя доля. Была б под рукой оглобля, я б ему дал долю, трясця его матери...

7

Исполнительный, но державшийся с достоинством Иван Поддубный пользовался уважением у своих хозяев-греков, и когда фирма «Ливас» перебралась в Феодосию, его назначили старшим рабочим при конторе.

Это было в 1895 году. Постройка феодосийского мола, о которой красочно писал Горький, была уже закончена. Город стал портовым, и число его жителей перевалило за двадцать пять тысяч.

Едва ли не на второй день своего пребывания в Феодосии Иван оказался свидетелем освящения порта. Сверкали под южным солнцем ордена на мундирах чиновников и парадные ризы священников.

Сладковатый дымок ладана таял в воздухе. Окропленные камни мгновенно испаряли влагу. Зеленое море бесшумно лизало сваи...

У старшего рабочего было гораздо больше свободного времени, чем у рядового грузчика. Иван сперва жил в конторе. Спасаясь от портовой сутолоки, он уходил в город. Лысые горы Тепе-Оба охватывали Феодосию. Белые и голубые мазанки жителей теснились у подножий полуразрушенных башен генуэзской цитадели. Кругом ни деревца, лишь побуревший бурьян пробивался меж раскаленных камней Карантинного холма.

Иван слышал на ярмарках в Богодуховке песни слепцов о походах гетмана Сагайдачного и кошевого атамана Сирко, о том, как брали они турецкую крепость Кефе, как освободили запорожцы тысячи украинцев, обращенных в рабство хищными татарами. То ли среди казаков, то ли среди пленников были предки Поддубного, но он никак не связывал эти песни с будничной Феодосией.

Город, овеянный древней славой, тоже не думал о своем прошлом, устремляясь в будущее пыльными новозастроенными улицами. Иван бродил по ним, безмятежно рассматривая пестрый, неприкаянный люд, толпами выплескивав-

шийся из северных российских краев на каменистый жаркий и неприютный берег красивейшего из морей.

На чахлом бульварчике у башни Константина по вечерам играла музыка. Послушать ее приходили и ученики мореходных классов.

Здесь-то и познакомился Иван Поддубный с двумя из них — с высоким, плечистым Антонином Преображенским и Василием Васильевым. На всю жизнь запомнил Поддубный эту встречу. Именно тогда он столкнулся с тем, что позже назвали «физической культурой», с искусством облагораживания природной силы разнообразными упражнениями.

Преображенского из Кинешмы, а Васильева из Казани привела в Феодосию юношеская мечта о путешествиях, подогретая чтением приключенческих книжек, герои которых, обдаваемые тучей соленых брызг, бесстрашно взирали на разбушевавшееся море.

«В короткое время мы настолько сошлись и подружились, что поселились в одной квартире,— вспоминал Поддубный.— Преображенский и Васильев были оба спортсменами и старались и меня заставить заниматься спортом, к чему я относился скептически и даже часто иронически спрашивал: что из этого получится и что это может дать мне в дальнейшем, но Преображенский продолжал настаивать и даже приобрел для убеждения автобиографию знаменитого немецкого атлета-борца Карла Абса».

Это можно прочесть в потрепанной тетради, в которой под диктовку Ивана Максимовича кто-то коротко записал важнейшие события его жизни, и отнестись с полным доверием к этим записям хотя бы потому, что чей-то четкий почерк в ней сменяется старательно выписанными каракулями Поддубного, который до самой старости пренебрегал общепринятой орфографией, а знаки препинания не ставил вообще. Как-то странно потом читать иные воспоминания, где Иван Максимович выступает книгочеем и едва ли не знатоком изящной словесности.

Он поселился с учениками мореходки в маленьком домике у дороги на Караимскую слободку. По вечерам, когда спадала жара, морячки брались за двухпудовые гири, которые притащили из порта.

Иван поглядывал, как они упражнялись, и посмеивался.

— Ты попробуй,— говорил ему Антонин.

— А на що? Я и так сильный. Это все баловство одно...

Иван легко подкидывал гирю и ловил ее в воздухе.

— Поборемся? — предложил Антонин.

Иван снисходительно улыбнулся и снял рубашку...

Сперва он никак не мог обхватить верткого Антонина.

«Ничего,— подумал он,— сейчас я тебя поймаю».

И в самом деле, вскоре Антонин попался. Иван заключил его в свои мощные объятья и оторвал от земли. Он уже было собрался бросить морехода на землю, как тот вдруг выдохнул воздух и сквозь руки Ивана ужом скользнул вниз. В следующее же мгновение Антонин стоял спиной к своему противнику. Иван наклонился вперед и снова обхватил его грудь. Свободные руки Антонина легли на шею гиганта. Наклонившись, он резким движением корпуса швырнул через себя Ивана на землю.

Крепко приложившийся Поддубный обалдело смотрел на товарища.

— Вот! — сказал Антонин, тяжело дыша.

— Давай еще.

— Э, нет. Медведь проклятый! Чуть не задушил...

Этот случай да еще рекламная книжонка о Карле Абсе оказались сильными аргументами.

Гамбургский плотник Абс стал цирковым атлетом и разъезжал по европейским столицам, удивляя публику тем, что ломал подковы и выжимал невероятные тяжести. Однажды он будто бы поднял слоненка, весившего 75 пудов (1,2 тонны). Абс предлагал триста франков тому, кто бросит его на спину в честной борьбе...

Это уже было не просто баловство. К тому же в книжонке говорилось, что ежедневными упражнениями природную силу можно утроить.

Начитанные приятели могли рассказать ему и о варшавском механике Владиславе Пытлясинском, который, не отличаясь особенной силой, увлекся спортом, развил упражнениями свое тело, дотошно изучил все известные тогда приемы борьбы и в 1888 году принял вызов, брошенный Карлом Абсом.

Пытлясинскому шел двадцать пятый год, и он был одиннадцатым по счету атлетом, осмелившимся выступить против непобедимого Абса.

Встреча состоялась в Париже. Публика потешалась, увидев рядом с горой мышц стройного, гибкого поляка.

Но вскоре она уже с недоумением взирала на поверженного силача. Ловкость и сноровка взяли верх над грубой силой.

Мореход Преображенский стал заниматься с Поддубным. Вместе они бегали, выжимали гири и выполняли гимнастические упражнения на снарядах во дворе мореходных классов. Через полгода Антонин уже с удовольствием оглядывал плотно сбитое тело своего ученика. Оно стало суше и стройнее, к медвежьей силе прибавилась ловкость...

«В продолжение шести месяцев,— вспоминал Поддубный,— я сделал большие достижения в смысле спорта, а главное, почувствовал свое большое преобладание над Преображенским, меня это еще больше увлекло, и я всецело отдался спорту».

Ощущение собственной мощи и аккуратно прочитываемые друзьями сообщения о состязаниях борцов пробуждали в крестьянском парне настойчивое желание помериться силами с достойными противниками.

«Я ждал случая, чтобы осуществить свое желание. И такой случай представился».

8

Весной 1896 года в городе появились афиши. На них был изображен человек в цилиндре и с бичом, вставшая на дыбы лошадь, клоун в колпаке с кисточкой и могучий усатый человек с выпяченной грудью.

«ЦИРК БЕСКОРОВАЙНОГО» — гласили громадные буквы. За перечнем цирковых номеров следовало обещание показать «русско-швейцарскую борьбу на поясах».

А на огромную базарную площадь уже потянулись подводы с деревянными щитами. По весне торговля была скудная. Перекупщики раскладывали на столах прошлогодний лук, громадную, как крышка от выварки, камбалу и с любопытством следили за строительной суетой.

Рабочие врыли в землю высокую мачту, вокруг нее насыпали толстый слой чернозема и опилок. Другие в это время сложили из щитов стены, устроили места для зрителей и покрыли все это шаткое сооружение брезентовой крышей. Манеж обнесли барьером, и цирк был готов.

Перед началом представлений по улицам города прошла невиданная процессия.

Впереди нее в пролетке ехал сам хозяин цирка Бескоровайный во фраке, с котелком на голове и цирковым бичом (шамберьером) в руке, за ним, нестерпимо блестя на солнце начищенными трубами, выступал духовой оркестр, следом приплясывали по три в ряд цирковые лошади, ку-

выркались акробаты и ловили мячи жонглеры, визгливо смеялся красноносый клоун, вперевалку шли могучие, затянутые в трико люди, удивляя простодушных феодосийских жителей шаровидными бицепсами и толстыми, собранными в многочисленные складки шеями.

Вот этих-то последних и разглядывали внимательно Иван с Антонином и даже шли за ними следом, расталкивая любопытную толпу. Они уже знали имена борцов.

Над всеми возвышался громадный поляк Петр Янковский, которого газеты называли «урсус» — медведь, а борцы — «папаша». Янковский вырывал каждой рукой по пять пудов, толкал двумя восемь с половиной пудов. Коронный номер у него был такой: сесть на пол и, вытянув вперед руку, легко выжать на ладони трехпудовую гирю.

Остальные тоже были хороши — Лурих, Козуляк, Бороданов, Разумов, Глинкин, Матюшенко...

Иван с друзьями не пропускали ни одного представления. Сперва никакой борьбы не было. Атлеты ломали подковы, скручивали пальцами железные двухвершковые гвозди, подбрасывали и ловили двухпудовые гири, поднимали штанги с большими шарами на концах, в которые для веса подсыпалась дробь.

В афишах было объявлено, что в состязаниях силачей может принять участие любой желающий. Победителю полагался приз.

На третий день Иван Поддубный наконец отважился и записался у судьи.

«Но должен признаться, что на состязании они всыпали мне как следует, и я провалился».

Двадцатилетний красавец Георг Лурих лишь недавно установил в Петербурге несколько рекордов по поднятию тяжестей. Толкнул двумя руками 112-килограммовую штангу, перенес ее на правую руку, затем левой рукой поднял с помоста 37-килограммовую гирю и выжал ее. 70 килограммов он толкал вверх правой рукой двадцать раз подряд. Он любил изумлять публику, поднимая на спине лошадь со всадником.

Телосложение его было настолько совершенным, что впоследствии он позировал Родену, берлинскому скульптору Бегасу, пражанину Хюппе, эстонцу Адамсону...

Иван Поддубный уже понимал, что дело тут не в одной силе. Эстонец Лурих тоже родился в богатырской семье, но в детстве перенес тяжелую болезнь и рос хилым ребенком. Увидев как-то профессиональных атлетов, Георг ре-

шил стать таким же сильным, фанатично занялся спортом и в пятнадцать лет уже выжал на пари две килограммовые гантели четыре тысячи раз.

Упражнения развивали определенные мышцы и давали сноровку. А ее-то и не хватало новичку Поддубному.

— Дюже добре всыпали, чертяки,— признался Иван Максимович.

9

Посрамленный и освистанный галеркой, возлагавшей на «своего» большие надежды, он тяжело переживал поражение.

Но через несколько дней в цирке началась «русско-швейцарская борьба» на поясах, и Поддубный увидел, что она почти ничем не отличается от тех состязаний, которые устраивались в его родном селе. Только вместо кушаков на борцах были широкие кожаные ремни с двумя кожаными же ручками по бокам. А он, бывало, даже отца клал. Рост у него подходящий, сила... сила тоже есть, а главное — в борьбе, в азарте эта сила у него как бы удваивалась... Позже это неоценимое качество всякого крупного борца назовут «спортивным сердцем».

— Подывимось,— сказал Поддубный и пошел записываться.

Публика, разочарованная прежней неудачей Ивана, встретила его скептически.

По обычаю, существовавшему на подобных состязаниях, в противники ему назначили не самого сильного из борцов. Сейчас уже трудно установить, кто вышел против него. Борец был в трико, оттенявшем мускулатуру.

Иван, в сапогах, брюках и косоворотке, казался рядом с атлетом мужиковатым и неуклюжим. Но в его насупленной физиономии, во всей высокой и крепкой фигуре было столько решимости, что цирк умолк и замер.

Протягивая руку для традиционного рукопожатия, профессиональный борец улыбался. Улыбался он и тогда, когда оба они крепко взялись за ручки поясов и прижались друг к другу — плечо к плечу, голова к голове.

Борец рванул Ивана в сторону, и... улыбка сползла с его лица. Малый стоял как вкопанный. Немного погодя он сам надавил на борца. Циркач, или, как тогда говорили, «циркист», тоже подался всем телом вперед.

Это была ошибка, и Поддубному не раз доводилось ис-

пользовать ее. Он напрягся, резко выпрямился, оторвал борца от ковра и круто закинулся... Спустя мгновение послышался глухой удар. Описав в воздухе дугу ногами, циркач упал на спину...

Ошеломленная столь быстрой победой, публика молчала. Потом она стала неистовствовать.

С этой минуты Иван Поддубный ощутил вкус успеха, вкус славы, этой призрачной власти над переменчивой толпой...

Теперь Иван снова был «свой», простой грузчик, одолевший — подумайте! — профессионального борца.

Иван спокойно повернулся к судье.

— Давайте другого,— сказал он.

«Другим» был борец-итальянец, приехавший позже всех.

Итальянец тоже вскоре лежал на ковре.

За несколько дней Иван Поддубный переборол всех атлетов. И даже благородная спина красивого Георга Луриха коснулась ковра. Только с Петром Янковским, который был на полголовы выше Ивана и весил девять пудов (144 килограмма), схватка не дала результата, окончилась вничью.

Фирма «Ливас» потеряла своего старшего рабочего. До самой осени, до конца сезона феодосийцы ходили в цирк «на Поддубного». Сборы в Феодосии были так велики, что впоследствии Бескоровайный построил там для своего цирка каменное здание.

Осенью Ивану пришлось вернуться в контору фирмы «Ливас». Но это было очень тоскливо — после побед и аплодисментов, после яркой арены и тушей духового оркестра. Не мог он забыть и советов ловкого, умного Георга Луриха, который прочил ему карьеру борца-профессионала.

1 января 1897 года Поддубный взял в конторе расчет и уехал в Севастополь, в цирк Труцци, где уже знали о его успехах. В этом году его и не дождались к рождеству в родном селе.

10

В Севастополе Иван снова встретился с борцом Лурихом. Тот повел Поддубного к самому господину директору Максимилиано Труцци, толстому лысому старику с эспаньолкой.

— Чего вам там хочет? — смешно коверкая слова, спросил Труцци.

Ему объяснили. Старик, привстав на цыпочки, похлопал Поддубного по плечу.

— Карош казак!

Иван Максимович снова вдыхал цирковой воздух, пахнувший лошадиным потом и дешевой парфюмерией.

В цирке к Поддубному относились уважительно. Клоун Петр Тарахно описывал свое впечатление от встречи с Поддубным в цирке Труцци такими словами:

«Я ахнул от восторга, увидев атлетические, грандиозные пропорции его тела. Все в нем было соразмерно, все исполнено повелительной мощи и грозной, мужественной красоты, все говорило о силе необыкновенной...»

Старик Труцци Ивану понравился. Понравилась вся семья Труцци, собиравшаяся в цирке с утра. Жена хозяина, ведавшая денежными делами, три сына с женами и детьми. Итальянцы степенно пили чай, а потом целый день репетировали. Рудольфо Труцци дрессировал лошадей. Энрико был жонглером на лошади. Жижетто — наездником. В цирке запрещалось распивать водку и картежничать...

По вечерам Иван любовался красавцем Энрико. Стоя на высокой лошади, покрытой атласным чепраком, он на ходу жонглировал тазами, свечами, подсвечниками. В конце номера он пускал лошадь карьером, схватывал три зажженных факела, подбрасывал и ловил их. Жижетто в шелковом трико, не скрывавшем мускулатуры его гибкого стройного тела, делал на лошади сальто-мортале.

В программе цирка Труцци доживала последние дни пантомима «Тарас Бульба». Начиналась она с того, что на арену выезжала телега, запряженная быками. С нее слезали Остап и Андрей, которых играли Энрико и Жижетто Труцци. Их встречала мать-старуха и Тарас — старик Максимилиано Труцци. Прежде чем обняться, отец с сыновьями бились на кулачки...

Но пантомимы и прочие номера уже приелись севастопольцам. Сборы были чахлые.

И старик Труцци, ругая по-итальянски публику, не ценившую тысячелетнего циркового искусства, выписал борцов.

«Ивана Велыкого» еще помнили в Севастополе, и потому решено было, что сперва он будет выступать как любитель.

Это был старый трюк. Профессиональный борец, которому предстояло играть роль «любителя», обычно приезжал в город недели за две, а то и за месяц до прибытия

труппы, поступал куда-нибудь на работу грузчиком и успевал прославиться в городе своей силой. Когда же в цирке начиналась борьба, он бросал вызов профессионалам и побеждал их одного за другим. Это подстегивало местный патриотизм. Публика, гордая за «своего грузчика», валом валила в цирк.

Поддубный тоже устроился грузчиком, носил громадные тюки и ящики и за две недели работы в порту снискал такую славу, что посмотреть на его подвиги приходили морские офицеры.

А тем временем в цирке началась борьба.

На третьем представлении арбитр объявил:

— Желающих бороться из публики прошу пожаловать на манеж! Приз — пятьдесят рублей.

Желающие нашлись. Борцы легко справились с ними.

Но вот с галерки послышался голос Поддубного:

— Я желаю!

Он вышел на арену в том же костюме, в котором выступал во время феодосийского дебюта.

Против него выставили Разумова.

Но только Иван взялся за ручки и хотел поднять борца, как ручки оторвались от пояса и остались у него в руках.

Публика взревела от восторга. Все решили, что это случилось из-за непомерной силы Поддубного. На самом же деле хитрый Труцци применил еще один старый трюк — подрезал ручки.

Арбитр объявил, что борьба откладывается до изготовления особенно прочных поясов.

В городе начался ажиотаж. Каждый вечер цирк был набит битком, а Иван исправно бросал борцов на арену.

Вскоре было объявлено, что Поддубный перешел в профессиональные борцы. Теперь он выступал в трико, подчеркивавшем его мощный торс. Но это уже не охладило публику, увлеченную схватками силачей.

Труппой борцов у Труцци руководил Георг Лурих. Он заранее определял, через сколько минут должна кончаться каждая схватка и, главное, чьей победой.

— Сегодня, Иван Максимович,— сказал он как-то,— вы подвалитесь под Матюшенко на пятнадцатой минуте, я дам знак...

— Чего это я буду подваливаться? Нехай положит,— отозвался Поддубный, исподлобья поглядывая на сильного, но грузного и неуклюжего Матюшенко.

— Вы человек умный, Иван Максимович,— продолжал как ни в чем не бывало обходительный Лурих,— и вы должны понять, что мы работаем для публики. А публика уже знает вас. Матюшенко только приехал. Публика его не знает. Сегодня он положит вас, и завтра публика придет посмотреть, возьмете ли вы реванш. Но вы с Матюшенко будете бороться до самого закрытия цирка, до полицейского часа. Вы будете показывать красивые приемы, но никто из вас не победит. Цирк будет иметь полную кассу, потому что публика придет посмотреть на вас с Матюшенко и в третий раз... И тогда вы его победите. Вы поняли меня, Иван Максимович?

— Я розумию, да тильки нехай он меня положит, если сможет,— упрямо ответствовал Поддубный, мешая русские и украинские слова.

Он еще в Феодосии понял законы профессиональной борьбы. Да, цирковые турниры — это чаще всего спектакли, имитация борьбы, каскады приемов, отработанных с акробатической точностью. Как бы ни был силен человек, он не может каждый вечер бороться всерьез. Постоянное громадное напряжение сил быстро подорвет его здоровье, а то и сведет в могилу. Да и публике неинтересно было бы смотреть, как двое пыхтят на арене, подолгу не давая друг другу провести ни одного эффектного приема.

Но понял он и другое. Равенства в силе и искусстве быть не может. Кто-то всегда сильнее и ловчее других. Значит, он должен быть первым, какие бы условности ни существовали. Зарекомендовать себя так, чтобы никто не посмел даже предложить ему «подвалиться». Он — Поддубный. А если публике не любы его победы, пусть и не смотрит! Но право на особое положение среди профессионалов еще надо было отстаивать...

11

Через несколько лет жители знакомого нам украинского села увидели неизвестного господина. Был он в котелке, в щегольском господском костюме, по жилету его вилась золотая цепочка, под большим носом торчали рыжие пики нафабренных усов.

Это был Иван Поддубный. Встреча его с отцом, Мак-

симом Ивановичем, по рассказу Митрофана Поддубного, совсем напоминала сцену из «Тараса Бульбы».

— А поворотись-ка, сын! Що це ты так смешно постригся? Не то поп, не то сатана...

— Слухай, батько, не замай...

— А то що?

— Та ничего...

— Сила заиграла? — Максим Иванович закатил рукава.— Спробуем?

— Да я те... Простите, тату.

Прибежала мать, Анна Даниловна.

— Ты что, старый, с ума сошел? И где ж это видано, щоб сын и батька боролись... А ну, марш в хату!..

Максим Иванович с самого начала ворчал только для острастки. Хорошие заработки сына и дорогие подарки примирили его с новой профессией Ивана. Худо-бедно, а Поддубные прикупили несколько десятин земли, и теперь в хате чувствовался достаток.

В тот приезд Ивану Поддубному исполнилось тридцать лет. Он уже считался опытным профессиональным борцом «на поясах». И ему, наверно, повезло, что начинал он у Труцци, в одном из лучших провинциальных цирков России.

Из Севастополя Поддубный попал в Одессу. Этот полумиллионный город удивить было труднее. А тем более обмануть. Одесса росла на дрожжах мировой торговли, богатела на потоке товаров, изливавшемся из России и вливавшемся в нее через гигантский порт. Город изъяснялся на жаргоне.

В кафе Фанкони говорили:

— Что вы слышали за нового борца?

— Так это ж наш, босяк с Молдаванки...

— Нет, как вам это нравится? Мне сказал знакомый борец, что он приехал из Севастополя. А я вам скажу, что он не найдет здесь ни на копейку успех, зато заработает полный карман неприятностей.

— Ах, зачем говорить такое за хорошего человека? Что вы с этого будете иметь? Я был в цирке, а вы не были. Посмотрите, какая у него грудь! Шестьдесят восьмого размера пиджак! И поверьте мне, сыну своего папы, лучшего портного в городе Одессе...

Газета «Одесские новости» публиковала отчеты о победах Поддубного и опусы городского фельетониста:

«У Фанкони «тишина»...

Что ни стол, то разлетевшийся в прах остроумный план: каким путем медный грош превратить в настоящий золотой червонец.

И что ни стол, то группа одесситов, не знающая, как дотянуть до следующего утра.

Дел никаких...

По приблизительному расчету в Одессе находится более сорока тысяч человек, занимающихся посредничеством...

Это коммерческий пролетариат...»

Одесса требовала себе место под солнцем. Удачливые и неудачливые коммерсанты заключали сделки, рассказывали анекдоты, пили сельтерскую у Фанкони, фланировали по Дерибасовской и увлекались цирком.

Считалось, очевидно, что в созерцании атлетической игры есть нечто вдохновляющее на коммерческие подвиги. Чувство собственной физической неполноценности заставляло многих искать общества могучих, преисполненных достоинства борцов.

Поддубного «Одесса буквально носила на руках», что при его солидном весе было, верно, нелегким трудом. Приглядываясь к своей свите, Иван приобрел внешний лоск, на всю жизнь усвоил некоторую щеголеватость в одежде и южную привычку ходить в начищенных до блеска башмаках.

Одесса щедра на славу. Когда Поддубного пригласили в Киев, он уехал туда уже знаменитостью.

12

Аким Александрович Никитин и его жена Юлия Михайловна были очень добрыми людьми.

В «Русском цирке братьев Никитиных» Поддубного встретили так радушно, что он долго еще бродил по улицам Киева и блаженно улыбался.

Аким Никитин меньше всего выглядел циркачом. Бонвиванский цилиндр и отлично сшитый фрак он носил с грацией прирожденного аристократа, хотя был сыном крепостного, зарабатывавшего на жизнь и оброк шарманкой.

Ярмарочные балаганы, в которых он выступал когда-то с братьями Петром и Дмитрием, отошли в недалекое, но уже туманное прошлое...

Прежде цирками в России владели только Чинизелли, Саламонские, Труцци, Суры... Сметливые дельцы Никитины заставили их потесниться, сделав ставку на русский антураж цирковых представлений. Лошади у них танцевали

«Камаринскую». Жонглеры выступали в русских кафтанах, а наездницы — в сарафанах и кокошниках. Ставились пантомимы на сюжеты русских сказок. В Баку и Астрахани, Саратове и Казани, Харькове и Киеве вырастали деревянные и каменные цирки Никитиных.

Заполучив Поддубного, Аким Никитин довольно потирал руки.

— Юлия, ты только посмотри на этого молодца! — говорил он, отступая, чтобы объять взглядом широченный торс богатыря.— Иван Максимович, вам непременно нужно носить черкеску. Мы сделаем ваш портрет в черкеске, и в афише будет написано: «Прославленный борец на поясах казак Иван Поддубный». Ну как?

Поддубный ухмылялся и смущенно поглядывал на Юлию Михайловну, которая влюбленно смотрела на своего мужа. На впалых щеках ее горел лихорадочный румянец.

«Худесенька,— подумал с жалостью Иван,— хворая, видно». И ему как-то даже неловко стало за свой непомерно цветущий вид.

— Я вам писал, Иван Максимович, что выступать вы начнете с первого декабря в Тифлисе, в великий пост — в Баку, потом на нашем пароходе отправимся давать гастроли от Астрахани по всей Волге и закончим их в Нижнем, в день закрытия ярмарки... У вас целый месяц свободный, но вы не беспокойтесь — жалованье вам все равно будут платить. Располагайте собой как хотите...

Поддубный искренне обрадовался никитинской щедрости. У него был целый месяц свободного времени и счастливая возможность поупражняться во французской борьбе, которой суждено было вскоре потеснить борьбу «на поясах»...

Тот год, когда Поддубный впервые вышел на борцовскую арену, стал в некотором роде исходным для развития спорта во всем мире. В Афинах были возобновлены олимпийские игры, породившие обильную спортивную литературу и множество спортивных кружков.

Тогда же увидела свет и книга Владислава Пытлясинского, в которой он дал короткий, но прекрасный очерк истории спорта. «В законах, созданных Солоном, ясно сказано, что каждый гражданин обязан обучить своих детей гимнастике и между прочим борьбе»,— писал Пытлясинский, обосновывая необходимость «равновесия духовных и физических сил».

Но главная ценность книги Пытлясинского заключалась

в том, что на пяти десятках «цинкографий», для которых атлет позировал вместе с русским борцом и художником Николаем Ивановичем Кравченко, были показаны приемы французской борьбы.

В русских летописях можно найти упоминание о богатырских схватках без оружия. Еще в XIII веке была известна борьба «на поясах». Позже в праздники любимым зрелищем стало «потешное мужицкое дело», где применялись броски через бедро и подсечка носком. В каждом городе были свои правила. В Москве, покосив противника на правую сторону, старались подбить правым носком его левую ногу. Оттого и родилась знаменитая поговорка: «Матушка-Москва бьет, родимая, с носка».

Была и «вольная» борьба. Но к концу XIX века французская мода, диктовавшаяся дворянским Петербургом, стала брать верх и в борьбе.

С 1896 же года отсчитывало свое существование Санкт-Петербургское атлетическое общество, культивировавшее французскую борьбу. Оно конкурировало с «кружком любителей атлетики», созданным стараниями врача Владислава Францевича Краевского, филантропа и здоровяка, мечтавшего об искоренении недугов с помощью физического усовершенствования каждого человека. В Киеве врач Е. Ф. Гарнич-Гарницкий и писатель А. И. Куприн создают «клуб атлетов».

«Одно время он страстно увлекся цирком,— писал в «Этюде о Куприне» Ф. Батюшков,— организует в Киеве атлетическое общество, в котором получил первые уроки известный впоследствии атлет Поддубный, «чемпион мира», близко сживается с деятелями цирковой арены и черпает отсюда материал для целого ряда очерков...»

Поддубному должен был нравиться коренастый и простецкий Куприн, узкие татарские глаза которого всегда смотрели так насмешливо и зорко. Близко они сойтись не могли, потому что Александр Иванович не любил разговоров без обильных возлияний, а Иван Максимович берег себя для борьбы, строго соблюдал спортивный режим и не пил вовсе. Да и не очень разговорчив был Иван Поддубный, не всегда понимавший, о чем говорят между собой его интеллигентные почитатели. Но во всем, что касалось атлетики, Поддубный понимал неизмеримо больше писателя, которому приписывают едва ли не роль его крестного отца и советчика в новом виде борьбы, уже к 1900 году перенесенном на арену русского цирка Пытлясинским и другими,

Где же все-таки учился французской борьбе Поддубный, будущий «король» ее, «чемпион чемпионов»?

В свое время многие греческие города отстаивали право называться родиной Гомера. Много позже спортивные кружки различных русских городов приписывали себе посвящение Поддубного в рыцари французской борьбы.

Но если судить по любопытному объявлению, помещенному в газетах еще в апреле 1898 года, дело обстояло гораздо проще.

Предприимчивый Георг Лурих, работая с Поддубным у Труцци, открыл в Севастополе «школу атлетики», в программе которой он обещал будущим ученикам научить их сорока девяти приемам французской борьбы, «до сих пор известным только профессиональным борцам».

Как профессиональный борец, Поддубный непременно знал их.

Многие были склонны видеть в Иване Поддубном воплощение грубой физической силы, что стало роковой ошибкой для всех его соперников по тогдашней цирковой борьбе. Поддубный учился, выспрашивал приемы, оттачивал их в изнурительных тренировках, которые он проводил с той крестьянской добросовестностью, с какой вспахивал бы родную ниву. В «русско-швейцарской» борьбе ему не стало равных, но он исподволь готовил себя к новому виду атлетической деятельности, рассматривал картинки в книге Пытлясинского, шептал про себя неудобопроизносимые французские термины и пробовал отрабатывать приемы с товарищами.

— Тур де бра — захват руки и бросок через плечо...

— Тур де анш — поднятие на бедро с захватом головы...

У него получалось «тур де ганш» — «г» он произносил мягко, с придыханием.

Иван Поддубный никогда не упускал случая поучиться новинкам борцовского ковра. Даже когда ему было под семьдесят, он приглядывался к ловким трюкам легковесов-«классиков» и, запершись в тренировочном зале с кем-нибудь из молодых друзей, пытался воспроизвести приемы, совсем не вязавшиеся с его размерами и грузностью.

Когда Поддубный был уже в славе, один из киевских любителей, отстаивая «приоритет» своего клуба в приобщении чемпиона к французской борьбе, писал:

«Помню, будто это случилось только вчера, как в один из тренировочных дней появилась в нашем клубе, в Киеве,

гигантская фигура, произведшая впечатление и на нас, среди которых было немало людей, взращенных благодатной украинской природой. Это был Поддубный. Он приехал в Киев с громким именем «поясного» борца. У нас он начал усердно разучивать сложные приемы французской борьбы, в которой был еще новичком и которые усваивались им удивительно легко и быстро.

Кроме колоссальной силы, большого роста и веса Поддубный обладал и другими необходимыми для борца качествами: он отличался быстротой ориентировки, хорошо координировал свои движения, ему легко давались сложные комбинации приемов, с помощью которых опытный борец, подобно шахматному игроку, заранее замышляющему свои ходы и заманивающему противника нарочно допускаемыми ошибками, учитывает «мат» на такой-то минуте.

Ко всему этому у Поддубного было еще одно неоценимое для каждого спортсмена качество, которое знатоки спорта метко называют «спортивным сердцем», вкладывая в этот термин не физиологическое значение, ибо сердце должно быть физически здоровым у каждого спортсмена, а психологическое. Поддубный способен был развивать в нужные минуты энергию, подобную взрыву, и не терять «куража» в самые тяжелые и опасные минуты борьбы...

Вся эта счастливая совокупность физических и психических качеств и позволила ему, начавшему только у нас, в нашем клубе, изучение французской борьбы, через какой-нибудь месяц заложить прочный фундамент своего борцовского «образования» в этой новой для него отрасли спорта...»

Начиналась новая эпоха и в профессиональном и в любительском спорте. Начиналось повальное увлечение французской борьбой, на гребне которого предстояло вознестись Ивану Поддубному. Среди прочих причин этого увлечения была одна, о которой Антон Павлович Чехов, с восторгом следивший за схваткой борцов в саду «Олимпия» июльским вечером 1903 года, сказал Владимиру Ивановичу Немировичу-Данченко:

— В наш инвалидный век этих здоровяков не мешает посмотреть...

13

1903 год застал Поддубного в Воронеже. Это был обыкновенный день на исходе зимы. Тусклый свет едва брезжил в окне номера. Проступали очертания громадной медной

кровати с продавленной сеткой, шкафа, плюшевых стульев и залоснившихся обоев. Застоявшийся запах немытого белья и керосина смешивался с испарениями, проникавшими во все уголки здания из первого этажа, где в трактирной кухне докисала в кадках прошлогодняя капуста.

И вид и запах были привычными. Сотни номеров сменил Иван Максимович за последние несколько лет. Но сегодня он как-то особенно почувствовал всю неприглядную тоскливость своего существования. Ужасно было оставаться вот так вечерами одному в номерах. Появлялось ощущение собственной ненужности и отчужденности от всего живого. В этом городе его никто не ждал, а идти в соседний номер, откуда уже доносились пьяные выкрики товарищей по труппе, не хотелось...

Поддубный, шевеля губами, перечитал последние строки письма, над которым трудился вот уже битый час.

«...Я решил бросить цирк и поехать домой. Надоело уже ездить. Ездишь, а конца не видно. Хватит...»

Это младшему брату, Митрофану. Тот отбывал службу в Петербурге, взятый за рост и стать в гренадерский лейб-гвардии полк.

Вспомнилась родная Красёновка, Оленка... У нее с мужем в прошлый его приезд детей была уже полна хата. А он все бобыль бобылем. Но может, не домой, а в Феодосию вернуться?.. Место старшего для него всегда найдется...

Вспомнился Киев и отъезд с цирком на гастроли...

У Никитиных тогда ему очень понравилось. Труппа была как большая дружная семья. Юлия Михайловна заботилась о семейных артистах, детей любила... Бывало, попросит Поддубного проводить ее и пройдет по всему поезду, когда переезжают. Если у какой из женщин роды в пути, она тут как тут, хлопочет, помогает, сует деньги Поддубному:

— На следующей станции стоять долго будем, идите, Иван Максимович, и купите приданое младенцу.

— Так я ж не можу, не знаю, що це воно таке...

Поддубный уже давно хорошо говорил на чистом русском языке, но в затруднительных случаях любил изображать из себя деревенского увальня.

— Можете, можете. Вон Маша с вами пойдет...

Молодая красивая гимнастка Маша Дозмарова кокетливо просила его:

— Снимите меня.

Задержав дыхание, он смыкал свои мощные пальцы на

тонкой талии гимнастки, снимал ее с площадки вагона и осторожно ставил на землю. Она была маленькая и упругая, как мячик. Он звал ее Маруся, а она всякий раз звонко смеялась.

— Если б вы знали, Иван Максимович,— говорила Маша,— какая душечка наша Юлия Михайловна! Ведь она всех детишек в труппе сама учит и учителей в городах приглашает. Только жаль ее. Больная она очень.. Чахотка...

Поддубный всегда с замиранием сердца смотрел, как Маша работает на трапеции. Номер ее кончался опасным трюком. Она повисала вниз головой и крутилась вокруг штамбера — железной палки, на которую подвешивалась трапеция. В подошвах ее ботинок были штифты, вдвигавшиеся в отверстия штамбера.

Поддубный обычно выступал во втором отделении. Поигрывая гирями и штангой, он всюду срывал аплодисменты. В «поясной» борьбе никто не мог продержаться против него больше семи минут.

К концу лета, давая гастроли по пути от Астрахани, труппа доплыла до Нижнего Новгорода.

Цирк Никитиных стоял на Самокатской площади. Весной Волга, разливаясь, заливала Самокат. Вода доходила до уровня галерки. Даже летом в здании чувствовалась сырость, но под его куполом, расписанным в русском стиле, непременно бывал всякий, кто попадал на ярмарку.

От самого цирка начинались ряды балаганов, качелей, панорам, каруселей... И лавки, лавки, тысячи лавок.

Поднимался флаг ярмарки, и приходил в движение ее громадный механизм. С шести утра и до часа ночи шла угарная торговля, в которой наживались крупные состояния, и гульба, в которой спускались не меньшие...

Гул голосов и грохот оркестров валами разбивались о стены гостиницы, где жили цирковые артисты.

— Квасу! Квасу!..

— Кому пышки горячие!..

— Держи его, лови! Украли!..

— Караул! Убивают!..

— Мужчина, угостите папиросочкой...

В Азиатском переулке шла торговля женским телом и обращение в «тринадцатую веру» — так называлась азартная карточная игра. На ярмарку съезжались воры и бандиты со всех концов России.

По ночам, после представлений, артистки возвращались в номера только под эскортом борцов. Маша Дозмарова

шагала смело. Ее поддерживал под руку Иван Максимович, один вид которого заставлял умолкать и сторониться даже самых буйных гуляк...

Сезон кончился, и они расстались на несколько месяцев. Поддубный боролся в сибирских цирках.

Следующий год для никитинского цирка снова начался с представлений в Тифлисе. Борьба намечалась на март, но Поддубный приехал раньше.

Галерка в Каменном цирке на Головановском проспекте воспринимала все номера с южным темпераментом. Их было две галерки: маленькая и большая. Время от времени слышался крик:

— Большая галерка спит — рыжего давай!

Потом:

— Маленькая галерка спит — музыку давай!

Радушные южане, угощая артистов в духанах, произносили витиеватые тосты и заставляли выпивать несметное количество терпкого вина.

Любимцем публики был укротитель Турнер, выступавший с громадным и добродушным львом Цезарем. Турнер часто напивался. Жена била его туфлей, и он спасался в клетке у льва.

— На-ка выкуси, не достанешь! — говорил он, показывая кукиш сквозь решетку.

Если кто-нибудь, даже в шутку, пробовал ударить Турнера, Цезарь рычал и бросался на решетку. Во всех остальных случаях он был невозмутим.

Иван Максимович сдружился с Турнером. Тот как-то увлек борца в клетку ко льву.

— Ты не бойся. Цезарь у меня славный, Цезарь добрый. Ты погладь его, погладь, не бойся...

Поддубный с опаской дотронулся до гривы лежавшего льва, который уронил голову на лапы и равнодушно закрыл глаза.

Этот кроткий лев открыл счет тифлисским несчастьям.

Завершая номер, Турнер обычно ставил льва на тумбу передними лапами, открывал ему пасть и вкладывал в нее свою голову. Оркестр играл в это время нечто зловещее.

Однажды, когда голова Турнера была в пасти, Цезарь вдруг сомкнул челюсти. Цирк испуганно ахнул. Лев вытолкнул голову, Турнер рухнул на опилки. Цезарь слез с тумбы и стал лизать окровавленное лицо своего хозяина. Тот был мертв.

Артисты и публика в ужасе кричали. Льва едва загнали в клетку.

На другой день увидели, что губа Цезаря вздулась. Очевидно, его ужалила оса, случайно залетевшая в цирк. От боли он судорожно сжал челюсти...

Беда не приходит одна.

Через несколько дней Маша Дозмарова прицепила к штамберу штифты ботинок и бросилась вперед. Под тяжестью ее тела оторвались подошвы. Она пролетела мимо сетки...

Иван Максимович выскочил на арену и схватил ее на руки. Маша была мертва.

С тех пор он всегда возил с собой в чемодане афишу, отпечатанную в день ее бенефиса. Там было ее имя, там было ее изображение... Непохожее на живую Машу. Но он благоговейно разглаживал афишу ладонями и шептал: «Маруся...»

А 11 марта 1902 года в том же Тифлисе скончалась Юлия Михайловна Никитина...

Иван Максимович бежал тогда из Тифлиса, работал в мелких цирках, тщетно пытался забыться...

В номере стало совсем темно, а Поддубный все сидел за столом, обхватив голову руками, и настойчиво думал о том, что надо сойти с арены, вернуться домой или в Феодосию.

Очнувшись, он поднял голову, долго вглядывался в темноту, а потом громко позвал:

— Мишка!

Послышался топот, и в дверь заглянул растрепанный коридорный.

— Лампу мне и... чаю!

Коридорный исчез, но вскоре его всклокоченная голова появилась снова. Он нес зажженную керосиновую лампу.

— Господин Поддубный, я давеча был в цирке... Супротив вас, сдается мне, никто не устоит. И сами господин Фосс... Они тут, в ефтом нумере, жили ж. Пятьдесят бутылок одного шампанского выпили. Съехали и не заплатили-с... Где им!..

— Ну ладно... Чай принес?

— Я мигом, господин Поддубный. Вам письмо, вот. Извольте получить.

Иван Максимович сунул в протянутую руку полтинник и взял письмо, не предполагая вовсе, что через несколько

минут судьба его круто повернется — в нее вмешались люди из таких высоких сфер, о которых он даже наслышан толком не был.

14

«...Не откладывайте Вашего приезда, так как он связан с Вашей будущей карьерой...»

Выходя из Николаевского вокзала на Знаменскую площадь и отыскивая взглядом свободного извозчика, Иван Максимович повторял про себя выученные наизусть строки письма, полученного им в Воронеже.

— На Офицерскую, в Атлетическое общество,— сказал он, ступая на подножку и угрожающе перекосив тонкоколесный петербургский экипаж.

Ему не терпелось знать, почему его вызвали в Санкт-Петербургское атлетическое общество, состоявшее «под августейшим покровительством е. и. в. великого Князя Владимира Александровича». Письмо было подписано президентом общества графом Рибопьером.

Принял Поддубного вице-президент Николай Петрович Бабин, представивший его самому графу Георгию Ивановичу Рибопьеру.

Этот французский граф, родившийся в середине века в Царском Селе, сделал очень много для русского спорта. В пятнадцать лет он уже боролся с профессионалами в Лозанне, в шестнадцать был первым конькобежцем в Петербурге. Во время войны с турками гусарский офицер командовал конными разведчиками-охотниками и прослыл сорвиголовой. Один из лучших наездников России, он одерживал победы на знаменитых рысаках Витязе, Грозном, Павлинчике, выращенных на его собственном конном заводе. Его стараниями было учреждено Общество любителей породистых собак.

Став после смерти «отца русской атлетики» доктора Краевского руководителем русского спорта, этот обрусевший француз-миллионер тратил до ста тысяч в год из своих личных средств на подготовку и состязания спортсменов, за что его называли «кормильцем русской атлетики».

Оказалось, что уже в течение двух лет Атлетическое общество пристально следило за успехами нескольких профессиональных борцов, среди которых был и Поддубный. И когда Парижское спортивное общество совместно с французским «Спортивным журналом» предложило петербурж-

цам прислать своих представителей для участия в состязаниях на звание чемпиона мира по борьбе 1903 года, выбор пал на Ивана Максимовича.

Парижские соревнования собирали лучших борцов мира.

1898 год. Первым чемпионом стал Поль Понс, двухметровый богатырь, бывший слесарь. Он положил на лопатки чемпиона Америки, англичанина Тома Кэннона, который изобрел новый прием, названный им «нельсоном» — в честь великого адмирала. Второе место занял проигравший Понсу по очкам Пытлясинский.

1899 год. На соревнованиях появляются турки. Могучий Кара-Ахмет побеждает Понса и становится чемпионом мира. Но вскоре он получает дерзкий вызов от Пытлясинского. Техничный поляк бросил турка через бедро («тур де анш ан тет»), как и Абса, но Кара-Ахмет упал на живот. Это было не последнее в этом бою падение массивного турка — на восьмой минуте лопатки его коснулись ковра.

1900 год. Чемпион — француз Лоран Бокеруа.

1901 год. Год триумфа представителя России — эстонца Георга Гаккеншмидта, прозванного за феноменально развитую мускулатуру и ярость в схватках «русским львом».

1902 год. Снова Поль Понс.

Теперь Гаккеншмидт был болен и ехать в Париж не мог.

Иван Поддубный пока был непобедим только в борьбе «на поясах». Но время для учения и тренировки еще не упущено.

— Согласны, Иван Максимович? — спросил Рибопьер.

— Да,— ответил Поддубный, не осмеливаясь даже полезть «в потылицу», как это делают в затруднительных случаях его земляки.

Руководители Атлетического общества прекрасно знали Ивана, знали, что он не пьет и не курит, что он скромен и трудолюбив...

Граф Григорий Иванович сам был человек отменного здоровья и прекрасного сложения. И видывал здоровяков. Но и он с восхищением глядел на Поддубного.

— А сейчас мы с Николаем Петровичем попросим вас раздеться...

Рибопьер с Бабиным ходили вокруг Поддубного, обмениваясь взглядами и довольными улыбками...

Мускулатура Ивана была не особенно рельефной — мышцы лежали по всему телу колоссальными пластами. Отменно хороши спина и икры. Такого перевести в партер будет очень трудно...

Тотчас Поддубного представили тренеру общества Эжену де Пари, сменившему на этом посту Пытлясинского. Де Пари, бывший борец-профессионал, воспитал во Франции немало знаменитых атлетов. Под приставкой «де» не подразумевалось ничего аристократического — он был просто «парижанин».

Начались обмеры и взвешивание. Секретарь общества Леонов записывал:

Рост — 185 сантиметров.

Вес — 114 килограммов.

Окружность груди — 134 сантиметра. (Невероятно! И это не напрягаясь, на выдохе!)

Бицепс — 45 сантиметров, предплечье — 36, запястье — 21, шея — 50, пояс — 104, бедро — 70, икры — 47, голень — 44...

15

Эжен де Пари плохо знал русский язык. Иван Поддубный совсем не знал французского. И все же можно предположить, как начал бы свои занятия Эжен, если бы не существовало этих препятствий:

— Жан, позвольте мне, старому и опытному тренеру, рассказать вам, что есть борьба. О, я учил приемам Поля Понса, великого Понса! Он завоевал венок победителя, и у ног его был весь Париж, вся Франция, весь мир! Борьба — это рыцарский спорт. Сколько надо проявить находчивости, воли, хитрости, силы и выносливости, чтобы по всем правилам нашего искусства положить противника на лопатки. Наше искусство складывается из владения приемами, но если вам скажут, что их несколько десятков, не верьте... Им несть числа, как несть числа движениям человеческого тела, как нет границ изобретательности талантливого борца...

Жан, я сказал, что борьба — это рыцарский спорт, потому что она закаляет тело, делает его бодрым и сильным, воспитывает благородство. Приемы, которые могут изуродовать, искалечить человека, запрещены.

Жан, борьба, которой я буду вас учить, называется французской, хотя она есть не что иное, как классическая

борьба древних греков и римлян. Еще в гомеровские времена она была королевой спорта и собирала самые большие толпы зрителей. Но пали древние государства, и забыт был их спорт. И только несколько десятков лет назад французы — великая нация — возродили греко-римскую борьбу, снова сделали королевой спорта, за что другие народы переименовали ее во французскую...

Жан, вы очень сильный человек, но не надейтесь только на свою силу. В борьбе есть своя тактика и стратегия. Перед схваткой постарайтесь узнать о противнике возможно больше, приобретите его фотографии, изучите его мышцы, составьте план схватки... Начиная схватку, прибегайте к разведывательным маневрам: захватив его руку за запястье, тяните, и если это вам удается, несмотря на сопротивление, то это значит, что бицепс противника слабее вашего. Отводя руку противника назад, вы испытываете трицепс. Другими приемами вы узнаете силу дельтовидной мышцы плеча, широкой мышцы спины... Мозг борца все время напряжен, нужны мгновения, чтоб узнать уязвимые места противника и придумать обманную комбинацию, затем следует рывок, во время которого ваши мышцы срабатывают с математической точностью и безжалостностью парового молота... О, Жан, борьба — это целая наука!

Возможно, Эжен де Пари изъяснялся с Иваном Максимовичем только французскими терминами, уже знакомыми Поддубному. Ясно одно — в постижении приемов и тактики борьбы требовалось не одно лишь потное усердие...

Время от времени устраивались тренировочные схватки с каким-нибудь из русских борцов: так легче усваивались и сами приемы борьбы, и весь ее ритуал, за соблюдением которого Эжен следил неотступно.

Борцы выходили на ковер в тонких фуфайках, трико и высоких башмаках со шнуровкой.

У стен зала толпились члены Атлетического общества и их гости. Выделялись судьи, один из которых громко объявлял:

— Господа, цель борьбы — опрокинуть противника спиной на ковер и удержать его в этом положении несколько секунд. Падение за ковер не считается. Во время схватки борцы могут захватывать туловище до пояса и руки противника. Запрещается разговаривать во время схватки и обращаться к публике. Подняв руку, борец может прервать схватку и обратиться к судьям... Безусловно запрещается: сгибать руки и пальцы в направлении, противопо-

ложном сгибанию суставов; захватывать пальцами лицо и горло и душить противника; делать подножки; смазывать перед борьбой тело жиром... Продолжительность схваток: первой — 30 минут, последующих — по 10 минут, между схватками — 1 минута перерыва... Решение судей протесту не подлежит.

Судья звонил.

Борцы начинали с салюта — обменивались рукопожатием и расходились.

— Ан гард! — кричал Эжен.— В позицию!

Руки поданы вперед, шаг правой... Надо противника «положить с ног». Один из борцов берет другого «на прямой пояс» — схватывает спереди за талию. Но следует «парад» — контрприем. Противник упирается в шею борцу и выскальзывает из объятий. Борцы пытаются захватывать шею и при этом иной раз больно бьют внутренней стороной руки по уху. Приемы, приемы... Пояс с захватом рук, захват руки через плечо, задний пояс, «нельсон» — обхват руками под мышками противника и за шею... Гнут голову к груди, в глазах темнеет. Но провести прием, бросить противника через бедро совсем непросто. Сколько приемов, столько и контрприемов. Но вот борец удачно обхватывает противника и бросает через себя, становясь при этом на голову... Мост. Тотчас уход с моста и попытка дожать противника. Это уже борьба «в партере». Противник стоит на коленях и на руках. Борец наваливается на него сверху и пытается перевернуть на спину, применяя «рычаг» или «ключ»...

Звонок судьи. Противники поднимаются и тотчас сходят с ковра.

Три месяца продолжалось учение. Оно было привычным и доставляло удовольствие. Хуже было с усвоением правил «хорошего тона». Научиться правильно держать ложку Ивану Максимовичу оказалось труднее, чем уложить на лопатки десяток гвардейских офицеров — непременных членов Атлетического общества.

16

Эжен привез Поддубного в Париж за два месяца до начала состязаний. Вместе с другим русским борцом, Александром Абергом, его поселили в отеле на Рю Бланш. Ни тому, ни другому было не до красот Парижа, так как снова начались тренировки столь жестокой интенсивности,

что при одном чтении воспоминаний Ивана Максимовича бросает в дрожь:

«В продолжение целого месяца я ежедневно тренировался с тремя борцами: с первым 20 минут, со вторым 30 и с третьим 40—50 минут, пока каждый из них не оказывался окончательно изнуренным до такой степени, что даже не мог владеть руками. После этого 10—15 минут я бегал, держа пятифунтовые гантели, которые к концу становились непосильным грузом для моих усталых рук. Далее меня сажали в «докторский ящик», или, попросту, в паровую ванну с температурой до пятидесяти градусов. После ванны я принимал душ: один день — ледяной, а другой — тридцатиградусный. Далее меня закутывали в простыню и теплый халат, дабы испарить из организма лишнюю влагу и достичь правильной циркуляции крови, а одновременно дать отдых телу перед десятикилометровой прогулкой, каковая производилась самым быстрым гимнастическим шагом. После этого моциона я возвращался в гостиницу настолько изнуренный, что с трудом мог подняться на четвертый этаж...» [1]

За полтора месяца беспощадных тренировок нервная система борцов пришла в такое состояние, что они вздрагивали при любом стуке и перестали спать по ночам. Поддубный как-то потерял контроль над собой и едва не избил Эжена и переводчика Кадо, придравшись к пустяку... Эжен, увидев, что пересолил с тренировками, дал Поддубному и Абергу двухнедельный отдых.

Теперь-то Иван Максимович мог побродить по Парижу и увидеть... Но что увидел Поддубный в прекрасном городе Париже, так и осталось невыясненным. К восприятию музейных редкостей и архитектурных красот он не был готов, да и голова его была занята совсем другим — предстоящими состязаниями, будущими противниками. Вот об этих своих впечатлениях он не забывал никогда — имена, достоинства и недостатки каждого, манера бороться врезывались в его память очень прочно. Эрудиция односторонняя, но она говорит о целеустремленности, без которой Поддубный не был бы Поддубным...

Впрочем, Париж не мог не поразить его своей величавостью, просторными перспективами, венчающимися Триумфальной аркой, пестрой уличной толпой, разноязы-

---

[1] Записи Поддубного приводятся не дословно. Сохранена манера, но устранены повторы и погрешности в орфографии и синтаксисе.

кость которой говорила о притягательной силе французской столицы для жителей многих стран и континентов...

Отель на Рю Бланш, узкой наклонной улице, находился неподалеку от злачных мест, среди которых числилось и «Казино де Пари», где Поддубному и Абергу предстояло бороться во славу русского спорта.

От самого порога отеля была видна розовая мельница «Мулен Руж», а дальше, за бульваром Клиши, начинался крутой подъем на Монмартрский холм, увенчанный белым храмом. Вправо же бульвар выходил на площадь Пигаль с ее притонами, шпалерами продажных женщин у стен, красными фонарями в переулках, где дома были слепыми от всегда плотно закрытых жалюзи...

Иван Максимович приглядывался к своему возможному сопернику Алексу Абергу. Тому было всего двадцать два года, но он уже отлично зарекомендовал себя в схватках на ковре.

Эстония дала мировому спорту множество богатырей, среди которых ярче всех блистали Георг Гаккеншмидт, Георг Лурих и Александр Аберг, прозванный впоследствии «загадкой ковра».

Все они вышли из ревельского «Клуба любителей-атлетов», который содержал на свои скромные средства служащий окружного суда Адольф Андрушкевич. Этот щуплый энтузиаст пестовал своих питомцев в холодном амбаре, уставленном гирями и спортивными снарядами и украшенном портретом доктора Краевского, который некогда прислал «клубу» поздравительную телеграмму, адресовав ее: «Колыбели самых сильных людей в мире».

Аберг стал чемпионом Эстляндии и участвовал в больших соревнованиях, где уступал только Луриху, чемпиону Болгарии Петрову и немецкому чемпиону Эберле. Лурих взялся тренировать его.

Старый цирковой артист Дмитрий Альперов в своей автобиографической книге «На арене старого цирка» вспоминал:

«Шла борьба. Борцы Аберг и Лурих жили в одном доме с нами. Мне часто приходилось видеть, как рано утром в саду, разостлав на дорожке ковер, Лурих учил Аберга бороться, и если Аберг делал не то, что приказывал учитель, Лурих палкой бил Аберга. После репетиции они садились пить чай, выпивали несколько самоваров и съедали фунта четыре варенья зараз. Каковы были их аппетиты,

можно судить по тому, что хозяйка каждый день варила им десять фунтов варенья и ведро компоту».

Зная о высоком интеллекте Луриха, его оборотистости, владении десятью языками и даже литературных способностях, что среди атлетов было редкостью, с удивлением читаешь это свидетельство простоты нравов и раблезианского аппетита борцов-эстонцев. Впрочем, одно другому не мешает.

В Париж Аберга послал тот же граф Рибопьер.

Белобрысый, остриженный наголо эстонец был, пожалуй, еще молчаливее Ивана Максимовича. Они скупо выражали свои мысли, но волновались оба, только теперь осознав, какая ответственность легла на их плечи.

На международный чемпионат «прибыли и записались» сто тридцать борцов.

Среди них были такие испытанные бойцы, как великан серб Антонич, бельгиец Омер де Бульон, датчанин Иесс Педерсен, немец Вебер, француз Рауль ле Буше, представитель Австро-Венгрии поляк Станислав Збышко-Цыганевич...

Но ни один из чемпионов и призеров прежних лет не явился. Кара-Ахмет умер в Константинополе от разрыва сердца во время схватки. Турок Юсуф, который некогда был атаманом разбойников, а потом наводил ужас на европейских борцов, возвращаясь из Америки, попал в кораблекрушение и погиб. Гаккеншмидт был болен...

В день открытия чемпионата Иван Максимович, приехавший вместе с Эженом, Абергом и Кадо в «Казино де Пари» к одиннадцати часам утра, был поражен обилием и взволнованностью публики. Эжен, раскланивавшийся направо и налево, объяснял — тут борцы, спортсмены, любители борьбы, репортеры, художники, скульпторы...

Все сто тридцать борцов были взвешены и разделены на две группы. Пятьдесят тяжеловесов (свыше 87 килограммов) получили право оспаривать звание чемпиона мира, остальным восьмидесяти предоставили возможность бороться за звание чемпиона Парижа.

В каждом весе разыгрывалось четыре приза. Правила были жесткие, иные, чем были приняты в Санкт-Петербургском атлетическом обществе. Если борец хоть на мгно-

вение касался ковра лопатками («туше»), он считался проигравшим и выбывал из соревнований. Естественно, что внимание было приковано к тяжеловесам. Их обмеряли, фотографировали, все это немедленно публиковалось журналами и газетами с приложением кратких биографий.

На сцене «Казино де Пари» начались поединки.

Александр Аберг встретился на ковре с французом Де-Вриендтом и мгновенно поверг его на лопатки. Эстонец весил всего 90 килограммов. Рядом со своими стодвадцатикилограммовыми соперниками он казался юношески стройным и хрупким.

Иван Максимович свою первую победу одержал над чемпионом Германии, претендентом на призовое место Эрнестом Зигфридом. На шестидесятой минуте он бросил немца на ковер.

Вторым он уложил звероподобного француза Фавуе, названного газетами «страшным кучером». Тот был неимоверно силен, но неуклюж.

Петербургский журнал «Спорт» писал: «Относительно Аберга французские газеты не говорят ничего определенного. Они признают за ним видимое достоинство, но судить не берутся, так как его борьба с Де-Вриендтом была слишком коротка: Аберг моментально поймал его задним поясом, Де-Вриендт старается сделать мост, но Аберг сейчас же применяет боковой пояс, который и решает борьбу; борьба была так коротка, что даже не было взято время. О Поддубном французы очень высокого мнения; они сравнивают его с турками и находят, что он даст им много очков вперед по части силы».

Вторым противником Аберга был Рауль Мюссон, прозванный «мясником» (ле Буше). В шестнадцать лет он оставил работу в мясной лавке, упорно занимался в спортивном зале, принадлежавшем Полю Понсу, и стал профессиональным борцом. В восемнадцать лет он занял четвертое место на мировом первенстве. Газеты называли его «любимцем Парижа». В 1903 году Раулю ле Буше исполнилось двадцать лет. По мнению парижан, он был красив и хорошо сложен, при росте 188 сантиметров он весил 121 килограмм.

В тот вечер, когда Рауль ле Буше боролся с Александром Абергом, Иван Максимович был свободен и тоже пошел в «Казино де Пари», чтобы еще раз посмотреть, как работает на ковре его будущий соперник...

— Иван Максимович, посмотрите, что у меня на спине,— сказал Аберг, переодеваясь перед уходом из гостиницы.

Поддубный крякнул с досады. На пояснице эстонца он увидел несколько красных бугров. Это был фурункулез. Бич всех борцов, возившихся на не совсем чистых коврах и часто заражавших друг друга (порой это делалось даже намеренно — сильному сопернику подсовывали больного, чтобы надолго вывести его из строя).

Аберга явно лихорадило. Но отказ от встречи засчитывался как поражение, и поэтому оба, не тратя лишних слов, оделись и вышли.

Уж на что были крепкие нервы у Ивана Максимовича, но и он порой отворачивался, чтобы не видеть мучений Аберга...

Рауль ле Буше зажимал и ломал Аберга так сильно, что на теле у того всякий раз оставались багрово-синие полосы. Но эстонец был ловок, и железные объятия француза не достигали цели. Мало того, Рауля дважды бросили на ковер.

Во время одного из зажимов Рауля нарыв на пояснице Аберга лопнул. Иван Максимович представлял себе, какую боль испытывает борец... Но Аберг не давал себя сломить французу.

Судьи прекратили схватку. Борьба была перенесена на другой день.

Иван Максимович и Эжен де Пари подошли к Абергу и вывели его из здания. Хотя до гостиницы было недалеко, они взяли извозчика и повезли эстонца на Рю Бланш. Еще на улице у борца началась сильная рвота. Болел уже не только раздавленный нарыв, а вся спина.

Он мучился всю ночь. Вызванный врач лишь к десяти утра компрессами и примочками смягчил невыносимую боль, и борец уснул. У Аберга оказалось заражение крови, называемое ныне септическим. Он попал на две недели в больницу. За неявку на ковер ему было зачтено поражение.

На Ивана Максимовича схватка Аберга с Раулем произвела сильное впечатление. У него появилась даже неуверенность в своих силах. Там, в России, от него ждут победы, а он может не справиться...

«Доходило до того,— вспоминал Поддубный,— что я хотел отказаться и уехать, но останавливало меня желание

поддержать честь русского профессионального спорта и оправдать доверие Общества».

Иван Максимович одержал подряд одиннадцать побед. Двенадцатым его соперником был Рауль ле Буше, на котором споткнулся Аберг...

Волновался и тренер Эжен. Один из его подопечных уже сошел с круга. Терпят поражение борцы, терпит поражение и их тренер.

— Жан,— сказал он перед встречей с Раулем,— не жалейте сил, попытайтесь положить ле Буше в первые же пятнадцать минут.

Рауля ле Буше публика встретила восторженно. Улыбались и судьи, явно симпатизировавшие соотечественнику.

Советы Эжена оказались бесполезными. Рауль сам пошел на обострение борьбы. Зло и резко он бил Поддубного по шее и уху, выбирая удобный момент для проведения приема. Но Поддубный спокойно отражал все захваты француза.

«Получалось впечатление скалы, о которую тщетно бились морские волны»,— писал один из свидетелей схватки.

В обоих борцах было без малого четверть тонны. От натужных попыток обхватить друг друга дыхание их стало тяжелым. На третьей минуте Рауль стал глянцевым от пота. Руки Поддубного скользили по его телу. Иван Максимович почувствовал недоброе.

Он поднял руку и заявил судьям, что его противник смазан жиром. Судьи проверили и обнаружили, что капельки пота, покрывавшие тело француза, и в самом деле маслянисты.

Однако борьба не была остановлена. Рауля обтерли полотенцем, но маслянистый пот выступил снова. Теперь француза терли полотенцем каждые пять минут. После тридцати минут бесплодных попыток бросить друг друга на ковер борцы получили передышку.

Она длилась вместо одной минуты целых пять.

Устроителям турнира хотелось помочь своему любимцу и вместе с тем соблюсти видимость нелицеприятности. Решено было назначить новую получасовую схватку и присудить победу по очкам. Естественно, что Поддубный, лишенный возможности схватить своего скользкого про-

тивника, проиграл одно очко и выбыл из дальнейших соревнований, хотя в схватке был более инициативен.

Но от сознания собственной правоты не становилось легче.

«Оказалось,— вспоминал Поддубный,— что до начала состязаний Рауль в продолжение трех месяцев тренировался с Антоничем, который всякий раз натирал его по турецкому способу оливковым маслом, что и дало свой результат при борьбе Рауля со мной; впитанное организмом масло начало выступать наружу вместе с потом и не дало возможности ничего сделать с Раулем».

Говорят, кожа становится очень жирна, если даже просто есть много оливкового масла.

Иван Максимович был совершенно убит. Он три дня не ел, не выходил из комнаты... Стыдно было возвращаться на родину с таким поражением. Может быть, не стоило бороться дальше, а надо было отказаться, заявить протест...

Эжен отправил телеграмму в Петербург с изложением всех обстоятельств... Атлетическое общество тотчас ответило. Оно предлагало Раулю ле Буше бороться с Поддубным вне чемпионата, гарантировав ему приз в 10 тысяч франков в случае победы. Рауль отказался.

Тот же «Спорт» в майском номере 1903 года писал:

«В пульку не попали русские борцы Аберг и Поддубный. Они оба выбыли, не будучи положены. Любопытно, что оба срезались на одном и том же борце — Рауле ле Буше. Аберг боролся с ним 45 минут, а на следующий день отказался по болезни: у него был нарыв, мешавший ему бороться. Поддубный неожиданно был побит при помощи счета очков. Счет очков производится крайне произвольно, с расчетом, чтобы победил тот борец, который особенно нравится устроителям...»

Слабых неудачи ломают. Поддубный был сильным человеком не только физически. Он справился с собой и стал ходить в «Казино де Пари» на все остальные встречи. Наблюдал, запоминал приемы. Мало того, он посещал парижские атлетические клубы и учился, учился, учился...

На сороковой день чемпионат закончился. Десять тысяч франков и звание чемпиона мира получил Иесс Педерсен, вторым был Рауль ле Буше, третьим — Збышко-Цыганевич. Всем троим еще предстояло помериться силами с Иваном Поддубным.

17

Нетрудно представить себе, что передумал Поддубный, возвращаясь на родину. Он не оправдал надежд графа Рибопьера. Да одного ли графа? Вся спортивная Россия теперь разочаровалась в нем...

Как быть? Иван Максимович не поехал в Петербург, а решил навестить родителей. В Киеве он накупил русских газет и со страхом разворачивал их одну за другой. Но газеты писали лишь о несправедливости парижских судей.

Граф Рибопьер прислал Поддубному приглашение на большой чемпионат, который должен был состояться в Москве.

Москва встретила Поддубного очень тепло.

Он посетил Рибопьера в его собственном доме у ипподрома. Граф показал ему свою конюшню, где стояли знаменитые рысаки-рекордсмены.

— А вы знаете, Иван Максимович,— сказал Рибопьер,— я в вас верю. Это я предложил гарантировать ле Буше десять тысяч франков... Но, по-моему, он бы их не увидел. А как вы сами думаете?

— Я, ваше сия...

— Зовите меня просто Георгием Ивановичем.

— Георгий Иванович, для меня в Париже многое было внове. Мы тут все попросту, силой больше действуем, а у них приемы уже новые...

— Вы хотите сказать, что у наших борцов не хватает опыта для участия в международных чемпионатах?

— У меня не было. Вон Лурих, так тот в Гамбурге победил, чемпионом мира считается. А какой чемпионат главнее — гамбургский или парижский?

— Парижский. Он представительнее. Кстати, Лурих поместил в газете открытое письмо ко мне. Он утверждает, что его не пригласили на московский чемпионат, так как я будто бы боюсь, как бы он не положил Поддубного...

Граф пожал плечами.

— Так это он, Георгий Иванович, для славы. Чтобы шуму побольше было. А что до того, чтоб ему меня побороть, так у нас говорят — не кажи гоп...

— Именно это я и хотел услышать. У меня не было и нет никакого предубеждения против Луриха, но раз он так рвется на чемпионат, пусть его...

Граф говорил с заметным раздражением.

В ту пору Иван Максимович был в своей лучшей форме. Прошли усталость и нервное расстройство после памятных тренировок с Эженом. Тело налилось силой, но казалось легким.

И началась в его жизни полоса удач, которая привела его на вершину всенародной славы.

Уже в первые дни московского чемпионата он легко кладет Михайлова, Абасова, Глинкина... Схватка с Лурихом, который вел себя вызывающе, была для Ивана Максимовича главной. Зная, что в «партере» эстонец очень силен, он постарался бросить его из стойки и мгновенно дожать своим огромным телом. В борьбе с Янковским Поддубный применил коронный луриховский прием — стал на «мост» и, внезапно перевернувшись, подмял «папашу» под себя.

Но многие еще не верили в мастерство Поддубного. Говорили, что он берет не умением, а природной силой. Иван Максимович никого не разубеждал. Он уехал бороться в провинцию. Каждый день проводил в усиленных тренировках, без конца опробовал виденные им приемы. Изобретал новые.

Впоследствии Поддубный гордо заявлял: «Французскую борьбу в России создал Пытлясинский, развил и улучшил Лурих и окончательно усовершенствовал я». Он перечислял «швунги, толчки, подрывы», «заимствованные из татарской борьбы броски».

Трудно представить себе что-либо «окончательно усовершенствованное», но даже такой опытнейший борец, как олимпийский и мировой призер Александр Иваницкий, признает, что некоторые приемы Поддубного оказались для него откровением.

18

Огни цирка Чинизелли ложились сверкающими дорожками на зеркальный лед Фонтанки, отполированный петербургскими ветрами.

Господин директор Чипионе Чинизелли, облаченный во фрачную пару и цилиндр, прихрамывая, выходил сквозь строй униформистов на манеж, раскланивался, и под хлопки шамберьера на тырсу выбегали восемь соловых жеребцов завода князя Сангушко.

«Госпожа директор» Лиццие Чинизелли изящно «ездила высшую школу» на лошади Суженый, а из царской

ложи, украшенной двуглавым орлом, на нее умильно взирал дядя царя, великий князь Владимир Александрович. Господин директор гордился связью своей жены с членом царствующей семьи и рассказывал о ней всем и каждому.

После своих выходов господин и госпожа директор переодевались и занимали свои традиционные места в первом ряду. «Госпожа директор», сменявшая амазонку последней модели на роскошный туалет от Диора, лорнировала знаменитую парижскую танцовщицу и куртизанку Клео де Мерод, гастролировавшую в Петербурге.

Париж, Париж... Господин директор Чипионе Чинизелли завидовал успеху парижских чемпионатов борьбы. Но он уже заключил сделку с борцом и антрепренером Шарлем Дюмоном, обязавшимся в начале 1904 года организовать в цирке Чинизелли международные состязания. Были приглашены семь русских борцов и двадцать три иностранных, из которых самыми грозными считались болгарский чемпион Никола Петров и трое французов — чемпион мира Поль Понс, Эмабль де ля Кальметт и... Рауль ле Буше.

Иван Шемякин, приглашенный на чемпионат прямо из солдатской казармы и впоследствии ставший одним из сильнейших борцов России, вспоминал:

«Никогда я до тех пор не видал таких сильных людей, особенно как Понс и Рауль ле Буше. Многие не верили, что Понс так был силен, но я переборолся почти со всеми борцами мира и уверяю вас, что Понс был одним из сильнейших людей, каких я только видал. Потом уже его стал забивать Рауль ле Буше, но Рауль был чем-то феноменальным по силе. Это уже был не человек, а стихия. Самое большое впечатление на меня произвел Понс, и обиднее всего мне было, что я, громадного роста человек, перед ним кажусь подростком...»

Иван Максимович Поддубный приехал в Петербург одним из первых.

Парижская неудача была как заноза в сердце. Неужели в России не найдется борца, который бы уложил заносчивых французов? Пожалуй, лучше других Шемякин, но ему не хватает опыта. У Ивана Максимовича был опыт схваток с французами, а главное — хорошая злость, желание взять реванш и доказать, что и русские не лыком шиты, что у них своя школа...

Он тренировался в Атлетическом обществе и продумывал каждую предстоящую схватку, не делясь своими мыс-

лями даже с братом Митрофаном, которого навестил в казарме Гренадерского полка у Большой Невки.

Поддубный решил не показывать своего умения, в схватках больше защищаться, а не наступать, экономить силы для решающих встреч. И главное, пусть противники не защищаются, а наступают. Пусть упиваются своим превосходством и теряют осторожность.

Три тысячи зрителей, ежедневно собиравшихся в цирк Чинизелли — и бархатные кресла, и «ненумерованная» галерка,— были разочарованы вялой борьбой Поддубного, хотя всякий раз он побеждал. «Я делал искусственное дыхание (нарочно тяжело дышал.— *Д. Ж.*), показывая, что я борьбу не знаю. Был неповоротлив, неподвижен, и если я клал противника, то всем казалось, что это случайно».

В публике говорили:

— Поддубный не спортсмен, а медведь. Напорется на хорошего борца, и все...

— Неуклюж, куда ему против французов...

Как-то пришел к нему Митрофан.

— Ты що робишь! Над тобой весь Петербург смеется.

— Побачим, кто будет смеяться последним,— ответил Иван Максимович.— Тут, братишка, не цирк, а чемпионат. Надо голову иметь на плечах. Хай думают, что я разучился бороться.

К финалу чемпионата поражений не имели четверо — Петров, Понс, Рауль ле Буше и Поддубный.

Встреча Поддубного с Петровым продолжалась сорок минут. Победил Иван Максимович. И вот как он вспоминал об этой схватке:

«Здесь я уже показал кое-какие приемы, на которые обратили внимание сидящие борцы, говоря друг другу:

— Сперва Поддубный был какой-то чурбан, и вот за короткое время он так хорошо изучил французскую борьбу. Смотрите, какой он даровитый!

А я, стоя в манеже, на все это улыбался».

Как краток и точен Поддубный в последней фразе, словно бы сочиненной им для литературных гурманов! И в ней он весь — со своей крестьянской хитростью, с простодушным любованием собой.

До окончания чемпионата оставалось три дня. И две схватки. С Раулем ле Буше и Полем Понсом.

Чемпионат в цирке Чинизелли был коммерческим предприятием. Антрепренер Дюмон организовал его на паях с Раулем ле Буше и Полем Понсом. По контракту с Чинизелли он получил 24 тысячи рублей на расходы. Из них пять тысяч, по тому же контракту, выделялось на призы. За первое место — 3 тысячи рублей, за второе — тысяча, за третье — 600, за четвертое — 400.

Французы рассчитывали, что возьмут первые призы. Победы Поддубного смешали их карты. Он уже вышел на третье место. Дюмон встревожился: деньги уплывали из его рук.

Директор Чинизелли был настроен благодушно. Идея международного состязания борцов оправдала себя: касса была полна, расходы и хлопоты сравнительно невелики. Сам великий князь Владимир Александрович благосклонно поблагодарил его за доставленное удовольствие.

Когда Дюмон вошел в директорский кабинет, Чинизелли приветливо махнул рукой: «Садитесь», но сам не встал — из-за искалеченной ноги он мог позволить себе эту невежливость.

— Я рад видеть вас у себя, месье Шарль,— сказал Чинизелли.— У меня сегодня был разговор с полицмейстером. Вчера схватка закончилась слишком поздно. Хочу напомнить вам, что зрелища в Петербурге разрешаются только до полицейского часа, до двенадцати ночи...

— Простите, господин директор, этого больше не повторится. Чемпионат идет к концу, и я придумал, как повысить интерес к последним встречам. Если мы ликвидируем мелкие призы, объединим четыре приза в один и пообещаем пять тысяч победителю турнира, то публике это понравится, а борьба станет острее.

— Но как же контракт, месье Шарль? В нем сказано...

— Простите, господин директор, но этот контракт заключен между вами и мной. Можно изменить условия. При обоюдном согласии, разумеется.

— Я согласен.

Дюмон уже направился было к двери, как Чинизелли догнал его вопросом:

— А вы уверены, мой друг, в победе Понса или ле Буше?

Дюмон остановился как вкопанный и обернулся. Бычья шея его побагровела. Но ни в интонации Чинизелли, ни в его глазах антрепренер иронии не увидел. Ее и быть не могло. Чинизелли держал пари с графом Рибопьером,

что победит француз. Граф ставил один к пяти на Поддубного.

— Да, господин директор.

Вскоре Дюмон был уже в номере гостиницы, где его ждали борцы-французы.

— Слушайте меня внимательно. Я добился ликвидации мелких призов. Пять тысяч — большие деньги, и если мы их проиграем, на вашу долю достанется только плата за выступления. Жалкими грошами, которые остались после всех расходов по организации чемпионата, я делиться с вами не намерен...

— Почему вдруг такая паника, Шарль? — сказал Рауль ле Буше, потягиваясь и щуря большие, навыкате, глаза.— Я с Поддубным боролся в Париже, и ты помнишь, чем это кончилось...

— Ты хороший борец, Рауль, но чемпионом тебе не быть никогда. Надо еще и думать! Я чувствую, что Поддубный показал не все, что умеет. Он в прекрасной форме. Не жалей сил. Если не сможешь положить, вымотай его как следует. Тогда Полю победа обеспечена. Ведь ты положишь его, Поль?

Гигант Поль Понс кивнул.

— Положу Поддубного я! — выкрикнул Рауль. Злобно таращa глаза, он вскочил со стула и сжал кулаки.— И не только Поддубного...

— Под Поля ты подвалишься. Это решено. Ты меня знаешь...

В голосе Дюмона прозвучала угроза. Рауль, ворча, сел на стул и яростно откинулся на спинку. Стул не выдержал такой тяжести и развалился. Рауль вскочил с пола и пнул обломки. Утолив ярость, он затих.

Дюмон — хозяин, антрепренер, и ссориться с ним было действительно опасно. Весь заработок Рауля, и немалый для молодого человека, зависел от Дюмона и еще двух-трех антрепренеров, которые при видимой вражде умели удивительно спеваться, когда дело касалось укрощения строптивых борцов.

Граф Рибопьер зашел к Поддубному. Тот подбрасывал и ловил чугунную «пирамидку», выполняя свой ежедневный урок.

— Иван Максимович, вы слышали историю с призами?

— Слыхал. Выходит, они уже и победителя определи-

ли. Поперед батьки в пекло лезут. Французы проклятые... Ох, простите, Георгий Иванович!

— Ничего. Какой же я француз? У меня только фамилия французская... Мой предок служил еще у Суворова и погиб при штурме Измаила. И пришел я к вам, чтобы напомнить, что в ваших руках честь русского спорта. Дело не в деньгах, хотя я понимаю, что приз — это ваш заработок.

— Я уже думал об этом. Мне слава России дорога.

Поддубного бесило настроение публики из первых рядов партера, которая, как он выражался, «нас, русских борцов, не признавала за хороших борцов».

Гвардейские офицеры, золотая молодежь и молодые купчики, казалось, были заворожены французскими борцами. Они толклись в артистической уборной, делали гостям богатые подношения, упивались возможностью сказать по-французски несколько поощрительных слов. Так в Петербурге привечали все «парижское» — и посредственных музыкантов, и третьеразрядных шансонье.

Поддубный решил сломать это настроение. Но не сразу. Словно хороший шахматист, он продумал развитие событий на много ходов вперед.

Зная силу и ловкость Рауля, он не показал ему всей своей силы и умения. Все тридцать минут схватки Иван Максимович следил лишь за тем, чтобы не дать противнику провести ни одного приема. Новая схватка была назначена на следующий день. Решительная. До победы.

В артистической уборной, куда собрались все борцы, Рауль был весел и даже запел... Он был уверен в своих силах.

— Господин Поддубный, когда вы приезжали в Париж, вы были очень сильны... А теперь почему-то совсем не сильны,— сказал он Ивану Максимовичу.

— Вуй [1],— ответил Поддубный, сокрушенно покачав головой, и добавил: — Побачим завтра...

Наступило завтра.

Рауль, вдохновленный вчерашним, сразу же набросился на Поддубного. Чувствовалось, что он хочет сломать противника в первые же минуты. Но теперь Иван Максимович тоже не сдерживался. Прием следовал за приемом. Рауль растерялся. От куража его не осталось и следа. На пятнадцатой минуте он попал в «партер». Еще двадцать

---

[1] Да (*ломан. франц.*).

семь минут ломал и выворачивал его Поддубный, то и дело поминая Париж и оливковое масло. На сорок второй минуте Рауль подал из-под Ивана Максимовича голос. Он хочет, мол, сделать заявление судьям. Но Поддубный не отпускал его.

— Он же убежит с манежа,— сказал Иван Максимович.

Но судьи настояли на том, чтобы он отпустил противника.

Рауль встал, подошел, шатаясь, к судейскому столу и заявил, что борьбу он больше продолжать не может.

Удалившись в директорскую комнату, Рауль плакал. Набившиеся туда же офицеры из публики уговаривали его продолжить схватку.

А на манеже Иван Максимович, стоя у судейского стола, доказывал, что убежавший противник — это противник побежденный. Довод был неотразимый. Ивана Поддубного признали победителем.

И вот последний противник. Двухметровый гигант Поль Понс. Объявили условия — пятнадцатиминутная схватка, две минуты отдыха, и дальше схватка без перерыва до полицейского часа, то есть почти двухчасовой бой.

Настороженность и предвзятость партера еще не прошла, но галерка встретила Ивана Поддубного шумно и дружелюбно. Весть о его предыдущей победе взбудоражила весь Петербург. «Победил француза!» Люди вспоминали, что они русские, волновались, шли толпами к переполненному цирку, ждали вестей.

Первые пятнадцать минут Поддубный снова хитрил, «щупал... слабые стороны» противника. После перерыва зрители увидели настоящего Поддубного. И вскоре не узнать было некогда могучего Понса. Один из очевидцев этой схватки вспоминал, что Поддубный «швырял его по арене, постоянно заставляя переходить в «партер», чего Понс вообще не любил».

Весь цирк затаил дыхание, нервно сжимались кулаки, было ощущение большого события.

Понс уже не поднимался с ковра. «К концу борьбы на него было жалко смотреть,— говорил тот же очевидец,— его трико стало болтаться на нем, как будто Понс внезап-

но похудел сантиметров на двадцать в талии, скомкалось и превратилось в тряпку, которую хотелось выжать».

И вот уже Поддубный окончательно «сбивает его в партер».

«Я применял всяческие технические приемы, даже злостные (очевидно, болевые.— *Д. Ж.*),— вспоминал Иван Максимович.— Весь свой опыт, всю силу и энергию я истратил до конца. Я прикладывал к левой стороне его груди свое ухо и слушал сердце...»

Впоследствии Иван Максимович не только себя, но и публику сравнивал с хищным зверем, ждущим добычи...

На сто пятнадцатой минуте борьбы Поддубный провел руку под мышку Понса, уперся кулаком в шею и, помогая себе другой рукой, перевернул противника на спину.

«Я держал его на лопатках, пока меня не стащили за ноги. Свистку арбитра я не подчинился: это я сделал, чтобы не было возражений со стороны публики... Я прекрасно сознавал, что это с моей стороны грубо и некультурно...»

Да, он сознавал, но делал это для первых рядов партера — нате, убедитесь!

Никогда еще Ивану Максимовичу не приходилось слышать таких аплодисментов, таких криков восторга, как в ту полночь. Все три тысячи зрителей вскочили со своих мест, размахивали руками. На манеж полетели и картузы и котелки...

Поддубный отпустил Понса, встал и поднял руки. В цирке Чинизелли наступила тишина.

— В афишах объявлено, что победителю чемпионата полагается первый приз — пять тысяч рублей. Я боролся целый месяц и заслужил его. Прошу принести деньги сюда, на манеж, и вручить мне их при публике.

Поддубный сказал это, потому что видел уже лихорадочную возню организаторов чемпионата. Дюмон пытался доказать судьям, что Понс был положен вне ковра. Платить денег он, очевидно, не собирался.

На манеж выбежал Рауль ле Буше и, срывая с себя одежду, требовал, чтобы Поддубный боролся с ним сейчас же. Он кричал, что русский вчера не положил его.

Зрители смеялись. Несправедливость была очевидна. Бороться после двухчасовой схватки?..

Зрители скандировали, требуя вручения приза.

На арену вышел сам господин директор Чипионе Чинизелли и предложил Ивану Максимовичу пройти в контору для получения денег. Тот отказался.

Публика бушевала, вызывала полицию. На манеж спустился петербургский полицмейстер Галле и приказал арестовать кассу цирка. Наконец деньги принесли.

Поддубный снова поднял руки.

— Я прошу принести мое пальто сюда. За кулисы не пойду — убьют!

Он еще в Париже познакомился с нравами профессиональных борцов, знал их привычку носить с собой оружие.

Тотчас нашлись помощники и телохранители. Принесли пальто, купили в буфете салфетку, чтобы завернуть деньги, проводили до экипажа, который предоставил ему граф Рибопьер.

Был уже второй час ночи. Проезжая по Симеоновской улице и Литейному проспекту, вдоль которых стеной стояли ликующие петербуржцы, Иван Поддубный вдруг осознал, что произошло событие чрезвычайное. И не только для него лично. Это была победа России, его Родины. И с этой ночи ему оказывали такие почести, какими удостаивают только национальных героев.

19

Поддубный был в расцвете сил. Он поставил рекорд в поднятии тяжестей. Окружающим казалось, что высшего развития человеческий организм достичь не может. Сам Поддубный относился к своим успехам более скромно. Все это было для него подготовкой к очередному парижскому чемпионату. Он говорил, что если и не положит на лопатки сильнейших, то себя во всяком случае положить не даст.

И снова собрались в Париже сто сорок знаменитейших борцов. Снова фаворитами были датчанин Иесс Педерсен, французы Лоран Бокеруа и Рауль ле Буше, бельгиец Омер де Бульон... Русский богатырь Иван Поддубный.

И все они претендовали на звание чемпиона мира 1905 года.

Одним из первых зал «Фоли Бержер», где в иные дни выступала жена Рауля, известная шансонетка, увидел новое поражение любимца Парижа, прочно преградившее ему путь к чемпионскому титулу.

Русский богатырь технично и быстро бросил на ковер

своих грозных противников — одного за другим. Это был уже не тот увалень, каким он притворялся в Петербурге в 1904 году. Ловкий, быстрый, сильный, он срывал аплодисменты парижан, но ему еще было далеко до популярности чемпиона Иесса Педерсена, который тоже не имел ни одного поражения и вышел вместе с Поддубным в финал.

Иесс Педерсен был красив. Стройный, белокожий, высокий, с рельефными мышцами.

Про Поддубного же можно было сказать: неладно скроен, да крепко сшит.

Когда они оказались рядом на ковре, кто-то из публики выкрикнул:

— Иесс, хватай этот мешок с картошкой и кончай дело!

Педерсен был невероятно силен и вынослив, и Поддубный это знал. Но его рассердила насмешливость парижан. Он сразу же стал атаковать датчанина, щедро осыпая его своими знаменитыми «макаронами» — затрещинами, от которых падал на колени не один борец. Но у Педерсена была крепкая шея. Попытка обхватить Иесса тоже не получилась. Упершись ладонью в подбородок, а заодно давя и на горло Ивана Максимовича, датчанин высвободился из его железных объятий.

Борцы мяли друг другу мышцы. Час двадцать продолжались хождение по ковру и попытки провести какой-нибудь прием.

Иван Максимович решил пойти на хитрость.

Движения его замедлились: он стал симулировать учащенное дыхание, усталость... Педерсен оживился и взял его в обхват. Поддубный почувствовал, что руки датчанина еще невероятно сильны. Дважды обхватывал Педерсен Ивана Максимовича, а на третий раз русский борец внезапно зажал руки датчанина и «с полусуплеса так шибко его бросил, что сам через него перелетел...».

В одном из описаний этой схватки Иван Максимович добавлял, что «применил собственный комбинированный прием из татарской борьбы и чисто бросил его на лопатки...».

Это случилось ровно через час тридцать шесть минут после начала схватки.

Приз в 10 тысяч франков и лента чемпиона мира были наградой победителю.

Вот теперь Париж воздал ему должное.

Чемпионат разбудил невиданные страсти. Парижане просыпались и засыпали со словом «борьба». Борцами интересовались все — от рабочего до президента республики. Во всех ветринах были выставлены портреты Поддубного — папаха, усы, черкеска...

Теперь уже парижане любовались его сложением, изменив «железному Иессу». Под портретами, где Поддубный стоял в трико, подняв руки и напружинив мышцы, красовалась подпись: «Спина его феноменальна».

Французы всех слоев общества считали Поддубного полубогом, осаждали, добивались знакомства. У Ивана Максимовича долго еще хранились сотни визитных карточек титулованных парижан, знакомство с которыми, по выражению репортера, могло бы сделать честь любому дипломату. Это был триумф России.

И надо отдать справедливость Ивану Максимовичу — не вскружила ему головы эта слава. Едва ли не на другой день после победы он потребовал, чтобы ему показали судейские журналы за все годы мировых чемпионатов. Он внимательно изучил все приемы, которыми побеждали на них.

Турецкие борцы буквально ломали своих противников, «русский лев» Гаккеншмидт лучше всего применял передний пояс... Поддубный же решил отработать до ювелирной точности все приемы. И применять. Ради этого он приглашал на свои тренировки всех борцов, находившихся тогда в Париже, и изучал их манеру борьбы. Ходил по любительским клубам, почитавшим за честь такие посещения.

Перед сном у себя в отеле Иван Максимович придумывал новые комбинации приемов, а по утрам показывал их борцам, которые восторженно называли его «магом» и даже верили в то, что он наделен какими-то сверхъестественными способностями...

Особенно подогрела это убеждение необычная схватка, которую предложил устроить некий «профессор японской борьбы» (в те времена едва ли не всякий преподаватель называл себя «профессором» — были «профессора атлетики» и даже «профессора бокса»). Об искусстве японца, открывшего в Париже школу джиу-джитсу, рассказывали чудеса. «Профессор» грозился в газетах победить Поддубного, и пришлось тому принять вызов.

Схватка кончилась для японца печально. Хитроумные

приемы не помогли. С чудовищной силой он был смят и прижат к полу. Японец корчился и кричал от боли. Иван Максимович перестарался. У японца оказалась сломанной нога.

20

В Париже Поддубный получил приглашение на двухнедельный чемпионат в Ницце, после чего намечалась гастрольная поездка по Италии.

В Ницце, «этом сплошном человеческом недоразумении», по выражению Куприна, Поддубный показывал свое искусство респектабельной публике, числившейся и не числившейся в Готском альманахе, окунавшей свои телеса в море и проигрывавшей кучи золота в недалеком Монте-Карло. На модном курорте, созданном на малярийном болоте «английским снобизмом, русским обезьянством, шальными деньгами американцев и вечной лакейской услужливостью французов», была и вилла семипудового красавца Рауля ле Буше.

Перед отъездом в турне по Италии с Поддубным случилось весьма странное происшествие...

Перескажем то, что рассказывал в своих записках Иван Максимович.

Киевский помещик Долинский то ли проматывал в Ницце свое состояние, то ли в либеральной лихорадке бежал под сень чахлых курортных пальм от «проклятой русской действительности». Однако появление Поддубного вызвало у него острый приступ ностальгии, он стал искать общества борца и завязал с ним короткие отношения.

Они встретились в очередной раз у театра, где выступал Поддубный, около пяти часов дня и зашли в ближайшее кафе. Едва они уселись за столик, как в дверях показались пятеро дюжих молодцов. Они уставились на Ивана Максимовича и поэтому, может быть, сразу показались ему подозрительными. Один из них, приволакивая ногу, подошел к столику и представился Ивану Максимовичу братом его учителя Эжена де Пари.

«Это навело меня на большие размышления»,— вспоминал потом Поддубный, выражаясь, как всегда, неподражаемо. Короче говоря, он смекнул, что дело нечисто, поскольку брата у Эжена никогда не было.

Иван Максимович предложил Долинскому уйти из кафе. Но молодцы, в которых понаторевший уже во фран-

цузских нравах Поддубный узнал апашей — местных бандитов, увязались за борцом и его знакомым. Иван Максимович с «братом Эжена» шли впереди. У входа в гостиницу тот стал, попросил у борца 200 франков, а заодно пригласил выпить с компанией «в одном месте, где есть вино и девочки».

Поддубный, кое-как изъяснявшийся по-французски, предложил ему подняться в номер, обещая угостить там как следует. А потом, обернувшись к Долинскому, сказал по-русски:

— Иди швидче, зови городового. Тут дело нечисто...

Именно «городового», а не «полисмена» или «полицейского», чтобы не было для французов знакомого созвучия.

Поддубный с «братом Эжена» поднялись на второй этаж и прошли по коридору мимо ресторанного зала, где сидели другие борцы, поздоровавшиеся с Поддубным. У двери в номер он сказал своему спутнику:

— Погодите, сейчас зажгу свет.

В номере у Ивана Максимовича было оружие.

— Антре! — сказал Поддубный, и вошедший апаш увидел в опасной близости от своего лба черное дуло револьвера.

Всю дорогу бандит хромал, но теперь он мчался по коридору весьма резво. Спутники его, уже поднявшиеся на второй этаж, тоже повернули обратно. Пробегая мимо ресторана, «брат Эжена» поднял бессмысленную стрельбу, загнав двух турецких борцов — Пенгаля и Мамута — под стол. На лестнице апаши столкнулись с полицейским, которого привел Долинский. Но в суматохе их не задержали...

В тот же вечер случилась беда с борцом Эмаблем де ля Кальметтом. Кстати, тем самым, который боролся в саду «Олимпия» в 1903 году и привел в восторг Антона Павловича Чехова, бросившего тогда свою крылатую фразу о «здоровяках». И еще раз, кстати, тот же самый Эмабль во время чемпионата в цирке Чинизелли в 1904 году первым предупредил Поддубного о сговоре других французских борцов с директором цирка. Порядочность в нем взяла верх над деловой солидарностью. С тех пор их связывала с Иваном Максимовичем большая дружба. Рауль ле Буше еще в Петербурге догадался о поступке Эмабля и стал относиться к нему неприязненно.

Ужиная с женой в ресторанчике, Эмабль де ля Кальметт услышал, как за соседним столом какая-то компания

громко обсуждала происшествие с Поддубным и нисколько не скрывала своего намерения убить русского борца. Эмабль возмутился и вмешался в разговор. Ссора была уже готова вылиться в драку, как вдруг борец увидел дуло направленного на него револьвера. Он похолодел. Перед огнестрельным оружием физическая сила — ничто. Однако жена Эмабля, крохотная, но очень ловкая итальянка, выбила револьвер из руки апаша. И тотчас другой бандит проломил борцу голову рукояткой своего револьвера...

В дело вмешались русский и турецкий консулы, потребовавшие, чтобы французские власти обеспечили безопасность иностранных подданных Поддубного, Пенгаля и Мамута.

Теперь полиция действовала ретиво. Полицейский, которого привел киевский помещик, запомнил бандитов в лицо. Они были опознаны и арестованы. Двое оказались беглыми каторжниками. Главарем у них был «хромой брат Эжена». На допросе они показали, что будто бы хотели ограбить Поддубного...

Иван Максимович принял признание бандитов на веру и со спокойной душой отправился в турне по Италии. Он одерживал победы во Флоренции, Венеции, Турине, Вероне, Милане и добрался уже до самой Сицилии, где в Палермо его догнало письмо.

Неизвестный доброжелатель писал ему из Ниццы, что жизнь Поддубного и Эмабля де ля Кальметта находится в опасности. Сообщники арестованных бандитов будут охотиться за ними... А надо сказать, что Эмабль уже успел залечить свою рану и присоединиться к Поддубному в одном из итальянских городов.

Иван Максимович стал догадываться об истинном смысле происшествия в Ницце... Пропади она пропадом, эта Европа! Померкло чистое небо Сицилии, подозрительными стали все эти шумные чернявые люди, тоскливо было высматривать, из-за какого же угла послышатся хлопки револьверных выстрелов...

И уехал бы на родину Иван Поддубный, так и не узнав до конца подоплеки происшествия в Ницце, если бы не встретился он в Палермо со старым знакомцем, борцом и антрепренером Шарлем Дюмоном.

Это был тот самый Дюмон, который затеял интригу против Поддубного в петербургском цирке Чинизелли и остался на бобах из-за силы и упорства русского борца.

Дюмон не был мстителен и, увидев возможность нажиться, предложил Поддубному поехать в Африку с группой борцов, уверив, что во французских колониальных владениях тому нечего страшиться апашей.

Из намеков Дюмона было ясно, что ему известны кое-какие обстоятельства происшествия в Ницце.

В Тунисе Дюмон получил телеграмму Поля Понса о том, что в Ницце от воспаления мозга скончался двадцатичетырехлетний Рауль ле Буше.

А еще через десять дней пришло письмо, из которого Дюмон, имевший обширные связи и в преступном мире, узнал истинную причину смерти Рауля.

В свое время русские газеты рассказали об этой истории. Одна из заметок начиналась так:

«Нигде, ни в одной профессии слава не сопровождается таким хитросплетенным клубком опасностей, предательски подстерегающих ту или иную знаменитость, как в атлетическом мире.

Представители грубой мускульной силы завидуют и мстят друг другу по-своему. Опасного соперника они стараются либо совершенно «изъять» из употребления, либо искалечить. Борцы прибегают к тому и другому способу.

Особой бесчеловечностью в закулисной борьбе отличался самолюбивый француз Рауль ле Буше. Многим спортсменам памятен случай, когда парижские хулиганы-взяточники сбросили с поезда в тоннель негритянского борца, победившего в поединке Рауля ле Буше...»

Нравы буржуазного спорта не изменились и по сей день.

И все же с трудом верится, что таким путем можно преуспеть даже в профессиональном спорте. Злодейство необъяснимым образом почти всегда оборачивается против злоумышленников.

«Ищите женщину»,— говорят французы, услышав о преступлении. И хотя во всей этой истории не было любовной интриги, женщина в ней все же была замешана. Честолюбивая и властная жена Рауля во что бы то ни стало хотела видеть своего мужа чемпионом. Это она в своей мстительной злобе заставила его снова обратиться к апашам, подрядившимся за деньги убить Поддубного.

Бандиты договора не выполнили, но понесли урон, а посему потребовали у Рауля деньги. Тот отказался платить. Тогда его подстерегли в той же Ницце... Несколько ударов резиновой палкой по голове вызвали сотрясение

мозга, которое медицина признала за простудный менингит.

Дюмон завершил свой рассказ сентенцией о возмездии за яму, которую копают ближнему, и от лица своего безвестного корреспондента заверил месье Поддубного, что отныне во Франции опасность ему не грозит. Он был очень осведомленный человек, этот Шарль Дюмон.

Двадцать дней продолжался чемпионат Дюмона в Тунисе и месяц в Алжире. Большая часть схваток была чистым надувательством, тщательно отрежиссированным антрепренером. И только Поддубный боролся в полную силу, неизменно завоевывая первые призы, теперь уже аккуратно выплачиваемые Дюмоном. Сборы от выступлений «русского казака Поддубного» были прекрасные.

В феврале 1906 года Иван Максимович снова в Париже. После новых побед в Льеже и Берлине он вернулся в апреле в Петербург, где его ждали восторженные почитатели и ученики.

21

Историки цирка считают, что в России увлечение профессиональной борьбой началось едва ли не с того самого чемпионата в 1904 году, который завершился сенсационными победами Ивана Поддубного.

«...Спустя какие-нибудь два-три года успех таких чемпионатов возрос с чудовищной силой,— писал Е. М. Кузнецов, крупнейший историк русского и советского цирка.— Тысячные толпы проявляли лихорадочный интерес к борцам, заполняя цирки к десяти часам вечера, когда куцая программа оканчивалась и начинался чемпионат. Чемпионаты растягивались до трех недель, до полутора месяцев, до трех месяцев, наконец; они переезжали из города в город, выделяли любимцев публики, обеспечивали им громадные гонорары и повышенное внимание бульварной прессы; цирк без весеннего чемпионата стал одинаково немыслим и в столице и в провинции, где, окончательно утрачивая спортивный характер, борьба принимала грубые, шантажные формы».

Впрочем, историки спорта отмечают увлечение петербуржцев борьбой еще в конце XIX века. Увы, борьбе не повезло ни в трудах историков цирка, ратовавших за «чистое» цирковое искусство, ни в трудах историков спорта, третирующих профессионализм, хотя ныне от «спорт-

смена-любителя» требуется отдача всех сил, и, за редкими исключениями, он обременен иными занятиями чисто формально.

И все-таки трудновато бывает уйти от успехов профессиональной борьбы, которая в свое время стала не только волнующим зрелищем, но и примером, побуждавшим тысячи и тысячи людей к овладению физической культурой.

Впоследствии возникло неправомерное противопоставление духовного физическому, а колоссальное увлечение борьбой объяснялось едва ли не поражением первой революции.

Не избежал натяжек и тот же Е. М. Кузнецов, связывавший расцвет борьбы с эпохой реакции и ставивший ее в один ряд почему-то с толстовством, процессом Бейлиса и столыпинскими реформами.

«В этом застойном знойном воздухе, когда все живое тлело на корню, могучие мускулистые торсы, по-медвежьи схватывавшиеся на цирковых аренах, давали сладкую подсознательную иллюзию борьбы — борьбы, которой не было и не могло быть. «Мост» Луриха стал легендарным символом, фотографии Гаккеншмидта, Поддубного и Збышко-Цыганевича расходились тысячами, и синие студенческие фуражки с бою заполняли цирки Российской империи».

Но если взять другие приметы времени, вспомнить имена Шаляпина и Рахманинова, Нестерова и Васнецова, Блока и Горького, подумать о расцвете культуры в предреволюционное время, когда страна, охваченная тревожными думами, как бы копила силы и готовилась к скачку в новое состояние, то увлечение силовым искусством предстает в ином виде и становится в ряд достижений национальной культуры.

Недаром Александр Блок писал в предисловии к поэме «Возмездие»: «Мир, готовившийся к неслыханным событиям, усиленно развивал свои физические, политические и военные мускулы».

Максим Горький, которого ставили в один ряд с Шаляпиным и Поддубным, когда называли трех великих русских людей, вышедших из народа, как-то ответил на анкету журнала «Геркулес» такими словами:

«Девиз вашего журнала я считаю весьма важным. Да, «каждый человек может и должен быть сильным», и было

бы чрезвычайно хорошо, если бы мы, русские, усвоили этот девиз».

С другой стороны, чемпионаты были не чисто русским, а мировым поветрием. В России они лишь приобрели своеобразную окраску, о которой я еще скажу.

Главным же достоинством чемпионатов было их воздействие на зрителей. Демонстрация силы побуждала юношество к занятиям спортом.

В молодецкую забаву во время провинциальных состязаний профессиональных борцов вовлекались и зрители.

Как-то Поддубный боролся в Ростове-на-Дону. Равных ему на этом состязании не было. Очевидность, или, выражаясь современным языком, «запрограммированность», его побед могла привести к снижению зрительского интереса. Тогда хозяева цирка с согласия Ивана Максимовича прибегли к старому, но испытанному способу повышения сборов.

Очевидцы рассказывают, что однажды по выходе борцов на арену арбитр объявил:

— Почтеннейшие граждане! Наш чемпион Иван Максимович Поддубный вызывает на борьбу десять борцов из числа любителей. Кто устоит против него пять минут, тот получит премию двадцать пять рублей.

Деньги эти в то время были немалые, народ в казачьей стороне водился дюжий. Не одна громадная рука, задубевшая от работы до твердости конского копыта, поднялась, чтобы поскрести затылок, переходящий в мощную жилистую шею.

После некоторого затишья из публики на арену цирка вышли три человека большого роста, по виду рабочие, донские грузчики.

Арбитр объявил условия: Иван Максимович Поддубный будет бороться с тремя любителями по очереди. Вначале он будет стоять посередине арены с поднятыми вверх руками; каждый из трех может подойти к нему вплотную, взять до пояса на любой прием и любым способом продолжать борьбу...

По свистку арбитра началась борьба.

Первого Иван Максимович взял «на крестки», мгновенно бросил спиной на ковер и прижал своим могучим корпусом. Второго схватил за правую руку, повернулся к нему спиной, бросил через плечо и придавил лопатками к ковру. Третьему дал возможность взять себя «на передний пояс», а затем обхватил сверху руки любителя, креп-

ко их зажал, поднял грузчика вверх на полметра от ковра и, быстро перебирая ногами, стал раскручивать его вокруг себя «мельницей». Потом вдруг резко рванул противника в обратную сторону и через бедро бросил на ковер...

На все ушло около пяти минут.

— Сперва учись, а потом борись,— говаривал Иван Максимович, забывая о своем дебюте или, может быть, веря в свою исключительность, на что у него было весьма веское основание.

Такие выступления Поддубного буквально зажигали молодых людей. Мало того что впечатление от одного вида его оставалось на всю жизнь, многие начинали всерьез заниматься физической культурой.

В этой действенной пропаганде спорта имя Поддубного стоит рядом с именем Ивана Владимировича Лебедева, некогда известного всей России «Дяди Вани».

Недоучившийся правовед, ведущий гиревик Санкт-Петербурга, помощник доктора Краевского, лихой журналист, он открыл собственную спортивную школу и с тех пор обрел громкий титул «профессора атлетики». Дядя Ваня был ловким спортивным дельцом — организатором чемпионатов и издателем спортивных журналов, которые благодаря своей популярности немало способствовали развитию спорта в России.

Могучие атлеты певали на вечеринках песню, в которой были такие слова:

Краевский — основатель
Атлетики у нас.
Он — гирь изобретатель...
«Мерси» ему от нас.

Дядя Ваня считал себя прямым продолжателем дела доктора Краевского, в квартире у которого на Михайловской площади он был завсегдатаем. Там дважды в неделю собирались и состязались силачи в большой комнате с толстым красным ковром, с мраморной ванной в углу, с фотографиями атлетов на стенах, с гирями, бульдогами и штангами под широкими лавками. Всегда подвыпивший повар «отца русской атлетики» Ксаверий готовил для богатырей роскошные кровавые ростбифы.

В 1901 году Краевского не стало — он поскользнулся на Аничковом мосту и сломал ногу; неподвижность, как это часто бывает у спортсменов, привела к сердечной

болезни. Врачи не смогли вылечить коллегу, который так успешно лечил других; причем, по рассказам, три четверти своих пациентов он выхаживал бесплатно...

Краевский передал своим ученикам великую любовь к спорту. «В то время,— писал позже Иван Владимирович Лебедев,— если бы любому из нас предложили министерский пост или всемирный рекорд, он, наверное, не задумываясь, отказался бы от портфеля министра».

Звезда Дяди Вани зажглась, когда ему минуло двадцать пять лет. В петербургском летнем саду «Фарс» он появился в качестве антрепренера и арбитра чемпионата борьбы. Широкое тело бывшего студента Петербургского университета было облачено в русскую поддевку, сапоги и картуз, что произвело на публику, привыкшую к фракам, впечатление неотразимое.

А когда Дядя Ваня снял картуз и картинно поклонился по-русски на все четыре стороны, восторгам не было предела.

В этот день, 8 июня 1905 года, под эгидой «Иллюстрированного журнала атлетики и спорта» открылся международный чемпионат, положивший начало регулярным международным состязаниям по борьбе в нашей стране.

В Петербург среди прочих приехали Георг Лурих, Алекс Аберг, Иван Поддубный... Успешно боролся немец Христов Турбан, имевший при росте 208 сантиметров 164 килограмма весу... Немного уступал ему польский силач Франц Беньковский, выступавший под прозвищем Циклоп.

После двадцати встреч Лурих споткнулся на Турбане и выбыл из игры...

Могучий Аберг, выжимавший ногами шестипудовый груз сто шесть раз, победил Риссбахера, Розенблюма, сделал ничью с Лурихом и вышел в финал.

Только он и Поддубный не имели поражений.

25 июля, на 48-й день чемпионата, Иван Максимович по жребию борется с Циклопом. На шестой минуте польский гигант прижат лопатками к ковру.

Аберг побеждает Турбана, и вот финальная встреча. С Поддубным.

Публика шумит, волнуется, спорит: одни считают эту борьбу излишней, другие, наоборот, требуют ее. Возбуждение публики передается и борцам. Поддубный яростно

атакует Аберга, вышибает его толчком за веревку прямо под ноги судей и наваливается на борца всем телом. Раздается звонок, крики, но Поддубный и не думает отпускать Аберга.

Они начинают снова, но Аберг вдруг отказывается от дальнейшего состязания. Отказ этот жюри сочло за поражение.

Аберг понял безнадежность сопротивления на шестой минуте встречи, и это принесло Ивану Поддубному большую золотую медаль и тысячу пятьсот рублей. Вторым стал Аберг.

О чемпионатах говорилось и много дурного, и много хорошего.

Едва ли не каждый год то какая-нибудь газета, то журнал начинали публиковать «разоблачения» закулисной жизни борцовских чемпионатов. Писали о сделках, о том, что борьба — это чистое надувательство, тщательно отрежиссированное, с заранее известным исходом каждого поединка.

И, как это ни странно, всякий раз такие разоблачения только подогревали интерес публики. Она валом валила в цирки, враждебно настроенная, готовая учинить скандал, как только заметит жульничество, и... уходила довольная зрелищем, убежденная в правдивости борьбы, «заболевшая» ею, как сказали бы сейчас.

Публику привлекала не только сама борьба, но и торжественная приподнятая обстановка, в которой она проводилась. Был тщательно разработан ритуал представления борцов, судейства, схваток...

Великим мастером ритуала борцовских соревнований был Дядя Ваня.

Он возглашал:

— Парад, алле!

И под звуки «Марша гладиаторов», прогибая помост, выходили многопудовые борцы.

Зычный баритон Дяди Вани колотился в барабанные перепонки. Он представлял по одному «волжских богатырей», «русских силачей-самородков», «великанов-сибиряков», «чемпионов мира и его окрестностей».

— Парад, ретур!

Богатыри уходили с арены, и начиналась борьба, потом живо и остроумно комментируемая Лебедевым. В своем журнале «Геркулес» Дядя Ваня писал о себе так:

«Окончил 3-ю петроградскую гимназию с несколькими медалями за атлетические рекорды. Будучи студентом юридического факультета Петербургского университета, продолжал обнаруживать такие же успехи в науках: выжал двумя руками 325 фунтов. С 1905 года хожу «вокруг и около» по сцене или арене, свищу и без запинки отвечаю на все возможные и невозможные вопросы. В течение 10 лет боролся 50 раз, причем когда 20 раз меня клали, публика говорила: «Вот так профессор!» — зато когда 30 раз клал я, публика говорила: «Конечно, хозяин!» Твердо верю в то, что я — «любимец публики», потому что всегда имею массу друзей и приятелей в дни полных сборов. К сожалению, не могу изобрести телефона и телеграфа, но зато изобрел первую «черную маску» в России, Святогора, Дядю Пуда, Саракики, Ивана Каина, Авеля и еще целый ряд других «живых аттракционов». По всем вероятиям, скопил громадное состояние, так как постоянно слышу вопрос: «И куда вы только деваете деньги?» По мнению многих, говорю всего две фразы: «парад, алле» и «одна минута перерыва». Определенно счастливый человек, хотя рубашку имею,— поэтому улыбаюсь, если даже и грустно...»

По этой веселой болтовне можно составить представление и о стиле устных высказываний Дяди Вани во время чемпионатов.

Под Дядю Ваню стали работать арбитры цирковой борьбы во всех городах России, где она проводилась. Перенимался и его режиссерский почерк.

У всякого борца было свое амплуа.

Считалось обязательным выступление на чемпионатах борцов из Африки и других экзотических краев. Знамениты были Мурзук, Англио, Али-Абдала... За неимением таковых перекрашивали кого-нибудь из русских борцов.

Хозяин многих чемпионатов Лурих однажды уговорил борца Осипова выкраситься в коричневый цвет и выдавал его за «вождя вымирающего индейского племени». Перед борьбой Осипов испускал воинственный клич индейцев. Публика, любовавшаяся великаном, жестоко разочаровалась бы, если бы услышала, как в уборной он после схватки обращался к товарищам:

— Ну и упрел я, братцы, нынче... Ужасти!

Едва не разразился скандал, так как «индейцем» заинтересовались ученые.

Дядя Ваня «изобрел» Саракики. Этот тощий малень-

кий китаец, выдаваемый за японца, был в моде после поражения России в войне с Японией. Лебедев рекламировал его и инсценировал победы щуплого «японца» над русскими гигантами... И аплодировали ведь!

Кого только не было на чемпионатах!

Были «звери», борцы косматого вида и дурного характера, нарушавшие непрестанно правила и возбуждавшие публику дикими выходками.

Были «благородные красавцы», снискавшие симпатии публики джентльменскими манерами и справедливостью. В конце чемпионата они непременно укладывали на лопатки «зверей», рвавшихся всеми правдами и неправдами к финалу.

Были «апостолы», статные и дородные борцы, но при своей массивности силой не отличавшиеся.

Были борцы-комики, устраивавшие пародийные схватки, во время которых публика задыхалась от смеха.

Были борцы, надевавшие красные и черные маски, чтобы заинтриговать зрителей...

В воспоминаниях пересказывают слова Поддубного:

«На самой высокой ступени борцовской иерархии стояли «техники», или, как их еще называли, «пируэтники»,— борцы, в совершенстве владевшие техникой борьбы. Ниже их стояли «брусовозы», или «яшки». И на самой низкой ступени находились борцы, которых презрительно именовали «подкладкой», то есть те, которые по приказу директора чемпионата проигрывали на туше».

Существовал целый мир цирковой борьбы, со своим жаргоном, обычаями, нравами. Ставились великолепные спектакли, в которых прекрасно обыгрывались и жадность, и зависть, и благородство, и горе — все человеческие чувства, способные тронуть за живое тогдашнего зрителя.

Умело составлял программы своих чемпионатов Лурих.

Любимцем публики был плохой борец, но оборотистый антрепренер Петр Крылов. Даже цирковые артисты, знавшие, чем окончится борьба на его чемпионате, все же смотрели на нее с удовольствием, как на хорошую артистическую игру.

Крылов прежде был штурманом дальнего плавания; в каком-то японском порту его сплошь покрыли татуировкой. Всех людей он делил на «джентльменов» и «паразитов», в число последних входили все, кто не мог поднять двух пудов.

Он гордился многочисленными складками на загрив-

ке толстой шеи. Стоило при нем похвалить какого-нибудь борца, как он возражал:

— Ну, какой это борец, когда у него воротник сорок два!

Узнав однажды об измене своей красивой жены Валерии, он заплакал и сказал:

— Джентльмены, что ж это такое? Валерия, шкура, мне изменила. Да хоть бы с человеком, а то двух пудов поднять не может!

Крылов любил эффектные трюки. Однажды он не явился на финальную схватку. Публика волнуется. За пять минут до конца циркового представления Крылов вбегает, показывает всем свои золотые часы и кричит, что опоздал из-за их неправильного хода. Арбитр не разрешает ему бороться. Тогда Крылов как хватит часами о стол арбитра. Они разбиваются вдребезги, зрители расходятся до другого дня, веря Крылову. А тот в уборной спрашивает:

— Ну как, джентльмены? Здорово? Еще сбор обеспечен. А часы всего двадцать пять рублей стоят. Да еще золото в лом сдам. Не обманешь — не продашь, джентльмены!

Был еще некий «Дядя Пуд» — В. Н. Авдеев, который весил 210 килограммов. Этот жуликоватый антрепренер и арбитр был сущей находкой для карикатуристов...

Был буйный и лихой на выдумку гигант Николай де Фос...

Много было колоритных фигур — о всех не расскажешь...

И были чемпионы Поддубный, Заикин, Вахтуров, Шемякин...

Чемпионы с удовольствием принимали участие в инсценированных «сражениях», но по доброй воле ложиться на лопатки соглашались очень редко. Известен громкий скандал, который устроил Поддубный Луриху, который, как хозяин чемпионата, предложил Ивану Максимовичу «подвалиться»... Поддубный бросил вызов Луриху и Абергу, а когда те отказались бороться, ушел из чемпионата.

Знаменитый борец Заикин рассказывал: «Сохранять свою спортивную честь, не ложиться по приказу организатора чемпионата на определенной минуте могли лишь

выдающиеся атлеты, такие, как Иван Поддубный, Иван Шемякин, Николай Вахтуров...»

Одна из книг двадцатых годов начиналась так:

«Гамбургский счет — чрезвычайно важное понятие.

Все борцы, когда борются, жулят и ложатся на лопатки по приказанию антрепренера.

Раз в году в гамбургском трактире собираются борцы.

Они борются при закрытых дверях и завешенных окнах.

Долго, некрасиво и тяжело.

Здесь устанавливаются истинные классы борцов, чтобы не исхалтуриться».

Возможно, гамбургский трактир — это лишь литературный прием. Не знаю. Но что-то вроде этого было...

Были международные чемпионаты, вроде парижского, где в решающих схватках на компромиссы не шли. Но единой системы, позволявшей определить абсолютного чемпиона мира, не существовало. Одновременно в какой-нибудь из европейских столиц в том же году проводился другой чемпионат, и если в нем участвовало приличное число национальных чемпионов, то и он присваивал звание чемпиона мира.

Такой порядок был далек от совершенства, но сильнейших он все же выявлял. Эти-то «чемпионы» и пользовались исключительным положением на разных чемпионатах. Они получали очень высокие гонорары — сто и больше рублей за вечер против «яшек», боровшихся за пятерку.

Для возбуждения интереса публики на чемпионатах прибегали к различным уловкам. Борцы затевали при публике ссоры, грозили друг другу жестокой расправой. Иной раз прятали за щеку рыбий пузырь с красной краской, которая потом заливала лицо якобы вошедших в раж борцов...

На международном жаргоне борцов-профессионалов было два понятия: «шике» и «бур».

«Шике» — это борьба на публику, схватка живая, интересная. В ней приемы и контрприемы следуют чередой. Применяются всякие рискованные и эффектные трюки, которым нет места в серьезной борьбе.

«Бур» — это зрелище жестокое и порой отвратительное. В буровых схватках чемпионы выясняли, кто же из них сильнее. Шла борьба самолюбий, шла борьба за престиж, за право получать большие деньги... Тут уж было

не до эффектов, борцы использовали всякую оплошность противника, пускали в ход всю свою чудовищную силу, и нередко схватка кончалась даже увечьем.

«Борьба есть борьба,— говорил Иван Заикин.— Она может быть разной. Нельзя заставить борца каждый день выдерживать серьезные «буровые» схватки. Он просто не выдержит чрезмерного напряжения, да и публике это не доставит удовольствия».

Чемпионы берегли свои лопатки. Всякое поражение отодвигало их на вторые роли. Поэтому так редко встречались друг с другом лучшие борцы, и всякая их схватка становилась большим событием. Были случаи, когда вопрос престижа решался при пустом цирке, только в присутствии арбитров и борцов.

Иван Максимович Поддубный был великолепен в «шике», а в «буровой» борьбе считался непобедимым.

Боролся он резко, зло. Если замечал, что противник его в схватке прибегает к нечестным приемам, приходил в бешенство и тогда уж расправлялся беспощадно.

В старости Ивана Максимовича спрашивали:

— Говорят, что вы были жестоким в борьбе?

— Да,— отвечал он,— когда меня пытались поймать нечестным путем. Вообще же серьезная схватка борцов моего сложения и данных прежде всего должна быть силовой.

22

Поддубный был ярким олицетворением физической мощи народа, его мужественности и смекалки.

Крестьянская Россия, наращивавшая мышцы в неистовой работе, проявляла силу и ловкость в кулачных боях, в сражениях «стенка на стенку», что было и развлечением и «спортом» деревни. В этих драках утверждали себя беззлобно — лежачих не били...

Еще когда Поддубный только начинал, в цирках появлялись мужички, вроде воронежского великана Прони, который вышел на арену и легко, без всяких технических ухищрений, выжал снаряды, только что брошенные на землю мировым рекордсменом. Оставшийся в истории спорта бесфамильным, Проня согласился и побороться, но стать профессионалом отказывался. В страдную пору он возвращался в родную деревню...

Известным кулачным бойцом был волжанин Михаил

Заикин. В боях улица на улицу бурлак валил соперников с первого же удара. Он стал даже чем-то вроде профессионала, разъезжая по ярмаркам и показывая свою силу.

Его сын Иван еще подростком удивлял своим могучим сложением крепких волжских грузчиков. В семнадцать лет Иван Заикин попробовал себя в самарском цирке, схватился с цирковым борцом Снежкиным за премию двадцать пять рублей. Опытный Снежкин положил бы молодого грузчика, если бы с галерки не раздался голос Заикина-старшего:

— Клади его, сынок, не то сам слезу! Клади!

Поднатужившись, Иван бросил борца на ковер.

Заикину было уже за двадцать, когда на него обратил внимание Константин Иванович Меркурьев, силач и организатор атлетической арены в Царицыне, совладелец крупной нефтяной фирмы «Братья Меркурьевы и компания». Богач взял Заикина в контору рассыльным, дал возможность тренироваться на арене, а в феврале 1904 года отправил в Петербург на всероссийский чемпионат спортсменов-любителей, проводившийся стараниями графа Рибопьера.

Там Иван Заикин толкнул правой рукой 190 фунтов, левой — 170 и стал чемпионом России.

Пытлясинский познакомил нового чемпиона по поднятию тяжестей Ивана Заикина с Поддубным тотчас после победы волжанина.

Иван Максимович с удовлетворением оглядел высокого и статного тезку. Ему нужен был партнер для тренировок, а Заикин охотно взялся изучать борьбу. В короткое время Иван Максимович сделал из Заикина великолепного борца.

«Он изрядно наломал мне бока,— вспоминал Заикин,— но эта наука не прошла даром...»

Расставаясь с ним, Поддубный сказал:

— Ну, Иван, вертаться тебе к Меркурьеву не трэба. Иди в цирк и за тренировки не забывай. Горилку не пей, бисову траву — табак не кури...

Заикин подписал контракт с Никитиным и, выступая в приволжских городах, носил пароходные якоря, держал на плечах платформу с десятками людей, гнул рельсы и двухтавровые балки. Особенным успехом пользовался номер, подсказанный ему Алексеем Максимовичем Горьким. На афишах он значился так:

«Бегство разбойника Чуркина из железной клетки в

исполнении волжского богатыря Заикина будет показываться в цирке. Эту клетку он разломает и выйдет на волю. Тому, кто еще сумеет разогнуть решетку, будет выдана премия».

Номер в тогдашней революционной ситуации имел популярный подтекст. Ломание кандалов и клеток отдало Заикину симпатии либеральной публики и печати.

В 1905 году в московском саду «Аквариум» он впервые встретился на ковре с иностранными борцами и положил многих. В этом чемпионате он проиграл только Поддубному, бросившему его на лопатки на шестнадцатой минуте.

Впоследствии Заикин стал одним из первых русских авиаторов. Слава его в России не уступала славе Поддубного.

Дядя Ваня балагурил о нем так:

— Человек, у которого голова не только для мостов и пируэтов. Среди борцов носит почтительное прозвище «Кацап», что значит «палец в рот не клади». Страшно силен, очень ловок и очень хитер в борьбе. Снимался с Илиодором, Куприным, Распутиным, Жакомино, с Карлом Великим, с Наполеоном и Навуходоносором. Летал на аэроплане и поражал всех безумной храбростью...

Всех побивал Иван Заикин, но с Иваном Максимовичем Поддубным справиться не мог. Одна из схваток кончилась для волжанина весьма печально. Поддубный бросил его на ковер с такой силой, что из плеча гиганта стала хлестать кровь — порвались мышцы, был разбит сустав и повреждены связки. Иван Максимович очень переживал этот случай и часто навещал больного Заикина.

23

Ивана Максимовича теперь уже называли почтительно «батькой», и стал он главным среди богатырей, которыми никогда не оскудевала наша земля.

Самые рослые, самые статные молодцы служили в русской гвардии, и оттуда многие из них шли в профессиональные борцы. Был когда-то вахмистром в лейб-гвардейском уланском полку Янковский. Иван Шемякин служил в Преображенском полку.

Иван Максимович часто наведывался в казармы к гренадерам, среди которых Митрофан Поддубный, подни-

мавший шестнадцать пудов, отнюдь не был самым сильным.

Пробовал старший брат приобщить к борьбе и Митрофана, но у того, кроме силы, не оказалось нужных борцовских качеств. Зато взводный Митрофана унтер-офицер Никандр Вахтуров оказался сущей находкой.

— Краще парубка не бачив. Злющий, як сто бисов,— сказал Митрофан.

— А ну покажь своего унтера!

Вахтуров оказался крепышом на редкость. Грудь как бочка, шеи почти не видно — короткая, сантиметров шестьдесят в обхвате. Лоб низкий, лицо будто топором тесано.

— Добре, добре,— сказал Иван Максимович, а когда гренадер уволился из армии, взял его к себе в ученики, тренировался с ним, возил с собой по чемпионатам. И стал Никандр всемирно известным борцом Николаем Вахтуровым.

«Николаем» потому, что имя Никандр показалось устроителям чемпионатов слишком простонародным и неблагозвучным.

— По силе даже не человек, а ихтиозавр и притом крутит двойные пируэты,— говорил о нем Дядя Ваня.— По натуре так же широк, как и в плечах...

24

Рядовой Иван Шемякин был лучшим гимнастом в Преображенском полку. Ростом он был за сто девяносто и очень широкоплеч. Недаром он еще до службы пользовался расположением доктора Краевского и брал призы на атлетических состязаниях. Редкие увольнения из казармы Шемякин использовал по-своему.

Однажды шла борьба в Михайловском манеже с участием чемпиона мира Гаккеншмидта, болгарина Николы Петрова и других русских и зарубежных знаменитостей. Арбитром был Дядя Ваня.

Он заявился в казарму к Шемякину и попросил:

— Тезка, поборись сегодня с Жоржем Гаккеншмидтом вместо Трусова — он заболел... И вот тебе десятка. Я знаю, ты без денег и мать больна...

Для солдата и молодого борца это была великая честь — бороться с чемпионом мира.

Но нижним чинам запрещалось не только выступать, а даже посещать публичные зрелища. И все же Шемякин

рискнул. Выпросил увольнительную до двенадцати ночи, поехал к борцу Трусову и взял у него костюм.

Дядя Ваня обрадовался ему и помог загримироваться — жженой пробкой превратил русого Шемякина в брюнета, нарисовал усы и бакенбарды...

Но только Шемякин вышел на ковер, как увидел своего ротного командира Дренталя, который в упор смотрел на него из ложи. Солдат боролся как в тумане и, лежа на лопатках от ловкого броска Гаккеншмидта, услышал голос Лебедева:

— На двадцать седьмой минуте, приемом тур-де...

Ночевал он в карцере. Тридцать суток ареста в сыром помещении кончились воспалением легких. В госпитале Шемякин отъелся и отоспался...

Офицеры-преображенцы не забыли, что их солдат продержался почти полчаса против «самого Гаккеншмидта», и по выписке из госпиталя заставили его бороться поочередно со всеми ротными силачами.

Шемякин исправно укладывал их на лопатки, а наиболее строптивых спрашивал с усмешкой:

— В какой угол прикажешь вас положить?

И клал.

Но хоть неуклюжи были преображенцы, а сильны. Да и ловчали они с каждым днем. Вскоре победы стали доставаться ему уже нелегко. Шемякин сам не имел еще профессионального опыта.

После военной службы Шемякин работал атлетом в цирке Чинизелли и учился у Эжена де Пари. Карьеру борца он начал с того самого чемпионата, на котором Поддубный победил Рауля ле Буше и Поля Понса. Тогда Шемякин свел вничью схватку со знаменитым болгарином Николой Петровым и Анастасом Англио. Антрепренер Дюмон взял его в поездку по Европе и Америке. По возвращении Шемякин выступал во многих чемпионатах и прославился победами над сильнейшими борцами.

Дядя Ваня описывал его так:

— Грудь и плечи как у библейского Самсона, а руки что клещи... Был самым азартным спортсменом из всех борцов — чуть что, сейчас жарил вызов...

Иван Заикин, Николай Вахтуров, Иван Шемякин после Поддубного безусловно были самыми сильными борцами России. Слава их, как и слава знаменитых эстонцев Гаккеншмидта, Луриха и Аберга, дожила до наших дней.

Но хотя Поддубный и был обладателем «мировой короны», право на нее ему приходилось отстаивать вновь и вновь. И не только на чемпионатах.

По возвращении из-за границы в 1906 году Иван Максимович снова победил всех на чемпионате в цирке Чинизелли. Кумиром публики на проходившем одновременно чемпионате в саду «Неметти» был австро-венгерский чемпион поляк Станислав Збышко-Цыганевич.

Збышко-Цыганевич был уроженцем Кракова, принадлежавшего в то время Австро-Венгрии. Поляки-патриоты, страдая за свою разорванную на куски родину, часто брали имена героев знаменитых в то время романов Генриха Сенкевича. Из «Крестоносцев» появился «Збышко». Это же происхождение имело и прозвище Петра Янковского — «Урсус» (из «Камо грядеши»).

Петербургские любители борьбы разрывались между чемпионатами, лихорадочно обсуждая достоинства Поддубного и Збышко.

— Наш Поддубный... Какая грудь!

— Но Збышко моложе на двенадцать лет. У него бицепс пятьдесят два сантиметра! Сила чудовищная...

Поддубного раззадорили.

После чемпионата он послал вызов Збышко. Тот вызов принял и, мало того, поставил 500 рублей, если Поддубный его победит, и 200, если продержится против него, Збышки, в течение часа.

Борьба состоялась в саду «Неметти».

На ковре соперники вели себя осторожно. Ходили друг возле друга, щедро оделяя противника толчками и затрещинами. На 27-й минуте Поддубный сорвал Збышко на ковер. Публика встала и завопила. Но Збышко вскочил. Очень сильный, он всякий раз уходил из объятий Поддубного. На 47-й минуте обхватил противника сбоку, но тут же был брошен через плечо...

И снова борцы в стойке. Прошел час. Поддубный выиграл 200 рублей.

Второй вечер был решающим. На 37-й минуте Иван Максимович оказывается в «партере». Потом он тоже бросает Збышко через бедро. За несколько минут до конца схватки Поддубный обхватывает противника, берет «на передний пояс». Збышко, вырываясь, пятится. Тогда Иван Максимович, поднатужившись, отрывает его от земли и

бросает на... судейский стол, который трещит и разваливается. Збышко на лопатках, но вне ковра. Ничья.

Через два года они снова встретились — в Лондоне. Поддубный внес в банк 5 тысяч франков, которые должны были достаться любому, кто победит его. Вызов принял Збышко. Председателем жюри был эстонец Георг Гаккеншмидт, навсегда поселившийся в Англии.

Первое появление Гаккеншмидта в Англии относится к самому началу века, когда известный борец Джек Кэркик продвинул классическую борьбу на подмостки крупнейших лондонских залов.

Однажды англичанин, выступая в «Альгамбре», бросил в зал вызов бороться с любым желающим. В одной из лож поднялся молодой человек в белом галстуке и щегольском фраке. На виду у изумленной публики он разделся и, оказавшись в борцовских трусах, вспрыгнул на сцену.

Кэркик тотчас узнал в двадцатитрехлетнем идеально сложенном незнакомце недавнего победителя в международных состязаниях, проходивших в парижском «Фоли Бержер».

— Вы англичанин? — спросил Кэркик.

Гаккеншмидт, уже названный газетами «русским львом», отрицательно покачал головой.

Кэркик решил уйти от встречи.

— Это знаменитый иностранный профессионал,— обратился он к публике.— Я с удовольствием встречусь с ним в специальном матче. Сегодня он ищет дешевой популярности. Я же посылал вызов английским борцам...

Короче говоря, Гаккеншмидт был поставлен в неловкое положение. Он едва наскреб денег на обратный билет, так как надежды его на заработки в Англии не оправдались.

Так бы и уехал он несолоно хлебавши, если бы не случайная встреча с неудавшимся актером Кокраном, который решил испытать себя на поприще зрелищного предпринимательства. Молодые люди оказались кладом друг для друга. Кокран уговорил знакомую журналистку поместить в «Дейли мейл» статью о Гаккеншмидте под громким заглавием «Гений силы». Затем последовали уговоры хозяев лондонских залов, и вот уже Гаккеншмидт совершает победное турне по Англии, обогащая себя и своего антрепренера (по-английски — менеджера).

Особенно прославила его победа в Ливерпуле над по-

пулярным, но стареющим борцом Томми Кэнноном. В январе 1904 года в одном из залов на Пикадилли Гаккеншмидт в две минуты победил «чудовищного турка» Ахмеда Мадрали — поднял его на руки и высоко подбросил в воздух...

«Гакк» стал кумиром англичан, которые снова и снова ходили в кинематограф, где показывали эту встречу, заснятую на пленку.

Разбогатевший Кокран начал устраивать встречи не только Гаккеншмидту. Одним из его подопечных стал Станислав Збышко-Цыганевич.

Поддубный приехал в Англию вместе с Вахтуровым. Русских борцов пригласил известный менеджер Пиерри, решивший показать их мастерство в Глазго, Манчестере, Ливерпуле и Лондоне.

Борцы прибыли из Аахена, славившегося своим курортом. Там Поддубный увидел мемориальные доски, золотыми буквами возвещавшие о том, что в Аахене лечились и русский царь Петр I, и шведский король Карл XII, которых история столкнула в решающей битве на родных борцу полтавских полях.

Логика у Ивана Максимовича по этому поводу была незатейливая, но железная. Коли лечились, значит, болели. А раз болели...

«Мраморные доски навели меня на грустные мысли, толкая меня к поддержанию в дальнейшем строжайшего режима, как спортсмена».

Такие же «грустные мысли» должны были возникать у него по поводу слабости, которую питал к горячительным напиткам его ученик и друг Николай Вахтуров.

— Опять вчера горилки налакался? — грозно спрашивал Поддубный, когда Вахтуров являлся на тренировку вялый и с покаянной гримасой на толстом лице.

— Ох, Иван Максимович, если б водка была, а то — виски, чтоб им пусто было! И как их только англичане пьют!

Вахтуров морщился и тер лоб.

— Я тебе, бисову сыну, мильон раз говорил — назвался борцом, соблюдай себя, держи режим. Вот зараз я тебя буду лечить... Побежали!

Они спускались из номера, пересекали улицу и оказывались в Гайд-парке. Топча вечнозеленую траву на широких лужайках среди дубов-великанов, они обгоняли всадников, церемонно подпрыгивавших в своих неудобных

английских седлах. Никто не оборачивался им вслед. «Если джентльменам угодно бегать, пусть себе бегают». Всадники были невозмутимы, как и редкие прохожие, пересекавшие парк в столь ранний час.

Борцы уже в пятый раз огибали пруды. Поддубный дышал ровно, а Вахтуров задыхался.

— Постой, Максимыч, десятую версту бежим...

— Не десятую, а третью всего. А ну, геть в зал, я из тебя остатний хмель выжму!

На тренировках они так «жали» друг друга, что и Поддубный порой морщился от боли. Вахтуров был невероятно силен...

Менеджер Пиерри довольно потирал руки. Глаза у Пиерри косили, а голова была голая, как бильярдный шар. Это он в свое время привез в Европу знаменитых турецких борцов. Его новая идея пригласить русских борцов на английский ковер явно имела успех.

— Мистер Поддубный,— сказал однажды Пиерри,— мистер Збышко будет бороться с вами через неделю. Судить матч согласился ваш соотечественник мистер Гаккеншмидт. Он — председатель жюри.

Иван Максимович лишь рукой махнул.

Сразу же по приезде в Англию он дал объявление в газете, что оставляет в ее редакции чек на 5 тысяч франков, который может получить любой борец, если вздумает оспаривать титул чемпиона мира и победит Поддубного.

Заодно он послал вызов Гаккеншмидту. Тот за последние годы, очевидно, сдал как борец. Им был отвергнут вызов Аберга. Теперь он под благовидным предлогом отказался от поединка с Поддубным. Перчатку поднял Збышко-Цыганевич...

Поддубный был недоволен тем, что Гаккеншмидта назначили председателем жюри: он не мог быть беспристрастным после того, как сам отказался выйти на ковер.

Но Антонио Пиерри, которого называли «дуайеном менеджеров», уже ничего не мог поделать. Его соперник менеджер Кокран уже сделал Збышко большую рекламу, распространив даже слух, что тот свободно говорит на двадцати языках и мастерски играет в шахматы. Какое это имело отношение к борьбе — непонятно. Но для разговоров пища была.

Сейчас, по прошествии семидесяти с лишним лет, очевидно, что предстояла схватка не борцов, а скорее ме-

неджеров, в которой более молодой хищник собирался посрамить старого...

И все же матч поляка с Поддубным прочно вошел в анналы английского спорта, где мне и удалось узнать его подробности.

Интерес к встрече Збышко с Поддубным, «очевидно, самым сильным человеком в мире в то время», был громадным. Тысячи желающих попасть на матч не достали билетов в «Лондонский павильон», где они шли по гинее каждый.

Поддубный стал сразу же осыпать Збышко своими знаменитыми толчками. Тот не отступал ни на шаг и не давал сопернику провести ни одного приема. Лишь на 25-й минуте Иван Максимович сбил Станислава Збышко-Цыганевича в «партер».

Гаккеншмидт велел борцам подняться и тут же обвинил Ивана Максимовича в том, что тот применил запрещенную подножку.

За неповиновение жюри Поддубного дисквалифицировали.

Зрители, почувствовавшие явную несправедливость, взбунтовались. Русского поддерживали такие известные спортсмены, как экс-чемпион боксер-тяжеловес Чарли Митчелл, известный борец-профессионал Аполлон...

«Они подняли страшный крик, протестуя против решения жюри,— пишет современный английский историк спорта,— по всему залу вспыхивали драки.

Лишь один человек не обращал внимания на взбунтовавшийся зал. Это был С. Б. Кокран: его заботили более важные вещи.

Бросив Збышко на произвол судьбы, менеджер пробился к редакции газеты, где хранился банковский чек, предназначавшийся победителю. Кокран завладел чеком в тот самый момент, когда Пиерри ворвался в редакцию. Пиерри заметил, что Кокран улизнул из зала, и гнался за ним до самой Флит-стрит[1] в кэбе.

Он приехал слишком поздно.

Не обращая внимания на его гнев и протесты, Кокран помчался обратно. Войдя во все еще неистовавший зал, Кокран окликнул Збышко и помахал чеком. Борец пробился к нему, и они вместе вышли из зала».

---

[1] Улица, где располагаются редакции всех главных лондонских газет.

Эта сцена, с таким упоением рассказанная историком, характеризует нравы спортивных дельцов в «золотой век» борьбы. Впрочем, на уважительное отношение Поддубного к борцу Станиславу Збышко-Цыганевичу это не повлияло.

— У него спина круглая, положить его трудно,— говаривал он.

Дядя Ваня подтверждал его слова:

— Збышко — один из самых сильных в мире. Противников ломает. Прямо создан для борьбы: длинная спина, короткие ноги, длинные руки. При этом гибок, точно змея...

Поддубный и Збышко стояли первыми в мировой классификации борцов. Их спор остался нерешенным. Но, пожалуй, Поддубный был единственным борцом в мире, лопатки которого до описываемого нами времени не касались ковра.

Своей парижской победой в 1905 году Иван Поддубный проложил широкую дорогу русским борцам на европейские чемпионаты, откуда они привозили призы и звания, закрепляя славу русского профессионального спорта.

Да и сам Иван Максимович не почил на лаврах.

В 1906 году он выехал в Бухарест и победил всех на тамошнем чемпионате. В ноябре он уже в Париже и снова оспаривает мировое первенство. В финале Поддубный встречается с немцем Генрихом Эберле, которого называли «ярким олицетворением лучших физических достоинств своей нации». Эберле бросал на ковер Понса, Кара-Ахмета, Петрова, Пытлясинского...

Поддубный наблюдал за Эберле. Ощущения превосходства над немцем у него не было. Ни сложением, ни реакцией, ни стремлением к победе — ничем не уступал Эберле русскому борцу. Схватка их продолжалась больше часа. Победил опыт, тактическое умение Ивана Максимовича. Измотав немца, он прижал его лопатками к ковру.

В Милане он побеждает Педерсена. Затем Поддубный борется в Лондоне, Брюсселе, Амстердаме, Аахене.

В начале 1907 года в цирке Чинизелли по традиции состоялся чемпионат французской борьбы.

«В начале чемпионат не делал сборов, так как не было Поддубного, который заканчивал борьбу в Берлине,—

вспоминал клоун Альперов.— Но по приезде Поддубного интерес к борьбе поднялся, и цирк, как всегда, был полон.

В те годы был расцвет борьбы. Особенно увлекался ею граф Рибопьер. Он проводил в цирке целые дни и добился того, что борьба была разрешена и на четвертой неделе поста, когда все другие развлечения были закрыты. Он доказал, что борьба не зрелище, а спорт».

Для нас в этом свидетельстве важны два факта. Во-первых, популярность Ивана Максимовича, способного одним своим появлением вдохнуть энтузиазм в видавшую виды петербургскую публику. И, во-вторых, официальное признание борьбы спортом.

После Петербурга Поддубный боролся в Москве, в «Саду Щукина» (ныне «Эрмитаж»).

Потом, взяв с собой Николая Вахтурова, Поддубный едет в Вену, где в финале побеждает Зигфрида.

Вахтуров, не обладавший хладнокровием Ивана Максимовича, призового места не занял. Но с благословения учителя он тотчас принял участие в соревнованиях в немецком городе Герлице и вышел там на первое место.

В конце 1907 года в Париже Иван Поддубный снова становится чемпионом мира.

Вахтуров старается изо всех сил, но остается за флагом. Одна из его схваток в Париже окончилась трагически. Вахтуров победил турка Гамида, но тот заявил протест и потребовал немедленного реванша. Поддубный посоветовал Вахтурову согласиться. Но турок задумал недоброе. Обозленный, он незаметно подвел Вахтурова к краю сцены и толкнул в оркестровую яму. Просто чудом русский борец удержался на краю, а в яму полетел турок. Через некоторое время он скончался от повреждения грудной клетки...

В феврале 1908 года Поддубный принял участие в чемпионате, организованном в Берлине через подставное лицо чемпионом Германии Якобом Кохом. Боролись сильные атлеты: Педерсен, Зигфрид, Пенгаль... Кох претендовал на первое место, но боялся Поддубного, и потому предложил ему сделку — 2 тысячи марок за проигрыш в финале. Иван Максимович согласился, но на сцене «Винтергартена» аккуратно положил Коха на обе лопатки. Проделка Поддубного обнародовалась, и немец стал притчей во языцех.

Победы, победы, победы... В калейдоскопе городов, стран, имен побежденных вырисовывалось нечто совершенно грандиозное. Имя Поддубного не сходило со страниц европейских газет. Журналисты придумали для него доселе неслыханный титул — «чемпион чемпионов».

О борцах, которые хотя бы раз победили на одном из парижских чемпионатов, впоследствии их соотечественниками были написаны десятки монографий. Поддубному в этом отношении повезло меньше, хотя чемпионом мира в Париже он становился пять раз подряд. Была какая-то историческая несправедливость и в том, что русская печать говорила о Поддубном все глуше по мере того, как ширилась его народная слава...

Когда начался парижский чемпионат 1908 года, в России с удивлением прочли сообщение, напечатанное в декабрьском номере журнала «Спорт»:

«В спортивных кругах вызвало большой переполох известие из Парижа о поражении непобедимого Поддубного. Сообщают, что он два часа возился с русским борцом Кащеевым и отказался от схватки. Ему засчитали поражение...»

Вскоре, однако, последовало опровержение. В шестичасовой схватке «чемпион чемпионов» победил Кащеева.

Этот чемпионат стал триумфом русских борцов. В Париж выехали Иван Поддубный, Иван Заикин, Григорий Кащеев.

Парижане ходили смотреть на Кащеева как на чудо. Рост у него был 218 сантиметров, сила — невероятная.

В России про него ходили легенды.

Он был из Вятской губернии, которая дала много силачей и среди них знаменитого Василия Бабушкина, героя-моряка, выступавшего в провинциальных чемпионатах под именем... Ивана Максимовича Поддубного.

Григорий Косинский (настоящее имя Кащеева) удивлял односельчан — то поднимет и обнесет вокруг амбара двенадцать двухпудовых гирь, то потащит за дышло воз, которого никакой лошади-то не свезти. Вывез его из деревни гастролер Федор Бесов, развлекавший жителей захолустных городков тем, что рвал цепи, ломал подковы, гнул медные пятаки, вбивал ладонью гвозди и даже

«сдвигал плечом паровоз». Кащеев стал напарником Бесова, который потом рассказывал Дяде Ване:

— Гриша ходил тогда с громадными волосами и длинной бородой. Приезжаю в глухой-преглухой городишко с Гришей... Там таких людей, как мы, и не видели. Кащеев косматый, как зверь, а моя фамилия Бесов... Облика человеческого в нас нет. Порешили, что мы оборотни. Не говоря дурного слова, заарканили нас, вывели за город и говорят: «Если не уйдете из нашего города добром, так пеняйте на себя». Так мы с Гришей — давай бог ноги...

Попав как-то на чемпионат, Кащеев поборол — неуклюже, но уверенно — знаменитых борцов. Споткнулся он на Заикине, который выучил его бороться по-настоящему. Только своему учителю и Поддубному уступал вятский гигант. Года через три после описываемых событий Гриша бросил ковер и вернулся в родную деревню Салтыки пахать землю...

Кащеев поглядывал на иностранных чемпионов как-то не очень уверенно. Тут были венгр Чае Янош, турок Пенгаль, негр Анастас Англио, француз Эмабль де ля Кальметт, итальянцы Джиованни и Эмилио Райчевичи, японец Оно Окитаро, немец Оскар Шнейдер...

Иван Максимович хлопнул Кащеева по спине.

— Не журись, Гриша. Русские прусских всегда бивали.

И если к победам Поддубного уже привыкли, то успех Заикина, проигравшего только Ивану Максимовичу, производил ошеломляющее впечатление.

«Мягкой походкой крадущегося барса выходит русоволосый, с подкрученными вверх усами Иван Заикин. Мускулатура Геркулеса Фарнезского».

Итальянский чемпион Джиованни Райчевич побаивался встречи с Заикиным, строил всякие закулисные козни. Заикин решил проучить его. Он обнадежил итальянца, обещав ему ничью, если тот продержится больше часа. Райчевич хвастливо заявил репортерам парижских газет, что Заикин ему не соперник, что он положит русского за десять минут.

— Покажи ему, Ваня, где раки зимуют,— сказал Поддубный,— сбей спесь с хвастуна. Эх, жаль, не мне с ним бороться, я б ему...

— Ничего, Иван Максимович, справлюсь,— пообещал Заикин.— Уроки твои помню, до сих пор ребра болят.

Встреча заинтересовала даже борцов, которые все во главе с Поддубным собрались за кулисами.

Раздался свисток, и противники сошлись. Заикин сразу же сбил Райчевича в партер и обрушил на него всю тяжесть тела. Райчевич пополз за ковер, но Заикин перевернул соперника и стал дожимать... Лишь громкий окрик Поддубного заставил Заикина отпустить итальянского чемпиона. Схватка продолжалась всего пять минут.

Разъяренные итальянцы, которых было много в тот день в «Казино де Пари», бросились на сцену, чтобы расправиться с победителем. Григорий Кащеев выломал из стоящей за кулисами декорации саженное бревно и, размахивая им, бросился наперерез итальянцам.

Страсти были великие.

Брат итальянского чемпиона Эмилио Райчевич, тоже побежденный Заикиным, стрелял в него, но пуля лишь оцарапала левый бок...

Тридцать дней чемпионата закончились победой Поддубного. Второе место занял Заикин, третье — Кальметт, четвертое — Кащеев.

«В снежных просторах России,— писала парижская пресса,— рождаются великие спортсмены. Они обладают великолепной техникой и темпераментом. Европейским атлетам следует поучиться у таких борцов, как Поддубный и Заикин».

В 1909 году Иван Максимович подтвердил свое звание, победив в финале франкфуртского чемпионата немца Вебера.

Очень важно понять то главное, что определяло линию поведения Поддубного в борьбе с любым противником и сделало его «чемпионом чемпионов».

Быть первым, доказать это в серьезной схватке и не отступаться от своего...

В Поддубном всегда было нечто величественное, само выражение лица его говорило о внутренней силе и собранности. Он был морально готов к каждой схватке, какой бы громкой репутацией ни обладал его противник.

Однажды в его жизни был такой случай.

В Россию приехал знаменитый борец. Кажется, его звали Констан ле Марен.

Встреченный русской публикой восторженно, он усердно выпячивал грудь и принимал напыщенные позы. Паль-

цы его были унизаны бриллиантовыми перстнями, на красивом лице тлела самодовольная улыбка.

На ковре он показал себя молодцом.

Люди жаждали увидеть его встречу с Поддубным. Посмотрев из ложи, как борется Иван Максимович, иностранец несколько посбавил спесь и предложил сделку — в первой схватке он побеждает Поддубного, а во второй «подваливается».

Иван Максимович спокойно смерил его взглядом и сказал ту самую фразу, которой ознаменовал свое вступление на путь борца-профессионала в Севастополе:

— Нехай положит, если сможет.

Иностранец отказался от встречи на ковре.

Подлинное величие всегда питается верой в себя. И эта вера, колоссальное самообладание, помноженные на громадную физическую силу, большое борцовское мастерство и чувство ответственности, выражавшиеся и в неуклонном соблюдении спортивного режима, предопределяли его встречи с самыми могучими людьми земли.

Да, люди, физически более сильные, чем Поддубный, были, но силой духа и гордостью сравниться с ним не мог никто. Это чувствовали все — и зрители и борцы, единодушно признавшие его превосходство.

Уважение и почет, которыми пользовался Поддубный в народе, оказывала ему и русская интеллигенция. Множество именитых писателей, художников, актеров устремлялось к нему за кулисы в дни чемпионатов. И не только щуплых декадентов влекло поглядеть на богатырскую забаву, потыкать пальцами во вздувшиеся мышцы краснощеких здоровяков, забыть на время об обременительной моде, возглашавшей бледную немочь олицетворением духовности.

Поддубного не обходили своим вниманием и такие немаломощные представители человеческого рода, как Горький, Шаляпин, Немирович-Данченко, Куприн, но было бы неправомерно отыскивать в этом общении что-либо более серьезное, чем простое удивление, делать глубокомысленные выводы и искать следы «взаимного влияния».

27

Нелегка была жизнь профессионального борца.

Известный в те годы атлет Иван Романов писал: «Половина волос у меня седые, а ведь жизни прошло еще

очень немного, и мне всего лишь 32 года. Но судьба побросала меня по белому свету, помыкала везде и повсюду, и в результате — серебряные волосы. Мне кажется, что жизнь профессионального борца надо считать не годами, а месяцами, как участнику Севастопольской обороны».

Это в тридцать два. А Поддубному было под сорок. Но правильный образ жизни помогал ему всякий день быть в форме, быть готовым к схватке, отстаивать свое исключительное положение, свой титул «чемпиона чемпионов».

Однако он понимал, что его время близится к закату. Он еще полон сил, но все-таки ему лучше уйти в славе, непобежденным, чем дожидаться нового феномена профессиональной борьбы, который в честолюбивом задоре, полный молодых сил, отодвинул бы его на вторую роль.

К тому же Поддубному претило все усиливающееся торжество коммерческого духа над спортивными принципами.

Деньги у него были. И немалые: в последние годы он получал наивысшие гонорары в России. Иван Максимович исподволь присматривал и скупал землю в родных селах Красёновке и Богодуховке. И не какую-нибудь, а землю помещика Абеля, на которого работал в юные годы. Купил он у тогдашнего ее владельца Савина 120 черноземных десятин. «Абель, Абель! Чем мы хуже Абеля, сами себе помещики!»

В 1910 году Иван Максимович попрощался в Одессе с Уточкиным, Заикиным и Куприным, которые прогремели на всю Россию своими полетами на воздушном шаре и аэроплане, сделал предложение ветреной красавице Антонине Николаевне Квитко-Фоменко и уехал с ней на родную Полтавщину.

Была Нина Николаевна (так ее звали все) высокая, светловолосая. Играла в любительских спектаклях. Вот почти и все, что известно о ней. Иван Максимович полюбил ее за веселый нрав, статность и «существенность».

— И в ней и во мне по шесть пудов было. Вместе взвешивались,— рассказывала мне Евдокия Максимовна, сестра Поддубного.

В Богодуховке у них выросла усадьба — два дома да сад в тринадцать десятин.

— Выборол, с потом выборол,— мог сказать Поддубный словами Заикина, который тоже, думая о будущем, приобрел именьице в Симбирской губернии.

Ушел с ковра Иван Поддубный, затих.

Цирковая публика придумывала сказки, будто он один ходит биться на кулачки с целой деревней, будто он толкнул плечом хату и повалил... Враки! Степенно жил Иван Максимович, разъезжал в щегольской коляске, хозяйствовал... Недаром он был прижимист, копил деньги.

Выписал из Австрии механика и построил вальцовую мельницу в Богодуховке. В Оржице тоже, а управляющим на ней поставил брата Митрофана. Хотел разбогатеть.

Изредка вспоминал Европу, шумиху вокруг себя и доставал ящик с золотыми медалями и значками — два пуда золота. Надевал широкую, расшитую золотом ленту «чемпиона чемпионов», полученную за последние победы в Париже, и шумно вздыхал...

Отца с матерью, Митрофана, всех родственников Иван Максимович одарил землей. Правда, отец вскоре помер от аппендицита. И опять в городе что придумали? Будто возвращался Максим Иванович с ярмарки выпивши, гикнул на коней, те понесли и выкинули богатыря грудью на корягу. А он еще встал и погнался за лошадьми. Оттого будто бы и скончался.

Престарелые жители Красёновки теперь еще помнят похороны. Помнят, как сбегались смотреть на красавца Ивана и его жинку. Стало ей тогда дурно, так Иван Максимович взял ее на руки, вынес из хаты и посадил на громадное дубовое бревно, что лежало с незапамятных пор на дворе.

В 1912 году Поддубный похоронил отца у церкви и поставил Максиму Ивановичу мраморный памятник. На том самом месте, где сегодня стоит красёновская школа и мраморный бюст «чемпиона чемпионов».

После похорон Иван Максимович стал подводить итог своей хозяйственной деятельности.

Не сбылись его надежды никак. Митрофан в Оржице запьянствовал. Большое хозяйство съело борцовские накопления. Преувеличил свои способности Иван Максимович, не мог углядеть за всем. Конкуренты Зархи и Рабинович тоже поставили мельницу и обставляли его во всем. Им легко — считай, каждый второй в округе им задолжал, как на их мельницу не поедешь?

Иван Максимович решил навести порядок и поехал в Оржицу. Застав Митрофана в непотребном виде, он в воспитательных целях крепко побил брата. А тот со зла мельницу спалил.

И надо же было случиться так, что последний страховой взнос из-за деловой нерасторопности не уплатили. Плакали денежки, пошло все прахом...

Не получился из Поддубного сельский капиталист. Продал он богодуховскую мельницу и имение тем же Зархи и Рабиновичу, расплатился с долгами и в 1913 году вернулся на ковер. К тому же, как он писал, его «снова потянуло бороться».

28

Ивану Максимовичу шел сорок третий год. В газетах писали всякое, а больше о рискованности его решения появиться на ковре, о «почтенном» возрасте, о нетренированности Поддубного...

Но вот снова чемпионат в цирке Чинизелли, снова яркие огни и «Марш гладиаторов», снова парад-алле...

«Восторженные овации публики говорят о том, что Поддубный и через десять лет будет для нас Поддубный».

Повержен на ковер громадный негр Англио. Уходят с манежа, пряча лопатки, французский чемпион Рауль де Руан, финн Ярвинен, чемпион России по борьбе и гирям Лука Копьев...

Школа у Копьева была та же, что и у Ивана Максимовича. Он ездил учиться борьбе в Париж, к нашему старому знакомому Эжену де Пари. Молодость и технику — все сокрушил Поддубный.

Уверенно и неуклонно шел без поражений в чемпионате Алекс Аберг. Его встречи с Поддубным ждали с нетерпением. Поддубный мощнее Аберга, но тот более ловок, тренирован и на одиннадцать лет моложе...

Они встретились 2 мая.

К этому дню все билеты были распроданы, и барышники торговали не хуже, чем «на самого Шаляпина».

Чтобы подчеркнуть некоммерческий, принципиальный характер боя, в жюри пригласили членов любительского атлетического общества «Санитас». Газеты писали, что оба борца были «внешне невозмутимы».

Десять лет они знают друг друга. Они — «друзья по несчастью», оба потерпели поражение в схватках с Раулем ле Буше в памятном 1903 году. Они встречались один раз на ковре, и Аберг сдался на шестой минуте...

Но недаром Аберга называли «загадкой ковра». Даже с Заикиным он свел несколько схваток вничью. Не раз

Поддубный посылал вызовы Абергу, а тот Поддубному, но, видно, оба не торопились встретиться...

Не дала результата и эта встреча.

Больше часа шла упорная борьба между Абергом и Поддубным. Первое время Поддубный усиленно старался сломать Аберга силовым приемом, а тот все отсиживался на ковре и, видимо, ожидал, пока его противник выдохнется. И в самом деле Иван Максимович заметно устал. Аберг сразу изменил свою тактику и резко пошел сам в атаку, но время схватки уже истекло...

«Схватку Поддубного с Абергом в цирке Чинизелли я видел,— вспоминает старый борец М. А. Яковлев.— Правда, Поддубный перевел его в партер, но сделать ничего не смог. После борьбы я ужинал с Абергом и спросил его мнение о Поддубном. Он сказал: «Иван Максимович очень сильный». На другой день я на Невском встретил Поддубного и задал ему вопрос об Аберге. Он кратко ответил: «Чухонец сильный». Это в устах немногословного и скупого на похвалы чемпиона было высокой оценкой Абергу».

4 мая они снова боролись. Встреча продолжалась два часа, но результата не дала.

После трехлетнего перерыва опять началась для Ивана Максимовича кочевая жизнь — с чемпионата на чемпионат, с чемпионата на чемпионат...

Поддубный стал с возрастом массивнее. Он весил теперь сто тридцать килограммов и был уже не столь подвижен. Быстрее уставал и сбивался с дыхания. Поэтому он старался как можно скорей закончить схватку каким-нибудь лишь ему известным приемом. Он так умело переплетал и захватывал своими руками руки противника, что во избежание перелома или вывиха тому оставался один выход — не оказывать сопротивления. В «партер» он никогда не ложился, а когда работал сверху, не было спасения от его мертвых «рычагов» и «нельсона».

От журналистов он теперь держался подальше, и они роптали на «эту исключительную, вечно замкнутую личность». Но им казалось «каким-то странным и жутким» то слабое сопротивление, которое оказывали Поддубному сильнейшие борцы.

Слава его не убывала, хотя кое-кто догадывался, что он уже перестал быть «чемпионом чемпионов». Но нового претендента на этот высокий титул история борьбы так и не увидела.

Имя Поддубного стало нарицательным. Это отразилось в немудреных, но популярных стихах:

То не туча колыхается
В ясном небе над леском —
Дядя Ваня появляется
На арене со свистком.
То не пыль-кура колышется
Ураганом по земле —
Молодецкий голос слышится
Над толпой: «Парад, алле!»
И идут под звуки трубные
Бодрым шагом на народ
Всевозможные «Поддубные»,
Выставляя грудь вперед...

Чувствуя слабину Ивана Максимовича, теперь все больше первоклассных борцов посылали ему вызовы в надежде на возможность вписать в свои афиши — «Победитель Ивана Поддубного».

Московский чемпионат 1913 года снова столкнул его с непрерывно совершенствовавшимся Абергом. И снова ничья.

Наверно, тогда была написана статья Георга Луриха «Борьба — источник здоровья», напечатанная впоследствии в журнале «Мейе Матс» и раскрывавшая подлинный смысл схваток.

«Смысл атлетики не в том, что тот или иной атлет нечто для себя завоюет,— скажем, славу и деньги,— и не в том, кто кого положит на лопатки — Аберг Поддубного или Поддубный Аберга, ибо в любом случае человечество в целом вряд ли что-нибудь выиграет, так же как и отдельная страна,— даже если поборют ее сильнейшего сына, она переживет это. Главнейшее назначение спортивной борьбы состоит... в том, что мы, атлеты, почувствовали себя авангардом и обратились с серьезным предупреждением к физически слабеющему роду человеческому. Наш призыв таков: «Человек, сойди со своего безумного пути, посмотри на нас: разве мы состоим не из той же плоти и крови, что и ты?! Ты можешь, во всяком случае мог, стать таким же сильным, как мы, но ты не захотел этого. Ты пренебрег серьезнейшими и ценнейшими заповедями здоровья и должен расплачиваться за это сокращением своей жизни, кровью и деньгами».

Тысячи, сотни тысяч книг и речей, взывающих к человеческому разуму, не оказали никакого действия, словно глас вопиющего в пустыне. Если же им удалось принести

какую-либо пользу, то лишь временную, скоропроходящую,— она исчезла как дым, а старая, но вечно новая песня начинается сначала. Отсюда вывод: ничто не оказывает на широкие народные массы большего влияния, чем пример. Везде, где появляются первоклассные атлеты, их выступления вызывают повышенный интерес к спорту...»

Я прошу у читателя прощения за пространную выдержку из статьи Луриха, но эстонец сказал то главное, за что целое поколение должно быть благодарно профессиональной борьбе.

Она породила спортивную любительскую борьбу. Она, по утверждению историков спорта, «вызывая интерес самых широких слоев населения, содействовала появлению и развитию в стране и других видов спорта».

Ну что ж, тут историкам и карты в руки...

Борец Николай Турбас вспоминал об одном московском чемпионате, где первое место прочили Николаю Вахтурову, который был полон сил и здоров, как медведь.

Но неожиданно на турнир прибыл его учитель — Иван Поддубный. Он вошел в номер Вахтурова, где уже были Турбас и еще три борца, отличавшиеся огромным ростом,— Шемякин, Казбек-Гора и Циклоп.

Поддубный явился с женой, и все борцы нашли, что Нина Николаевна красива, но бледновата. Шемякин при виде Поддубного нахмурился. Завидуя «чемпиону чемпионов», Шемякин издавна недолюбливал его.

Иван Максимович подошел к своему ученику, и они дружески обнялись.

— Здоров, як леший! — проговорил Поддубный.

— До тебя далеко,— со вздохом ответствовал Вахтуров.

— Ще будешь...

Иван Максимович похлопал по бочкообразной вахтуровской груди широкой ладонью.

Вахтуров окинул взглядом учителя и предложил:

— А ну, Ваня, разденься.

И попросил Турбаса:

— Земляк, смеряй нас — кто шире.

Богатыри стали спина к спине. Борцы подошли поближе. Лишь Шемякин не тронулся с места.

— Ваня шире,— вынесла приговор Нина Николаевна.

— Зато Коля шире в грудной клетке,— возразил Турбас, чтобы успокоить мнительного Вахтурова. Но тот теперь все поглядывал на Ивана Максимовича.

Тут кто-то сказал:

— Через пять дней борются Вахтуров с Поддубным! Тогда все и выяснится...

Иван Максимович ухмыльнулся. Но Вахтуров заволновался и как-то даже осунулся. Подойдя к столу, он налил полный стакан водки, выпил его залпом и закусил большим куском ветчины.

Поддубный отвел Турбаса в сторону.

— Слушай, що скажу. В этого человека я вкладывал всю свою душу! Радовался его успехам, его силе и не боялся, что он еще сильнее меня будет!.. Рывки и все приемы — все отдал ему. А он, як босяк, водку глушит!

Вахтуров побаивался встречи, хотя был моложе и физически не слабее своего учителя.

И снова переполненный цирк, люди стояли даже в проходах. Вахтуров в прошедшем году завоевал звание чемпиона мира. Поддубного удостаивали этого звания шесть раз...

Они боролись два часа сорок минут. Поддубный выиграл эту встречу, но только по очкам.

29

27 января 1915 года начался чемпионат в цирке Саламонского на Цветном бульваре в Москве.

Главным соперником Поддубного стал Иван Шемякин, высоченный, красиво сложенный и невероятно честолюбивый.

Оба они шли без поражений.

Положение Поддубного немного пошатнулось после схватки со Святогором. Гигант Святогор взял его «на задний пояс». Поддубный вырвался, по инерции сбежал с ковра и ударился грудью о барьер. Изо рта показалась кровь.

Схватка была прекращена. Распаленная схваткой публика начала скандалить. Раздались крики: «Трус!»

Это было жестоко и омерзительно.

Через несколько дней Поддубный реабилитировал себя «крепким парадом против заднего пояса», бросив Святогора на 46-й минуте. Следующим он уложил Чуфистова.

Один из лучших борцов России Иван Шемякин рвался к победе в чемпионате всеми правдами и неправдами.

Он обвинил организатора состязаний Петрова в том, что тот будто бы предложил ему «упасть» под Поддубного за деньги. Петров обличал его во лжи, утверждая, что от поражения Поддубного ему была бы «чистая польза» — такая сенсация только разожгла бы интерес к чемпионату. В свою очередь, он объявил, что жена Шемякина (родом из Венгрии) — австрийская шпионка...

Из-за всех этих нелепиц страсти были накалены невероятно.

И вот наконец борьба двух гигантов. Типичный «бур», жестокий и бескомпромиссный. Это было в апреле 1915 года.

Помещая здесь газетный отчет об этой борьбе, мне бы хотелось обратить внимание читателя не только на характерные особенности Поддубного как борца, но и на его сдержанность и долгое нежелание отвечать на откровенно нечестные, «грязные приемы» противника...

«Необходимо сказать,— начинался репортаж,— что борьба этих чемпионов была самой серьезной и о каком-либо уговоре здесь не может быть и речи.

1-я схватка. Борьба начинается очень горячо и резко. Шемякин то и дело прибегает к сильным рывкам за шею и часто вместо шеи бьет Поддубного по уху. В рывках Шемякин показывает огромную силу, но Поддубный стоит непоколебимо. Шемякин несколько раз бьет Поддубного по шее предплечьем, и затем следует напряженный массаж рук. Поддубный улавливает момент и быстро нападает, Шемякин бежит за ковер и, вырываясь от захватов, ударяет противника коленом. Делается замечание. Кончают схватку борцы тихо. Все время в стойке.

2-я схватка. Поддубный, уступая Шемякину в росте, принужден изменить свою обычную стойку и часто меняет позицию. Но он все время стоит на середине ковра. Шемякин кружится вокруг него и то и дело отступает к барьеру, не забывая изредка наносить резкие удары. К концу схватки он разбивает Поддубному нос до крови. Вообще Шемякин держится более чем смело и вызывающе. Схватка, как и первая, прошла вся в стойке.

3-я схватка. Публика приветствует Поддубного. На второй минуте борцы схватываются в обхват крест-накрест, и Шемякин с трудом вырывается из тисков Поддубного. Последний, казалось, мог бы его удержать при

желании. Шемякин бросается на передний пояс, но Поддубный легко парирует. Тогда он снова прибегает к грубости и, держа все время своей левой рукой правую руку Поддубного, ударяет ему снизу в лицо головой. Все время схватка в стойке.

4-я схватка. Борцы сходятся, крепко упершись голова в голову. Через 2—3 минуты у Поддубного все лицо в крови, которая течет из разбитой переносицы. На пятой минуте он идет к столу жюри и умывается. Шемякин протестует против этой паузы, но сам подходит и пьет воду. По возобновлении борьбы он злоупотребляет головой и вызывает резкое замечание со стороны арбитра Мишина. Протестует и публика. В конце схватки больше нападает Шемякин и очень энергично работает...

5-я схватка. На третьей минуте Поддубный схватывает Шемякина накрест и ломает. Тот бежит, но Поддубный, не разжимая захвата, подымает его от земли (уже за ковром) и бросает в «партер». Бешеные аплодисменты публики. Перевод в «партер» за ковром не должен считаться, но жюри заставляет все-таки Шемякина идти вниз. Тот становится — после долгих, конечно, протестов — на низкую скамейку (то есть на локти и колени — *Д. Ж.*). Поддубный работает сверху как-то особенно, находясь целиком на спине у противника.

6-я схватка. Шемякин все время лежит на низкой скамейке, вытянув вперед за голову сложенные руки и не дает их разорвать. Поддубный явно не хочет сильно работать, опасаясь попасться на парад, и закладывает только короткие «нельсоны», которые Шемякин, конечно, разрывает. В публике находятся типы, протестующие против такой борьбы — им «скучно»... Вся схватка проходит в «партере».

7-я схватка. Поддубный опять сверху, но теперь изменил свою позицию и работает с правой стороны Шемякина. Идет схватка живее предыдущей. Публика, в своем большинстве абсолютно не знающая точно правил борьбы, то и дело указывает арбитру и противникам на якобы неправильное положение их ног. В действительности никаких неправильностей не было. Поддубный начинает работать снизу и вдруг выдергивает до крови укушенную Шемякиным руку.

8-я схватка. Публика на стороне Поддубного. Шемякин, ссылаясь на то, что всего осталось на борьбу 10 минут, требует пустить эту схватку на очки и указывает на

соответствующее правило в афише. Но жюри постановляет продолжать борьбу в «партере». Шемякин идет недовольный и сейчас же пытается встать с «нельсона» Поддубного, но это ему не удается. Тогда Шемякин ударяет снизу головой в лицо Поддубного, а Поддубный незаметно для публики бьет его рукой в подбородок. Затем Шемякин опять пытается встать и после неудачи снова делает сильный удар головой. Публика энергично протестует, а Поддубный делает незаметный трюк с ногами, заставляет Шемякина вскрикнуть от боли. В таком обмене проходят 10 минут, и арбитр объявляет в результате ничью.

Всего борьба продолжалась таким образом 1 час 20 минут, из них 43 минуты в стойке и 37 в «партере».

Для сравнения: вес Поддубного — 8 пудов, Шемякина — 7 пудов 10 фунтов, рост Поддубного — 185 сантиметров и Шемякина — 193 сантиметра».

Нешуточной и жестокой была борьба «королей ковра». Нелегко доставались им «тысячи», о которых любили поговорить обыватели. Но так бывало только тогда, когда коса находила на камень.

30

Спортивную печать в России питали борьба, конное дело и зарождавшиеся воздухоплавание и автомобилизм. Спортивные журналы насчитывались десятками. Одни терпели крах и закрывались едва ли не после нескольких номеров. Другие благодаря талантливым репортерам процветали. Журналы поддерживали многие начинания, и число видов спорта, культивировавшихся в России, все росло.

Репортер становился в спорте видной фигурой. На чемпионатах борьбы он был вездесущ, совал нос во все закулисные дела, приводил в трепет и организаторов состязаний, и борцов. От него зависела популярность, он владел рекламой. Устроители чемпионатов отводили репортерам почетные места, придумывали для «королей прессы» специальные «золотые кресла», платили журналистам солидную мзду. Не гнушались репортеры и взятками с борцов: кого-то выпячивали в отчетах, о ком-то умалчивали...

Иван Поддубный, как я уже говорил, журнальную братию не жаловал. Он не платил ей дани, а она вынуж-

дена была писать о нем только потому, что о победителях и личностях, популярных в народе, умолчать невозможно. Дядя Ваня об Иване Поддубном умудрялся писать так, что не понять было сразу, то ли это похвала, то ли порицание. «Чемпион чемпионов, а поди ж ты...» — думал обыватель, ломая голову. Но у Дяди Вани с Поддубным были свои счеты.

Один из столичных репортеров был влюблен в Ивана Максимовича вполне бескорыстно. Впрочем, это была странная любовь.

Репортер следовал за Поддубным с чемпионата на чемпионат, расписывал, захлебываясь, его победы. Но стоило Поддубному проявить себя в чем-либо не так, как проявил бы себя полубог, нарисованный воображением репортера, и его охватывала радость. «Так, так,— говорил он про себя,— а нас еще упрекают в отсутствии принципов. Когда вон какие дубы шатаются, как же нам-то не падать. Сам бог велел».

Схватки в тифлисском цирке Ефимова завершались. Только борец-виртуоз Клементий Буль и Поддубный не знали поражений. Они шли к встрече друг с другом, но организаторы чемпионата понимали, что Буль будет побежден. Знали это и зрители. А потому охладели к чемпионату, исход которого был ясен...

В день решающей встречи репортер увязался за Поддубным в ресторан, болтал, шутил. Но Иван Максимович был более молчалив и мрачен, чем всегда.

— Что за настроение, Максимыч? — спросил репортер.

— Дурная погода! — отмахнулся Поддубный.

На улице сияло солнце.

— Сегодня я упаду,— процедил вдруг сквозь зубы Иван Максимович, и репортер понял, что хозяева чемпионата уговорили богатыря поддаться Булю, а потом потребовать реванш: так и чемпионат продлится, и сборы ввиду сенсации будут огромными.

Арбитром на этом чемпионате был известный в прошлом спортсмен Квятковский.

— Все же уговорили старика? — спросил его при встрече репортер, едва сдерживая ликование.

— Страшный человек! — сказал про Поддубного Квятковский.— Вы ведь знаете, сколько раз он давал такие обещания, а на ковре чуть не до слез доводил противника. Дашь свисток невпопад — живьем съест потом...

Клементий Буль перед встречей с Поддубным старался не смотреть людям в глаза.

Иван Максимович даже и не пытался изобразить сопротивление. На первых же секундах схватки Буль провел «полусуплес». Поддубный упал лопатками на ковер, но в то же мгновение стряхнул с себя Буля и вскочил на ноги. Квятковский уже дал свисток — зафиксировал поражение...

Зрители стали кричать, что это обман.

«Побежденному» в таких случаях полагалось подбежать к столу жюри, протестовать и просить реванша. Но Поддубный молча удалился.

— Батя! — сказал Квятковский за ужином.— Что же ты наделал? Разве так падают?

Иван Максимович хлопнул его по плечу.

— Падать тоже надо уметь, а я ж нэ научився...

Тайная радость репортера была неполной.

Время было тревожное — шла первая мировая война.

За границу Поддубный больше не ездил, зато успел снова исколесить всю Россию. Все чаще пожилой богатырь сводил вничью схватки с более молодыми и набравшимися опыта борцами.

Да, Поддубный был уже не тот. С ним уже меньше считались хозяева чемпионатов. Иногда «для дела» его клали под других чемпионов, давая потом возможность отыграться.

В Краснодаре вспоминают, как у Ивана Максимовича был взят билет на поезд, а еще предстояла схватка с борцом Стерсом. Почитатели волновались, что он не успеет.

— Ну, раз Ванечка сказал, значит, успеет,— успокаивала их Нина Николаевна, путешествовавшая вместе с Поддубным. «Ванечка» положил Стерса за шесть минут.

— Бачили, хлопцы? От так я колысь и боролся.

Нелегко давались Ивану Максимовичу даже такие, немногословные, признания.

31

Революция, а потом гражданская война были для Поддубного событиями чрезвычайно сложными.

Во время гражданской войны Иван Максимович про-

должал бороться в цирках различных городов, которые то освобождались красными, то захватывались белыми, то подвергались налетам зеленых...

Тяга к зрелищам не иссякала и в те беспокойные и голодные времена, доставляя борцам средства на пропитание. И хотя Иван Максимович не пил спиртного и ел мало мяса, предпочитая ему «бурячок та морковку», насытить громадное тело было совсем непросто.

Теперь Поддубный часто выступал один, показывая красноармейцам и трудовому люду упражнения с гирями и поднимая на плечах по десятку человек. Местные советские власти выдавали ему усиленные пайки. Поддубному было легче, чем другим. Его имя знал каждый, при его появлении лица русских людей освещались улыбками.

Случалось Ивану Максимовичу попадать и в серьезные переделки, из которых его выручали крестьянская смекалка и опять же всероссийская известность.

Об одном из таких случаев рассказал в своих воспоминаниях борец Николай Разин (Фомичев):

«Помнится, в тревожные годы гражданской войны судьба забросила меня в Одессу. Город наводнен войсками. Здесь французы, англичане, итальянцы, турки. Тут же черные лозунги: «Анархия — мать порядка». Свирепствуют анархисты. Иду по Дерибасовской и вдруг вижу: навстречу — Поддубный. Обросший, похудавший, грязный...

— Иван Максимович!

Он вскидывает голову, устало улыбается.

— О, Николаша, вот колы мене повезло!

Я пригласил его к себе. По дороге он отрывочно и, как мне показалось, нехотя рассказывал о том, что случайно оказался в Одессе без денег и без вещей.

Видя, что он действительно еле держится на ногах, я не особенно расспрашивал о подробностях, тем более что, судя по всему, Поддубный не особенно хотел распространяться на этот счет.

Пришли ко мне на квартиру. Пока я на скорую руку приготовил ужин, смотрю: Поддубный спит. Не стал будить. Двое суток спал Иван Максимович, просыпаясь лишь для того, чтобы съесть бутерброд и выпить чашку бульону. Отоспавшись, он наконец рассказал, что с ним произошло в Житомире.

Оказывается, его чуть не застрелили анархисты. При-

чина тому — лента чемпиона мира. Французский флаг по цветам такой же, как и русский: белая, синяя, красная полосы. Только полосы на французском флаге идут поперек поля. Но где же анархистам разбираться в этих тонкостях! Увидев во время парада традиционную ленту на груди Поддубного, один из анархистов стал кричать, что Поддубный поддерживает царя, раз носит цвета царского флага. У цирка Ивана Максимовича караулила целая банда полупьяных анархистов. Пришлось с черного хода ехать на вокзал и, бросив все вещи, без денег, добираться до Одессы. Здесь мы и встретились.

О том, чтобы покинуть родину, Иван Максимович никогда не помышлял, хотя в таких предложениях недостатка не было.

— Що там нам делать? Давай шукать путей домой.

«Шукать» особо не приходилось — не из чего было выбирать, и мы отправились в Керчь.

Этот небольшой приморский городок был также забит войсками. Встречалось много иностранцев. Русское офицерство пьяной толпой бродило по набережной. Вино лилось рекой, но с питанием город испытывал затруднения. Именно поэтому нам с Поддубным пришлось пережить несколько довольно неприятных минут.

Прогуливаясь вечером по набережной, мы повстречались с офицерами. Вид двух широкоплечих здоровяков подействовал на голодных офицеров так же, как красная тряпочка действует на быка.

Один из них, пошатываясь на тоненьких ножках, подошел к нам вплотную. Иван Максимович сощурил глаза и, заложив руки за спину, остановился. Усы опустились книзу. Он злился.

Офицер, презрительно улыбаясь, заорал:

— Разъели морду, мужичье! Стрелять вас надо!

Иван Максимович с деланным равнодушием спросил:

— Що господину офицеру треба?

— Що? Ах ты, хохляцкая твоя харя! — захохотал офицерик.— Мне треба в тебе сделать дырку.

Он вынул револьвер и приставил дуло к груди Поддубного. Ждать было нельзя. Спьяну ему ничего не стоило спустить курок. И я, не раздумывая, левой рукой ударил по револьверу снизу вверх, а правой саданул офицера по челюсти.

Сделал я это вовремя, ибо тут же раздался выстрел, и пуля оцарапала Поддубному плечо.

Офицеры, как стадо баранов, бросились на нас. Мы били их кулаками куда попало. Они тут же валились, как снопы, и уже не поднимались. Иван Максимович, понимая, что значит в таком городе избить офицеров, закричал на всю набережную:

— Ратуйте, люди добрые! Убивают!

И тут же наносил удары такой силы, что трещали офицерские кости. Я стал вторить ему, делая вид, что разнимаю их.

— Да что же вы делаете, господа офицеры? Вы ведь убьете его!

И тоже бил по наглой морде кулаком. Кто-то пытался стрелять. Не знаю, чем бы все это кончилось, если бы не подоспел патруль. Нас, офицеров и старика грека, который продавал поблизости каштаны, забрали в комендатуру. Про офицеров можно сказать, что их не забрали, а унесли в комендатуру.

Комендант, красивый молодой полковник, сразу узнал Поддубного. Улыбаясь уголками губ, он допрашивал свидетеля, старого грека:

— Как было?

— Гаспада афицеры кидались на этих двух. Адин кричал: «Ратуйте!» — другой разнэмал их...

Комендант, допросив побитых офицеров, которые, моментально протрезвев, держались за заплывшие глаза и вывихнутые челюсти, отпустил нас, сказав тихо на прощанье:

— Я советую вам уехать сегодня же ночью, иначе вас застрелят эти подонки. Я распоряжусь, чтобы вам приготовили лодку и хорошего лодочника. А до того момента мне бы не хотелось вас выпускать из поля зрения. Прошу оказать мне честь отужинать со мной у моего друга...

Этим другом оказался не кто иной, как грек Миксаксуди, табачная фирма которого славилась на всю Европу. Миксаксуди был большим поклонником борьбы. Поэтому, когда мы появились в его великолепно отделанном двухэтажном доме, нам был оказан самый радушный прием.

Стол был изысканный. Приходилось удивляться, откуда только в такое трудное время хозяин добывал разные яства. О винах и коньяках и говорить нечего. И тут меня снова удивил Иван Максимович.

Мы были довольно голодны. Но Поддубный, отказав-

шись от рюмки отличного коньяка, окинул взглядом роскошный стол и сказал:

— Мне бы винегретику та морковки.

...На рыбачьей фелюге мы добрались до Бердянска. На наше счастье, там происходил чемпионат борьбы. Нас охотно приняли, и мы на несколько дней обрели покой. Кончился чемпионат тогда, когда банда Махно ворвалась в город...»

Банда Махно и в самом деле совершила налет на город Бердянск в 1919 году. Арестовав местных коммунистов, Махно наложил на город «контрибуцию» в 25 миллионов рублей.

На площади против махновской комендатуры Поддубный мог увидеть сцену отправления бандитского правосудия. Сотня махновцев внимала молодому матросу, возведенному в ранг коменданта города.

— Братва! — кричал он, встав на скамейку.— Мой помощник Кушнир сегодня ночью произвел самочинный обыск и ограбил вот эту штуку.— Он показал золотой портсигар.— Что ему за это полагается?

— Расстрелять!

Толпа зашумела и поддержала это предложение.

Комендант спрыгнул со скамейки и тут же из револьвера застрелил Кушнира.

Махновцы, только что оравшие «расстрелять», теперь уже выражали свое недовольство:

— Ишь, сволочи, не поделили!

Комендант же спокойно опустил портсигар в карман брюк и пошел враскачку прочь.

Документов о пребывании Поддубного в Бердянске, естественно, и быть не могло, но есть несколько легенд, запечатленных в воспоминаниях цирковых артистов и борцов. Брать их на веру не стоит, поскольку имена участников событий приводятся произвольно, а подробности отдают фантастикой, но непреклонный характер и манеры Ивана Максимовича Поддубного рисуются в них весьма похоже. К разряду воспоминаний-легенд относятся рассказы и Николая Разина, и циркового артиста Петра Тарахно, которого Поддубный знал еще со времени своих первых выступлений в севастопольском цирке Труцци.

Клоун Тарахно по поручению знаменитого командира Павла Дыбенко пробирался в Керчь, чтобы изучить там

обстановку перед наступлением Красной Армии. Под Бердянском поезд, в котором ехал Тарахно, остановили махновцы. Узнав, что Тарахно циркач, они отвели его в городской кинотеатр, где до налета бандитов проходили схватки борцов и где Махно надумал устроить для своей вольницы «концерт».

Тарахно уверяет, что здесь он увидел Луриха, Загоруйко, Дядю Ваню Лебедева и прочих знаменитостей. Они уныло сидели у стола и ели хлеб, запивая его кипятком. У стены на скамейке, завернувшись в теплый халат, лежал Поддубный. Им было приказано вечером показать свое искусство махновцам, что не предвещало ничего хорошего — нравы бандитов были известны.

Вечером зал кинотеатра был полон. Махновцы сидели в креслах, на подоконниках и просто на полу. Курили и сквернословили. Ждали «батьку».

И вот он вошел неверной походкой, откинул с лица длинные волосы и сощурился — в зале было дымно, как в преисподней. За ним ввалился одутловатый Левка Задов. В выпученных глазах «начальника контрразведки» застыла жестокость. Суетились тут же председатель гуляйпольского «совета» Коган и «теоретик» анархистов Эйхенбаум.

Нестор Махно упал в подставленное кресло. На сцене появился его адъютант и сказал:

— Хай будэ тыхо, позаяк здеся присутствуе наш атаман батько Махно своей собственной персоной и который, будучи большим знатоком и ценителем всякой концерты, соблаговолыв дать нам представление актерщиков.

Махновцы колотили в ладоши.

Тарахно спел популярного тогда «Хаз-Булата». Потом началась борьба.

На сцену вышли шестнадцать борцов. Дядя Ваня объявил их имена. Когда представили Поддубного, Махно вскочил с кресла и зааплодировал. Толпа взвыла от восторга.

На сцене боролись вяло. Махно быстро надоело это зрелище, и он подозвал адъютанта.

Тот снова появился на сцене и прервал схватку Стецуры с Лапиным.

— Батько велив, щоб с етым вот актерщиком,— он показал на Стецуру,— боролся наш Грыцко. Выходь, Грыцку!

Под свист зала вышел здоровенный детина, весь в пулеметных лентах, и стал раздеваться.

— Покажи ему, Грицку, дэ раки зимують! — кричали из зала.

— На кендюх его клады!

— Що там з ным боротысь! Заидь в рыло та на мыло!

Адъютант поднял руку:

— А еще наш атаман батько Махно велив сказать тебе, Грыцку, що ежели ты, шельма, не покладешь этого актерщика на лопатки, он собственноручно пристрелит тебя, як собаку.

Махно забавлялся, но шутки его, как знали все, кончались кровью...

Дядя Ваня решил не обострять событий. Тут он был в своей стихии.

— Надо красиво провести игру,— наставлял он Стецуру.— Подвалишься на десятой минуте. А то еще стрелять начнут...

Поддубный слушал его и морщился.

Стецура, повозившись немного с махновцем, лег на спину. Верзила уселся на него верхом под одобрительные вопли зала.

Но для Махно забава еще не кончилась. Он поднялся на сцену и пожал руку Грицку.

— Молодец,— процедил он сквозь зубы.— Теперь я вижу, что ты любого из этих борцов заткнешь за пояс. Верно?

— Так воно и е, батьку. Серед них не знайдется такого, кого б я не розпяв, як Исуса Хреста...

Тарахно говорит, что Поддубный не стерпел, вышел и сказал:

— Найдется такой! Вот он я!

Скорее всего Иван Максимович недовольно хмыкнул, а этого только и надо было Махно.

— Не делай глупости, Максимыч,— уговаривал Лебедев...

Схватка продолжалась недолго. Поддубный шмякнул Грицка на ковер так, что затряслась сцена...

Бандиты орали и стреляли в потолок. Махно удовлетворенно хлопал в ладоши и шептал что-то адъютанту. Тот снова поднял руку.

— Батько Махно великодушно прощает Грицкови его поражение, позаяк вин каже, що треба маты не тильки волячу силу, но и разуметь всякую технику. Батько Мах-

но велив Грицкови завтра чистыты нужники, а актерщикам выдать из склада Милевича двадцать бутылок вина, пять килец ковбасы и три хунты керенок. На етом концерту закрываем. Р-р-разойдись!

Махновцы вывалились из зала. На сцену принесли вино, колбасу и весы. Адъютант отвесил три фунта керенок. К Поддубному подошел Махно.

— А я тебя видел в Тифлисе,— сказал он.— Ты тогда боролся с Кожемякой. Ловкач ты!

Он достал из кармана пачку ассигнаций и положил ее на стол.

— Это тебе мой личный приз. Так сказать, от почитателя и любителя искусства,— бросил Махно и вышел.

Поддубный разглядывал подарок.

— Петруша,— позвал он Тарахно,— ты видел это? Чудеса!

Каждая ассигнация, оставленная Махно, была величиной с ладонь. Под тускло напечатанной цифрой «25» виднелась подпись: «Чем наши хуже ваших?» На некоторых были неприличные изображения и слова: «Гоп, кума, не журыся, в Махна гроши завелыся».

Вскоре махновцев выбили из Бердянска.

В рассказе Николая Разина об этом случае незадачливого махновского борца звали не Грицко, а Филькой и был он «огромный рыжеволосый детина, без рубашки, в каких-то неимоверно больших трусах фуксинового цвета».

В начале двадцатого года Одесская ЧК, во главе которой стоял Юзефович-Северный, получила сведения, что борец Поддубов принимал участие в погромах. По созвучию имен взяли Поддубного, но разобрались и отпустили (Поддубов бежал с белыми за границу). Сохранилась справка Одесской губернской Чрезвычайной следственной комиссии от 20 февраля 1920 года, реабилитировавшая Поддубного.

Иван Максимович уже не боролся. Настигла его в Одессе злая весть о том, что Нина Николаевна, остававшаяся в Золотоноше, ушла к другому. А уж как он ее любил, как носился с ней: «Нина — красавица, весь свет затмила»! Мало ушла — прихватила с собой большую часть золотых медалей, что получал Иван Максимович за свои победы. Судьба обошлась с Ниной Николаевной

лихо: ее новые связи не были крепкими, прожилась она вконец, бедствовала...

Потом она писала Ивану Максимовичу: «На коленях пройду весь путь к тебе, Ванечка». Он не отвечал ей, а сестре в Золотоношу сообщил: «Я напишу ответ, когда буду сильно злой. А ты знаешь, что я никогда не бываю сильно злой».

Тогда же, в Одессе, узнав о ее измене, Иван Максимович заболел и едва не умер — не ел, не пил, не разговаривал, никого не узнавал...

32

В давно не топленном московском цирке шла репетиция. Время от времени то один, то другой артист бегали в кабинет директора, где была установлена железная печка — «буржуйка». Нагреть ее было легко — достаточно сунуть газету и поджечь.

Вскоре все собрались вокруг печки, тянули к ней озябшие руки и молчали.

Артисты были одеты очень странно: к кумачовой рубахе прислонился фрак с котелком, напротив пристроился видавший виды генеральский мундир. «Классовых врагов» объединил холод...

Артист в мундире поднял листок, лежавший в кучке бумажной макулатуры, и собирался было отправить в печку, как вдруг его внимание привлекли крупные буквы заглавия какой-то статьи.

— «Грядущий цирк»,— прочел он.— Послушайте. «Революционные эпохи не знают нюансов... Наша эпоха бесстрашная из бесстрашных, театр великих страстей и театр беззаботной радости... Все, что между ними, должно быть уничтожено».

— М-да,— сказала Кумачовая рубаха.— Беззаботная радость... Кто это сочинил?

— Какой-то Дон Форе из Пролеткульта.

— В печку его, в печку!

— Пойдем, что ли, бороться,— предложил Генерал.

— Какая у нас с тобой борьба! Поддубного бы сюда, Вахтурова, Луриха... или Циклопа, на худой конец. Дядю Ваню настоящего... Где-то они теперь? Живы ли?..

Вечером в цирке было теплее. Приходили организованно рабочие с заводов и красноармейцы. Сидели в пальто и шинелях. Воздух согревали дыханием.

На афишах у цирка, помимо прочего, значился номер: «Чемпионат всемирной классовой борьбы. Автор текста В. Маяковский».

Ведущий в кожаной куртке и затянутый ремнями выкрикивал барственным цирковым баритоном:

Смотрите все, кто падки,—
Лазаренко в роли Дяди Вани
любого борца положит на лопатки,
конечно, ежели он на диване.

Клоун Виталий Лазаренко в сапогах и поддевке арбитра Дяди Вани Лебедева представлял борцов: чемпиона Антанты Ллойд-Джорджа, чемпиона США Вильсона, чемпиона Крыма Врангеля... Капиталисты боролись за «прибыли от капиталистической бойни». Но вот арбитр объявил:

Революция —
чемпион мира.
Последний выход.

«Революция» боролась с «Антантой», перебрасывала ее через себя приемом «тур де тет». Но положить «Антанту» на обе лопатки у нее не хватало сил.

Не может побороть
ни эта сторона, ни та.
Перемирие.
Тьфу!
Перерыв на десять минут.
Все, кто хочет,
чтоб
красные победили через десять минут,
пусть идут по домам —
а завтра на фронт добровольцами —
и Врангелю шею намнут...

«Борцы» уходили, а потом снова появлялись в своей каждодневной одежде и с винтовками «на плечо» маршировали по арене.

Зрители аплодировали в такт маршу...

33

Кончилась гражданская война. Жизнь в цирке входила в мирную колею, стали проводиться настоящие борцовские чемпионаты.

В 1922 году Иван Максимович Поддубный был приглашен в московский, а потом в петроградский Госцирк.

В угоду «сытому нэповскому зрителю» возродились все прежние трюки на чемпионатах. Появились маски, но теперь они назывались в духе времени: маска «Металлист», маска «Инженер»... Борец Чуфистов боролся с быком, Дядя Ваня (Лебедев) руками удерживал на месте автомобиль с пассажирами. Газеты писали: «...дикая, перенесенная в наше время из средневековья борьба, бой гладиаторов и бокс — кому это нужно?»

Чемпионаты отдали под контроль физкультурных организаций. Иван Максимович был рад этому новшеству. К мнениям его прислушивались, имя его с уважением упоминали в газетах, журналах, книгах. Почитатели Поддубного просили его выступить с воспоминаниями.

В одном из писем, сохранившихся в архиве Поддубного, говорилось:

«Русское общество, в частности же спортивные круги его, вправе ожидать от Вас особого выступления на арене общественной жизни России — выступления, которое явилось бы достойным завершением Вашего многолетнего победного шествия по цирковой арене и на аренах разных спортивных обществ и организаций во славу русского народа (более того — славянства) и его исторической мощи».

Раз уж речь зашла о мемуарах, «достойно завершающих» жизненный путь, то, значит, наступал закат...

Не слышно уже о многих друзьях-соперниках.

Заикин где-то за границей...

Николай Вахтуров погиб в Тифлисе. С борцом Разумовым они ехали в автомобиле. Шофер не успел затормозить на повороте, и машина на большой скорости врезалась в телеграфный столб. Разумова выбросило на мостовую, Вахтуров скончался сразу. Тифлис проводил своего любимца в последний путь торжественно — в этот день были закрыты магазины и распущены по домам учащиеся...

Неразлучные Лурих и Аберг после большого и успешного турне по Америке в 1917 году вернулись в Россию и выступали в революционном Петрограде. К началу 1920 года они с группой борцов оказались в Армавире. И здесь их обоих захватила эпидемия сыпного тифа. 22 января в тифозном бараке скончался Георг Лурих. Не прошло и месяца, как за ним последовал Александр Аберг. Неле-

па была смерть могучих атлетов, погибших от укусов ничтожных вшей...

Иван Максимович никак не мог прийти в себя после душевной травмы, едва не приведшей его в сумасшедший дом. И хотя жизнь вокруг расцветала новыми, яркими красками, хотя прежняя слава надежно укрывала его от неурядиц становления житейского, он все еще был в каком-то оцепенении, и мир виделся ему будто сквозь густую вуаль перенесенного страдания. Взгляд у него был отсутствующий, в лице появилось нечто утонченное, совсем не вязавшееся с грубыми чертами и всею мощью его гигантского тела.

Временами ему казалось, что и бороться вроде бы ни к чему, и не поднималась уже в нем прежняя ярость, удваивавшая его силы в критические моменты схваток.

В 1924 году в Москве во 2-м Госцирке Поддубный боролся с Иваном Чуфистовым и был им побежден.

Иван Поддубный сказал тогда своему тезке:

— Видишь, старею. Старость ты мою положил, Иван. Иначе ни за что не сдался бы, честное слово.

Однако вскоре течение его жизни повернулось так, что он предпочитал уже не говорить о своей старости...

34

Как-то Иван Максимович, выступая в Ростове-на-Дону, остался ночевать в доме у молодого борца Ивана Романовича Машошина. Здесь он и познакомился с его матерью Марией Семеновной Машошиной, которая жила на вдовьем положении и работала булочницей в пекарне. Встала она еще до света и хлопотала по дому, легко неся свое полное, при небольшом росточке, тело.

Иван Максимович тоже проснулся рано и, наблюдая за Марией Семеновной, вдруг остро почувствовал свое одиночество: не было у него ни дома, ни семьи. Позавтракав стряпней Марии Семеновны, он смущенно покашливал в кулак и расправлял свои рыжие усы...

С тех пор Иван Максимович зачастил в дом Машошиных.

— Вон жених идет,— говорили при виде его соседки, Мария Семеновна краснела и отвечала им:

— Тоже мне жених. Чучело, а не жених...

Однако принимала она Ивана Максимовича радушно. Когда он наконец сделал предложение, она сказала ему, что уж не те у нее годы. Ей ли думать о замужестве, имея сорок три года за плечами и взрослого сына? На это Иван Максимович ответил, что сыну он будет вместо отца, а насчет своих лет Мария Семеновна грешит — женщина она такая, в самый раз под венец...

Уломал он Марию Семеновну, но только поймала она его на слове: согласилась стать его женой при условии, если они повенчаются. Пришлось Ивану Максимовичу пойти на это, хоть он и был равнодушен к религии.

К церкви он подкатил в автомобиле с еще двумя представительными борцами...

Вот так появилась у него семья. Сын — борец, выступавший под именем Яна Романыча, «красивый, а дельный». Хорошая жена.

На обзаведение хозяйством молодоженам нужны были деньги, а потому Иван Максимович принял приглашение поехать на гастроли в Германию.

— Приезжаю. Встречают с опаской, выкладывают условия. Тех вот положить, а под такого-то лечь. Я им говорю: «Вы что, Поддубного забыли? Кто положит — под того я лягу». А они отвечают: «Ну, дело ваше, не согласны — так и бороться не будете». Я — в другой цирк. Потом в другой город, в третий. Всюду одно и то же. У них трест. Борцы борются, а хозяева расписывают, кто кого должен положить,— вспоминал Иван Максимович.

Так мытарился он целый год, пока не подписал контракт с чикагским антрепренером Джеком Пфефером и не сел 20 ноября 1925 года в Гамбурге на пароход «Дойчланд», отплывавший в Америку.

...Нью-Йорк вырос из тумана внезапно. Небоскребы его были похожи на могильные памятники, и весь он гляделся кладбищем лучших надежд человечества.

В мрачных осенних улицах гудел ветер, катя по мостовой скомканные газеты и всякую гниль. Шуршал поток пешеходов, одетых в дождевики. На уровне третьего этажа грохотали поезда надземной железной дороги. Проносились серые «форды». С афиш на прохожих томно глядела кинозвезда Глория Свенсон.

Поддубный не строил никаких иллюзий насчет этого турне, хотя у него не было такого советчика, как Куприн, который писал своему другу Ивану Заикину, поехавшему в США в том же году:

«Ты не напрасно боишься Америки. Это страна жулья. Антрепренер выжмет из человека все соки и выбросит. Но зато там, если понравишься,— только знай собирай доллары, как бабки, а у тебя этот дар — нравиться — есть в очень высокой степени, да и изобретателен ты на рекламу. Умные люди подписывают с американцами очень точные и жесткие контракты».

Такой контракт лежал у Поддубного в кармане, газетных репортеров он сразу же удивил своим внушительным видом и чугунной «тросточкой».

Рассказывают, что он дал ее подержать одному из них, и тот от неожиданной тяжести выпустил палицу из рук. Если это еще одна легенда, то все равно придумано неплохо.

Антрепренера расстроил возраст Ивана Максимовича. По американским законам атлеты старше тридцати восьми лет могли выступать только с разрешения специальной врачебной комиссии.

Поддубному было пятьдесят четыре.

Но и это обернулось удачей. Комиссия освидетельствовала Ивана Максимовича и установила, что по здоровью и прочим статьям ему не дать больше сорока лет. Вот это была реклама! Падкие на сенсации американцы с нетерпением ожидали выступлений Поддубного, которого газеты уже окрестили «Иваном Грозным».

Иван Максимович рассказывал:

— Мое первое выступление было встречено страшным шумом. Я даже растерялся. Объяснение дал мне один гражданин, говоривший по-русски, а затем мой менажер... Ларчик открывался просто. Все дело было в том, что меня представили публике как советского подданного и сильнейшего в мире борца. Американцы, большие шовинисты, не смогли снести этого укола национального самолюбия, подогреваемого вдобавок антисоветской кликой. Отсюда крик и шум, требование немедленного удаления не только со сцены, но и из Нью-Йорка. Я стал думать, как мне бороться с этим отношением нью-йоркской публики. И в следующем выступлении на второй день, выйдя победителем, я в ответ на шум и крики лишь деликат-

но, с улыбкой раскланялся, сделав вид, что это не касается меня. И так продолжалось полторы недели. Но зато в прессе я получил наилучшие отзывы, как джентльмен и культурный борец...

В США классическая борьба была не в почете. Пришлось учиться вольной борьбе, почти не стесненной правилами. Чем жестче и свирепей схватка, тем больше успеха она имеет у американских зрителей.

«Золотой век» борьбы кончился, и она вырождалась. Американская публика увидела на ковре безобразных карликов, женщин, барахтавшихся в жидкой грязи, и звероподобных космачей, делавших вид, что сокрушают друг другу ребра, выламывают руки и зубы. Все это была фальшивка, рассчитанная на низкопробные вкусы.

Теперь уже все было в руках антрепренеров, не считавшихся ни с какими борцовскими авторитетами.

Поддубного преподносили как архаизм и сперва дали ему порезвиться.

Иван Максимович боролся на совесть. Летели на ковер и впечатывались в него лопатками известные борцы: Колоф, Гешто, Тормаши, Фогель, Мартинсон, Тафсалпос, Томпсон.

Вскоре Ивану Машошину пришло в Ростов из Америки письмо:

«Милый Ваня! Приветствую тебя и мамашу... Хочу с вами поделиться. Главный менажер Америки Курлей составил для меня и Владека Збышко контракт, который мы подписали и обязались бороться 18 января 1926 года. При подписании договора и обязательства нас сфотографировали с менажерами на рекламной почтовой карточке, которую посылаю вам на память...»

Карточка эта сохранилась. Текст на английском языке призывал американцев не пропустить «крупнейшую встречу всех времен». После лестной характеристики Ивана Максимовича была дана рекламная оценка его противника:

«Збышко окажет ему (Поддубному) самое упорное сопротивление в своей жизни. Именно Збышко встал на пути известного Заикина в его марше к титулу, и это он осилил немецкого борца Зигфрида, когда этот тевтонский завоеватель грозился увезти с собой мировую борцовскую корону...»

Владек Збышко был младшим братом того самого Станислава Збышко-Цыганевича, с которым когда-то мерился силами русский гигант. Младший Збышко быстро приспособился к американским нравам, был напорист и жесток. В борьбе с Заикиным, попав в почти безвыходное положение, он схватил русского борца за ухо и надорвал... Залитый кровью Заикин отказался от продолжения борьбы, заявив, что мог бы разорвать Збышко пополам, если бы ему не претили такие зверские обычаи... Американские судьи зачли Заикину поражение.

Иван Максимович тоже испытал прелести «грязной борьбы». Канадец Джо Гешто, которого Поддубный быстро бросил на ковер и дожимал грудью, схватил его за усы... Но это не помогло. Поддубный разделался с ним по-своему...

О его встрече с Мартинсоном в Кливленде местный репортер писал:

«Поддубный раскланивается, добродушно улыбается публике. Так же тепло здоровается со своим противником, который волком смотрит на русского. Поддубный атакует. Мартинсон защищается. Он пускает в ход запрещенные приемы...»

Можно ли назвать «приемом» удар кулаком по лицу? Мало того, Мартинсон исполосовал лицо Поддубного ногтями. Правда, за это Иван Максимович едва не свернул ему шею, положив на лопатки вполне законным способом, но в сердцах...

Владек Збышко похвалялся, что положит Поддубного в десять минут, но вскоре жена и сын Ивана Максимовича получили новое письмо: «Матч со Збышко закончился в мою пользу. Потребовалось всего сорок четыре секунды (!), и победа за мной...»

Збышко пытался применить прием, который в свое время был описан Куприным в рассказе «В цирке»: «Там (в Америке.— *Д. Ж.*) борцы давят друг друга за горло, зажимают противнику рот и нос, охватывая его голову страшным приемом, называемым железным ошейником, лишают его сознания искусным нажатием на сонные артерии...»

Поддубный высвободил голову одним поворотом могучей шеи и поспешил уложить Збышко на ковер, чтобы не вводить того в соблазн пустить в ход новое «секретное оружие»...

Соединенные Штаты были в самом разгаре своих «ревущих двадцатых». Капиталистический бум наполнял кошельки американцев, пускавшихся во все тяжкие. Они благословляли президентство Кулиджа, не подозревая, что близится час расплаты — великий кризис и разорение 1929 года.

А пока американцы в жажде зрелищ заполняли подпольные кабаре и спортивные залы. Кумиром болельщиков вот уже десяток лет был борец Джо Стечер, бывший фермер из штата Небраска. Его «открыл» спортивный предприниматель Джек Кэрли, тот самый «главный менажер Америки Курлей», о котором писал родным Иван Максимович.

Кэрли называли в Америке «королем борьбы». В развитии заокеанского атлетизма он сыграл ту же роль, что и Дядя Ваня в России. Благодаря ему мир узнал о Гоче, победителе Станислава Збышко и Гаккеншмидта, он организовывал матчи с участием Эда Льюиса, прозванного Душителем за его захват головы, после чего противнику оставалось либо сдаться, либо быть действительно задушенным.

После войны титул чемпиона мира с переменным успехом оспаривался в основном Льюисом и Стечером. Помехой в работе этого отлаженного американского механизма было появление в Америке старика Станислава Збышко-Цыганевича, который, потренировавшись, вызвал на бой Душителя — Льюиса. Первую схватку Душитель выиграл по очкам. Во второй схватке Льюис бросился на поляка как тигр, но старый Збышко спокойно сделал шаг в сторону и придавил промахнувшегося Душителя к ковру.

«Старая гвардия» показала, что у нее есть еще порох в пороховницах. Но этот порох уже иссякал — Збышко следом проиграл несколько встреч непервоклассным борцам.

Разбогател Збышко чисто по-американски. В одном из нью-йоркских иллюстрированных журналов появилась статья о дарвиновской теории, и для вящего доказательства происхождения человека от обезьяны журналисты поместили рядом фотографии гориллы и... Збышко-Цыганевича. Борец возмутился и предъявил издателям журнала иск. Суд счел такое сопоставление насмешкой над знаменитым борцом, и моральный ущерб по настоянию

адвокатов Збышко был оценен в... 240 тысяч долларов, каковые и были уплачены поляку издателями журнала.

Во время пребывания в США Поддубного чемпионом считался Джо Стечер. Он был долговяз, сутул, с маленькой головой и глубоко сидящими бесцветными глазами. Ноги у него были невероятной толщины и цепкости. Именно им и был обязан Джо Стечер своей славой. Меланхолично жуя резинку, он оплетал противников своими могучими ногами, и разжать их было почти невозможно.

«Небрасские ножницы» приносили мистеру Кэрли немалые доходы. Он успешно испытал их на Заикине, а теперь решил устроить встречу Стечера с Поддубным.

Реклама была самая звонкая. Она привлекла на встречу «Небрасских ножниц» с «Русским медведем» небывалое число зрителей.

Иван Максимович разжал «ножницы». Но когда он взял американца за передний пояс и хотел перекинуть через себя, став на мост, ноги Стечера оплели его ноги, и прием не удался... Ему не удалось провести чисто ни одного приема. А Стечер действовал вообще однообразно — только ногами. Но он приводил этим публику в бешеный восторг.

Газеты объявили победившего Стечера «чемпионом мира», а Поддубному в утешение дали титул «чемпиона Америки».

«Поддубный, русский гигант с бледной кожей и подкрученными казацкими усами, боролся на ковре 2000 раз и через двадцать лет после встречи со Збышко (в Лондоне.— *Д. Ж.*) был еще способен выстоять двадцать девять минут против чемпиона мира Стечера в Нью-Йорке»,— говорится в «Иллюстрированной истории борьбы», изданной недавно в Лондоне.

Иван Максимович боролся в Чикаго, Филадельфии, Лос-Аджелесе, Сан-Франциско и других городах. Он прекрасно понимал, что становится марионеткой в надувательских спектаклях, которые устраивали ради наживы американские менеджеры...

В феврале 1927 года Поддубный выехал на родину. Его уговаривали остаться в США насовсем, шантажировали, задерживали выплату денег... Но Поддубный был готов отказаться даже от целого состояния, которое при-

читалось ему за американское турне. Он тосковал по дому, писал в письмах, что хочется ему отведать черной редьки, которой тут не сыщешь.

«И сирень здесь совсем не пахнет».

Больше всего не полюбились ему американские нравы. Он потом часто вспоминал о жестокосердии американцев, о торгашеском духе, пропитавшем все их существование. Вспоминал драки во время матчей, «страшный вой», летящие на ринг трости и бутылки, издевательства над побежденными.

Русская публика, говорил он, «культурно встречает противников и добродушно смотрит на спорт». В острые моменты она не шумит, ожидает результата и награждает победителя аплодисментами только в том случае, если он сражался справедливо.

«А у американской публики получается наоборот в тех случаях, когда один из противников попадает в опасное положение, а другой не в силах его скоро положить, то есть дожать... Эти джентльмены, прекрасно одетые, в хороших шляпах, цилиндрах, с пенсне на глазах, при моноклях, встают на ноги и с ярым темпераментом орут дикими голосами так, что у некоторых даже со рта появляется слюна: «Скорей! Скорей! Скорей! Дожимай! Делай ключ! Ломай руку!..»

35

Родина встретила своего знаменитого патриота торжественно.

Мария Семеновна приехала встречать мужа в Ленинград. Когда пароход из Штеттина подошел к пристани, грянул оркестр. Посмотрела Мария Семеновна на своего мужа-богатыря, на великое множество людей, собравшихся на пристани, и, по ее словам, ужаснулась. За кого же она вышла замуж? А ведь когда он ухаживал, она еще раздумывала, ломалась, соседкам говорила: «Не пойду я за это чучело с усами...»

Иван Максимович стоял рядом с ней в толпе гора горой и улыбался от счастья...

В честь Поддубного на стадионе имени Ленина был устроен спортивный праздник.

На Петровском проспекте, который идет к стадиону, все деревья были облеплены мальчишками, жаждавшими

увидеть «чемпиона чемпионов». Собрались все спортсмены Ленинграда — состязались легкоатлеты, устроили гонки велосипедисты. И, наконец, на ковер вышли борцы.

Иван Максимович боролся с «русским самородком» Петром Лютовым.

Когда показался виновник праздника, кто-то из публики крикнул:

— Крепок еще старик, не подкачает!

Борьба проводилась по «вольно-американской» системе. На девятой минуте Поддубный положил Лютова. После пятиминутного перерыва совершенно свежий Поддубный бросил Лютова еще раз на седьмой минуте.

«Публика, желая поближе увидеть Поддубного, прорвала милицейскую цепь и сгрудилась у ринга. Поддубному под оглушительный рев толпы поднесли приветственный адрес ленинградских спортсменов».

17 июня Иван Максимович боролся на открытой сцене Таврического сада с известным московским борцом Александром Калишевичем и одержал победу.

В Ленинграде же Поддубный обнародовал такое заявление:

«Я, борец Иван Поддубный, возвратившись из Америки в СССР, считаю своим долгом оповестить всех спортсменов, что ввиду своих солидных лет решил оставить свою профессию борца, проработав еще короткое время лишь для того, чтобы найти себе среди русских борцов настоящего преемника и передать ему звание настоящего чемпиона мира, которое я сумел до сих пор удержать, а потому предлагаю молодежи подтянуться и потренироваться, чтобы выступить со мной в борьбе...»

В 1928 году пришел из Соединенных Штатов пакет с бланком контракта. Некий Рудольф Миллер, спортивный антрепренер из Нью-Йорка, предлагал ему 65 процентов со сбора за новые выступления в Америке.

В США Поддубный больше не поехал, зато охотно принимал приглашения из разных наших городов, вплоть до Кзыл-Орды, откуда рабочие местной типографии потом прислали ему письмо с благодарностью за «прекрасное спортивное искусство».

В конце сентября 1928 года его пригласили принять участие в матчах французской борьбы в курском цирке «братьев Танти».

Девятого октября цирк был полон — куряне пришли посмотреть на мировую знаменитость. Поддубного встретили овацией. Дядя Ваня, как встарь, провозгласил все титулы Ивана Максимовича, прочитал приветствия от жюри, местных спортсменов и любителей борьбы. Иван Владимирович побывал в эмиграции и хлебнул там горя. Теперь он откровенно радовался встрече с «Максимычем», хотя до революции они были не особенно дружны.

Для начала Поддубный встретился с Елисеем Жилиным, известным борцом, прославившимся тогда в Москве своими победами под маской «Динамо». На девятнадцатой минуте Иван Максимович «рычагом» перевернул его на спину.

«Этой первой борьбой с крупным борцом,— восторженно писал местный спортивный летописец,— Поддубный показал, что «батька» еще не сдает, несмотря на возраст, а находится в хорошей форме. Когда медведь насядет на человека, когда последнего начинают ворочать чудовищно сильные лапы — страшно становится за человека...»

Но впереди была еще встреча с Клементием Булем, борцом невероятно ловким и упорным, а главное, считавшимся победителем Ивана Максимовича.

В первой схватке они лишь изучали друг друга. Во второй Буль стал ловить «папашу» на прием. Но Поддубный довольно легко освободился от захватов — он был на 28 килограммов тяжелее противника, весившего «всего» 96 килограммов. Буль приемом «тур-де-тет» пытался перебросить своего громадного соперника, но сил у него не хватило, и он сам оказался в «партере». Поддубный навалился на него, зажал коленями ногу и перевернул на лопатки. Это было против правил. Борцы встали, и Иван Максимович еще 60 минут напрасно пытался положить ловкого Буля.

Встреча была признана ничейной, но Дядя Ваня, согласно правилам, объявил победителем Буля, как более легкого. Всех остальных борцов Иван Максимович положил без труда.

36

Хорошо, что мы с Грековым презрели пророчества метеорологов. В Ейске снег успел растаять, а ветер был совсем не силен, и самолет благополучно приземлился.

Хотя азовские лиманы уже не влекли к себе курортников в этот мертвый сезон, многоэтажная городская гостиница была набита битком, и коридоры ее казались особенно узкими, потому что ходили по ним люди очень крупные, настоящие богатыри.

Казалось, сюда втиснулась вся история классической борьбы последнего полувека. Ожили страницы газет и победные реляции со спортивных ристалищ, ожили и громкие афиши времен цирковой борьбы. Изящно и легко двигался Иоганнес Коткас, чудо-спортсмен, который не только был чемпионом по борьбе в тяжелом весе, не только метал дальше всех молот, но и поражал своими результатами в беге на короткие дистанции. Из Прибалтики же приехал старый цирковой борец Бригманис. Из Москвы прилетели Алексей Катулин, Александр Сенаторов и Александр Мазур, из Ростова — Виктор Соколов и Михаил Греков. Тут же были Михаил Стрижак и Владимир Плясуля... Им почтительно уступали дорогу двухметровые молодые тяжеловесы, которым предстояло помериться силами в турнире, посвященном столетию Ивана Максимовича Поддубного.

Превозмогая старческую немощь, приехали почитатели Поддубного с дореволюционных времен. Собрались и родственники великого борца, среди которых выделялась дородностью круглолицая его племянница Мария Степановна. Взволнованная дальней поездкой и всеобщим вниманием, она теребила вышитые украинские рушники, что привезла в музей своего дяди.

— Як телеграмма прийшла, я чоботы намысто надела, и вот я туточки. Мама моя старенька, Евдокия Максимовна, плачет. Я ей: «Що вы, мама?» — а вона: «Як же ты, дочка, на чужине будешь?..» Говорите, на дядю похожа? Та похожа ж, у нас, у Золотоноше, уси так говорять...

Торжество и в самом деле намечалось нешуточное — тут тебе и турнир, и состязания на стадионе, и открытие мемориальной доски на доме, где жил и умер Поддубный, и торжественное заседание с вручением наград, и, наконец, открытие целого мемориального комплекса в парке его имени...

По возвращении из-за границы Иван Максимович с женой поехали в курортный городок Ейск и купили там просторный дом с садом.

Этот дом на углу Керченской и Сенной улиц, переименованных ныне в Пушкинскую и Советов, полюбился им сразу. Под окнами росли тогда еще небольшие акации и начинался спуск к тихой воде лимана, на которой застыли сотни рыбацких лодок.

У себя в саду Поддубный ежедневно тренировался с теннисным мячом, штангой и гирями.

Матери Поддубного было уже за восемьдесят. Она по-прежнему жила в Красёновке, в той самой старой хате, в которой шестьдесят лет назад родила своего первенца. Иван Максимович часто писал ей, звал жить к себе, а она все не соглашалась. Он рассказывал ей о своем новом доме, о благодатной жизни на берегу Азовского моря и все-таки уговорил.

Анна Даниловна приехала вместе с дочерью Евдокией. Сын поселил ее в отдельной комнате. Невестка всякий день покупала ей на базаре южные фрукты, которыми Иван Максимович потчевал старушку настойчиво и трогательно.

— Кушайте, мама, таких в Красенивке нэма...

Но уже через неделю старушка затосковала и стала причитать:

— А як хата моя там, груша да слива? И кто там теперь хозяйнует?

Так и уехала обратно в Красёновку. Умерла Анна Даниловна на восемьдесят шестом году жизни.

В родное село Иван Максимович больше не наезжал. Однажды боролся неподалеку, в Кременчуге, и на встречу с ним поехала его младшая сестра — Евдокия. Она рассказывает об этом так:

— Встретились. Он мне говорит: «Ты, Дуся, вечером приезжай ко мне в цирк. Извозчика спросишь, он меня найдет. Только не забудь, возьми с собой кошелку». Думаю, зачем ему кошелка? Поехала. Лезу сразу на галерку, а то я горячая: если внизу сяду, на арену выскочу, брату помогать начну. Отборолись... Брат говорит: «Давай кошелку». Ушел куда-то и выносит полную кошелку рублей. Вышли мы из цирка, а там его уж сотня беспризорников ждет. Все чумазые, рваные... И стал он им деньги бросать. Они хватают, борются друг с другом, а он смеется. Пособирали. Подъехала бричка, мы сели и поехали на квартиру. Беспризорники за нами побежали.

Приехали мы, а они молча выстроились у дверей и проводили нас. Иван говорит мне: «Дуся, я всегда с беспризорниками дружу, они сироты, это надо понимать... И ты знаешь, у меня ни разу никто часов не снял, и они еще следят, чтобы никто другой меня не обокрал...»

В Ейске Поддубного терпеливо ждала Мария Семеновна. Дом у нее был в образцовом порядке. Старики приобрели простую, но прочную мебель. По вечерам принимали знакомых, пили чай из тульского самовара с медалями, Баташевского завода...

Но Ивану Максимовичу все не сидится на месте. На улицу Советов, 153, то и дело приходят телеграммы и письма с приглашениями на гастроли. И всякий год Мария Семеновна провожает мужа в дальние странствия. Баку, Воронеж, Сталинград, Одесса, Астрахань, Иркутск, Казань, Челябинск, Архангельск — вот далеко не полный перечень городов, в которых выступает Иван Максимович. И на всех чемпионатах его встречают с восторгом.

Таких чемпионатов в цирках тридцатых годов проводилось одновременно до двенадцати. Они делали полные сборы. Не говоря уже о Поддубном, борцы Василий Ярков, Василий Боровский, Осман Абдурахман, Франк Гуд, Федор Кожемяка, Петр Чуркин, Ян Цыган, Орленок, Владимир Плясуля были в славе не меньшей, чем футболисты. И они делали доброе дело — были примером для тех, кто желал стать сильным.

В 1937 году исполнилось сорок лет победам феодосийского грузчика в цирке Бескоровайного, а он в свои шестьдесят шесть все не покидал ковра. Поразительно это спортивное долголетие. Правда, молодые борцы старались не ставить его в неловкое положение, берегли его имя, «увесистое, как жернов», по выражению чемпиона мира Александра Мазура, который был тогда профессионалом и выступал в цирковых чемпионатах, значась на афишах Богатыревым.

— С этого хохла выйдет толк, жаль только, что у него сердца не хватает...— сказал как-то Иван Максимович.

У многих борцов тогда были не настоящие имена, а, по традиции, псевдонимы. Некоторые присваивали себе имена знаменитых дореволюционных борцов — Георга Луриха или Александра Богатырева, другие — имена иностранные. А третьи брали имена в то время модные. Так, борец Леонид Тихомиров выступал под именем Льва Бродского,

Очень популярен был Ян Цыган, он же Иван Карпович Куксенко. «Нашли» его на пляже в Сухуми, где этот моторист с теплохода «Грузия» удивлял загорающую публику своим богатырским сложением. При росте метр восемьдесят два грудь у него была 124 сантиметра. Он вместе с Иваном Максимовичем был награжден орденом.

Указ Президиума Верховного Совета СССР от 19 ноября 1939 года о награждении Ивана Максимовича Поддубного за выдающиеся заслуги в деле развития советского спорта орденом Трудового Красного Знамени и о присвоении ему звания заслуженного артиста РСФСР вызвал поток поздравительных писем. В те годы орденоносцев было сравнительно мало, они пользовались необыкновенным почетом и уважением.

Вручал орден сам «всесоюзный староста» — Михаил Иванович Калинин.

Этому награждению предшествовало событие, которое как бы всколыхнуло память современников Поддубного, заставило заговорить о нем даже в Кремле. Нет, он не совершил никакого нового подвига на цирковой арене. Просто произошло то, что и должно было произойти: народное признание повлекло за собой признание официальное. Очевидцы в своих воспоминаниях не противоречат друг другу, и поэтому я выбрал из их рассказов наиболее красочный.

Занимаясь поисками материалов о Поддубном, я нашел в Государственном фотоархиве снимок: на каком-то помосте, опершись на вазу с цветами, стоят два гиганта. Один — молодой, красивый, другой — пожилой, с усами. Позади молодого щит с надписью: «Чемпион СССР по борьбе 1939 года Александр Сенаторов». А позади пожилого написано: «Чемпион мира по борьбе 1898—1939 гг. Иван Поддубный».

Александр Андреевич Сенаторов и сейчас связан со спортом — работает в Комитете по физкультуре и спорту. Ему уже под семьдесят, но он по-прежнему красив, подтянут, выглядит молодо.

— Вот она где, молодость-то,— сказал он и, взявшись за ручку двухпудовой гири, стоявшей рядом с его служебным креслом, легко выжал ее несколько раз.— Не расстаюсь с гирькой...

— Смотри ты, какой я был в тридцать девятом,— продолжал он, разглядывая фотографию и показывая ее

сослуживцам.— Помню, где снимали. У Красной площади. Тут и гостиница «Москва» видна. Иван Максимович Поддубный приехал из Ейска на физкультурный парад и жил как раз в этой гостинице. Сборный пункт нашей колонны, спартаковцев, был у Никитских ворот. Я зашел за Иваном Максимовичем, а у него уже сидит Чесноков, журналист старый... Мы разделись и в трико вышли из «Москвы». Дошли до Университета, но там улицу Герцена перегородила цепь милиции, а пропусков у нас с собой нет — в трико ведь! Тут кто-то и крикнул: «Да это же Поддубный! Смотрите, Поддубный!» Милиция тотчас взяла под козырек и пропустила нас, а Чеснокова задержали. Идем, люди кругом аплодируют, кричат: «Поддубный! Поддубный!»

— А на чем же вы тут стоите? — спросил я Сенаторова, показывая на фотографию.

— На колеснице. Ее должны были на руках прокатить по Красной площади спортсмены. Это Старостин придумал. Поддубный и я на колеснице — передача эстафеты от поколения к поколению. Как только въехали на Красную площадь, Ивана Максимовича узнали — кричат, аплодируют. На Мавзолее первым его заметил Михаил Иванович Калинин и первым же начал аплодировать. Михаил Иванович любил сильных и здоровых. Ведь это он сказал: «Какое же может быть счастье без хорошего, крепкого здоровья?» Только парад чуть не кончился для нас трагически...

— Как! — едва ли не хором воскликнули слушатели Сенаторова.

— А так. Проехали мы Красную площадь, миновали Василия Блаженного, а там народ опять Поддубного узнал, кричат, цепь прорвали и к нам... Вижу, дело плохо: помнут или совсем задавят! У меня глаз наметанный: я прежде в милиции служил. Говорю: «Иван Максимович, спасаемся!» Он посмотрел и тоже говорит: «Тикать надо, Саша». Не помню уж, как мы выбрались из этой переделки... Вот какая слава была у Ивана Максимовича Поддубного...

Я пошел зеленой ейской улицей мимо уже угомонившегося базара к дому Ивана Максимовича. Проглянувшее солнце выискивало просветы в листве громадных де-

ревьев и заставляло празднично сверкать вздыбившуюся грязь осенней мостовой. Невысокие заборы отделяли от улицы дворы, затененные разросшейся лозой, и добротные дома.

Таким был и дом Ивана Максимовича на перекрестье улиц, где уже выстроились пионеры из окрестных школ, толпились горожане. У калитки стояли новые хозяева дома, пустившие меня в комнаты, в которых уже ничего не осталось от Поддубных: все перешло наследникам, а остатки немудреной мебели взял музей.

Но это всегда интересно — знать что-либо по документам и вдруг очутиться на месте и увидеть все своими глазами, как бы услышать далекие голоса, запечатленные, может быть, в верчении атомов, из которых составлено все, и стены дома тоже. За штукатуркой немного увидишь, но я точно знаю, что они из бревен, что с наружной стороны они обложены кирпичом, я знаю, как улучшал свой дом Иван Максимович и как росла страховка, отражая возраставшую стоимость этой недвижимости.

И еще я знаю многое про обиды и про радости семейные и несемейные, которым пока не место и не время всплывать на всеобщее обозрение. Я слышу легенды, которые бродят и по Ейску. Уже кто-то рассказал мне, что во время немецкой оккупации Поддубный из гордости ходил по городу при своем ордене Красного Знамени и даже будто бы ударил фашиста, ухватившегося за орден... Чтобы прокормить семью и себя, всемирно известный «чемпион чемпионов» был вынужден работать маркером в городской бильярдной. Как только Ейск освободили, городской исполком позаботился о выдаче ему карточек в столовую и вдобавок сухого пайка по литере «Б», который получали тогда нужные специалисты.

В 1945 году семидесятичетырехлетнему Поддубному присвоили звание заслуженного мастера спорта СССР.

Иван Максимович был нужен стране в тяжелые годы, и он это понимал. Старик ездил по воинским частям, и его слово, слово Поддубного, принималось бойцами душевно. Местная газета запечатлела его речь перед курсантами Ейского авиационного училища.

— Силу, мужество и способность побеждать,— сказал Иван Максимович,— эти черты русского народа, который меня взрастил, наши красные богатыри показали и в боях... Хорошим летчиком можно стать при высокой физи-

ческой подготовке. Мой совет вам, будущим летчикам: серьезно и повседневно заниматься спортом.

Популярность — штука не совсем изученная. Она не всегда навязывается рекламой, и специалисты в этой области часто осекались, сталкиваясь с народной психологией. Заметка в газете пройдет незамеченной, а вот такой случай, услышанный в солдатской курилке, западет в память навсегда:

Какие-то бандиты, не знавшие Поддубного, остановили будто бы Ивана Максимовича на темной улице.

— А ну раздевайся, давай сюда пальто!

Их было трое.

— Да что ж вы, хлопцы? Старик же я,— сказал Иван Максимович и развел руками.

Схватить двоих бандитов за шиворот и стукнуть головами было для него делом одного мгновения. Перебросив их через забор, Поддубный наподдал третьему, пустившемуся было бежать, ногой так, что тот взвился в воздух и упал без сознания...

Возможно, это анекдот, придуманный ейскими жителями или курсантами, а может быть, правда... Ведь приводят же в серьезных книгах подобный случай с Ломоносовым, а уж Поддубному отличиться в такой ситуации и сам бог велел!

Он и в семьдесят пять лет был бодр, выступал с воспоминаниями, вел обширную переписку, давал советы, чем и как питаться спортсменам, как закалять организм...

В его «Слове к черноморцам» говорится:

«Моя система заключается в следующем: прежде всего, я всегда вел умеренный образ жизни. Особенное предпочтение отдавал водолечению. Снимаю халат и даю телу охладиться, затем мою голову, обтираю все тело влажным полотенцем и только после этого, подготовив организм, выливаю на себя ведро воды или же принимаю в холодной воде минутную ванну...»

Там же он сообщал: «Перед ответственными выступлениями прекращаю тренировки за 48 часов...»

У многих до сих пор хранятся листочки с его советами.

Люди, видевшие его впервые, смотрели на старика как на чудо — Поддубный принадлежал уже истории.

Его радовали победы, которые одержали на первенстве Европы в 1947 году Белов, Коберидзе, Коткас. Поддубный, обращаясь к советским борцам, писал:

«Мои дорогие сыны! Я счастлив видеть свое имя рядом с вашими именами. Вы принесли такие победы нашему родному спорту, какие нам, старикам, и не снились. И я знаю, что это только начало...

Всю свою жизнь я отдал тому, чтобы поддержать спортивную честь своей Родины, которую я любил и люблю больше всего на свете. Сейчас я уже стар, выступать на манеже не могу, но вижу, какая талантливая молодежь меня заменила. И как ее много! С гордостью и радостью я слежу за вашими победами и говорю себе: «Можешь быть спокоен, Иван Максимович. Дело, которому ты отдал всю жизнь, перешло в надежные руки».

Подписывался он так: «Русский Богатырь Иван Поддубный», считая этот титул скромным. В одном из писем он объяснял, что «богатырь — это русское название сильного человека, но силачей очень много, а чемпионов вообще мало было во всем мире, чемпионство связано с искусством, техникой и т. д.». Снова наивная хитрость — очень уж гордился Иван Максимович своим уникальным титулом «чемпиона чемпионов»!

...И вот уже сдернуто полотно с доски. Пионеры стоят подняв руки в салюте...

В ЭТОМ ДОМЕ С 1927 ПО 1949 ГОД
ЖИЛ РУССКИЙ БОГАТЫРЬ
ИВАН МАКСИМОВИЧ
ПОДДУБНЫЙ

Заслуженный артист РСФСР. Заслуженный мастер спорта СССР. Чемпион мира по классической борьбе.

Я ухожу, оглядываясь на дом. Вымытые окна его отражают деревья и голубое небо. Мне надо спешить на встречу старых борцов с курсантами военного училища...

Александр Сенаторов поднимал мизинцем двухпудовые гири, свивал пальцами громадные гвозди, которые сами были толщиной в палец. Потом курсантов увлек веселой силовой игрой Михаил Греков...

Глядя на возбужденные лица юношей, на их невольно напрягавшиеся мышцы, я видел знакомые симптомы повальной атлетической болезни...

Хозяева постарались на славу.

Мемориал Поддубного — просторное здание с громадными окнами, с широкой лестницей и козырьком над ней — стоит в центре старого парка. В нижнем этаже его оборудовали зал для тренировки борцов, а в верхнем разместился музей великого борца. Инициативу создания этого мемориала взяло на себя местное отделение Общества охраны памятников. Оно сделало первый взнос и пустило «шапку по кругу». Директора местных предприятий и окрестных богатых кубанских колхозов поддержали начинание.

На торжество открытия здания собрались тысячи людей. Говорились речи.

В тот день музей посетил весь Ейск. У подножия лестницы выстроилась длинная очередь. Люди входили в зал, украшенный портретами и афишами чемпионатов. Они увидели реконструированные комнаты дома Поддубного, его личные вещи. Глядя на громадные «борцовки» Ивана Максимовича — специальную обувь для борьбы, я не мог не вспомнить рассказ своего отца о том, как он видел Поддубного в Кисловодске и как мальчишки — чистильщики сапог брали с борца двойную плату за наведение глянца на его непомерные ботинки.

Из музея люди шли к могиле Поддубного, которая была тут же, в парке...

Жить бы и здравствовать Ивану Максимовичу до ста лет, если бы не прискорбный случай — неудачное падение и перелом бедра на семьдесят седьмом году жизни. Кость не срасталась очень долго. Постельный режим оказался губительным для человека, который всю жизнь испытывал громадные физические нагрузки и до самой старости проделывал ежедневно упражнения с двухпудовыми гирями.

Но Поддубный не хотел сдаваться. Он лечился травами. Как только встал на костыли, тотчас принялся вышибать клин клином. Нельзя без громадного уважения читать такие строки из его письма Михаилу Грекову:

«Тренировку делаю на одном костыле и даже с палочкой иногда пробую. Улучшение чувствую, так как при

большой нагрузке воспаление прекратилось, стопа перестала опухать. Если много хожу, получается небольшое воспаление. Я сразу же делаю сидячую ванную, двадцатиградусную, холодную... и этим жару убиваю...»

Но разрушительный процесс был необратим. Стало шалить сердце. Поддубный ослаб и затосковал.

Иван Максимович с Марией Семеновной не чаяли души друг в друге. Вместе они горевали о сыне Марии Семеновны: Иван Машошин, ставший главным инженером крупного ростовского завода, погиб во время войны.

Вечером 7 августа 1949 года Иван Максимович был весел, рассказывал байки, а на другой день утром ему вдруг стало очень плохо. В шесть часов он скончался.

В те дни в Ейск прилетели Климентий Буль, Александр Мазур, Арсен Мекокишвили...

Они с трудом протолкались в Дом культуры, где стоял гроб с телом Поддубного. Все окрестные улицы были сплошь заполнены народом — не только жителями Ейска, но и крестьянами из соседних сел и деревень. Дюжие хлеборобы, загорелые дочерна на кубанском солнце, стояли молча, ждали очереди, чтобы проститься с человеком, который стал еще при жизни легендой. И тут же творились новые легенды, которые будут передаваться из уст в уста и запоминаться покрепче, чем любое книжное слово. Это была народная слава — живая и, как любят говорить сейчас, неуправляемая.

Поддубного похоронили в городском парке, который теперь носит его имя. В 1955 году на могиле поставили памятник. На черном камне надгробья было высечено:

ЗДЕСЬ РУССКИЙ БОГАТЫРЬ ЛЕЖИТ

Местный поэт сочинил стихи, запечатленные на камне. Они кончаются такими словами:

Пройдут года... Не увядая,
В сердцах он наших будет жить!
Себе соперников не зная,
Лишь смерть не мог он победить.

С самого начала нашего века и до середины его, не поддаваясь никаким превратностям, гремела слава богатыря, наделенного, казалось, неизбывной силой. В пору своей спортивной зрелости, расцвета физических сил Иван Максимович Поддубный был непобедим. С 1904 по 1909 год он заставил поверить весь мир, что самые сильные лю-

ди на земле живут в России. И это было время, когда борьба имела титул «королевы спорта», когда ею занимались лучшие из лучших, самые могучие люди всех наций. Именно этим объясняется неувядаемость славы Поддубного. И еще тем, что он не дал сломить себя ни годам, ни обстоятельствам.

Иван Максимович Поддубный пережил несколько поколений русских людей, на долю которых выпало невероятно много суровых испытаний — войн и революций... На земле, пропитанной кровью и застланной дымом пожарищ, все стояла могучая фигура — символ воли и несгибаемости великого народа.

И в этой стойкости, овеянной непреходящей славой, есть нечто вселяющее великую надежду во всех людей, которые живут ради победы над злом.

1973—1976

НЕСУЩИЕ СМЕРТЬ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

ВЕТРЫ СУДЬБЫ

Вереница призраков...

...Миг, и с людей свалилась вспыхнувшая одежда, вздулись руки, лицо, грудь; лопаются багровые волдыри, и лохмотья кожи сползают на землю... Это привидения. С поднятыми руками они движутся толпой, оглашая воздух криками боли. На земле грудной ребенок, мать мертва. Но ни у кого нет сил прийти на помощь, поднять. Оглушенные и обожженные люди, обезумев, сбились в ревущую толпу и слепо тычутся, ища выхода... На искалеченных людей хлынули черные потоки дождя. Потом ветер принес удушающий смрад, и вместе с ним появились полчища жалящих мух. Наполняя воздух гудением, они носятся вокруг и густо облепляют спины и плечи людей, бредущих по дорогам Хиросимы.

Комментарии к панно Ири и Тосико Маруки «Призраки»

1



илл Лоренс очень боялся смерти. «Ну, старик,— сказал он себе,— это будет твоя последняя статья». Он сидел, судорожно сжимая кислородную маску. Давление внутри самолета могло упасть внезапно...

Сержант Ральф Карри напряженно вслушивался в донесения метеорологов. Лоренс взглянул на радиста. Тому было не больше двадцати лет.

— Далеко же тебя занесло от твоего Иллинойса,— сказал Лоренс просто так, лишь бы не молчать, не давать тревоге заполнять всю грудь и подниматься к горлу.

— Далеко.— Карри вздохнул.— Как вы думаете, сбросим мы еще одну атомную бомбу, и тогда войне конец?

— Может быть. А если нет, придется сбросить еще парочку.

Лоренс повторял чужие слова. Он слышал их несколько часов назад.

Карри работает, сосредоточенно морща лоб, а он, Билл Лоренс, предоставлен собственным мыслям. Вместе с Луи-

сом Альварецом он получил в штабе удостоверение, «годное только в случае пленения противником». Противника извещали, что он пользуется правами полковника.

— Теперь я в любую минуту могу стать полковником,— сказал он вслух и вздрогнул.

Лоренс никогда не был военным. Он считался хорошим журналистом. Могущественная «Нью-Йорк таймс» позаботилась о своем корреспонденте. Лишь ему одному из всей великой газетной братии Военное министерство разрешило побывать на атомных заводах, увидеть сверхсекретные испытания атомной бомбы в Нью-Мексико и стать свидетелем взрыва второй из двух бомб, сброшенных на японские города. Кроме того, он был нужен Пентагону для составления победных реляций.

Где-то за серой ватой облаков лежала Япония. И еще один из ее городов будет стерт с лица земли. Но какой? Этого пока никто не знает. Ветры играют в гигантскую рулетку. Они закроют город тучами, и он будет спасен. Его жители никогда не узнают, как черная смерть пролетела над их головами. Но те же ветры обрекут на смерть другой город.

Восходящее солнце окрасило клубы облаков на горизонте в розовый цвет.

— Хорошо, что начинается день,— сказал Карри,— а то ночью в этой чертовой коробке мне что-то не по себе.

Ровный гул моторов, огромность пространства за стеклом — все это обостряло чувство одиночества и какой-то беззащитности.

Летят три самолета Б-29, и только один из них несет атомную бомбу — вторую за три последних дня. Взрыв ее будет равен взрыву сорока тысяч тонн тола. Она упадет на один из объектов по выбору ветров, дующих над Японией. Каждый объект указан на картах майора Чарльза Суини, командира самолета с номером 77. Суини окрестил свой бомбардировщик «Великим артистом».

Лоренс летит не в «семьдесят седьмом». Ему разрешили занять место во втором самолете. Сопровождая «Великого артиста», его ведет капитан Бок. Где-то позади пробивается сквозь кучевые облака третий бомбардировщик. В нем официальные представители английского правительства.

Ровно в 3 часа 50 минут утра 9 августа поднялся самолет Бока с первоклассного аэродрома на острове Тиниан. Небо было затянуто тучами. Прогноз погоды говорил о том,

что сначала самолет ждут штормы и лишь в конце пути небо успокоится. Тотчас после взлета тяжелый бомбардировщик стал клевать носом, словно корабль в неспокойном море, и у непривычного к качке Лоренса появились позывы морской болезни.

В наэлектризованном воздухе винты превратились в диски из голубого пламени. Пламя обтекало гигантские крылья, струилось по плексигласу.

— Огни Эльма,— сказал капитан Бок.

Самолеты сразу потеряли друг друга, но в девять часов утра им предстояло встретиться к югу от острова Кюсю.

Билл Лоренс, корреспондент, хотел хладнокровно описать гибель десятков тысяч людей. Билл Лоренс, человек, не мог унять дрожи страха за собственную жизнь. Низкорослый, с испитым лицом, он осунулся и весь сжался в комок.

С самолета не было видно четкой линии горизонта, океан и небо слились и образовали единую гигантскую сферу. Лоренс вдруг потерял чувство времени и пространства. Маленький кусочек тверди, пролетавший над нагромождениями кучевых облаков, казался невесомым, и было такое ощущение, словно в результате какой-то непонятной катастрофы всякая жизнь на Земле исчезла, а собственное сердце, уцелевший теплый комочек, осуждено на вечные скитания в межпланетном пространстве.

Самолет упрямо карабкался вверх. К девяти утра он набрал высоту, с которой «Великому артисту» предстояло бомбить объект. Уже был виден «семьдесят седьмой». Экипаж пристегивал парашюты.

Скоро, скоро в одном из японских городов начнется ад. Лоренс еще не знал, какой это будет город. Но он хорошо представлял себе, что это будет за ад.

Он подумал о женщинах и детях, которые погибнут во время взрыва, и тотчас постарался отогнать эту мысль. Так японцам и надо! Для успокоения совести Лоренс припоминал подробности нападения на Пирл-Харбор... Но японские самолеты наносили удары только по военным целям. На Гонолулу падали осколки американских зенитных снарядов, а не японские бомбы.

Лоренса не покидало ощущение, что происходит что-то отвратительное и страшное. Это был страх не только перед японскими истребителями, которые могли появиться каждую минуту и изрешетить бомбардировщик и его, Лоренса,

тело, такое беззащитное и слабое. Это был страх перед слепой силой, которая отныне не будет щадить ни правых, ни виноватых.

2

Впервые он испытал этот страх ровно в 5.30 утра 16 июля 1945 года. Потом он назвал то утро началом атомного века.

Это случилось милях в шестидесяти от Аламогордо в штате Нью-Мексико, на пустынном горном плато, получившем название Нуль.

Там на рассвете состоялись первые испытания атомной бомбы, которым присвоили кодовое название «Троица». Кощунство было вполне в духе того, что потом назвали «работой за дьявола».

Туда заранее прибыл караван автомобилей со ста пятьюдесятью учеными, среди которых были лауреаты Нобелевских премий:

Джеймс Чедвик, открывший нейтрон, вначале совершенно безобидную атомную частицу,

Энрико Ферми, впервые бомбардировавший медленными нейтронами ядра атомов,

Эрнест Лоуренс, заставивший заряженные частицы вращаться с колоссальной скоростью в цилиндрическом ящике с магнитами — в изобретенном им циклотроне.

И вместе с ними был единственный представитель прессы — Уильям Лоренс.

Всех прибывших собрали в круг и предупредили, что по сигналу сирены они должны немедленно лечь на землю лицом вниз, головой в сторону, противоположную Нулю. Им не разрешалось смотреть на вспышку и вставать до прохода ударной волны.

У Лоренса сохранилась инструкция, определявшая поведение людей во время взрыва:

«Опасность быть пораженным взрывной волной можно уменьшить, если лечь на землю таким образом, чтобы не оказаться на пути летящих камней, стекла и прочих предметов. Опустите все стекла автомобилей...

Опасность светового поражения глаз можно уменьшить, если закрыть глаза руками и лечь на землю лицом вниз. Даже с закрытыми глазами вы можете ослепнуть на некоторое время и не видеть остальной части зрелища...

Опасности поражения кожи ультрафиолетовыми лучами

лучше всего избежать, надев длинные брюки и рубашки с длинными рукавами...»

По совету доктора Эдварда Теллера ученые послушно натирались кремом от загара.

Бомба находилась на верхушке тридцатиметровой стальной башни. Руководили испытаниями генерал Лесли Гроувз и профессор Роберт Оппенгеймер, имевшие в среде ученых прозвища Джи-Джи и Оппи.

Один из ученых, имени которого Лоренс так и не узнал, подошел к генералу Гроувзу и схватил его за рукав.

— Генерал, ради бога, не взрывайте бомбу!

— Почему? — спросил генерал.

— Потому что мы не знаем, что случится! Мы имеем слабое представление о том, что произойдет. Может расколоться земля. Не взрывайте, ради бога!

Генерал посмотрел на Оппенгеймера. Тот пожал плечами.

— Вы переутомились,— сказал Оппи и позвал врача.

Настроение было скверное. Все помнили слова начальника теоретического отдела Ганса Бете, сказавшего накануне: «Наши расчеты говорят за то, что эксперимент должен удаться. Но будет ли природа действовать в соответствии с нашими расчетами?»

Энрико Ферми предложил «шутливое» пари — подожжет ли бомба атмосферу или нет, и если подожжет, то будет ли при этом уничтожен штат Нью-Мексико или весь мир?

— В любом случае это будет интересный научный эксперимент,— добавил он.

Над горным плато висели серые тучи, сверкали молнии. Лоренс дрожал от утренней свежести. Или это был нервный озноб?

Молнии выхватывали из темноты далекие очертания стальной вышки. Несколько дней назад в нее ударила молния. А там была бомба, но не атомная, а начиненная обыкновенной взрывчаткой. Ее подняли на вышку для «примерки». И она взорвалась. Поэтому атомную бомбу подняли на вышку только в субботу, 14 июля.

Сперва испытания было решено провести в четыре часа утра. В это время люди спят особенно крепко. Яркая вспышка не должна была разбудить жителей ближайшего города. Но взрыв был отложен. Из-за непогоды не могли подняться в воздух самолеты с наблюдателями.

Перед испытаниями на вышку взобрались (чтобы по-

следний раз взглянуть, все ли в порядке) три человека — Бейнбридж, Кистяковский и Буш. Кто знает, что творилось в их душе всякий раз, когда сверкала молния.

Никто не спрашивал, что испытывают пятеро часовых, стоявших у основания башни. Они должны были уехать за тридцать минут до момента «ноль». Во время репетиции взрыва у них отказал джип, и они бежали в укрытие со всех ног. Теперь их ждало, на всякий случай, несколько машин.

Как только охрана отъехала, башню осветили прожектора. Генерал Гроувз боялся, как он сказал, «отважных диверсантов».

Доктор Аллисон из Чикагского университета объявлял по радио:

— Осталось двадцать минут... Осталось пятнадцать минут...

Голос его в конце каждой фразы срывался.

До 5.30 оставалось сорок пять секунд. Молодой физик Джозеф Маккиббен включил автоматическое взрывное устройство.

Из невидимых репродукторов, словно с небес, донесся голос Аллисона:

— Ноль минус десять секунд!

Взвилась зеленая ракета и медленно растаяла в темноте.

— Ноль минус три секунды!

Никто не думал, что секунды могут быть такими длинными.

Взвилась еще одна ракета, взревела сирена, а потом наступила тишина. На востоке брезжил рассвет.

И тогда появился огненный шар. Некоторые не утерпели и взглянули на него. Они утверждали, что шар был белый. Больше они ничего не видели. Несколько человек испортили себе зрение навсегда.

Во вторую секунду своего существования шар стал зеленоватым и рос до самого неба. Вот он уже имеет целую милю в диаметре и заливает все вокруг нестерпимым светом.

И продолжает расти.

Это было страшно. Неужели он не перестанет расти и пожрет небеса и землю! Он уже кроваво-красный, потом оранжевый.

Всеми овладел мистический страх. Одним показалось, будто они слышат слова бога: «Да будет свет!» — другие решили, что пришел Судный день. Даже самые заядлые материалисты вдруг стали сомневаться в своих расчетах...

А потом вырос гигантский гриб. Он поднялся на четыре километра выше Эвереста.

А потом задрожала земля и раздался грохот.

Это был первый крик новорожденного. Атомный век явился на свет.

И когда прошла ударная волна, все вдруг вскочили и пустились в пляс. Растеряв солидность, видные ученые и генералы подпрыгивали и хлопали в ладоши. В этой истерической первобытной пляске была радость жизни. В ней они передавали свое чувство избавления от страшной опасности. Потом они снова превратились в цивилизованных людей и сдержанно пожимали друг другу руки, поздравляя с успехом.

Они поглядывали на восток, куда отправился Энрико Ферми в танке «Шерман», выложенном изнутри свинцом. Там, на опаленной земле, покрытой слоем зеленого стекловидного вещества, он замерял радиоактивность.

Ферми уже высчитал силу взрыва простейшим способом. Когда подошла ударная волна, он выпустил из руки клочки бумаги. Их швырнуло вверх и отбросило. Ферми заранее знал соотношение силы взрыва и расстояния, на которое отбросит клочки.

В одном из бараков нашли солдата, который вернулся из увольнения и уснул на своей койке. Военная полиция, сгонявшая всех в укрытия, не заметила его. От вспышки он временно ослеп и зарекся пить на всю жизнь.

Лоренс шел к автобусу подавленный всем увиденным. Кто-то, уже смеясь, рассказывал, как один из военных, с ужасом наблюдая растущий огненный шар, воскликнул: «Господи, длинноволосые ошиблись в расчетах!» «Длинноволосыми» военные называли штатских физиков.

— Солнце не годится ему в подметки,— сказал Лоренс, думая об огненном шаре. Потом он закончил этими словами свою корреспонденцию, приписав их кому-то другому.

Корреспонденция, как и все, что он писал в те дни, была отдана генералу Гроувзу, который сделал на ней пометку «Совершенно секретно» и положил в сейф до будущих времен.

Заместитель Гроувза генерал Фаррелл потрепал Лоренса по плечу.

— Ничего, скоро ваш репортаж увидит свет,— сказал он.— Война кончена.

— Она кончится, когда мы сбросим еще две бомбы на Японию,— поправил его генерал Гроувз.

И генералы разошлись по своим кабинетам писать отчеты о первом в истории взрыве атомной бомбы.

3

В окрестных городках люди были взбудоражены. Даже в Сильвер-Сити, находившемся в ста восьмидесяти километрах от полигона, вылетели два зеркальных стекла.

Командиру авиабазы в Аламогордо велено было заявить представителю Ассошиэйтед Пресс:

«Мне были заданы вопросы относительно сильного взрыва, происшедшего на территории базы сегодня утром. Взрыв произошел на отдаленном от других объектов складе, где хранилось большое количество сильновзрывчатых веществ и пиротехнических средств. При взрыве никто не был убит или ранен...»

Многие не поверили этому сообщению.

Лоренс с содроганием вспомнил случай, который произошел с ним в Лос-Аламосе через несколько дней после испытаний. Он вошел в здание, где был установлен циклотрон, привезенный из Гарвардского университета. В помещении он увидел много небольших кубиков. Лоренс подобрал один из них и стал вертеть в руке.

— Что это? — спросил он профессора Роберта Вильсона, руководившего работой.

— Уран-235,— ответил профессор.

От испуга Лоренс чуть не выронил кубик. Здесь, в помещении, лежало столько урана, что им можно было стереть с лица земли большой город. Но кубики положили порознь, чтобы не создалась критическая масса. Вильсон тронул за руку оцепеневшего Лоренса и предложил ему чаю, который кипятился тут же в химической реторте.

За шесть лет до этого Лоренс побывал в небольшом американском городке Принстоне, где жил патриарх физики Альберт Эйнштейн. В небольшом двухэтажном доме серого камня с зелеными створчатыми ставнями на обсаженной тенистыми деревьями улице Мерсер состоялось интервью, которому не суждено было войти в анналы истории, так как в тот раз старый физик оказался плохим пророком, хотя потом и говаривал: «Да, я нажал на кнопку».

В начале января 1939 года мир еще ничего не знал о возможностях, которые таит в себе высвобождение атом-

ной энергии. Мало того, Эйнштейн уверял Лоренса, что он не верит и в само высвобождение.

— Мы,— сказал он,— плохие стрелки, палящие в птиц в темноте, и притом в такой местности, где очень мало птиц.

Из Эйнштейна давно уже сделали оракула. Его заставляли высказываться по вопросам литературы и искусства, войны и политики.

Свою первую поездку по Соединенным Штатам он совершил с пропагандистскими целями, приглашенный в 1921 году главой сионистов Вейцманом. Теперь Эйнштейн говорил о физике, и ему надо было верить беспрекословно.

Однако прошло очень мало времени, и многое изменилось в представлениях ученых. Произошли события, которые повлияли не только на науку.

Уже 26 января 1939 года в Вашингтоне собрались на конференцию виднейшие американские физики. Пожилой ученый Нильс Бор, присутствовавший на конференции, взял слово и тихим размеренным голосом сделал сообщение, которое произвело на собравшихся впечатление разорвавшейся бомбы. Некоторые, не дослушав Бора, бросились к телефонам и в свои лаборатории, чтобы проверить то, что говорил приезжий из Дании.

Доктор Луис Альварец, тогда еще начинающий физик, потом рассказал Лоренсу, как утром 27 января он стригся в парикмахерской студенческого общежития Калифорнийского университета, держа в руках газету. И вдруг взгляд его упал на заметку о вашингтонской конференции. В заметке говорилось о расщеплении ядра урана. Альварец сорвал простыню и помчался, размахивая газетой, в лабораторию радиации. Вид наполовину остриженной головы Альвареца изумил его коллег, но, когда он показал им газетную заметку, они тотчас забыли об этом.

Сотрудники Берлинского института имени кайзера Вильгельма немецкие химики Отто Ган и Фриц Штрассман только что установили, что некоторые осколки, полученные при бомбардировке урана медленными нейтронами, представляют собой ядра бария. Атом бария вдвое легче атома урана. Невольно напрашивался вывод, что атомы урана распались на несколько частей. Осознанно таких результатов еще никто не получал.

Ган и Штрассман сообщили о своем открытии в письме к своей бывшей сотруднице Лизе Мейтнер, австрийской еврейке, бежавшей от нацистов в Стокгольм.

Она тотчас поехала в Копенгаген и вместе со своим племянником Отто Фришем пришла к Нильсу Бору, который собирался ехать в США, чтобы посетить Принстон.

— Как мы могли не замечать этого так долго! — воскликнул Бор, хлопнув себя по лбу.

Процесс был назван «расщеплением» и подсчитано, что два ядра разлетаются с колоссальной скоростью и с энергией в 200 миллионов электроновольт. Выделившиеся новые нейтроны могли «расщеплять» соседние атомы. Возможна цепная реакция, которая не кончится, пока весь кусок урана не превратится в другие вещества. Миллиарды делений дали бы энергию настолько колоссальную...

Это был уже призрак атомной бомбы. Ган предвидел последствия своего поспешного письма Мейтнер и не спал несколько ночей. Его даже преследовала мысль о самоубийстве.

Шестнадцатого января Бор, приехавший в Америку, получил телеграмму от Мейтнер, которая подтверждала результаты опыта Гана.

Физики лихорадочно работали. В марте стал известен материал для атомной бомбы — уран-235. Быстрая реакция возможна только в урановой смеси, обогащенной ураном-235, если масса ее будет определенной — «критической».

Лоренс присутствовал на сессии Американского физического общества, во время которой Ферми писал на доске «странные символы и иероглифы». Бор тут же истолковывал их.

Журналист спросил сидевшего рядом профессора Даннинга, какая энергия выделится при распаде одного килограмма урана.

— Это энергия в двадцать миллионов раз больше энергии, освобождаемой тротилом,— ответил тот.— Расщепление килограмма урана — это все равно что взрыв двадцати тысяч тонн тротила...

Лоренс попросил Даннинга представить его Бору и Ферми.

— Можно использовать уран для создания бомбы? — спросил он их.

Те уклонились от прямого ответа. На создание бомбы уйдет, сказали они, лет двадцать пять, а то и все пятьдесят...

Разговор разрядился шуткой.

В газете «Нью-Йорк таймс» появилась статья о весенней сессии Американского физического общества. Лоренс

писал: «Доктор Нильс Бор из Копенгагена заявил, что облучение небольшого количества чистого изотопа — урана-235 — нейтронами вызовет цепную реакцию или атомный взрыв... Если не принять мер, взлетит на воздух лаборатория и все находящееся в данной местности радиусом во много миль...»

Потом появилась еще более подробная статья Лоренса в «Сатерди Ивнинг Пост». Но потом, когда Лоренса допустили в узкий круг физиков, он узнал, что его статья засекречена и что газету надо держать в сейфе.

Это было весной 1945 года. Лоренса вызвали к генералу Лесли Гроувзу, который предложил ему секретную работу.

— Если вы хотите, чтобы я что-то написал, — сказал Лоренс, — то дайте мне доступ к первоисточникам. Надеюсь, вы разрешите мне посетить Теннесси, Вашингтон и Нью-Мексико...

Гроувз поморщился.

— Ты поедешь еще дальше, — намекнул Лоренсу приятель, который был в курсе атомных дел.

И вот теперь он летит к Японии в самолете, курс которого вскоре определят ветры судьбы...

4

В конце июля 1939 года директор банка «Леман Бразерс» Александр Закс принимал в своем кабинете на Уолл-стрит ученого-физика, эмигранта из Венгрии, Лео Сцилларда. Хозяин кабинета родился в России, но получил образование уже в Америке, в Колумбийском университете, и сделал феерическую карьеру благодаря своим торгашеским и финансовым талантам. Сбылись некоторые его предсказания о дальнейших шагах нацистской диктатуры в Германии, об экономических последствиях политических событий предвоенных лет, и за это его прозвали «экономическим Иеремией». Ловкий финансист сумел втереться в доверие к президенту Рузвельту и был необходим президенту для некоторых дел, требовавших финансовой сметки. Закс был своим человеком в финансовых кругах.

Физик Лео Сциллард боялся, что немцы создадут атомную бомбу, и сколотил из эмигрантов небольшую группу, которая стала разрабатывать идею атомного оружия, подсказанную им открытием немецкого ученого Гана. В группу кроме самого Сцилларда входили Вигнер, Теллер...

Членов группы Сцилларда в Америке встретили не слишком радушно. Им не дали почетной и выгодной работы, и теперь они старались привлечь внимание американского правительства к использованию атомной физики в военных целях и предлагали свои услуги. Но Сциллард не мог попасть на прием ни к одному влиятельному деятелю в правительстве США.

Оставался еще один путь — не биться лбом в закрытые ворота, а найти лазейку в заборе. Этот путь подсказал Сцилларду еще один эмигрант из Германии — издатель Столпер. Он свел Сцилларда с банкиром Заксом, и эти два человека сразу нашли общий язык. Сциллард принес ему проект письма на имя государственного секретаря.

— Нет,— сказал Закс,— я не советую вам посылать это письмо.

Заметив гримасу разочарования на лице Сцилларда, он добавил:

— Если уж писать, то делать это надо в более определенных выражениях, а я обязуюсь доставить письмо лично президенту. Только письмо это будет не вашим. Вас никто не знает в Америке. Вот если бы вы заручились подписью... ну, скажем, Эйнштейна... Не стоило бы впутывать старика, но у него здесь уж больно хороший паблисити, а это произведет нужное впечатление на президента, да и для вас будет неплохой рекомендацией.

Он был циником, этот Закс.

— Я уже был у Эйнштейна вместе с профессором Вигнером,— сказал Сциллард.— Нас познакомил Натан. Эйнштейн сейчас отдыхает в Пеконике на Лонг-Айлендском побережье.

— И что же сказал вам старик?

— Возможность цепной реакции в уране не приходила ему в голову...

— Я не об этом... Меня интересует его настроение.

— Эйнштейн сразу все понял. Призрак Гитлера, вооруженного атомной бомбой, привел его в ужас. Он обещал помочь.

— Вот и прекрасно. Сейчас мы с вами составим проект письма, и вы немедленно отправляйтесь с ним к Эйнштейну.

Второго августа Эйнштейн подписал письмо, которое привезли ему Сциллард, Вигнер и Теллер. Однако Закс был принят президентом Рузвельтом лишь 11 октября, когда в Европе уже разгоралось пламя второй мировой войны.

Закс решил быть настойчивым, он не стал вручать письма, а прочел его президенту.

В письме говорилось о возможности ядерной реакции в крупной массе урана, а следовательно, создания мощных бомб нового типа. Причем обращалось внимание на то, что немцы прекратили продажу урана с чехословацких рудников, а сын заместителя германского министра иностранных дел физик фон Вейцзекер прикомандирован к Институту кайзера Вильгельма, где ведутся работы по урану.

Закс говорил, убеждал, доказывал больше часа. Он вглядывался в лицо президента, на котором не было написано ничего, кроме страшной усталости. Рузвельт слушал Закса, немного склонив крупную седую голову набок.

— Все это звучит очень интересно и очень странно,— сказал наконец президент.— Но мне кажется, что вмешательство администрации на этой стадии было бы преждевременным. Передайте вашим физикам, что я желаю им успеха в работе.

И Рузвельт перевел разговор на другую тему.

Закс был обескуражен. Придя к себе, он не переставал думать о том, как ему убедить президента. Изворотливый ум подсказал аргумент, который показался неопровержимым. Он позвонил в Белый дом, попросил еще одной аудиенции и был приглашен к президенту на завтрак.

Президента подвезли к столу в коляске. Он еще в юности, переболев полиомиелитом, потерял способность ходить.

— Ну, какую еще блестящую идею вы мне принесли? — насмешливо спросил Рузвельт.— И сколько вам надо времени, чтобы изложить ее?

— Сегодня я буду краток, господин президент,— сказал банкир.— Я хочу напомнить вам один исторический факт, описанный лордом Актоном. Молодой американский изобретатель явился к Наполеону и предложил ему построить флотилию паровых судов, которые могли бы пересечь Ла-Манш при любой погоде и обеспечить высадку десантов. Наполеону это показалось невероятным, и он высмеял изобретателя. Говорят, Англия была спасена благодаря недальновидности императора. История редко прощает такие промахи...

Рузвельт задумался. Потом он велел слуге принести бутылку французского коньяка наполеоновских времен. Президент любил символику. Взяв рюмку, он сказал:

— Итак, вам не хочется, чтобы нацисты взорвали нас?
— Совершенно правильно,— ответил Закс.

Президент вызвал своего секретаря генерала Уотсона, носившего в близких к Рузвельту кругах странное прозвище «Па», и сказал ему, указывая на принесенные Заксом бумаги:

— Па, надо действовать!

Уотсон создал несколько комиссий, которые изучили вопрос и рекомендовали создание атомной бомбы. Однако военные раскачивались туго.

— Бог ее знает, что это за штука? — говорили они.— Поживем — увидим.

— Но ведь ФДР требует, ребята,— уговаривал Уотсон.

Седьмого марта 1940 года Эйнштейн отправил второе письмо президенту Франклину Делано Рузвельту[1].

Однако деньги на изготовление атомного оружия были ассигнованы лишь 6 декабря 1941 года, накануне нападения японцев на Пирл-Харбор. И только 16 августа 1942 года было принято решение создать так называемый Манхэттенский инженерный округ и поставить во главе него способного военного инженера, некогда построившего Пентагон, генерала Лесли Ричарда Гроувза. А к 1944 году было истрачено два миллиарда долларов и построены атомные заводы и лаборатории в Окридже, Хэнфорде, Лос-Аламосе... Сциллард, Теллер и другие получили американское гражданство, а впоследствии хорошую рекламу и крупные куши.

5

Второго декабря 1942 года лауреат Нобелевской премии, директор чикагской Металлургической лаборатории Артур Комптон позвонил по междугородному телефону в Гарвард мистеру Конанту, важному члену различных комиссий при президенте США.

---

[1] «...С тех пор как началась война, интерес к урану в Германии повысился. Недавно я узнал, что исследования там осуществляются в обстановке глубокой секретности и что они начаты также в Институте физики кайзера Вильгельма. Под контроль правительства поставлены этот институт и группа физиков под руководством Вейцзекера, которая работает над ураном совместно с Химическим институтом... Мы с профессором Вигнером и доктором Сциллардом обсудили обстановку в свете полученной информации...»

— Итальянский мореплаватель прибыл в Новый свет и нашел, что континент этот гораздо меньше, чем он думал,— сказал Комптон.

— Надеюсь, что туземцы встретили его дружелюбно,— заметил мистер Конант.

Это был условный сигнал. На атомную арену вышел «большой бизнес» Америки.

В этот день в Чикаго представители компании «Дюпон де Немур» совещались с уполномоченными военного министерства. Генерал Гроувз настаивал на заключении контракта, по которому компания должна была построить в Хэнфорде атомные котлы для получения плутония. Член правления компании мистер Кроуфорд Гринуолт колебался. Он не мог заключить контракт на 400 миллионов долларов и строить котлы, которые еще не работали даже в лабораториях ученых. Гринуолта возили в Калифорнию, в Беркли, показывали плутоний, но собственными глазами ни одного котла он еще не видел.

В комнате, где проводилось совещание, зазвонил телефон. Мистера Гринуолта попросили подойти к телефону. Звонил Комптон.

— Мистер Гринуолт,— сказал он,— не могли бы вы сейчас же прийти на теннисный корт под западными трибунами стадиона «Стэгг филд»?

— А в чем дело? — спросил Гринуолт.

— Не задавайте вопросов и никому не говорите, куда вы идете.

Дело было в том, что Металлургическая лаборатория, или как ее сокращенно называли Метлаб, никакого отношения к металлургии не имела.

Здесь, в закрытом корте стадиона, большая группа ученых во главе с Ферми и Сциллардом создала сооружение, которое должно было обеспечить цепную реакцию. Это был первый атомный реактор или котел — большая кладка, в которой пласты чистого графита чередовались с пластами графита с вставленными в него урановыми стержнями. Графит замедлял нейтроны, чтобы уменьшить их потери.

Цепная реакция должна была начаться, когда количество урана в кладке достигнет критической массы.

Сциллард был очень ловким человеком, обладавшим массой нужных знакомств. Он обеспечивал материалы и финансирование опытов. Ферми, эмигрировавший из Ита-

лии, был человеком выдающихся способностей. Он-то и руководил созданием котла.

Котел был собран за полтора месяца, и теперь в присутствии представителя «большого бизнеса» мистера Гринуолта предстояло дать толчок первой в мире ядерной цепной реакции.

Скользкая, черная, как сажа, графитовая пыль покрывала пол помещения. Котел не подавал признаков жизни. В него были введены кадмиевые стержни, которые поглощали нейтроны. Стоило их извлечь, как защелкали бы счетчики Гейгера, заходили бы перья приборов.

Опыт проводился в самом центре одного из крупнейших городов мира — Чикаго. Теоретические расчеты говорили, что реакция в котле будет происходить равномерно, и атомный взрыв исключен. И все-таки неизвестность терзала душу людей, собравшихся под трибуной стадиона. Стояли наготове ученые, держась за кадмиевые стержни, чтобы ввести их в котел в случае опасности. На верхушке котла, под самым потолком, сидела на корточках «бригада самоубийц» — молодые физики Эльвин Грейвз и Гарольд Литченбергер. Они должны были залить котел раствором жидкого кадмия, если бы он вышел из повиновения.

— Джордж, начинайте! — скомандовал Ферми.

Физик Джордж Вейль стал потихоньку вытягивать кадмиевый стержень из котла. Комптон, Ферми, Сциллард, Аллисон и другие смотрели на приборы. Они стали давать показания. Все происходило так, как говорили расчеты. Через каждые десять секунд Вейль по команде Ферми выдвигал кадмиевый стержень до очередной отметки. Счетчики щелкали все быстрее. Подошло время завтрака, и пунктуальный Энрико Ферми сказал не допускавшим возражения тоном:

— Идемте завтракать.

После завтрака выдвижение кадмиевого стержня продолжалось. Ровно в три часа тридцать минут 2 декабря 1942 года в котле началась цепная реакция. Действовали медленные нейтроны, и реакция была управляемой. Но несущим смерть нужно было, чтобы нейтроны стали быстрыми, а реакция — неуправляемой.

Сциллард вручил Ферми подарок, который все время держал в руке за спиной. Это была бутылка кьянти, оплетенная соломой. Ее распили тут же из бумажных стаканчиков и все расписались на плетенке.

А в это время в трех кварталах от стадиона, в аудитории № 209 Чикагского университета, представители «Дюпон де Немур» господа Уильямс, Льюис и Кэри по-прежнему отбивались от чинов из военного министерства.

В аудиторию ворвался мистер Гринуолт.

— Джентльмены,— сказал он,— нет необходимости обсуждать этот вопрос. Фирма «Дюпон» ничем не рискует.

6

В 9 часов 12 минут самолет Б-29, в котором летел Лоренс, достиг острова Иокусима и стал ходить по кругу за «Великим артистом». Ждали третьего самолета, который должен был фотографировать взрыв.

Бомбардировщики летали над маленьким островом уже минут сорок пять, когда командир ведущего корабля принял решение больше не ждать.

Самолеты наведения сообщили, что как над первым, так и над вторым объектом видимость превосходная. Но сорок пять минут задержки перетасовали карты. Когда «Великий артист» оказался над главным объектом, город уже был закрыт непроницаемыми тучами. Можно было сбросить бомбу, определив место нахождения цели радиолокатором. Но приказ гласил — сбросить бомбу предельно точно на цель, открытую для визуального наблюдения.

И «Великий артист» вновь принялся ходить по кругу, выискивая разрыв в облаках. А следом за ним кружил второй Б-29.

Внезапно под самолетами появились один за другим пятнадцать клубков черного дыма. Это вели огонь японские зенитки. «Летающие сверхкрепости» изменили курс. Теперь клубки находились на уровне их полета, но далеко слева.

Потом из облаков появился двадцать один японский истребитель. Набирая высоту, они неслись к американским бомбардировщикам. Лоренс, наблюдая их приближение, всем телом ощущал опасность, исходившую от этих маленьких юрких машин.

Два часа бесплодных полетов над Японскими островами, большой расход горючего и появление истребителей, по-видимому, заставили командира «Великого артиста» отказаться от бомбежки главной цели, тем более что город все еще был закрыт тучами. Бомбардировщикам надо было по-

том добраться хотя бы до запасного аэродрома на Окинаве.

Самолет наведения сообщил, что небо над одним из второстепенных объектов чистое, и бомбардировщики ушли от города, в котором ни один житель не мог предполагать, какие убийцы кружили над ним целый час.

Истребители отстали. Потолок их был невысок, да и, видно, японские летчики сочли свою миссию выполненной, отогнав американцев от важного военного объекта. Видно, они подумали, что каких-то два бомбардировщика не собираются бомбить и так долго утюжат небо с разведывательной целью. Видно, они еще ничего не знали о Хиросиме, над которой всего два дня назад в чистом небе появилась «Энола Гей».

«Ветры судьбы, казалось, благоприятствовали некоторым японским городам, названия которых должны остаться неизвестными».

По профессиональной привычке Билл Лоренс заготавливал фразы для будущих статей. Он знал, над каким городом кружит «Великий артист», он знал название главного объекта бомбардировки, но думал, что это навеки останется тайной.

Лоренс гордился своей осведомленностью. Он считал себя другом генерала Гроувза — живого и стремительного, несмотря на высокий рост и полноту. «Россия наш враг... У меня нет никаких иллюзий на этот счет. На том стоит наш проект»,— любит говаривать генерал.

Проект огромен. Атомные заводы в Окридже и Хэнфорде, производящие уран-235 и плутоний-238, лаборатория в Лос-Аламосе...

Сотни тысяч людей работают на заводах, и до вчерашнего дня всего несколько человек знали, что́ они производят. Некоторые думали, что работают над «лучами смерти». Противники Рузвельта распространяли слухи, что заводы изготовляют химикалии для превращения негров в белых по проекту миссис Элеоноры Рузвельт.

Лоренс побывал в громадных цехах Окриджа. Он спросил одного рабочего, что, по его мнению, тот создает.

— Я здесь делаю доллар тридцать пять центов в час,— ответил рабочий. Другие считали, что все это — гигантская панама.

Каждый вечер в комнату, где работал Лоренс, входили два вооруженных до зубов окриджских солдата, вынимали из мусорной корзины обрывки бумаги и сжигали их в печ-

ке. Их приставили к этой работе, потому что они были неграмотны.

Уже истрачено больше двух миллиардов долларов. Даже конгресс забеспокоился и сделал запрос о судьбе этих денег. Бывший судья, а теперь заместитель военного министра Роберт Паттерсон послал инженера Мэдигана обследовать ход работ.

— Судья, я был повсюду и видел все,— сказал инженер, вернувшись.— Я хочу сказать, что беспокоиться не о чем. Если эта штука сработает, никто с нас ничего не спросит. А если не сработает, то все равно денежки плакали. Но вроде бы делается что-то стоящее...

Интересно, сколько положила в карман компания «Дюпон де Немур»?..

А Оппи... профессор Роберт Оппенгеймер, директор Лосаламосской лаборатории. Честолюбив и... обаятелен. Все эти ученые в его руках как воск. Это он привез Гроувза в пустыню у Санта-Фе, поросшую кактусами и узловатыми соснами, и предложил создать там лабораторию.

— Я всегда больше всего на свете любил физику и Нью-Мексико,— говорил он задумчиво.— Я мечтал объединить эти два предмета, и мечта моя сбылась.

Оппенгеймеру было сорок лет, и под его руководством сделаны механизмы трех атомных бомб. Лоренс с улыбкой вспомнил, как Оппи предложили стать бригадным генералом, а остальных ученых намеревались превратить в офицеров с соответствующими званиями. Оппи был в восторге, но другие с ужасом отвергли возможность стать военными.

Сложные, очень сложные соображения привели Оппенгеймера на пост директора атомной лаборатории.

Неизвестно, по чьей подсказке он выдвинул идею сосредоточить многочисленные лаборатории в одном месте, но эта идея прославила его как организатора и вознесла на высокий пост. Он лично проводил вербовку ученых, пугая их перспективой немецкой атомной бомбы.

Сделавшись еще до войны наследником миллионов, Оппенгеймер выделял крупные суммы левым организациям, ставя сразу на несколько лошадей. Его связи были известны начальнику контрразведки Борису Пашу, но тому запретили пополнять заведенное досье, да и сам Оппенгеймер охотно выдал своих прежних знакомых на расправу...

ГЛАВА ВТОРАЯ

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Ослепительная зеленоватая вспышка, взрыв, сознание подавлено, волна горячего ветра, и в следующий миг все вокруг загорается. Тишина, наступившая вслед за грохотом ни с чем не сравнимой, дотоле неслыханной силы, нарушается треском разгорающегося огня. Под обломками рухнувшего дома лежат оглушенные люди, в пламени гибнут женщины, гибнут в огненном кольце очнувшиеся и пытающиеся спастись дети. Маленький ребенок отталкивает руки человека, стремящегося его вытащить, и сгорает на руках у матери, придавленной грудой тел и развалин. Люди падают обгоревшие, кто с раздробленной головой, кто с осколками стекла в животе. А здесь руки оторваны, и лишь ноги продолжают двигаться...

Комментарии к панно Ири и Тосико Маруки «Огонь»

1

Двенадцатое апреля 1945 года было днем своеобразного пакостного триумфа для человека, сказавшего еще в самом начале войны: «Если мы увидим, что выигрывает Германия, то нам следует помогать России, а если выигрывать будет Россия, то нам следует помогать Германии, и, таким образом, пусть они убивают как можно больше...»

У этого человека были манеры бакалейщика и хрящеватый хищный нос. Пост вице-президента США обязывал его председательствовать на заседаниях американского сената.

Двенадцатого апреля он разговаривал с группой сенаторов в перерыве между заседаниями, когда к нему подошел председатель палаты представителей Сэм Рэйберн и сказал:

— Гарри, вас просят к телефону. Это Стив Эрли из Белого дома.

Трумэн прошел в кабинет Рейберна, взял трубку и назвал себя.

— Не можете ли вы сейчас же прийти в Белый дом,— услышал он взволнованный голос.

Звуки этого голоса наполнили сердце Трумэна тревогой и радостью. Быть может?.. Нет, нет. Не надо преждевременно ликовать. 20 февраля он уже испытал разочаро-

вание. До него дошел слух, что Франклин Делано Рузвельт умер. Он тогда опрометчиво попросил секретаря сената Леса Бифла позвонить в Белый дом. И тому ответили, что умер не Рузвельт, умер генерал Эдвин Уотсон. Уотсон по прозвищу «Па», личный секретарь президента. Умер внезапно, при странных обстоятельствах, возвращаясь с президентом из Ялты.

В пять часов вечера Трумэн был уже в Белом доме и, поднявшись на лифте на второй этаж, вошел в кабинет президента. Там его ждали.

— Гарри,— сказала ему Элеонора Рузвельт,— президент умер.

Трумэн стоял, потупив глаза, и молчал. О том, что творилось в его душе, не знает никто. И в мемуарах своих, написанных много лет спустя, он предпочитал не распространяться о своих переживаниях.

Итак, он президент Соединенных Штатов Америки. В голосе его появились покровительственно металлические нотки.

— Чем я могу помочь вам лично? — спросил он и по-хозяйски оглядел круглый кабинет, на стенах которого висели старинные литографии миссисипских пароходов, а в нишах стояли модели фрегатов.

В семь вечера Гарри Трумэн, держа в левой руке библию, а правую подняв до уровня носа, принял присягу, дал клятву «охранять, защищать и оборонять конституцию Соединенных Штатов против всех врагов, внешних и внутренних».

В тот же вечер Трумэн созвал первое совещание членов правительства. Да, он собирается продолжать внешнюю и внутреннюю политику покойного президента, но пусть не ждут, что он будет придерживаться ее слепо. У него есть свои планы, которые он впоследствии доведет до сведения почтенных господ министров.

После совещания у Трумэна задержался военный министр Стимсон.

— Господин президент,— сказал он.— Мы создали новое и очень мощное оружие. Оно будет готово через несколько месяцев.

Вскоре в Вашингтон собрались научные эксперты и ввели нового президента в курс дела, о котором он, будучи вице-президентом, не имел никакого представления.

2

Осенью 1944 года авиационный генерал Генри Арнольд вызвал начальника отдела личного состава американских Военно-Воздушных сил полковника Роско Уилсона. Полковник вошел в адъютантскую и, покосившись на дверь генеральского кабинета, подошел к столу, за которым сидел развязный лейтенант, привыкший к фамильярному обращению с подчиненными своего шефа.

— Хэлло, Джерри,— сказал полковник.— Как сегодня генерал?

— Хэп в отличном настроении, полковник. Он уже ждет вас.

«Хэп» — это было прозвище генерала. Арнольда любили в американской авиации, которая выросла у него на глазах. Летать Арнольд учился еще у братьев Райт, помнил этажерки, которые только чудом не разваливались в воздухе, а теперь он руководил армадами летающих «сверхкрепостей» — «Боингов-29» и стреловидных истребителей. Генерал был иногда крутоват, но, в общем, справедлив. Память у него была великолепная.

— Садитесь, Роско,— сказал генерал.— Покажите, что вы мне принесли.

— Вы приказали, сэр, подобрать человека для особо важной работы. Вот список лучших летчиков...

Генерал взял список и пробежал его глазами. Положив листок на стол, он показал пальцем на одну из строчек.

— Полковник Пол Тиббетс-младший,— прочел он вслух.— Это не он летал с генералом Кларком в Северную Африку?

— Да, сэр,— ответил Вильсон.— Он также был пилотом на самолете генерала Эйзенхауэра перед высадкой в Нормандии.

— Помню,— сказал Арнольд.— Айк хвалил его. Спокойный парень. Один из лучших пилотов бомбардировочной авиации. Где он теперь? Может он летать на Б-29?

— Он как раз испытывает Б-29 на авиабазе в Аламагордо, штат Нью-Мексико.

— Это тот человек, который нам нужен. Спокойный, твердый и умеет держать язык за зубами. Сообщите командующему Манхэттенским инженерным округом генералу Гроувзу, что мы нашли главного исполнителя. Хотя пока еще не известно, понадобится ли он вообще.

— Испытания этой... штуки намечены на начало будущего лета, сэр.

— Ну, пилот нам нужен заранее. Мы не можем ждать, пока ученые опробуют э...эту штуку. Начнем сейчас же подготовку экипажей. Подберите Тиббетсу людей...

3

А полковник Пол Тиббетс в это время летал на своем Б-29 над Аламагордо, не зная, что совсем рядом, в Лос-Аламосе, готовится страшный груз для его будущего самолета и что ему придется стать послушным орудием в руках изощренных политиканов, стать одним из несущих смерть.

Тысячи маленьких винтиков огромной военной машины, сами того не ведая, готовили бомбовый удар неслыханной силы. Еще не было известно, получится ли бомба вообще, но в конструкторских бюро уже создавали модификации Б-29, снабжали самолеты новейшими приборами, увеличивали их скорость и безопасность полета, перестраивали бомбовые отсеки и люки.

Инженеры не знали, для чего они это делают, как не знали семьдесят пять лучших летчиков ВВС Соединенных Штатов, для чего их откомандировали на аэродром Уэндовер в штате Юта. Вскоре из летчиков и тысячи семисот человек обслуживающего и технического персонала сколотили 509-й сводный полк 313-й авиабригады 21-го корпуса бомбардировочной авиации 20-й воздушной армии. Командовать полком был назначен полковник Пол Тиббетс, уроженец курортного города Майами в штате Флорида.

Лишь он один знал, для чего создан сводный полк. Весь личный состав полка прошел тщательную проверку еще на фронте и на тыловых аэродромах, и тем не менее ни солдатам, ни офицерам не говорили, почему от них добиваются высокой слаженности в работе.

Они тренировались всю зиму и весну, кляня тяжелую службу и дисциплинарные строгости. После фронтовых вольностей рутина в тыловой части многим казалась невыносимой. Ежедневно они вылетали на учебные задания, кружили над красноватой пустыней. Лучшие бомбардиры развивали глазомер и учились нажимать на кнопку, открывающую бомбовые люки, точно над целью. Бомбардирам казалось странным, что им не разрешают применять ради-

олокационные установки. Они знали, что «все будет по-другому», но что именно — никто не знал.

Полковник Тиббетс дотошно следил за тем, чтобы самолеты взлетали, добирались до объекта и возвращались на аэродром минута в минуту. Пятиминутное опоздание — и командир экипажа получал нагоняй.

А тем временем к Марианским островам шли караваны судов. Они везли строительные материалы и инженерные батальоны. Полковник Элмер Киркпатрик оборудовал островок Тиниан под первоклассный аэродром. Тиниан находился сравнительно близко от Японии, чтобы служить удобной базой для летных операций, и достаточно далеко от нее, чтобы можно было держать в секрете ведущиеся работы.

Здесь, в шести тысячах миль от Сан-Франциско, американцы создали для того времени самый большой аэродром в мире. С шести взлетно-посадочных полос каждые пятнадцать секунд поднимался самолет. Здесь собрались десятки тысяч специалистов, обслуживавших сотни самолетов и новейших технических устройств. В островную гавань ежедневно заходили танкеры с авиационным бензином. Время от времени какой-нибудь самолет, вылетавший на бомбежку японских городов с полным грузом бомб, отрывался от полосы, а потом обрушивался в море или на прибрежные кораллы и, запылав точно факел, со страшным грохотом взрывался.

Здесь была создана атомная база и сюда прибыли экипажи 509-го сводного полка.

4

Война шла к концу. В Берлине, забившись в бункер под развалинами имперской канцелярии, доживал последний месяц своей жизни человек, «сделавший величайший вклад в создание американской атомной бомбы».

Двенадцатого апреля 1945 года Адольф Гитлер вместе с Геббельсом читали историю Семилетней войны 1756—1763 годов. Гитлер считал это «полезным чтением». Он гордился тем, что прочитал около семи тысяч книг по военному делу. Но теория, как видно, не помогала...

Особенно трогала их глава, рассказывавшая о том, как смерть царицы Елизаветы Петровны и вступление на престол Петра III спасли Пруссию от окончательного разгрома. Ах, ему бы, Гитлеру, такого верного друга, каким был

Фридриху наследник русской короны герцог Голштинский. Он пересылал великому королю сведения о русской армии, теснившей пруссаков, а став царем, и вовсе вернул Фридриху завоеванную территорию, присоединил свои войска к прусским, чтобы действовать против австрийцев, недавних русских союзников.

Приятное уединение Гитлера и Геббельса было прервано стуком в дверь. Вошел офицер в черной эсэсовской форме и вскинул в приветствии руку.

— Мой фюрер, американское радио только что сообщило, что умер президент Соединенных Штатов Рузвельт.

Первым пришел в себя Геббельс и, подволакивая ногу, в волнении зашагал по комнате.

— Вот поворотный пункт!— кричал он.— Это подобно смерти русской царицы во времена Семилетней войны!

— Да,— сказал Гитлер,— это очень приятное известие. Вы еще не раз будете вспоминать мои слова. Со смертью грязного ставленника плутократии положение меняется в корне. Теперь проснется национальное самосознание американского народа, замутненное происками еврейско-большевистских подпевал. Раздоры между союзниками неизбежны. Разве не каждый день, не каждый час может вспыхнуть война между большевиками и англо-саксами! Я верю в возрождение нашего райха, я верю в торжество нации и очищение ее в грядущих битвах. Двенадцатая армия должна быть тотчас же снята с фронта против американцев и брошена против русских. Борьба еще только начинается. Мы еще не пускали в ход наше секретное оружие...

Выговорившись, Гитлер велел позвать астрологов, составлявших ему гороскопы. И, конечно же, предсказывая ему будущее, астрологи не говорили, что через четыре дня советские войска нанесут удар с Одера и к 25 апреля окружат Берлин, что он предаст анафеме «отступников» Геринга и Гиммлера, что он выстрелит себе в рот, а Геббельс убьет не только себя, но и жену и детей. На гороскопах не было отблесков погребального костра во дворе имперской канцелярии.

5

О каком секретном оружии так часто говорил Гитлер в последние дни своего существования? Это до сих пор неизвестно. Быть может, он просто хотел поддержать боевой дух своих приверженцев, все убывавших в числе.

Немецкие же ученые, которыми пугали Рузвельта Сциллард и его друзья, не хотели дать Гитлеру в руки атомную бомбу. Гану приписывают слова: «Если Гитлер когда-нибудь получит подобное оружие, я покончу с собой». Гейзенберг и Флюгге старались войти в контакт с Бором и другими, чтобы договориться и не создавать атомной бомбы вообще. Но их выслушивали как провокаторов и торопились, торопились... Те из немецких ученых, кто действительно мог создать бомбу, саботировали ее производство, путали карты гитлеровцев неправильными оценками. И, может быть, прав был Гейнзенберг, сказавший впоследствии: «Летом 1939 года двенадцать человек еще могли при взаимном согласии не допустить создания атомных бомб».

Уже в начале 1945 года специальная американская миссия «Алсос», шедшая по следам, а иногда впереди своих войск, захватила документы, из которых явствовало, что практически атомные исследования в Германии находились в зачаточном состоянии.

Миссию возглавляли полковник Борис Паш и физик Сэмюэл Гоудсмит. Она обнаружила, что немцы ничего не знали об американской бомбе. Об этом рассказывали все захваченные ею немецкие ученые. Крупный физик фон Вайцзекер вел уклончивую политику. Нобелевский лауреат фон Лауэ открыто критиковал Гитлера.

Сам Гитлер предпочитал верить дилетантам. Инженер фон Арденне встретился с министром почт Онезорге и обещал ему открыть атомное «взрывчатое вещество». Тот доложил Гитлеру.

— Послушайте, господа,— сказал Гитлер на заседании кабинета министров,— в то время как ваши специалисты ломают головы над тем, как выиграть эту войну, является наш почтмейстер и приносит готовое решение!

Хотя формально ядерные исследования проводились под началом Геринга и Гиммлера, отношение военных властей к физикам было по меньшей мере несерьезным.

После взятия Страсбурга научный руководитель миссии «Алсос» Гоудсмит сказал одному из военных членов миссии:

— Разве не прекрасно, что немцы не имеют атомной бомбы? Теперь мы можем не пускать в ход своих.

— Вы, конечно, понимаете, Сэм,— ответил тот,— раз у нас есть такое оружие, то мы должны применить его.

6

— Господа, на нас возлагается задача рекомендовать такой шаг, который может изменить курс цивилизации. В наших руках будет оружие беспрецедентной разрушительной силы. Мы должны рассмотреть проблемы атомной энергии не только в военном аспекте, но также и в аспекте нового отношения человека ко Вселенной...

Этими словами велеречивый военный министр Генри Стимсон открыл заседание «Временного комитета». Было 31 мая 1945 года. Начиналось жаркое вашингтонское лето. У Пентагона калились на солнце тысячи автомобилей. В кабинете министра собрались члены «Временного комитета», которые должны были решить, как надо использовать еще не родившуюся атомную бомбу.

Пять государственных деятелей — военный министр Генри Стимсон и его заместитель Джордж Гаррисон, представитель президента Джеймс Бирнс, представители госдепартамента и Военно-морских сил Уильям Клейтон и Ральф Бард. Три руководителя научных организаций, работавших на войну,— Ванневар Буш, Карл Комптон, Джеймс Конант. Это «комитет». При нем научные советники по атомным вопросам — доктора Роберт Оппенгеймер, Энрико Ферми, Артур Комптон и Эрнест Лоуренс. И военные советники — начальник штаба армии США генерал Джордж Маршалл и командующий Манхэттенским округом генерал Лесли Гроувз.

Прошло уже более двадцати дней после безоговорочной капитуляции нацистской Германии. Там вылавливали военных преступников. Американские солдаты поторговывали на черной бирже и носились на джипах по щебенке и битым кирпичам, устилавшим улицы разоренных городов. В воздухе еще висела тончайшая красноватая кирпичная пыль, а из руин тянуло тошнотворным сладковатым запахом. У котлов полевых солдатских кухонь выстраивались длинные очереди отощавших немцев. Русские солдаты делились с немцами своим пайком. Советские коменданты пытались налаживать нормальную мирную жизнь. Немцы были теперь покладисты. Исчезла военная организация, исчез воинственный немецкий дух.

Люди, собравшиеся в кабинете министра, казалось, забыли, почему они так торопились создать атомную бомбу. Они уже не помнили, что их толкал страх, страх перед тем, что немецкие ученые создадут атомную бомбу пер-

выми. Более того, они уже знали результаты миссии «Алсос» — разведывательной операции, предпринятой для того, чтобы ознакомиться с успехами немецкой физики.

Успехов не было, не было и в помине немецкой атомной бомбы.

Оставалась Япония.

— Бомбу надо взрывать над землей с помощью нового взрывателя,— деловито докладывал доктор Оппенгеймер.— Так будет получен наибольший военный эффект. Будет убито приблизительно двадцать тысяч человек...

— Я считаю своим долгом,— поддержал его генерал Гроувз,— рекомендовать применение атомной бомбы. Слишком много наших парней умирает ежедневно на полях сражений...

Многие члены комитета согласно кивали головами. Да, да, у японцев отличная авиационная промышленность. Об этом кричат все газеты. С осени сорок четвертого года японцы пустили в ход летчиков-самоубийц «камикадзе». Буквально это означает «божественный ветер». По преданию, «божественный ветер» рассеял монгольский флот, приближавшийся к Японии.

Двадцатого ноября 1944 года у острова Улити были впервые применены человеко-торпеды «кайтенс», что означает «путь в рай».

Японцы будут сражаться до последнего. Это фанатики. Штурмуя Японские острова, можно убить два миллиона японцев и потерять миллион своих. Атомная бомба — это просто милосердие.

Генерал Маршалл придерживался другой точки зрения. Нет, ему не жаль японцев. Надо подумать о том, что будет после второй мировой войны. Сейчас русские — союзники Соединенных Штатов. Лично он думает, что Россия станет врагом № 1. Надо держать атомное оружие в секрете. В будущих военных действиях армия Соединенных Штатов окажется в выигрышном положении, если мы скроем, какая сила в наших руках.

— Теперь уже этого не скроешь,— усмехнувшись, сказал доктор Оппенгеймер.— Слишком много людей посвящено в атомные секреты. Да принципиально никакого секрета и нет. Все будет зависеть от промышленного потенциала страны, которая решит создать собственную бомбу.

У личного представителя нового президента господина Джеймса Бирнса, который ждет назначения на пост госу-

дарственного секретаря и мечтает делать «большую политику», другие соображения:

— Я думаю, атомную бомбу следует применить не столько с целью нанести поражение Японии, сколько для того, чтобы сделать Россию более сговорчивой в Европе.

Оставшись без поддержки, Маршалл согласился. Кому-кому, а Маршаллу было известно, что Япония истекает кровью, сражаться у нее нет уже сил. Японские главари больше всего боятся вступления в войну Советского Союза. Дипломатические представители Японии в Москве обивают пороги канцелярий большевистских деятелей, непрерывно кланяясь и ощеривая зубы в лицемерной улыбке.

На Тихоокеанском театре военных действий захвачена Окинава. 19 февраля американцы высадились на Иводзиму — островок длиной в восемь и шириной в четыре километра. Двадцатитысячный японский гарнизон бился до последнего. За месяц штурма захвачено всего сто японцев. Участвовало в боях 111 тысяч человек, 650 кораблей, 1,5 тысячи самолетов. Американцы потеряли двадцать тысяч человек. И они решили отыграться на японских городах.

Десятого марта 150 бомбардировщиков «Боинг-29», совершив налет на Токио, разрушили 300 тысяч домов и убили 100 тысяч человек за одну ночь. Потом пришла очередь города Осака. Бомбардировщики беспрепятственно днем и ночью бомбили города. Легкие японские домики горели как свечи. К лету Япония превратилась в ад.

Все было тщательно распланировано. В 1945 году на Японию предполагалось сбросить 1 000 050 тонн бомб. Нанесены удары 60 городам, убито 250 тысяч человек, ранено 313 тысяч, разрушено 2,5 миллиона домов. Так воевать было легче и дешевле.

Война высчитывалась в долларах. Имелись свои дивиденды и убытки. Промышленники надели генеральские мундиры. Дух торгашества овладел даже кадровыми военными.

Заседание «Временного комитета» длилось с 10 утра до 16 часов. Сделали перерыв на обед, во время которого директор Металлургической лаборатории Артур Комптон спросил военного министра Стимсона:

— А вы не думаете, сэр, что можно было бы провести такую невоенную демонстрацию, которая бы устрашила японцев? Например, над каким-нибудь пустынным островом... И предупредить их заранее, чтобы они могли наблюдать это зрелище,

Министр тотчас повторил вопрос Комптона во всеуслышание. Грузный Гроувз и сухощавый нервный Оппенгеймер замотали головами.

— Нет, нет, об этом нечего и думать. Предупреждать японцев нельзя. Они могут помешать проведению опыта. Если будет мало разрушений, что за смысл вообще бросать бомбу? И потом, не лучше ли закончить войну с Японией, прежде чем Россия доберется до нее?..

«Временный комитет» поддержал доктора Оппенгеймера и предложил своим ученым советникам обдумать, как осуществить демонстрацию атомного оружия.

Роберт Оппенгеймер, несмотря на свои сорок лет, пользовался большим влиянием.

В октябре 1964 года он будет оправдываться:

— Решение было предусмотрено проектом. Я не думаю, что осуществление его можно было остановить.

Написать заявление, которое должен был сделать президент после атомного удара по Японии, поручили Биллу Лоренсу.

7

— Вручать человечеству атомную энергию еще рано. Оно находится на слишком низкой ступени развития общественных отношений...

— В прошлые столетия ученые могли предложить эффективные средства защиты против каждого нового вида оружия. Теперь их нет. Путем научных изобретений ничего не сделаешь. Нужна новая политическая организация мира...

— Нужны срочные меры для установления международного контроля на основе взаимного доверия...

— Какое уж тут доверие, атомная бомба породит ужас и отвращение! Доверия не ждите...

— Вы представляете себе, что будет, если какой-нибудь низкий и злобный демагог в порыве безумной жажды власти попытается покорить мир с помощью атомной бомбы?..

— Нельзя допускать, чтобы эта штука существовала на земле. Мы, американцы, не должны стать народом, который будут ненавидеть и бояться больше всех на свете...

— Теперь, когда угроза со стороны Германии устранена, мы должны прекратить работу над этим проектом...

— Не говорите глупости, наука идет вперед, и бесполезно пытаться ее остановить. Какие бы неприятности ни

приберегала для человека природа, он должен принимать все, потому что не знать всегда хуже, чем знать...

— Если даже мы уничтожим все найденное нами, все равно другие люди в поисках научной истины выйдут на ту же дорогу. А тогда в чьих руках может оказаться бомба?

— Будет создан орган международного контроля над атомными исследованиями. Страх перед атомной бомбой приведет к взаимному доверию. А взаимное доверие — к единому мировому правительству. И войны не будет...

— Человечество еще не созрело для этого. В истории не было такого случая, чтобы, усовершенствование средств уничтожения отпугивало людей и мешало им затевать войны...

— Вот увидите, страны начнут соревноваться, кто больше произведет атомных бомб...

— Надо предложить правительству продемонстрировать новое оружие в пустыне или на необитаемом острове в присутствии представителей Объединенных Наций и мировой общественности.

— И тогда все увидят, какое оружие мы имели, но не воспользовались им...

Металлургическая лаборатория в Чикаго кипела. Здесь узнали, что решается вопрос о применении атомной бомбы против Японии. Ученые заговорили языком политических деятелей, создали свой комитет и избрали председателем его лауреата Нобелевской премии профессора Джеймса Франка. Протестуя против применения бомбы, они составили доклад и вручили его военному министру Стимсону.

Десятого июня Оппенгеймер пригласил в Лос-Аламос Ферми, Лоуренса и Комптона. Лоуренс попробовал стать в оппозицию к другим советникам «Временного комитета». Аргументировал он неуклюже и неубедительно.

— Поймите, ведь в Японии живут мои бывшие ученики...

— Поймите вы,— перебил его Оппенгеймер.— Взрыв бомбы над пустыней не произведет нужного впечатления.

— Ни у одного из этих крикунов нет родственников на фронте,— добавил генерал Гроувз.— Они могут позволить себе быть мягкими по отношению к японцам.

Лоуренс сдался.

«Доклад Франка» застрял в канцелярии военного министра. Зато рекомендации «Временного комитета» были тотчас положены на стол президента:

«1) Бомба должна быть применена против Японии как можно скорее.

2) Она должна быть использована против двойного объекта, то есть против военной базы или военного завода и окружающих его жилых зданий, наиболее легко поддающихся разрушению.

3) Она должна быть применена без предупреждения о характере и природе атомного оружия.

Приемлемых альтернатив военному использованию нет».

Член комитета Ральф Бард пытался протестовать против последнего пункта, но его уже никто не слушал.

Оружие создано. Противиться соблазну применить его было трудно.

8

«И пусть никто не ошибается на этот счет. Я считал атомную бомбу военным оружием и никогда не сомневался в том, что она должна быть брошена. Высшие военные и научные советники президента рекомендовали ее применение...»

Так писал потом в своих мемуарах Гарри Трумэн. И трудно понять, чего больше в этих словах — наглости или трусости. Он будто бы и гордится тем, что именно ему пришлось принять в первых числах июля окончательное решение. И в то же время он старательно прячется за спины своих советников...

С чистой совестью таких строк не пишут. Советники президента тоже исписали потом по пухлому тому, стараясь обелить себя перед потомками. И они тоже оправдывались. Человек не оправдывается, если он ни в чем не виноват.

Второго июля 1945 года военный министр докладывал президенту: «...У Японии нет союзников. Ее военно-морской флот почти уничтожен, и она может быть подвергнута надводной и подводной блокаде, которая заставит голодать ее население. Ее перенаселенные города, промышленные центры и запасы продуктов питания открыты для массированных ударов нашей авиации».

Японию и без атомной бомбы могли повергнуть на колени совместные удары советских и американских войск. Но Трумэн торопился, он уже думал о «холодной войне». Он пытался далеко смотреть, этот маленький бакалейщик, он хотел испугать мир, он хотел приструнить Россию, он хотел войти в историю. И он получил геростратову славу.

9

В начале июля доктор Комптон вернулся в Чикаго и вскоре получил телеграмму. Роберт Оппенгеймер приглашал его на рыбную ловлю. Комптон прочел телеграмму посвоему...

Шестнадцатого июля чикагские газеты сообщили о взрыве склада боеприпасов в штате Нью-Мексико, вызвавшем странные световые эффекты, которые видели жители многих городов. А вечером на квартире у Комптона зазвонил телефон.

— А, это вы, Оппи,— сказал Комптон, по привычке трогая пальцем седую щеточку усов,— ну, как там?

— Вам будет интересно узнать, Артур,— сказал далекий голос Оппенгеймера,— что мы поймали очень большую рыбу.

Семнадцатого июля Трумэн, прибывший на Потсдамскую конференцию вместе со Стимсоном, Маршаллом, Арнольдом и другими высокопоставленными советниками, отправился в Берлин. Он посмотрел на немцев, уныло тащивших тележки со скарбом, покосился на пустые глазницы рейхстага и красный флаг, полоскавшийся на ветру.

Поездка продолжалась недолго. Там, где когда-то была Унтер-ден-Линден, президентский кортеж догнал джип. Отдав честь, офицер вручил Трумэну радиограмму.

«Роды прошли благополучно»,— прочел президент и тотчас приказал ехать в Потсдам.

В тот же день генералов Маршалла и Арнольда вызвали на виллу Стимсона. Министр показал им радиограмму об успешных испытаниях атомной бомбы в Аламогордо:

«Врач только что вернулся весьма довольный и уверенный, что младенец такой же здоровяк, как его старший брат...»

«Младенец» и «его старший брат» были плутониевой и урановой бомбами.

— Джентльмены,— сказал военный министр,— надо окончательно определить объекты бомбардировки. Генерал

Арнольд, прошу подготовить к следующему совещанию свои соображения... Надо торопиться. Помните, как только Россия вступит в войну против Японии, если она, конечно, сделает это, японцы, вероятно, пожелают окончить войну на любых условиях.

Так и было записано в протоколе этого совещания.

10

«Япония побеждена. Мы стоим перед этим фактом и должны действовать соответственно».

Генерал Арнольд несколько раз перечитал бумагу, только что принесенную адъютантом. Это была радиограмма, посланная японским премьером Того в Москву своему послу Сато. Американцы давно уже раскрыли японский секретный код для дипломатической переписки и дешифровывали ее весьма успешно. Арнольд отложил радиограмму и взялся за пухлую пачку служебных документов, доставленных самолетом из Соединенных Штатов.

В эти дни все прибывшие с президентом военные читали отчеты генералов Гроувза и Фаррелла о проведении испытаний атомной бомбы в штате Нью-Мексико. Гроувз, как всегда, писал только факты, избегая эмоционально окрашенных слов. Не таков был отчет генерала Фаррелла. Читая его описание последних мгновений перед взрывом, военные только крутили головами — сухари недовольно, иные — восхищенно и даже завистливо. Для журналистов отчет Фаррелла впоследствии не раз служил источником вдохновения.

«...Оставались уже не минуты, а секунды, и напряжение росло с неимоверной быстротой. Каждый, кто находился на командном пункте, знал ужасающие потенциальные возможности того, что должно было произойти. Ученые чувствовали, что расчеты верны и что бомба взорвется, но вместе с тем сердце каждого грыз червь сомнения. Чувства многих можно было передать словами: «Господи, верую, помоги мне, боже, в моем неверии».

Мы входили в неизвестность и не знали, что из всего этого получится. Можно с уверенностью сказать, что большинство присутствовавших молилось, и молилось так, как не молилось никогда. Если взрыв будет успешным, то это оправдает несколько лет интенсивной работы десятков тысяч людей — государственных деятелей, ученых, инженеров, промышленников, солдат и многих других...

В это время в далекой пустыне Нью-Мексико колоссальные умственные и физические усилия многих тысяч людей должны были вдруг принести плоды. Доктор Оппенгеймер, который нес чрезвычайно тяжелое бремя ответственности, с каждой секундой нервничал все больше и больше. Его едва держали ноги, он затаил дыхание и прислонился к столбу. Последние секунды он не поворачивал головы, а затем, когда диктор крикнул: «Пора!» — когда вспыхнул нестерпимый свет и раздался раскатистый рев взрыва, лицо его обмякло — было видно, что ему сразу стало легко. Несколько наблюдателей, высунувшихся из укрытия, чтобы взглянуть на световые эффекты, были сбиты с ног ударной волной.

Напряжение на командном пункте спало, и все стали поздравлять друг друга. «Вот оно!» — думал каждый. Что бы теперь ни случилось, все знали — невозможное сделано. Расщепление атомного ядра — уже не только мечта физиков-теоретиков. Оно родилось почти взрослым. Все находившиеся в убежище чувствовали, что они должны теперь посвятить свою жизнь тому, чтобы их открытие всегда использовалось во имя добра и никогда — во имя зла.

Доктор Конант пожал руку генералу Гроувзу. Доктор Буш, который был по другую сторону от генерала, сделал то же самое. Крича от радости, доктор Кистяковский обнял доктора Оппенгеймера...

Вся окрестность озарилась палящим светом, яркость которого во много раз превосходила яркость полуденного солнца. Свет был золотой, пурпурный, лиловый, серый и синий. Каждая вершина, каждое ущелье и гребень близлежащего горного хребта были видны так ясно и были так красивы, что этого нельзя описать, а надо видеть. Даже великим поэтам, мечтающим о такой красоте, не хватит слов, чтобы ее описать. Спустя тридцать секунд после взрыва воздушная волна сильно ударила по предметам и людям, и тотчас раздался раскатистый, чудовищный, леденящий сердце рев, похожий на трубный глас Судного дня, и мы почувствовали себя ничтожными существами, богохульно дерзнувшими затронуть силы, оставленные для себя Всевышним. Слова — слишком несовершенное средство, чтобы передать все, что мы пережили. Чтобы понять нас, надо увидеть это собственными глазами».

— Старый сентиментальный болван, — сказал генерал Арнольд, переворачивая последнюю страницу отчета генерала Фаррелла.

Двадцать первого июля у Стимсона вновь собрались начальники штабов, и генерал Генри Арнольд докладывал:

— Сэр, я считаю непременным условием успеха операции самое тесное взаимодействие командующего стратегической авиацией на Тихоокеанском театре генерала Спаатса с руководителем Манхэттенского проекта генералом Гроувзом. Что же касается объектов бомбардировки, то я предлагаю одобрить список городов, выбранных изыскательской группой доктора Оппенгеймера еще в марте, тем более что с тех пор они не подвергаются обычным бомбардировкам. Перечисляю объекты в порядке важности:

Хиросима, 218 тысяч жителей, крупный промышленный центр, место дислокации штаба Пятой армии и 25 тысяч солдат;

Кокура, 173 тысячи жителей, сталелитейные и химические заводы, важный стратегический пункт у южного выхода из тоннеля, соединяющего острова Хонсю и Кюсю, что позволит проверить воздействие взрыва на крупные инженерные сооружения;

Нагасаки, 197 тысяч жителей, крупные судоверфи.

Город Ниигату,— продолжал Арнольд,— предлагаю исключить из списка, так как он находится значительно севернее трех перечисленных объектов. Город Киото, сэр, вы исключили сами, хотя я сожалею об этом, потому что он расположен в котловине, а это позволило бы применить атомное оружие с наибольшей эффективностью и раскрыть полно его разрушительные свойства...

— Не забывайте, что это древняя столица и священный город японцев,— сказал Стимсон.— Надо уважать религиозные чувства даже своих противников. А Ниигату пока оставим.

Стимсон был благочестив, и, кроме того, на него оказали большое давление из-за самых горячих хлопот разведчика-японоведа профессора Рейшауэра.

— Я предлагаю,— добавил Арнольд,— произвести прицельное бомбометание на Хиросиму, Кокуру и Нагасаки в порядке их перечисления. В случае, если первый по важности объект будет закрыт облаками, бомбить второй и так далее...

— А может быть, все-таки бросить бомбу на рисовые поля или на чисто военную цель,— сказал один из генералов.— Например, на остров Трак. Гарнизон его все равно

обречен, атака начнется через несколько дней. Можно будет предупредить японское правительство, пусть посмотрят, что это такое.

— И на нем японцы сосредоточат военнопленных,— язвительно заметил Стимсон.— Нет, джентльмены, вопрос решен окончательно. У нас есть прямые указания президента...

Итак, первой в списке стояла Хиросима, второй — Кокура, затем Нагасаки и Ниигата.

12

Доклады генералов Гроувза и Фаррелла военный министр Стимсон привез на виллу, в которой остановился президент, и прочел их вслух.

Трумэна словно подменили. Теперь он вел себя на переговорах с русскими напористо и даже высокомерно. Черчилль удивленно посматривал на американского президента, пока ему не показали знаменитые доклады.

Стимсон записал в своем дневнике:

«Черчилль прочитал доклад Гроувза полностью и рассказал мне о вчерашней встрече большой тройки. По тому, как Трумэн энергично и решительно противился нажиму русских и категорически отвергал их требования, он понял, что тот вдохновлен каким-то событием. «Теперь я знаю, что с ним произошло,— сказал он.— Вчера я не мог понять, в чем дело. Когда он пришел на конференцию после прочтения доклада, это был другой человек. Он твердо заявил русским, на что он согласен и на что нет, и вообще господствовал на этом заседании». Черчилль добавил, что ему понятны причины оживления Трумэна и он сам теперь испытывает то же».

Маршал Советского Союза Г. К. Жуков потом вспоминал:

«Не помню точно, какого числа, в ходе конференции после одного из заседаний глав правительств Г. Трумэн сообщил И. В. Сталину о наличии у США бомбы необычайно большой силы, не назвав ее атомной.

В момент этой информации, как потом писали за рубежом, У. Черчилль впился глазами в лицо И. В. Сталина, наблюдая за его реакцией, но тот ничем не выдал своих чувств, сделав вид, будто ничего не нашел в словах Г. Трумэна. Черчилль, как и многие другие англо-американские деятели, потом утверждал, что, вероятно, И. В. Сталин не понял значения сделанного ему сообщения.

На самом деле, вернувшись с заседания, И. В. Сталин в моем присутствии рассказал В. М. Молотову о состоявшемся разговоре с Г. Трумэном. В. М. Молотов тут же сказал:

— Цену себе набивают.

И. В. Сталин рассмеялся:

— Пусть набивают. Надо будет сегодня же переговорить с Курчатовым об ускорении нашей работы.

Я понял, что речь шла о создании атомной бомбы»[1].

История посмеялась над детской игрой в конспирацию, которой занимались американские руководители.

И тем не менее 25 июля Трумэн записал в дневнике: «Я принял решение».

13

Совершенно секретно
24 июля 1945 г.

ГЕНЕРАЛУ КАРЛУ СПААТСУ, КОМАНДУЮЩЕМУ СТРАТЕГИЧЕСКИМИ ВВС США

1. 509-му сводному полку 20-й Воздушной армии после 3 августа 1945 года сбросить первую специальную бомбу на объекты: Хиросима, Кокура, Нагасаки и Ниигата, как только погода позволит произвести прицельное бомбометание. Для наблюдения за результатами взрыва бомбы самолет, несущий бомбу, должны сопровождать самолеты с военным и гражданским персоналом военного министерства.

2. Сбросить другие бомбы на вышеперечисленные объекты, как только они будут изготовлены. В случае перемены объектов будут даны дополнительные указания.

3. Распространение любой информации относительно применения оружия против Японии разрешается только военному министру и Президенту Соединенных Штатов. Командирам не давать никаких интервью без разрешения высшего командования. Все газетные корреспонденции посылать в Военное министерство для специальной цензуры...

---

[1] Г. К. Жуков. Воспоминания и размышления. М., 1974, т. 2, стр. 418.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

8.15 ПО ЯПОНСКОМУ ВРЕМЕНИ

Солдат... Кроме армейских ботинок на босу ногу и меча, у него ничего нет.

Еще один молодой солдат. У него переломаны руки и повреждены ноги. Раненые солдаты, закутавшись в одеяла, блуждают по дорогам, ища спасения.

Обессиленные, они уже не могут плакать.

Пересохшие рты, воспаленные глотки выдавливают слабый стон. Они бредут и падают один за другим.

...Вокруг все замерло. Кажется, время прекратило свое течение. Тишину нарушает голос сумасшедшего, который непрерывно выкрикивает: «Самолеты!.. Б-29...» Этот уже не встанет на свои искалеченные, окровавленные и покрытые грязью ноги и ничего не увидит выкатившимися из орбит глазами. Голые и растерзанные, солдаты ковыляют, ползут, стремясь спасти себя и оставляя на дороге раненых.

А у моста Сёсэй, в районе эпицентра взрыва, вперемежку с телами японских солдат лежат двое мертвых солдат-американцев, закованных в наручники...

Облако, высоко взметнувшееся в ясную синь неба, сгустилось в тучу и пролилось на землю тяжелым черным дождем. Потом появилась радуга.

В небе, завешенном темной пеленой дождя, сияла настоящая семицветная радуга.

Комментарии к панно Ири и Тосико Маруки «Радуга»

1

Билл Лоренс немного опоздал. Он прибыл на Тиниан 5 августа, когда бомбу уже грузили в громадный серебристый бомбардировщик Б-29.

Еще четвертого августа Лоренс не знал, куда его везут. Тиниан был строго засекречен. С-54, на котором Лоренс вылетел из Калифорнии на Гавайские острова, вернулся с полпути, так как военный аэродром Хикам не принимал самолеты. 5 августа он наконец добрался до Гуама, где его встретил контрразведчик старший лейтенант Дель Дженио, доставивший его на Тиниан.

Но Лоренс твердо знал — раз уж он видел атомные испытания в Нью-Мексико, значит, ему разрешено увидеть и первый атомный взрыв над японским городом. Он немедленно разыскал генерала Фаррелла в надежде, что тот разрешит ему участвовать в полете. Генерал знал Лоренса по Лос-Аламосу.

— А, пресса! — сказал генерал. — С благополучным прибытием вас.

— Господин генерал, разрешите мне лететь сегодня ночью.

— Нет, дорогой друг, уже слишком поздно. Полетите в другой раз, одиннадцатого августа.

— Но ведь другого раза может и не быть?

— Дай бог, — ответил генерал.

Ревели моторы взлетающих и садящихся самолетов, по бетонным дорожкам сновали джипы с экипажами. Лоренс решил не терять времени даром и отправился пополнять свой корреспондентский багаж.

Вскоре он узнал, что 509-й сводный полк — это нечто вроде острова на острове. 150 летчиков и около двух тысяч человек обслуживающего персонала жили и работали обособленно от других полков.

В некотором отдалении от аэродрома стояли дома, путь к которым преграждала колючая проволока и специальные подразделения военной полиции. В большом здании, снабженном установками кондиционирования воздуха, небольшая группа ученых собирала атомную бомбу. Впрочем, слово «атомная» не произносилось.

Летчики других полков летали на боевые задания. Они бомбили японские укрепления и города. Многие гибли. Самолеты нередко возвращались с изрешеченными плоскостями и израненными экипажами. Над людьми из «пятьсот девятого» подшучивали, как могли. И тем приходилось туго под градом насмешек. Ведь они и сами не знали, почему живут под охраной, в обстановке полной секретности. Изредка небольшими группами (по три самолета) они вылетали к какому-нибудь вражескому объекту и сбрасывали всего одну бомбу, которую армейский жаргон окрестил «тыквой». (Переоборудованные самолеты уже не годились для несения обычных бомб, и поэтому для них изготавливались бомбы особой формы.)

Весь Тиниан распевал ядовитую песенку:

Никто не знает, где они были,
Что они ели и что они пили...

Даже японское радио, очевидно получившее сведения от своей разведки, издевалось над «пятьсот девятым».

Так продолжалось до тех пор, пока из Потсдама не прибыл приказ генералу Спаатсу.

На нескольких самолетах бомбу уже доставили в Сан-

Франциско и погрузили на быстрейший в американском флоте крейсер «Индианаполис». Об этом на всем корабле знали только три человека, но матросы догадывались, что в деревянном ящике находится что-то очень важное, и писали на нем оскорбительные надписи в адрес японцев. Крейсер прибыл на Тиниан благополучно, так как на всем пути его следования океан как бы прочесали, чтобы корабль не стал жертвой подводных лодок.

Разгрузившись на Тиниане, крейсер взял курс на Филиппины, и 30 июля в него угодила торпеда, пущенная с японской подводной лодки. Спасательные суда прибыли к нему лишь на четвертый день, когда от 1196 человек экипажа осталось в живых только 316.

Двадцать восьмого июля три Б-29 из 509-го полка доставили активные материалы, электронное оборудование и заместителя Гроувза генерала Фаррелла. У одного из самолетов заклинило рули. Он едва не погиб при взлете и прилетел на Тиниан лишь 2 августа.

А пятого августа атомное страшилище уже было в бомбовом отсеке «Энолы Гэй». Так звали мать полковника Пола Тиббетса-младшего, и так он назвал свою машину.

Бомбу вынесли из сборочного помещения в 14.30, кортеж, который двигался к самолету, показался Лоренсу похоронной процессией. Впереди ехал джип с военной полицией. За ним — грузовик с покрытой брезентом бомбой, похожей на гигантский труп. Следом шли машины офицеров во главе с генералом Фарреллом.

По пути на Тиниан генерал Фаррелл остановился на Гуаме, где были штабы командующего Двадцатой воздушной армией генерала Кэртиса Лемэя и командующего флотом адмирала Честера Нимитца. Было решено расставить подводные лодки по маршруту полета атомных бомбардировщиков и держать наготове «летающие лодки», чтобы в нужный момент оказать поддержку...

После совещания адмирал Нимитц подвел генерала Фаррелла к окну и указал ему пальцем на остров, который было видно с Гуама.

— Это остров Рота,— сказал адмирал.— Там около трех тысяч японцев. Они нас очень беспокоят. У них радиостанции. Они знают все, что мы делаем, и шлют донесения своему штабу. У вас нет какой-нибудь небольшой бомбочки, чтобы сбросить на Роту? Я не думаю, чтобы стоило сейчас высаживать на нем десант. Но японцы мешают нам.

— К сожалению, адмирал,— ответил Фаррелл,— все наши бомбы слишком велики [1].

2

Рано утром 5 августа стало известно, что на следующий день будет благоприятная погода для ответственного боевого вылета. Бомбу стали лихорадочно готовить к погрузке. И тут произошла заминка.

Капитан первого ранга Уильям Парсонс имел прозвище «Дьякон», пожалуй, не из-за манер, а по ассоциации с фамилией. «Parson» по английски значит «священнослужитель». С Тиббетсом он встретился впервые в Колорадо Спрингс, где полковник узнал о назначении на новую должность. Пока Тиббетс тренировал экипажи в штате Юта, Парсонс, вернувшись в Лос-Аламос, рассчитывал траекторию падения атомной бомбы. Он был начальником военного отделения Лос-аламосской лаборатории.

Инженер-артиллерист, он также работал над взрывными устройствами. Одно из них должно было взорвать атомную бомбу в 1800 футах над целью. Естественно, что Парсонса поставили во главе группы техников, снаряжавших бомбу в последний путь.

Только вчера четыре тяжелогруженых бомбардировщика Б-29 разбились и сгорели при взлете. И тогда им овладело беспокойство. А что, если и при взлете «Энолы Гэй» случится авария? Погибнут десятки тысяч людей, сотни бомбардировщиков. Парсонс пошел к генералу Фарреллу.

— Вы знаете,— сказал он ему,— если мы завтра стукнемся на конце полосы и самолет загорится, может произойти взрыв. Весь наш распрекрасный Тиниан взлетит на воздух, и мы сами превратимся в облачко активных газов.

— Что же делать? — ответил генерал.— Будем молить бога, чтобы этого не случилось.

— Но если я соберу бомбу окончательно уже в воздухе, этого не случится.

— Значит, вы хотите устроить все так, чтобы в случае неудачного взлета мы потеряли только самолет, бомбу, эки-

[1] «Вскоре после прибытия Фаррелла на Гуам,— писал впоследствии генерал Гроувз,— была получена телеграмма Спаатса, в которой сообщалось... о наличии лагеря, расположенного в одной миле от Нагасаки с несколькими сотнями пленных солдат войск союзников». По настоянию генерала Гроувза было решено «послать Спаатсу указание не принимать во внимание этот фактор».

паж и вас и сохранили остров. Правильно я вас понимаю?— спросил генерал.

— Да.

— Неплохо придумано. А прежде вы собирали такую бомбу?

— Нет, но у меня еще целый день впереди, чтобы выяснить, как это делается.

— Ну, давайте выясняйте,— сказал генерал Фаррелл.

И Парсонс отправился к ученым, которые весь день инструктировали его и показывали, как что делается. К вечеру у него появилась уверенность, что теперь он справится...

В десять часов вечера 5 августа шесть отобранных экипажей собрались для инструктажа. Это был уже второй инструктаж. Утром 4 августа полковник Тиббетс пригласил в свой кабинет пилотов — майора Марквардта и капитанов Суини, Льюиса, Изерли... Там их ждали капитан первого ранга Парсонс и другие ученые. Тиббетс коротко сказал о мощной бомбе, не употребляя слова «атомная». Летчики посмотрели несколько фильмов о первом испытательном взрыве в Нью-Мексико.

— Командование считает, что эта бомба ускорит окончание войны,— сказал Тиббетс в заключение. И, помолчав, объявил: — Наш вылет назначен на 2.45 послезавтра, шестого августа.

3

Все это Лоренс узнал, бродя по аэродрому и в суматохе разыскивая пилотов 509-го полка. Он уже успел подружиться с капитаном Робертом Льюисом, вторым пилотом «Энолы Гэй», только что вернувшейся из последнего испытательного полета. Часов в 10 вечера они сидели в баре, куда зашли выпить по стакану пива, когда к ним подошел вестовой и передал капитану приказание полковника Тиббетса явиться в клуб на инструктаж.

— Пойдем, Билл,— сказал Льюис,— послушаем, что Старый Бык нам скажет сегодня.

— Старый Бык? Это прозвище Тиббетса? — спросил Лоренс.

— Да.

— А сколько же лет вашему Старому Быку?

— Тридцать. А если судить по педантичности и другим

свойствам характера, то наберется все пятьдесят. Вам разрешили присутствовать на инструктаже?

— Разрешили. Жаль только, лететь с вами не придется. Вы представляете, Боб, как мне не повезло!

— Ничего, мы вам все расскажем...

Ровно в 10 часов экипажи шести самолетов сидели на длинных некрашеных скамьях клуба. Здание построили совсем недавно, и в воздухе еще стоял запах свежеоструганных досок и известки. Против обыкновения, в зале было тихо, никто не шутил, не разговаривал. Командиры еще ничего не говорили своим экипажам, но те чувствовали, что произойдет необычное и они наконец узнают, для чего им пришлось так долго переносить насмешки товарищей.

Полковник Тиббетс поднялся на сцену.

— Сегодня ночью,— сказал он,— случится то, чего мы все ждали. Мы узнаем, завершатся ли успехом долгие месяцы тренировок. То, что мы сделаем ночью, возможно, войдет в историю. Перед нами стоит задача сбросить бомбу, отличную от всех бомб, о которых вы слышали прежде. Взрыв этой бомбы по своей разрушительной силе равен взрыву двадцати тысяч тонн тола...

И опять Тиббетс не произнес запретного слова «атомная». Да и не надо было, никому из присутствовавших это слово все равно ничего не сказало бы.

Тиббетс замолчал, видно ожидая вопросов. Но в зале стояла тишина, люди смотрели на него изумленно и недоверчиво.

Тогда Тиббетс зачитал инструкцию.

«...Когда устройство будет сброшено, немедленно сделайте поворот на 150°...

Когда устройство покинет ваш самолет, оно будет падать по той же траектории, что и любая другая бомба. Оно будет падать не только вниз, но и лететь вперед по инерции, полученной от вашего самолета. Так падают все бомбы, и самолеты пролетают над взрывом. Вам ни в коем случае нельзя пролетать над взрывом...»

Тиббетс поставил задачу каждому экипажу. 6 августа в 1.45 ночи вылетают три самолета. Они будут сообщать о погоде, летая над тремя объектами — японскими городами Хиросима, Кокура и Нагасаки. Главный объект — Хиросима. (Ниигата все-таки была вычеркнута из списка.)

Затем в 2.45 вылетают следующие три самолета. Один из них будет пилотировать лично полковник Тиббетс. Этот

самолет нанесет удар. Все три самолета встретятся над островом Иводзима, чтобы появиться над объектом вместе.

После небольшого перерыва инструктаж продолжался. У людей все еще был ошеломленный вид. Им рассказали о том, что произошло в Нью-Мексико, и раздали по паре темных очков. Они выслушали строгий наказ не глядеть на вспышку незащищенными глазами, но все это по-прежнему было выше их понимания.

Инструктаж закончился молитвой капеллана, капитана Уильяма Дауни:

— Великий боже, услышь наши молитвы, будь с теми, кто осмеливается подняться в твои небеса и сражается с врагами. Охрани и защити их, молим тебя... Мы всегда будем верить в тебя, зная, что мы под защитой твоей отныне и вовеки веков. Аминь.

Лоренс вглядывался в хмурые лица. О чем они думают? Может, вспоминают несчастную команду «Индианаполиса». Сегодня днем, когда бомбу подвешивали в чреве «Энолы Гэй», они вспоминали парней с «Индианаполиса», сделавших на теле бомбы оскорбительные надписи в адрес японского императора. А быть может, их томит предчувствие чего-то страшного, хотя по-настоящему никто из них не понимает, какой груз они везут. Для них, несмотря на чрезвычайное положение полка, все это боевая рутина. Бомба есть бомба, ее надо сбросить. Они сейчас ничего не поймут, даже если им сказать, что при взрыве высвободится колоссальная атомная энергия.

Потом, когда атомный взрыв оповестит мир, что наступила новая эра в жизни человечества, они станут гордиться сделанным. А много позже, когда перевернутся представления людей о политике и будут затронуты основы их существования, они поймут все...

Молчаливо пошли они в столовую, где весельчак сержант Истерли накормил их роскошным предполетным ужином.

— Ну, чего, ребята, приуныли. Глядите, настоящие яйца, порошком сегодня не кормлю. Нравится? Бифштекс с кровью. Сделайте ему харакири...

— Заткнись, Элиот,— оборвал его кто-то.

Тиббетс прихлебывал кофе и курил, курил...

— Все в порядке,— сказал он,— кроме одного. Нам придется лететь на высоте 1200 метров вместо 2700.

— Да,— откликнулся Роберт Льюис.— Если попадем в

кучевые облака, начнется болтанка, и Парсонсу с его контактами и проводами придется туго.

После ужина все отправились на аэродром и собрались вокруг «Энолы Гэй». Там уже были установлены юпитеры, жужжали кинокамеры, щелкали затворами фотографы. Репортерам не было известно, какое задание летит выполнять экипаж, но в штабе они пронюхали, что это «начало новой эры». Журналистское чутье подсказывало — происходит событие историческое. Репортеры хватали за руки членов экипажа, совали в руки свои кольца и часы, умоляя надеть, чтобы потом эти вещи превратились в сувениры.

Лоренс пробился к Роберту Льюису.

— Боб,— попросил он,— прошу вас... Вот вам тетрадка. Ведите журнал полета, делайте записи... ну так, как вы писали бы письмо папе и маме, домой в Нью-Джерси.

— Ладно,— сказал Льюис.

Роберт Льюис исчезает в самолете. Он занимает место второго пилота, справа от Тиббетса. Три Б-29 стоят на трех параллельных взлетных полосах. Капитан Чарльз Суини летит на «Великом артисте». Он будет следовать за «Энолой Гэй» с интервалом в четыре мили и сбросит записывающий прибор для определения силы взрывной волны. Показания прибора Суини примет по радио и передаст ученым на Тиниан. Майор Джордж Маркквардт на безымянном самолете № 44-191 будет лететь сзади, на расстоянии 40 миль и фотографировать. Но сначала все три самолета встретятся над островом Иводзима...

Точно в 2.45 в понедельник 6 августа все три самолета одновременно начали разбег для прыжка на Японию. Средний самолет пилотировал Тиббетс. Он устало махнул рукой провожающим.

Билл Лоренс вскочил в джип генерала Фаррелла, и они помчались в диспетчерскую. С высоты, из стеклянного колпака ее, была видна «Энола Гэй», набиравшая скорость. Она не отрывалась от земли до последнего метра взлетной полосы. «Что же это?» — думали все. «Мы словно пытаемся поднять ее в воздух своими молитвами»,— сказал генерал Фаррелл. Каждый, кто знал о разговоре Парсонса с Фарреллом, стоял ни жив ни мертв.

Но «Энола Гэй» оторвалась на последнем метре полосы и исчезла в темном небе.

Операция, имевшая кодовое название «Выдвижной киль», началась.

4

Бомбардировщик Б-29 № 44-88 282, известный под названием «Энола Гэй», дрожал, словно в смертельном ужасе. Работали все четыре двигателя.

— «Тинианская башня», я «Димплз-82». К вылету готов. Разрешите взлет,— говорит Тиббетс.

— «Димплз-82», я «Тинианская башня». Разрешаю взлет. Желаем удачи!— раздается в наушниках голос диспетчера.

Б-29 начал медленно двигаться между огнями взлетной полосы. Потом он быстро набрал скорость. Стремительно приближались прожекторы, обозначившие конец взлетной полосы.

Самолет долго летел на высоте нескольких сот футов перед тем, как набрать высоту. Исчезли огни аэродрома.

Только в двухстах милях от Тиниана «Энола Гэй» поднялась на четыре тысячи футов.

Через пятнадцать минут после взлета второй пилот Роберт Льюис раскрыл тетрадку, полученную от Лоренса. Самолет ведет Тиббетс. Ровно ложатся строчки записи:

«*2 часа 45 минут*. Мы отпускаем тормоза и даем газ. Тиббетс ведет машину по земле на протяжении всех двух миль взлетной дорожки, так долго не решаясь оторваться от нее, что я тихонько шепчу ему:

— Давай, Пол!

Самолет тяжело отрывается от бетона — его вес почти на шесть с половиной тонн превышает норму. Мы взлетаем, и я убираю шасси. Тиббетс направляет самолет немного вниз, чтобы набрать скорость, а я увеличиваю подачу горючего.

На высоте 200 футов мы разворачиваемся влево и ложимся а курс 338 градусов. До Иводзимы 622 мили.

2 часа 50 минут. Гудит зуммер.

— Полковник Тиббетс, говорит капитан Парсонс...

— Слушаю, капитан.

— Если у вас все в порядке, я начну.

— О'кей.

Я оборачиваюсь и в полумраке вижу Парсонса, рассеянно выколачивающего о каблук свою остывшую трубку. Потом он внимательно смотрит на индикаторные лампочки контрольного пульта. Парсонс встает, и его долговязая фигура протискивается вниз, в бомбовый отсек. Лейтенант Моррис Джексон, его помощник, исчезает за ним».

5

В эту ночь на Тиниане не спали. У генерала Фаррелла был специальный код для переговоров с капитаном Парсонсом. Каждое слово в этом коде означало целую фразу, предусматривались любые неожиданности, с которыми Парсонс мог встретиться. Парсонс заверил генерала, что он уничтожит код, если самолет будет сбит.

Мало кто знал, что Парсонс перед самой посадкой в самолет попросил пистолет у старшего лейтенанта Дель Дженио. Парсонс был единственным человеком на борту «Энолы Гэй», знавшим секреты атомной бомбы. Он очень боялся пыток, он не был уверен, что не выдаст секретов, и потому решил, что живым в руки японцев он не попадет.

Уже через сорок пять минут после взлета Фаррелл спрашивал Тиббетса, как Парсонс управляется с бомбой. Но ответа на это еще получить не мог.

Лоренс с другими репортерами делали наброски будущих статей. Из уст в уста переходили имена Парсонса, Джексона, Тиббетса, Льюиса, бомбардира майора Томаса Фириби, штурмана капитана Теодора Ван-Кирка, локаторщика — сержанта Джо Стирборика и радиста капрала Ричарда Нельсона...

К утру стало известно, что, по донесению капитана Клода Изерли, командира самолета наведения, небо над Хиросимой чистое. В 9.20 наконец пришло короткое известие: «Задание выполнено».

6

Роберт Льюис продолжал делать записи:

«*3 часа 13 минут*. Какие-то неполадки в связи. Включая внутренний телефон, слышим радиосигналы. Вероятно, спутались провода. Или замкнулись. Тиббетс приказывает прекратить внутренние переговоры. Он продолжает поддерживать связь с генералом Фарреллом. Они говорят по коду.

— Как дела у Парсонса? — спрашивает Фаррелл.

— Он еще не кончил,— отвечает Тиббетс.

Ревут моторы. Мы летим со скоростью 214 миль в час, уклоняясь, насколько возможно, от встречи с кучевыми облаками — надо заботиться о Парсонсе. Они с Джексоном скорчились на маленькой площадке за бомбой. Мы знаем, что им нужно правильно срастить дюжины две проводов — взрывное устройство в основном электрическое.

3 часа 20 минут. Медленно, тяжело подтянулся и вылез из бомбового отсека Парсонс. Он молча кивает нам, и мы понимаем, что бомба готова. В это мгновенье обрывается связь с Тинианом. В случае беды нам не от кого ждать помощи.

4 часа 20 минут. Штурман Теодор Ван-Кирк, которого мы называем Голландцем, сообщает мне, что мы будем над Иводзимой в 5.52.

День был тяжелый. У Старого Быка измученный вид. Он заслуживает того, чтобы дать ему вздремнуть. Теперь за «Джорджем» (автопилотом) придется приглядывать мне.

4 часа 30 минут. Мы увидели на востоке бледную луну. Думаю, все вздохнут облегченно, когда мы сбросим бомбу и будем уже на пути домой. Или лучше — совсем дома.

4 часа 45 минут. Все так же идем на высоте 4500 футов, все так же избегаем облаков. Свет луны как-то подбадривает.

После попытки вздремнуть возвращается Тиббетс. Теперь я плетусь выпить ананасного сока и съесть бутерброд с ростбифом. По дороге останавливаюсь возле Парсонса. Он вновь и вновь перечитывает инструкцию. Зеленые глазки на контрольном пульте горят ровным немигающим светом.

— Какого дьявола обозначают все эти огоньки? — спрашиваю я.

Бережно свернув инструкцию, Парсонс отвечает:

— Капитан, если светятся зеленые огоньки — это хорошо. Если какой-нибудь из них погаснет и зажжется красный — будет плохо.

Понимаю, что он ничего больше не скажет. Спрашиваю только:

— Она готова?

— Думаю, что да, но перед сбрасыванием мне нужно быстро сделать еще две небольшие операции.

4 часа 59 минут. Курс на 340 градусов. Скорость полета 217 миль в час. Справа всходит солнце. После тридцати минут трудного маневрирования среди туч на рассвет приятно смотреть.

5 часов 52 минуты. Мы всего в нескольких милях от Иводзимы. Здесь погибло много наших ребят, чтобы у самолетов, возвращающихся с бомбежки, был аварийный аэродром. Если бы у нас были неполадки, то здесь, после встречи с двумя другими Б-29, мы передали бы бомбу «Великому артисту».

5 часов 55 минут. Мы встретились с «Великим артистом» и № 191 на три минуты позже срока. Медленно и осторожно они присоединяются к нам. Мы поворачиваем на северо-запад, оставляя позади уютно спящий Иво.

Низкие слоистые облака под нами начинают расти и утолщаться.

7 часов 10 минут. В облаках появились небольшие разрывы. Мы уже в двух часах лету от объектов. С самолетов наведения сообщений еще не было, и мы не знаем, на какой объект сбросим бомбу. Все зависит от погоды над объектами.

7 часов 30 минут. Капитан Парсонс окончательно снаряжает бомбу. Теперь она «ожила». Испытываешь странное ощущение, зная, что она за твоей спиной. Надо постучать по дереву.

Набираем высоту для захода на бомбежку. Ну, ребята, осталось совсем немного...»

7

«Энола Гэй» летела к объекту, который окончательно еще не был выбран. К Хиросиме, Кокуре и Нагасаки уже приближались три Б-29 — самолеты наведения. Они должны сообщить информацию о погоде над этими городами.

Бомбовый отсек был 15 футов длины. «Худышка» (таково было прозвище бомбы) имела 14 футов длины и 5 футов в диаметре. Парсонсу оставалось совсем немного места, чтобы втиснуть свою тощую фигуру.

— Посветите,— сказал Парсонс.

Джексон через его плечо направил луч фонаря на бомбу. Световое пятно выхватило из темноты зеленый кружок сантиметра три в диаметре. Парсонс взялся за него рукой и стал медленно вывинчивать. Положив зеленую пробку в карман, он достал из другого кармана такую же пробку, только красную. Зеленая пробка разрывала контакты электрической цепи, красная их соединяла.

— О'кей,— сказал Парсонс.— Взрывное устройство готово принять сигнал.

Вместе с помощником он выбрался из бомбового отсека. Бомба была готова к взрыву. Два маленьких кусочка урана-235 лежали порознь. Соединенные быстро и чисто в «критическую массу», они должны были породить гигантский взрыв... Вся система с зеленой и красной пробками была придумана в последние часы перед взлетом.

8

— Хиросима закрыта облачностью только на одну треть, пойдем на главный объект,— сказал Тиббетс второму пилоту Роберту Льюису, когда радист Дик Нельсон принес шифрованную радиограмму от капитана Клода Изерли, командира самолета с покерным названием «Стрейт Флаш», летевшего в этот момент над Хиросимой.

«Энола Гэй» была уже на высоте 31 000 футов и быстро приближалась к побережью Японии. К 9.00 «Энола Гэй» подошла к острову Сикоку и повернула на восток, чтобы ввести в заблуждение японских наблюдателей.

Вот уже выключен радар и самолет идет по курсу, который задает бомбардир майор Фириби, наводя «Энолу Гэй» на цель. Парсонс, отирая потный лоб, поднимает с пола листок с инструкциями и встает, чтобы бросить на бомбу последний озабоченный взгляд.

В 9.12 самолет летел точно на запад. Командование самолетом на три минуты, которые требовались для бомбежки, принял майор Фириби. Радист Нельсон послал долгий сигнал, давая знать командирам других самолетов Суини и Маркквардту, что осталось две минуты. Когда останется 20 секунд, они опять услышат сигнал. Он будет звучать до тех пор, пока бомба не отделится от самолета.

В своем прозрачном колпаке майор Томас Фириби крепко до боли прижался глазом к окуляру прицела для бомбометания. Он вводит в вычислитель информацию о высоте и скорости полета, о направлении ветра, чтобы получить точное время, когда бомбе следует устремиться вперед и вниз.

Высота 31 600 футов. Экипаж всматривается в небо. Ни один японский истребитель не вылетел навстречу.

Фириби увидел объект — город, рассеченный рукавами реки Ота. Крест прицела совпал с железобетонным мостом через ее главное русло.

Гигантский бомбардировщик дернулся. Бомба пошла вниз. На часах экипажа было 9 часов 15 минут...

8 часов 15 минут по японскому времени.

Последняя запись в тетради Роберта Льюиса: «Ненадолго отрываюсь от записей, пока будем бомбить цель».

Следующая запись:

«Боже мой!»

9

Ранним утром жители Хиросимы видели одинокий самолет наведения, который затем скрылся. На Хиросиму, Кокуру и Нагасаки американские бомбардировщики не совершали сокрушительных налетов — атомные полигоны берегли для будущих оценок разрушительной силы новых бомб.

Одинокие прохожие, глядя на единственный самолет, появившийся в начале девятого над городом, припоминали слухи о том, почему американцы щадят Хиросиму. Поговаривали, будто у многих жителей города есть родственники в Америке, и поэтому Хиросиму стараются не бомбить.

Потом появились три самолета Б-29. Над городом каждый день пролетали три американских самолета, и это ни у кого не вызвало тревоги. Оправдала себя психологическая подготовка, проводившаяся американцами. Группа из трех самолетов была привычна. Иногда они бросали на город бомбу, обыкновенную бомбу, причинявшую небольшой ущерб. Бомба была необычной формы, но никто этого не знал. Японская радиостанция «Токийская роза» издевалась: «У вас остались лишь небольшие группы по три самолета, и бомбы, которые они сбрасывают, просто пустышки».

Самолеты еще не покинули пределов города, как вдруг в небе раскрылся парашют. «Наверно, случилась авария и пилот выбросился»,— было первой мыслью жителей города.

И в этот миг все залил белый свет, от которого мир сделался черным. Для тех, чьи глаза в то утро были обращены к небу, мир остался черным навсегда.

10

Тиббетс снова принял на себя управление самолетом. Он сделал разворот на 158 градусов, потом налег на рычаг, резко рванул машину вверх и бросил ее вниз, чтобы набрать скорость.

Оставалось сорок три секунды — время, отпущенное на то, чтобы убраться из ада.

«...тридцать три, тридцать четыре...»

Все надели очки и вдруг в ужасе обнаружили, что работать в них невозможно. Кое-кто сорвал очки.

Кабина озарилась ослепительным светом, и через несколько секунд «Энола Гэй», которая была уже в двенадцати милях от места взрыва, рванулась и пошла вниз, настигнутая ударной волной. Еще через несколько секунд эхо волны отбросило самолет назад и подкинуло вверх, чтобы потом вновь бросить вниз.

Еще через три минуты экипаж увидел грибовидное облако, достигшее высоты 9 тысяч метров.

Тиббетс связался с Тинианом и послал шифрованную радиограмму: «Задание выполнено».

У всех было отвратительное настроение, и первый час никто не разговаривал друг с другом. Потом экипаж словно прорвало, началась лихорадочная болтовня. Говорили об обеде, который их ждет, о женщинах, вспоминали, кто как проводил время в отпуске. О бомбе ни слова...

В три часа пополудни, проведя 5 часов 45 минут в веке атомной войны, экипаж «Энолы Гэй» приземлился на Тиниане.

11

Разведывательные самолеты, летавшие над Хиросимой через пять часов после бомбежки, посылали донесения о том, что город все еще спрятан под колоссальной тучей дыма и пыли. Только через двадцать восемь часов появилась возможность сделать первые фотографии. На фотографиях, сделанных до бомбежки, видны были четкие квадратики зданий. Теперь эти квадратики смазались, будто кто плеснул воды на свежую акварель.

Пилоты разведывательных самолетов, участвовавшие в налетах на Токио и другие японские города, не могли припомнить ничего подобного.

Узел связи 509-го полка работал с полной нагрузкой. Генерал Фаррелл отправлял шифрованные донесения генералу Гроувзу для передачи их президенту. Радисты отстукивали депеши Спаатсу, Маршаллу, Арнольду... Приходили поздравления, сотни поздравлений.

Вскоре на Тиниан стали слетаться генералы, политические деятели и журналисты. К трем часам 6 августа генерал Спаатс со своей свитой уже был на аэродроме. Он обнял измученного полковника Тиббетса, который первым появился из самолета, и приколол ему на грудь медаль «За отличную службу».

Это была высшая награда, которую президент мог дать без санкции Конгресса.

В сборном цельнометаллическом здании офицерского клуба состоялась первая пресс-конференция. Билл Лоренс записывал впечатления экипажа «Энолы Гэй» от взрыва атомной бомбы.

«Сначала они увидели багровую точку, которая мгновенно выросла в гигантский световой шар с полмили в диаметре.

Шар вдруг взорвался и превратился в мешанину вихревых языков пламени и багровых облаков. Вокруг образовалось колоссальное кольцо белой дымки.

Потом из этого моря пляшущего огня стал подниматься мощный белый столб дыма. Он поднимался все выше и выше, пока не достиг десяти тысяч футов.

Потом этот столб вдруг стал превращаться в гигантский гриб, поднявшийся до 50 000 футов.

Тиббетс во время взрыва был без темных очков.

«Все стало белым перед глазами,— говорит он.— Было такое ощущение, будто в десяти метрах передо мной разорвался зенитный снаряд».

Капитан Роберт А. Льюис: «Я никогда не видел ничего подобного... никогда не видел... Когда мы повернули назад, чтобы увидеть результаты бомбежки, перед нашими глазами встали последствия самого большого взрыва, который когда-либо видел человек. Основание столба дыма закрывало девять десятых территории города. Зрелище ошеломило нас. Это далеко превзошло все наши ожидания. Хотя мы и ждали чего-то ужасного, то, что мы увидели, вселило в нас такое ощущение, будто мы были марсианами или воинами XXV века. И через час, когда самолет был уже в двухстах семидесяти милях от объекта, мы еще видели облако, которое росло и росло...»

Капитан первого ранга Парсонс: «Это было ужасное зрелище. Громадная туча пыли закрывала все. Основание гриба, масса багрово-серой пыли диаметром мили в три, кипело, все вокруг кипело. Гигантское белое облако отделилось от верхушки гриба и устремилось вверх. Затем оторвалось второе белое облако и стало догонять первое. Вершина гриба тоже кипела, бурлила... У земли бурлил кроваво-красный огонь. Город, наверно, стерло в порошок».

Шестое августа застало президента Трумэна в открытом море на борту крейсера «Огаста». Он возвращался из Потсдама в США и был в пути уже четвертый день. Радист «Огасты» принял радиограмму с Тиниана, которую тут же расшифровали и вручили президенту.

«Бомба на Хиросиму сброшена. Японских истребителей и зенитного огня не было. Через пятнадцать минут после бомбометания Парсонс доложил: «Результаты отличные во всех отношениях. Наблюдаемых последствий больше, чем при испытаниях. В самолете условия нормальные».

Трумэн не мог усидеть в своей каюте. Ему был нужен исторический жест. Он направился в матросскую столовую, где в это время обедала большая часть команды.

— Граждане Америки,— напыщенно произнес он,— только что пришло историческое известие. Мы сбросили на Японию бомбу... Она называется атомной бомбой...

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

НАД КОКУРОЙ СПЛОШНАЯ ОБЛАЧНОСТЬ

...Воды, воды... Люди брели в поисках воды... последней в жизни воды. Они шли к воде, спасаясь от огня.

Израненные, задыхающиеся люди входили в воду, спотыкались, падали друг на друга и тонули. В пруду Асано среди трупов плавали карпы. Какой-то человек, подтянув по воде труп, пристально всматривался в него — видимо, искал жену или сестру,— а затем, оттолкнув его, притягивал следующий и опять всматривался.

Среди этих обожженных и раздувшихся в воде лиц он все равно не мог бы узнать то, которое искал. Но он перебирал труп за трупом и снова и снова впивался в них взглядом. А рядом женщина, нашедшая здесь пристанище, пыталась накормить грудью своего уже мертвого ребенка. Вот она, мадонна XX века...

Комментарии к панно Ири и Тосико Маруки «Вода»

1

«Шестнадцать часов назад американский самолет сбросил на важную японскую базу Хиросима (остров Кюсю) бомбу, которая обладает большей разрушительной силой,

чем 20 тысяч тонн взрывчатых веществ. Эта бомба обладает разрушительной силой, в две тысячи раз превосходящей разрушительную силу английской бомбы «Грэнд слем», которая является самой крупной бомбой, когда-либо использованной в истории войн...»

Приемник с повернутым до отказа регулятором громкости содрогался. По гулкому залу, загроможденному приборами и металлическими деталями, разносился взволнованный голос диктора, читавшего официальное сообщение Военного министерства США.

Корреспондент «Нью-Йорк таймс» Билл Лоренс испытывал странное ощущение. Сегодня в четверг, 7 августа, он слушает голос диктора, стоя всего в нескольких шагах от ученых-атомников Луиса Альвареца, Роберта Сербера и Филиппа Моррисона, которые здесь, на Тиниане, собирают вторую атомную бомбу. Вот она лежит неподалеку, а динамик вещает: «атомная энергия», «уран-235», «атомная бомба»...

Еще несколько минут назад эти слова были табу даже для посвященных. «Рыбная ловля», «новорожденные», «худышка» и прочие слова-заменители уходили в область предания.

Для Лоренса официальное сообщение было еще предметом и личной гордости. Это он, Уильям Лоренс, впервые в истории журналистики написал его для пресс-бюро Военного министерства. Это его, Лоренса, слова слушает сейчас мир.

Трое молодых физиков, отложивших на несколько минут свою работу, были не так тщеславны, как Лоренс, и сообщение доставило им куда меньше удовольствия, хотя все трое сыграли немалую роль в создании бомбы, уничтожавшей в миллионную долю секунды целые города.

Их настроение никак не вязалось с восторженной болтливостью Лоренса, который по журналистской привычке уже опробовал вслух одну из своих будущих статей.

— Поздравляю, поздравляю! — говорил он.— Вы прометеи нового века. Прометей был первым ученым. Он изобрел огонь, символ света, и дал его людям. С этого начался победоносный марш цивилизации. Я вижу новую цивилизацию и новых прометеев раскованных. Зевс, злое начало бытия, побежден. Прометей по-гречески значит «предусмотрительный», заранее все обдумавший. Еще десять лет назад я ответил на вопрос одной анкеты, что овладение

атомной энергией будет величайшим достижением человечества и принесет мир нашей планете...

— Простите,— перебил его Сербер,— но мне кажется, Прометей, дав людям огонь, поступил неосмотрительно. И, наверно, потом, прикованный к скале, он испытывал не только физические муки, когда орел клевал его печень... Наверно, нравственные муки его не уступали физическим, потому что он видел, как внизу, в долине, люди, которым он принес огонь против воли богов, зажигали этот огонь перед храмами Зевса, его мучителя.

— Роберт,— сказал Альварец,— боюсь, что вы заразились склонностью к поэтическим аллегориям от вашего друга Оппи. К чему так мрачно глядеть на вещи? Пойдем лучше пить пиво.

Альварец, Моррисон и Сербер вышли, оставив Лоренса упиваться собственной прозорливостью.

2

— Роберт,— сказал Моррисон, обращаясь к Серберу,— помнится, это вы были победителем в пари о вероятной силе взрыва в Нью-Мексико. Многие оценки оказались заниженными. Как получилось, что вы выиграли пари?

— Только из вежливости. Я был гостем в Лос-Аламосе и в этом качестве не мог не назвать лестную для хозяев цифру.

День был жаркий. Стаканы с ледяным пивом запотели, по стеклу скатывались, оставляя сверкающие дорожки, капельки воды. На них приятно было смотреть.

— А мы все боялись, что эксперимент может не удаться. И боялись, что он удастся,— задумчиво произнес Альварец.— Такое же отношение у меня и к «толстяку».

«Толстяк» — третья и последняя бомба, снаряжавшаяся для налета еще на один японский город. Она стоила меньше, чем первые две, но, как предполагалось, была более разрушительной.

— И все же, говоря искренне,— добавил Альварец,— мне ужасно хочется узнать, сработает ли механизм «толстяка».

— Луис, вы участвуете во втором налете,— сказал Сербер.— Я слышал, что его перенесли с одиннадцатого на девятое. Интересно, чем вызвана такая спешка?

— Говорят, есть прогноз, что с девятого установится плохая погода.

— Мне кажется, что прогноз плохой погоды составлен метеорологами в Потсдаме.

— Что бы там ни было, девятого я лечу, и если меня собьют, то мне придется опускаться на парашюте и показывать набегающим японцам свой полковничий документ еще в воздухе.

— Кстати, Луис, вы помните того приятного японца, профессора Сагане, с которым мы работали до войны в лаборатории излучений в Беркли?

— Помню. Он был уморительно серьезен.

— Он лучше других поймет, что такое атомная бомба. Ведь они там ничего не знают о ее радиоактивности. Напишем ему письмо, а вы привяжите его к своим измерительным приборам, которые будете сбрасывать.

— Что же мы ему напишем? И не обвинят ли нас потом в связях с противником?

— Не думаю. Атомная бомба — уже не секрет.

Альварец попросил принести бумагу и, ероша белокурые волосы, принялся писать письмо Сагане.

«Мы направляем это послание и убедительно просим использовать Ваше влияние, чтобы довести до сознания японского Генерального штаба все ужасные последствия, которые обрушатся на Ваш город... Вам известно, что ценой огромных расходов можно создать атомную бомбу... В течение трех недель мы провели опытный взрыв бомбы в одной из американских пустынь, другую взорвали над Хиросимой и третью сегодня утром.

Мы умоляем Вас подтвердить эти факты Вашим руководителям и сделать все возможное, чтобы не допускать дальнейших разрушений и гибели людей... Как ученые, мы сожалеем о таком использовании блестящего открытия...»

— Как мы его подпишем? — спросил Альварец, закончив письмо.

— Пишите: «от Ваших бывших коллег».

Письмо было сброшено и впоследствии найдено и передано в разведывательное управление Военно-морских сил Японии. Потом оно попало к адресату.

Через несколько лет Альварец и Сагане встретились, и тогда Альварец поставил под письмом свою подпись.

9

Вечером восьмого августа посыльный генерала Фаррелла нашел Билла Лоренса.

— Генерал приказал передать, что вы летите сегодня ночью. Вам надо оформиться и получить специальное снаряжение.

Лоренс почти потерял надежду участвовать в атомном налете и поэтому издал нечто вроде индейского клича, заставив вздрогнуть проходившего мимо майора Фириби, бомбардира «Энолы Гэй».

— Что с вами, Билл? — спросил Фириби.

— Я лечу, Том, слышите, я лечу!

— Ну и летите себе на здоровье, если вам это нравится. А куда вы летите?

— На боевое задание. Том, мне нужно экипироваться. Помогите мне...

Томас Фириби был хорошим парнем. Впрочем, все они, молодые ребята с «Энолы Гэй», ничем не отличались от тысяч других летчиков, деловито и мужественно выполнявших свой долг. Быть может, им пришлось менее тяжело, чем другим, которые совершали ежедневные боевые вылеты и потеряли в войну здоровье и даже жизнь. Но участников атомного налета провозгласили героями, потому что они оказались причастными к историческому событию. Сначала им было неловко носить свою славу, а потом они привыкли к новой роли и играли ее с завидной уверенностью. Героями людей чаще всего делает история, а не личные достоинства.

Много, много позже они перестали ощущать себя героями, и некоторые из них даже выступили в открытую против того, чтобы другие повторили их «подвиг». Но тогда они еще не представляли себе последствий первой атомной бомбежки, да и само слово «атомная» экипаж «Энолы Гэй» (кроме Тиббетса и Парсонса) узнал, отоспавшись после утомительного полета, из официального правительственного сообщения.

Фириби повел Лоренса на склад и показал, как пользоваться снаряжением. Он даже подарил Лоренсу свой спасательный пояс, а потом отвез в джипе на аэродром.

По дороге Лоренс донимал его вопросами, на которые Фириби еще не наловчился отвечать, несмотря на то что на его счету было пятьдесят успешных боевых вылетов на европейском театре военных действий.

— Скажите, Том, что вы испытывали, когда сбрасывали бомбу?

— Ничего. Было приказано сбросить бомбу на объект в 9.15. Я взглянул на часы. Было 9.15. Я и сбросил бомбу на тринадцать с половиной футов северо-восточнее прицельного ориентира. Вот и все.

Восьмого августа с аэродрома поднялись шесть самолетов, и у каждого на борту было по бомбе, именовавшейся «тыквой», по сходству со второй атомной бомбой. Лишь два самолета пролетели во время этой разведки над «главными объектами». Погода была скверная.

Новую бомбу решили поднять в воздух в собранном виде. Была опасность катастрофы при взлете и ядерного взрыва, который бы уничтожил Тиниан. Но Оппенгеймер из Америки дал согласие, а Парсонс подписал документ, подтверждающий безопасность взлета. Ответственности он не боялся — не все ли равно, где погибать? То ли в самолете, где надо было бы проводить окончательную сборку, то ли на Тиниане?

В 3 часа 30 минут 9 августа Лоренс уже сидел на твердом железном ящике в суживающейся носовой части Б-29 и наблюдал, как капитан Фредерик Бок готовит самолет к взлету. Бывший студент-философ Чикагского университета неплохо управлялся со сложной машиной.

4

Оттого что на небе не было звезд, оно начиналось над самой головой. Оно придавливало к земле предметы, людей...

Время от времени его расчеркивали во всех направлениях ветвистые молнии, и тогда небо вдруг отступало; видна была клубящаяся поверхность туч, и, как на фотографической пластинке, опущенной в очень сильный проявитель, мгновенно возникали самолеты, ангары, машины и люди, занятые ритуалом погрузки бомбы на Б-29 с огромным номером 77 на фюзеляже.

Она казалась очень большой, но это был взрывной механизм, а сам активный материал уместился бы на человеческой ладони. Запрятанный внутри бомбы, он внушал неверие и ужас. Бомбу подвезли на платформе к люку с распахнутыми створками. Гидравлические подъемники вдвинули ее в люк, щелкнули металлические захваты...

В полночь состоялся инструктаж. Хиросима была уничтожена. Теперь главной целью стала Кокура, а второстепенной — Нагасаки. Все зависело от погоды, от облачности, которая будет над этими городами.

Несущие смерть еще не знали, какой город будет разбомблен. Они скрупулезно рассматривали подробные карты и аэрофотографии. Они уточняли цели, курс, высоту полета. Они молились и сытно ели.

Уже были получены спасательные куртки — «мейуэсты», надувные лодки, парашюты и кислородные маски.

На этот раз бомбовый груз несет «Великий артист». Этого названия нет на серебристом теле корабля с необычно длинными лопастями винтов, окрашенных на концах в оранжевый цвет. Там выписана цифра 77.

— Такой же номер был у Реда Гранджа на последнем матче,— замечает какой-то футбольный болельщик.

Множество начальственных лиц, товарищей и просто любопытствующих окружило командира корабля майора Чарльза Суини, второго пилота Чарльза Эльбери, штурмана Джеймса Пелта и бомбардира Кермита Биэна, который сегодня должен был бы праздновать двадцать седьмую годовщину своего появления на свет.

Один из начальников, некто Пернелл, обратился к майору Суини:

— Молодой человек, вы знаете, сколько стоит эта бомба?

— Знаю, около двадцати пяти миллионов долларов.

— Так вот, постарайтесь, чтобы эти деньги не пропали зря.

Смерть продолжали высчитывать в долларах.

В 3 часа 50 минут три «летающие сверхкрепости», совершив двухмильный разгон, поднялись в воздух и взяли курс на Японию. Во втором самолете летел пассажиром журналист Уильям Лоренс, в третьем — личные представители Черчилля, из-за превратности политики ставшие представителями Эттли.

5

Ветры, дующие над Японией, сделали свой выбор. Город Кокура плотно закрыт сплошной пеленой облаков. У «Великого артиста» меньше горючего, чем у других бомбардировщиков. Зато груз его весит больше.

Бомбардировщики кружили над Японской империей уже целых два часа.

Майор Суини принял решение бомбить второстепенный объект — город Нагасаки. Вскоре японские истребители, поднявшиеся в воздух с аэродрома близ Кокуры, исчезли из виду.

Бомбардировщики пролетели над проливом и устремились к Нагасаки.

И снова они стали кружить над городом, ища разрыва в облаках.

Ни один из летевших на бомбардировщиках не знал, что на западном берегу Нагасакского залива находится лагерь солдат союзников, попавших в плен к японцам. Но американское командование это знало, как знало оно и то, что в момент бомбежки пленные могут работать в доках, в центре будущего пекла.

Генерал Грейвс предложил «не принимать во внимание этот фактор».

Нагасаки лежал внизу, освещенный выглянувшим из-за туч солнцем.

Лоренс услышал условный сигнал, который передала радиостанция «Великого артиста», надел темные очки и стал с трудом наблюдать за маневрами ведущего самолета, летевшего в миле впереди.

На часах было ровно двенадцать.

Уходят секунды. Одна, две, три...

Вспомнилась ночная молитва капеллана Дауни.

— Всемогущий боже, отец милосердный, мы молим тебя быть добрым к тем, кто летит в эту ночь. Охрани и защити тех из нас, кто отваживается вылететь в черноту твоего неба. Удержи их на твоих крыльях. Спаси их тело и душу и верни их нам. Дай нам всем мужество и силу в те часы, которые нам предстоит пережить; воздай им по заслугам. И главное, отец наш, принеси мир на твою землю. И пусть мы всегда будем верить в тебя и знать, что ты есть и будешь ныне и вовеки веков. Аминь.

И вдруг он понял, что молитва эта звучала кощунственно...

— Пошла! — крикнул кто-то рядом.

От брюха «Великого артиста» отделился черный предмет.

Было двенадцать часов одна минута.

Капитан Бок сделал резкий поворот. Лоренс сидел те-

перь спиной к атомному взрыву. Но ни это, ни темные очки не умерили мощи вспышки.

Все сняли очки, когда прошли первые мгновенья. Но голубовато-зеленый свет продолжал заливать все небо вокруг. Ударная волна затрясла самолет. Она была не одна, и тяжелый бомбардировщик швыряло из стороны в сторону.

Лоренс судорожно вцепился в сиденье. Это страшно. Нет, нет, этого не должно быть больше никогда!

Столб багрового огня поднялся уже на десять тысяч метров. А прошло всего сорок пять секунд. Экипаж в ужасе наблюдал, как столб пробивает белые облака. Это был уже не дым, не пыль, не огонь. Это было живое существо, какой-то новый вид, творимый прямо перед изумленным взором.

На одной из стадий своего развития существо приняло вид гигантского тотемного столба с основанием в три мили. У подножья он был коричневым, в середине янтарным, наверху белым. Но это был живой тотемный столб, извивающийся и гримасничающий множеством навешенных на него масок.

И вдруг в высоту взмыл колоссальный гриб, поднявшийся уже до пятнадцати тысяч метров. Шляпка его бурлила, кипела, словно миллионы гейзеров, слитые в один. Она была похожа на зверя, яростно пытающегося освободиться от пут. Через несколько секунд она оторвалась от своей гигантской ножки и с колоссальной скоростью взлетела в стратосферу.

И тотчас новая шляпка, уже не такая большая, появилась на столбе. Словно у обезглавленного дракона выросла новая голова.

Эта шляпка была видна с самолета, улетевшего от него уже за сотню миль.

С почти пустыми баками бомбардировщики садились на Окинаву. У «Великого артиста» перед посадкой отказали два мотора. Майор Суини попросил срочно принять самолет. Разрешение на посадку было тотчас дано. На аэродроме экипажи были встречены врачами, санитарами и священниками.

Здесь они узнали, что Россия вступила в войну против Японии.

К вечеру самолеты были на Тиниане, и Лоренс лихорадочно записывал все, что придумал во время полета:

«...Человечество должно теперь твердо знать — атомная энергия остается. Вопрос: остаемся ли мы? Если остаемся, то мы должны найти средства контроля ее. От этого будет зависеть, чем стать атомной энергии — рогом сверхизобилия или сверхъящиком Пандоры. Человек, как Гамлет, должен задать себе вопрос: «Быть или не быть?» Защита от атомной бомбы может быть только одна — мир. Слово «мир» стало синонимом жизни. Слово «война» стало синонимом самоубийства».

Круг замыкался под сладкоголосое пение газетных сирен. Атомный шантаж прикрывали громкие слова о мире. За газетчиками шли политиканы, размахивая дубиной холодной войны...

1964

КРУГ РАЗМЫКАЕМЫЙ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

У АТОЛЛА БИКИНИ



ервое марта 1954 года. На рассвете корабли 7-го специального подразделения отошли на юго-восток от атолла Бикини.

Операцию было намечено провести ровно в 3 часа 50 минут.

С кораблей еще долго видели стопятидесятиметровую металлическую башню, на самой верхушке которой находилась «Сосиска». Кто-то тут же на палубе, поглядывая на тонкую иголку башни, подсчитал в блокноте, что чудовище с добродушным именем обладает мощью взрыва трех миллионов тонн тола. Таким количеством тола можно заполнить канаву двухметровой глубины и ширины и протяженностью в 50 километров.

За техническую сторону операции отвечал Эльвин Грейвз. Вместе с тысячей других специалистов он стоял у оптических приборов, снабженных мощными светофильтрами. О чем он думал? Может быть, о словах Слотина: «Я виноват перед вами — вы заболели по моей вине. Боюсь, что у меня нет и пятидесяти шансов из ста, чтобы

выжить. Надеюсь, что вам повезет». Грейвзу повезло. А Слотин умер.

Это было еще в Лос-Аламосе. Слотин демонстрировал свой метод сведения двух полусфер ядерного вещества в критическую массу. Он пользовался простой отверткой. Одно неверное движение, отвертка скользнула, и началась неуправляемая цепная реакция. Слотин бросился вперед и голыми руками развел полушария. Он умер на девятый день, а Грейвз, стоявший рядом, долго болел лучевой болезнью.

Тогда создавалась очередная атомная бомба, а теперь он руководит взрывом водородным. Нет, он не помнит сейчас слов Слотина, он охвачен нехорошим азартом, он похищает энергию у звезд. Ему повезло. А нам, встретившим трижды его имя в хронике преступлений, освященных наукой, вольно же думать о страшной силе неуемного честолюбия.

Еще в июне 1951 года никакой ясности с водородной бомбой не было. В комиссии по атомной энергии собрались унылые руководители лабораторий фон Нейман, Бете, Теллер, Ферми и другие во главе с неизменным Оппенгеймером.

Теллер тогда предложил новое решение, все оживились. Через четыре дня комиссия приказала построить еще один завод, а 1 ноября 1952 года на атолле Эниветок была взорвана... не бомба, а водородное устройство, занимавшее едва ли не целый остров.

Казалось бы, круг замыкался, и можно было диктовать свои условия России, одно существование которой не дает возможности оппенгеймерам, заксам, ротшильдам осуществить свою бредовую мечту о господстве империализма над всем миром. Можно было бы стереть с лица земли ее города, если бы была водородная сверхбомба...

Бомба была. Но не у них.

Летом 1953 года в СССР было произведено испытание водородной бомбы. Страх пронизал международных финансистов, планы которых успел выболтать руководитель «Манхэттенского проекта» генерал Лесли Гроувз: «Я уже тогда не питал иллюзий относительно того, что Россия является врагом и что проект строится на этой основе».

Еще не было широко известно имя Игоря Васильевича Курчатова, сына землемера и внука приходского священника. Он сказал: «Я счастлив, что родился в России...» —

и мечтал дать людям неисчерпаемые источники энергии. Это он со своими сотрудниками выковал атомный щит для своей родины. Выковал по страшной необходимости. Никто острее его не понимал, насколько опасно ядерное оружие в руках маньяков. Недаром выписаны были им апокалипсические слова из книги Мамина-Сибиряка:

«Воскипит земля кровию, и смесятся реки с кровью, затворится небо, и земля не даст плода, не воспоет ратай в поле, из семи сел не соберутся люди в едино село... Увянет красота женская, отлетит мужское желание, и в это время изомрут младенцы в лонах материнских. Вся тварь страхом всколеблется, и преисподняя вострепещет, а земля выгорит огнем на девять локтей».

Лишь в мае 1956 года у американцев появилась своя водородная бомба. И знакомый нам журналист Лоренс вынужден был написать: «В эти роковые годы, между августом 1953 г. и маем 1956 г., Советский Союз был единственной державой в мире, обладавшей запасом водородных бомб. В эти три года у нас не было ни одной бомбы мегатонной мощности».

У кого зло на уме, тот всегда подозревает в кознях других. В Америке началось нечто невообразимое. Агенты ФБР врывались в дома граждан и обшаривали чуланы в поисках атомных бомб. Они руководствовались инструкцией Гувера, в которой подробно описывалось возможное устройство и принцип действия советской атомной бомбы в связи с «возможностью провоза вражескими агентами в Соединенные Штаты атомных бомб для совершения диверсионных актов». И ученые, и просто граждане писали друг на друга доносы...

Одни призрачные ужасы сменялись другими. 4 октября 1957 года «враг» вывел на орбиту первый в мире искусственный спутник Земли. И по сию пору удивляются некоторые американские писатели, почему русские не воспользовались тогда своим преимуществом в ракетной технике. Они бы, наверно, воспользовались и бомбой и преимуществом...

Но вернемся в год одна тысяча девятьсот пятьдесят четвертый.

Изогнувшись дугой, лежало отстегнутое и брошенное в зеленовато-синий океан коралловое ожерелье атолла. И на его еле выглядывавших из воды берегах не было видно ни души.

Но люди там все-таки были. В двадцати милях от «уст-

ройства», в южной части атолла под толстым слоем песка и бетона мигали разноцветные лампочки сложной электронной аппаратуры управляющей и следящей систем, щелкали реле и молчали восемь человек, настороженно посматривая на девятого — Джека Кларка, только что нажавшего кнопку. На пульте управления загорелась яркая зеленая лампочка.

Устройство взорвано.

В бетонном погребе медленно текут томительные секунды. И вот радиоприемник произносит ликующим голосом доктора Грейвза: «Хороший взрыв. Мегатонн пятнадцать. Больше, чем ожидали».

Потом пришла ударная волна. Бетонные стены укрытия дрожали, как во время сильного землетрясения. Целую минуту с потолка и стен сыпалась бетонная крошка, целую минуту стонали дверные петли. И страх, живой, шевелящийся страх подкатывал к горлу комком, словно бетонный погреб превратился в кабину самолета, падающего в бездонную воздушную яму. Где-то там, над головами, прокатывался гигантский водяной вал. А вдруг убежище зальет?

Но воды не было. Люди вышли из убежища поглядеть на плывущее по ветру атомное облако, но тут затрещали счетчики Гейгера и стали давать показания многочисленные приборы для измерения радиации.

Пока взрывная команда, ругая себя за порыв, заставивший выскочить наружу, отсиживалась в убежище, обшитом листами металла для защиты от бета-лучей и радиоактивной пыли, наверху дождем сыпались дробинки измельченных кораллов, излучавшие смерть всему живому.

И снова послышался голос Грейвза: «Мы вернемся за вами вечером».

Целый день без света и связи сидела в убежище взрывная команда, разговаривая о том, кто сколько получит теперь наградных, и боясь признаться, что их немного поташнивает от страха,— а вдруг они уже получили дозу радиации больше положенной нормы. Но никто из них не думал, что они делают что-то нехорошее. Просто это была работа, которая здорово оплачивается. Не будь здесь их, тогда бы следили за приборами, нажимали кнопки и говорили о деньгах другие.

Собственными глазами взрыва не видел никто. Но наблюдатели на кораблях не были людьми несведущими. Электронные счетные машины снабдили их потрясающими

цифрами, а воображение рисовало точную картину того, что никто и никогда не видел.

Вот взорвался мощный заряд тротила, мгновенно сдавив ядерное вещество в сверхкритическую массу. Лишь миллионную долю секунды «протекала» цепная реакция, в бушующем пламени которой ядра тяжелых элементов делились, а ядра легких элементов сливались. Раскаленные газы образовали огромный белый шар диаметром в семь километров. Его горячее дыхание достигло кораблей, и тогда люди прильнули к плотным светофильтрам, которые еще несколько секунд назад не спасли бы глаз.

Теперь шар был уже не белый, а оранжевый, окруженный фиолетовым свечением. Он испарил металлическую башню, коснулся ее бетонного основания, и бетон мгновенно превратился в газ. Шар устремился в небо, захватив с собой тысячи тонн коралловой пыли. Шар на глазах расплылся в облако персикового цвета, в «шляпку» всем знакомого по фотографиям ядовитого гриба.

Воздушные течения подхватили облако и понесли его над морем, а «ножка» гриба, наклоненная ветром, стала медленно оседать на поверхность океана, неся лучевую смерть обитателям его глубин.

Порыв ветра принес на корабли радиоактивную пыль. Послышались тревожные команды, и корабли поплыли прочь.

Они вернулись лишь к вечеру. За взрывной командой послали вертолет. Кларк и его помощники выскочили из убежища. Они бежали стремглав, и доза облучения, которую они получили, была незначительна.

Никто из принимавших участие в испытаниях серьезно не пострадал. Пострадали люди, не имевшие к взрыву никакого отношения.

Около миллиона квадратных километров океанской глади испещрено почти кольцеобразными плоскими коралловыми атоллами. Это Маршалловы острова. Они обитаемы. Их смуглые жители выращивали кокосовые пальмы, хлебное дерево, таро, ямс и бататы для японских гарнизонов, теперь они это делают для американских.

До японцев здесь хозяйничали немцы. На один из островков они привезли из Шварцвальда жирный чернозем и, рассыпав его толстым слоем, посадили целый лес кокосовых пальм. Ныне у пальм и других растений висят таблички с надписями: «Не ешьте плодов, они отравлены».

С 1947 года Маршаллы считают подопечной территорией ООН, находящейся под управлением США.

Опекуны заявили, что «благосостояние туземцев является основной задачей опеки». Они обязались, согласно статье 76 Положения об опеке, «защищать жителей от потери их земель и имущества», и отняли у маршальцев лучшие острова, создав там военные базы и атомные полигоны.

Опекуны обязались нести народу Маршаллов свет знаний. Но у педагогов оказалась несколько странная точка зрения на просветительную деятельность. Они начали ее сразу с наглядного показа достижений самого сложного раздела человеческих знаний, с ядерной физики.

С 1946 года, когда были проведены взрывы «Эйбл» и «Бейкер», символизирующие первые буквы алфавита, над островами не переставали вздыматься гигантские фонтаны океанской воды и измельченных кораллов.

И, наконец, опекуны обязались «оберегать здоровье жителей...».

На самом севере архипелага с запада на восток протянулась цепь больших атоллов: Эниветок, Бикини, Аилингинаэ, Ронгелап, Ронгерик и Ютайрик. Далеко к югу от них расположен остров Кваджелейн — главная военно-морская база американцев на Маршаллах.

На островах Эниветок и Бикини (уже третье десятилетие эти названия не сходят со страниц газет) никто не живет. А вот на прочих островах жили люди.

Мы расстались с персиковым облаком, когда оно, послушное воздушным течениям, начало свой смертоносный обход вокруг Земли. По предсказаниям метеорологов, оно должно было уплыть на север, в открытый океан, усеяв первые десятки километров его поверхности радиоактивным пеплом. Но облако, вопреки прогнозам, поплыло не на север, а на восток. Это было началом трагедии, наполнившей гневом сердца миллионов людей.

На островке Ронгерик в алюминиевых домиках жили 28 американских метеорологов. Они были людьми сведущими, и поэтому, когда прошло облако, они вымылись, переоделись и стали отсиживаться в своих металлических убежищах. Они получили дозу примерно в 78 рентген.

В 150 километрах на восток от Бикини на атолле Ронгелап жили в пальмовых хижинах 64 коренных жителя острова. Они ничего не знали об опасности и не приняли ни-

каких мер. Вместе с 18 рыбаками-маршальцами, которые ловили рыбу у острова Аилигинаэ, они получили дозу от 100 до 200 рентген.

И, наконец, в 500 километрах от Бикини на острове Ютайрик жили 157 маршальцев.

Симптомы у всех были одинаковы. Сначала тошнота, потом лихорадочное состояние, боль в желудке, зуд и жжение кожи. Особенно плохо пришлось ногам маршальцев, которые никогда не носили обуви. Стиснув зубы, люди ползли к самолетам.

День и ночь свозили самолеты заболевших людей на остров Кваджелейн. Здесь им оказывали первую помощь. Возможно, мир так бы и не узнал о «заботе», проявленной американскими «опекунами», если бы в 150 километрах от места взрыва и к северу от острова Ронгелап не оказалось японское рыбачье судно «Счастливый дракон».

Двадцать три несчастных члена команды «Счастливого дракона» ничего не подозревали. Они увидели ослепительную вспышку, а через три часа палубу судна засыпали белые хлопья, которые они назвали «сино-хай» — «пепел смерти», хотя еще ничего не знали о его смертоносных свойствах. Две недели они плыли до родной гавани Яидзу, и две недели их пронизывали лучи. Японские рыбаки получили дозу в 200 рентген.

Этого могло бы и не быть, если бы американцы оповестили суда о времени испытания водородной бомбы. Более того, никто не предупредил по радио, что ядовитое облако, изменив направление, вышло из объявленной опасной зоны и представляет собой непосредственную угрозу жизни людей.

Часть команды «Счастливого дракона» была доставлена в Токио. Японские врачи боролись за жизнь рыбаков, используя весь свой, к несчастью, богатый опыт лечения лучевой болезни. В эти дни жители Хиросимы с особой неприязнью поглядывали на большие здания, в которых с сорок шестого года размещалась американская Комиссия по обследованию пострадавших от атомной бомбы. Там, на холме Хидзияма, откуда был виден весь настороженный город, велись бесконечные телефонные переговоры с Вашингтоном.

Вашингтон требовал действий. Надо было во что бы то ни стало ослабить впечатление от нового несчастья. Но как? Шеф комиссии Роберт Холмс срочно выслал своих предста-

вителей в Токио, но с ними разговаривали неохотно и не пустили даже на порог больницы.

Один из американцев был особенно настойчив. Он пытался втолковать японскому врачу, что глубоко уважает японский народ за мужество, с которым тот перенес ужасную трагедию атомной бомбы.

— Интересно посмотреть,— заметил врач,— будет ли мужественным ваш народ, когда придет его очередь.

— Когда придет наша очередь? — повторил пораженный американец.— Вы думаете, что Соединенные Штаты будут бомбить?

— Да, бомбардировкой Хиросимы все не кончилось — это было только начало,— ответил врач и, бросив недокуренную сигарету, скрылся за дверями больницы.

Американец еще долго стоял, раздумывая над страшными словами японца. Ему казалось, что его незаслуженно обидели. За долгие годы работы в Японии он полюбил страну и ее людей. И японцы уважали его за неизменное дружелюбие и упорство, с которым он работал, готовя доклад о воздействии радиации на организмы японских детей, пострадавших от атомной бомбы.

Поступки человека, даже самые неожиданные, имеют свою историю. Слова японского врача были не первым и не последним поводом для размышлений, к которым вновь и вновь возвращался американец по имени Джон Норрис.

ГЛАВА ВТОРАЯ

9 ИЮЛЯ 1958 ГОДА

В четыре часа по местному времени на военном аэродроме Хикам приземлился самолет. От самолета отделилась небольшая группа людей и молча зашагала к служебным зданиям аэродрома. За невысокой чугунной оградой их встретила толпа суетливых существ, увешанных фотоаппаратами. Репортерам пришлось провести здесь почти всю ночь, и они изрядно устали. Но их надежды на сенсационный материал не оправдались.

Люди в военной форме молча оттеснили репортеров от человека в штатском. Яркие вспышки ламп не пробили плотной стены мундиров. И когда фотографии попали на столы редакторов утренних газет, один из них недовольно произнес:

— Что это? Отделение на марше? А где же Норрис?

Норриса на фотографиях не было. Не более счастливыми оказались и те, кто держал наготове блокноты. Вместо предполагаемого интервью они услышали грозное предупреждение одного из стражей:

— Мистер Норрис, вам не разрешается разговаривать.

Пленник, сделавший было шаг в сторону репортеров, повиновался и исчез за дверью, у которой тотчас появилась рослая фигура в белой каске.

Репортеры хмуро поглядели на поле, где тягач тащил к ангару самолет, и побрели к своим машинам.

Как бы там ни было, но имя Норриса появилось на страницах газет в тот же день. В редакциях не слезали с телефонов, рылись в картотеках и подшивках всех имевшихся под рукой изданий, памятуя неписаное правило прессы — десяток строк сегодня дороже пространной статьи завтра.

В 8.30 Норрису принесли утренние газеты. Они пестрели заголовками: «Доктор Норрис доставлен в Гонолулу», «Владельцу «Мемори» грозит суровый приговор — двадцать лет тюремного заключения».

Листая газеты, Норрис узнал, что он является и сумасшедшим, и обманутым идеалистом, и фанатиком, одержимым манией мученичества, и ловким авантюристом, готовым пойти на все ради саморекламы, и, наконец, коммунистом. Лишь одна из статей была выдержана в более или менее благожелательном тоне:

«Доктор Джон Ф. Норрис доставлен вчера на самолете ВМС с Маршалловых островов. Он был задержан на собственной яхте «Мемори» в районе ядерных испытаний. Кроме Норриса на борту яхты находились его жена миссис Норрис, его сын Фред и японский подданный Нииши Ямада. Патрульные суда запретной зоны отвели яхту на о. Кваджелейн, где она и находится в настоящее время.

Как мы уже сообщали, 10 июня, перед отплытием в район ядерных испытаний, Норрис вручил нашему корреспонденту заявление, в котором изложил мотивы своего демонстративного поступка:

«Отплытие «Мемори» состоится в 5 утра 11 июня. Мы возьмем курс на юго-запад и, выйдя на широту атолла Эниветок, направимся на запад. Наш дальнейший маршрут

будет зависеть от ветра, погоды и других обстоятельств. Конечный пункт рейса — Хиросима, Япония.

Мы намереваемся войти в опасную зону в знак протеста против ядерных испытаний. Мы считаем, что распоряжение Комиссии по атомной энергии о задержании яхты «Ситизен» противоречит представлениям американцев о свободе мореплавания.

Так как один из членов нашей группы является гражданином Японии, мы известили представителя японского правительства о наших планах и просили через него все суда в районе нашего плавания прослеживать наш путь, для чего мы будем вести передачу на частоте 2182 килогерц ежедневно ровно в полдень.

Своим рейсом мы хотим привлечь внимание народа Соединенных Штатов к подозрительной политике и действиям нашего правительства, за которыми ныне с тревогой следит весь мир.

Экипаж яхты «Мемори».

Доктор Норрис, известный ученый-врач, в течение долгих лет работал в правительственных учреждениях и обладает прекрасным послужным списком. В 1951 году он был направлен Национальной Академией наук и Комиссией по атомной энергии в город Хиросиму, где стал членом Комиссии по обследованию пострадавших от атомной бомбы и изучал воздействие радиоактивного излучения на организм детей. В 1957 году доктор Норрис, получив длительный отпуск, отправился вместе с семьей на собственной яхте в Штаты. В помощь себе Норрис взял японского моряка, уроженца Хиросимы, Ямада. На обратном пути в Японию Норрис демонстративно нарушил распоряжение Комиссии и отказался обойти опасную зону.

Доктор Норрис входит в десяток наиболее высокооплачиваемых специалистов в своей области. Труды его получили международное признание. Поступок Норриса может положить конец его академической карьере, не говоря уже о том, что ему грозит длительное тюремное заключение.

Федеральный прокурор Бенсон заявил на пресс-конференции, что сейчас ведется расследование дела Норриса. Если будет установлено, что он действовал в интересах иностранного государства, то ему грозит максимальный срок тюремного заключения. Заявление прокурора пред-

ставляет собой явно недобросовестную попытку связать нарушение границы опасной зоны с посещением японского консульства и добиться сурового приговора.

Многим из тех, кто знал уравновешенного и мягкого в обращении доктора Норриса, его превращение в бунтовщика-фанатика кажется невероятным.

Интересно привести мнение мистера Льюиса Дантона, бизнесмена из Огайо, который в свое время был знаком с Норрисами: «Это оригинальная и очень милая семья. Но то, что они сделали... гм, это экстравагантный жест. Для меня их поступок был неожиданностью».

«И для меня тоже, мистер Дантон»,— подумал Норрис, откладывая в сторону газеты. Им все больше овладевало беспокойство, оно путало мысли, оседало в груди ноющей болью. Джейн, Фред, Ник, как они там, на Кваджелейне? Что с ними будет? В этой маленькой комнате с забранным решеткой окном ему не было покоя. Его не привлекла даже довольно чистая на вид постель, хотя за весь восьмичасовой ночной полет он ни разу не сомкнул век.

В 10.30 Норриса посадили в машину и отвезли в большое мрачноватое здание. Здесь полицейский чиновник молча взял у него отпечатки пальцев. Норрис не раз подвергался подобной процедуре, получая допуски к работам, которые имели государственное значение. Но сейчас это казалось особенно унизительным.

Потом лейтенант береговой охраны, сопровождавший доктора от самого Кваджелейна, ввел его в огромный кабинет, стены которого были закрыты полками с толстенными фолиантами отчетов Конгресса и правительственных изданий. За письменным столом Норриса ожидал важный седовласый джентльмен в очках без оправы. Лейтенант шепнул Норрису:

— Это сам правительственный комиссар Кейн.

Кейн отер платком морщинистую шею и спросил:

— У вас есть адвокат?

Ему пришлось повторить вопрос дважды. Мысли Норриса были далеко, на Кваджелейне.

— Нет.

— Есть у вас какие-нибудь вопросы?

— Я считаю свой арест незаконным. Я уже заявлял об этом. Мне даже не предъявили ордера на арест.

Комиссар Кейн подписал лежавшую перед ним бумагу и вручил ее Норрису. Так Норрис впервые получил офици-

альное разъяснение причины своего ареста. Бумага была написана в том витиеватом и неудобочитаемом стиле, который уже не одну сотню лет употребляется в судопроизводстве англосаксонских стран.

«...из вышеизложенного следует, что первого июля 1958 года в открытом море в районе испытательного полигона Эниветок, находящемся под специальной морской и территориальной юрисдикцией Соединенных Штатов, Джон Ф. Норрис намеренно нарушил, пытался нарушить и тайно умыслил нарушить порядок и правила, вытекающие из статьи 2201 (1) раздела 42 Кодекса Соединенных Штатов, войдя, пытаясь войти и тайно умыслив войти в опасную зону, границы которой установлены правительственным распоряжением, во время проведения серии ядерных испытаний «Морской сухарь».

Взгляд Норриса задержался на словах «территориальной юрисдикцией Соединенных Штатов». А как же с заявлением правительства о том, что оно не претендует на территориальную юрисдикцию в этом районе? Он хотел сказать об этом Кейну, но вовремя спохватился. Всему свой час!

— Ваши друзья уплатили залог,— проговорил Кейн.— Пятьсот долларов. Вас известят, когда вам надо явиться в суд. Где вы будете жить?

— Не знаю. А что будет с моей семьей, с моей яхтой?

— Какой яхтой?

— Яхтой «Мемори». Вы отвели ее на Кваджелейн.

Кейн осклабился.

— Вашей яхты никто не задерживал.

— Почему мне раньше этого не сказали?

— А почему вы не спросили?

— Это уже издевательство. Моя семья брошена на произвол судьбы...

— Вы свободны.

— Я протестую...

— Вы свободны.

Норрис едва владел собой. На ярком гавайском солнце его уже ожидали репортеры. Они засыпали Норриса вопросами. «Расскажите, что с вами было после отплытия из Гонолулу?» Расстроенный Норис никак не мог сосредоточиться. Его односложные ответы не удовлетворяли газетчиков. Особенно напорист был один, он явно стремился вырвать у Норриса признание в коммунистическом прошлом.

— Не можете ли вы рассказать мне о России? Между прочим, я побывал там в 1919 году...

— К сожалению, не могу вас обрадовать. Я там не был.

Почтенный газетчик как будто только что явился с какого-то бойскаутского сбора и был преисполнен патриотического духа. Отходя от Нориса, он сказал:

— С вами не случилось бы ничего подобного, если бы вы в детстве были бойскаутом.

— Вот именно,— откликнулся Норрис. У него до сих пор где-то хранились бойскаутские значки. Но было бы жестоко разочаровывать назойливого дурака. Это разбило бы сердце старому тупице.

Наконец газетчики оставили его в покое. Лишь один из них остался и почтительно тронул Норриса за локоть.

— А где вы будете жить, мистер Норрис?

Глядя в оживленное лицо молодого человека, Норрис почему-то решил, что это он написал ту доброжелательную статью, и стал рассказывать о своей тревоге, о своем доме, яхте, которая была в двух тысячах миль отсюда — на Маршалловых островах.

— Разрешите дать вам совет, мистер Норрис. Возьмите адвоката. Сами вы запутаетесь. Вас арестовали без предъявления ордера. Может, вы и хороший врач, но глупостей вы натворили немало.

Репортер ушел. Норрис достал бумажник. В этом курортном городе можно снять роскошные апартаменты... тому, у кого много денег. Снимать, очевидно, надо надолго. Впереди суд. Норрис брел от дома к дому по раскаленным улицам.

Только к вечеру в трущобах ему удалось найти пристанище. Дом был ветхий, но стоял недалеко от пляжа Ваикики. Из ночного клуба, расположенного по соседству, доносилось неистовое завывание трубы. Хозяин дома, улыбчивый китаец, заверил Норриса, что клуб работает всего лишь до трех ночи, «а потом ни звука».

Получив задаток, мистер Тай представил Норриса своей семье. У него было восемь дочерей, которых звали До-до, Ре-ре, Ми-ми, Фа-фа, Соль-соль, Ля-ля и Си-си...

«Лишней» дочери досталось объемное имя Октавия. Двух карапузов — наследников почтенного китайца — звали не менее звучно: Уран и Спутник.

Как ни тяжело было Норрису, он не мог не улыбнуться. В отведенной ему комнате Норрис разделся, погасил свет и лег на кровать. Он долго глядел на бегущие по потолку пятна света. Несмотря на усталость, а может быть, именно поэтому, сон не шел. В голове его лихорадочно мелькало все, что было пережито...

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

ДНЕВНИК ДОКТОРА НОРРИСА

Чем определяются поступки человека? Четыре года тому назад почтенный Джон Ф. Норрис ни за что не поверил бы, если бы ему сказали, что он способен очертя голову броситься в рискованное предприятие, подвергнуть страшной опасности свою маленькую дружную семью, поставить на карту карьеру и жизнь.

Но как бы ни казались неожиданными некоторые поступки, всегда можно найти их скрытые причины. Все, что ни делает человек, он делает ради людей и для людей.

Если бы мы за два месяца до насильственного возвращения доктора Норриса в Гонолулу заглянули в каюту маленькой яхты «Мемори», только что завершившей переход в две тысячи миль от Сан-Франциско до Гавайских островов, то мы бы увидели ее владельца, склонившегося над толстой тетрадью. Всюду — на столе, на полу, на полках были книги, груды книг. В названиях их в самых различных сочетаниях варьировались слова «атом», «радиоактивность», «воздействие», «человеческий организм».

Явное беспокойство, написанное на лице Норриса, нам трудно было бы объяснить, если бы мы судили лишь по внешнему виду чистенькой яхты, плаванию которой по безмятежной глади океана сопутствовал легкий ветерок.

Может быть, какое-нибудь воспоминание навело его на грустные размышления, бросившие тень тревоги на некрасивое, но привлекательное своим добродушным выражением лицо. Не будем гадать, а обратимся к дневнику доктора Норриса, который хоть и не раскроет перед нами всей связи событий, но впредь будет давать некоторое представление о настроениях его автора.

«*4 мая 1958 года.* Только что прослушал последние из-

вестия, от которых меня бросило в дрожь. По радио сообщили, что на острове Джонстон планируются испытания ракет с ядерными боеголовками. Это означает, что дополнительно к 400 тысячам квадратных миль запретной зоны к северу от атолла Эниветок, где проводится серия испытаний водородных бомб, будет наложен запрет еще и на огромный район к югу от Гавайских островов. Наряду с английскими испытаниями на острове Рождества это совершенно преградит путь в Хиросиму нашей «Мемори».

Мы приближаемся к Хило. Уже видны волнорез, стройные пальмы, наклоненные в сторону моря, город, теснящийся узкой полосой вдоль изгиба залива, а дальше — окутанный облаками пик Мауна Кеа.

Переход от Сан-Франциско совершен.

Экипаж яхты вел себя превосходно. Интересно, что в таких случаях полагается делать капитану? Очевидно, надо произнести приличествующую моменту речь и вручить храброй команде подарки с надписями:

«Нику Ямада, доброму товарищу, отличному моряку, невозмутимейшему из смертных»;

«Джейн Норрис, незаменимой жене и многострадальному коку (или наоборот)»;

«Фреду Норрису, сыну, штурману, чемпиону Тихого океана по шахматам 1958 года (по крайней мере, у меня создалось такое впечатление)».

Во всяком случае, я должен сказать несколько слов, чтобы обессмертить это событие. На палубе Фред накрывает на стол, Джейн хлопочет в камбузе. Ник возится со шлюпкой.

— Фред...— начинаю я.— Этого у нас не посмеют отнять.

— Так точно, капитан,— соглашается он. Потом я встречаю его недоуменный взгляд: — Почему не посмеют, кто не посмеет?

На этот вопрос у меня нет ответа. Речь так и осталась непроизнесенной. Слишком много я хотел сказать и не мог. Мне вспомнилась судьба маршальцев и японских рыбаков, пострадавших во время испытаний водородной бомбы. Мне понятнее, чем кому бы то ни было, опасность, грозящая нам, всему миру. Фред, какое будущее тебя ожидает? В сорок пятом тебе было четыре года. Ты задавал множество вопросов. «А кто сильнее — лев или тигр?», «А что такое счастье?», «Пап, а атомная бомба больше, чем этот

дом?» Пожалуй, на последний вопрос мне было легче ответить, чем на первые два. Нет, Фредди, атомная бомба была такая маленькая, что один генерал, увидев ящичек из-под главного механизма, даже не поверил своим глазам и подумал, что его дурачат.

Но это была страшная бомба, Фредди. Прошло тринадцать лет, а она еще каждый день приносит людям смерть. Она убила родителей Ника и заставляет его волноваться всякий раз, когда ему делают очередной анализ крови. Ты бывал со мной в больницах Хиросимы, где лежат дети, которым не исполнилось и года, когда взорвалась бомба. Только позавчера, услышав сообщение о том, что в Хиросиме поставлен памятник Тейко Сасаки, мы вспоминали двенадцатилетнюю девочку, которая попала в больницу в феврале 1955 года, через десять лет после бомбардировки. Какая надежда жила в ее черных глазенках! Ты так удивился, увидев, что стены ее палаты увешаны бумажными журавлями. И тогда нам рассказали японское поверье, что журавли живут тысячу лет и что если в комнате будет висеть тысяча бумажных журавлей «Сэмба-цуру», то больной пойдет на поправку. Тейко сделала из бумаги 644 журавля и умерла. А теперь на высоком постаменте стоит девочка, изваянная скульптором, и протягивает в небо золотого журавля. И каждый умеющий читать да прочтет слова, высеченные на камне: «Мы требуем и молимся: пусть в мире царит мир!»

Право же, я не стыжусь пафоса этих строк. Вновь и вновь я вспоминаю годы, проведенные в Хиросиме, и уж, наверно, никогда не забуду слов одного из крупных военных, в честь которого мы давали обед в здании Комиссии по обследованию пострадавших от атомной бомбы: «Мы боялись, что джапсы сдадутся прежде, чем у нас появится возможность испытать еще одну бомбу на Нагасаки». Я знал и раньше, что намеченный день бомбардировки неожиданно перенесли с одиннадцатого августа на девятое. Что же скрывалось за словами нашего гостя? Безответственное хвастовство разоткровенничавшегося военного или официальная преступная политика? Америка до сих пор не знает всей правды об атомных бомбардировках.

Для меня эти слова являются довольно важным свидетельством того, что атомная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки не была необходимой. Я буду вечно испытывать чувство вины за все, что увидел в этих городах, и никогда не поверю в заявление нашего правительства, что, сбросив

эти бомбы, мы спасли жизнь миллиону наших солдат. Бомба, которая находится в грязных руках, может стоить миру многих и многих миллионов жизней...

Журналисты-циники любят писать о том, что «Хиросима создала индустрию из своей судьбы». Ежегодно город посещают два миллиона туристов. Новые красивые здания сменили почерневшие развалины. У людей короткая память. Но не у всех.

Есть древнеегипетская легенда о птице Феникс, которая сгорает в своем гнезде и из пепла возрождается вновь. Город возродился. Но никогда не встанут из праха те, чьи имена занесены в списки, которые хранятся в ларце под каменным арочным навесом на Мемориальной площади. «Покойтесь в мире! Пусть никогда не повторится Хиросима!» — гласит надпись на ларце.

«Мемори» («Память») —так мы назвали свою яхту. Она построена в Хиросиме. Пока она строилась, я почти ежедневно посещал верфь и беседовал с подвижным умным человеком, инженером-кораблестроителем Цутому Ямагути. Левая рука его и левая сторона лица обезображены ужасными шрамами. В 1945 году Ямагути работал в Нагасаки. 6 августа он был в командировке на верфи Мицубиси в Хиросиме. Он видел горящих заживо людей, он видел улицы, полные бегущими, умирающими, мертвыми, он пережил бомбардировку и девятого августа добрался до Нагасаки. Облепленный пластырями, с левой рукой на перевязи, он явился на работу. Его обступили сослуживцы.

Когда Ямагути сказал, что Хиросима была стерта с лица земли одной-единственной бомбой, ему не поверили. Его начальник даже возмутился.

— Не может этого быть,— сказал он.— Вы инженер. Подсчитайте-ка! Каким образом одна бомба может разрушить целый город? — Он взглянул на бинты Ямагути и добавил уже мягче: — Вы ранены, Ямагути-сан, у вас что-то не в порядке с головой...

Он не успел докончить фразы. Комнату залил ослепительный свет. Ямагути бросился под стол, начальник за ним. Очнулся он много часов спустя.

Только девять человек пережили обе атомные бомбардировки, и одним из них был инженер Цутому Ямагути, строитель нашей «Мемори».

— Вы изучаете последствия, мистер Норрис,— сказал он мне.— Для чего вы их изучаете? Ради прогресса науки?

Ради того, чтобы использовать горький опыт Хиросимы и Нагасаки в случае новых бомбардировок? Мы все должны посвятить свою жизнь тому, чтобы атомная бомба больше не поразила ни одного города.

По обычаю, судно называют по имени жены капитана и владельца. Но когда яхта была готова, Джейн предложила назвать ее «Мемори». «Мемори», а ниже, мелкими буквами, название порта «оф Хиросима». Пусть это сочетание напоминает людям о возрожденном, но ничего не забывшем городе».

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

ВЫПИСКИ

У доктора Норриса давно уже появился огромный интерес ко всем обстоятельствам, связанным с варварскими бомбардировками. Он завел тетрадь, куда выписывал все, что читал или слышал о первой бомбе. Со временем тетрадей стало много. Попробуем взять наугад некоторые записи и представить себе еще раз неоднократно описанную трагедию японских городов.

* * *

«Моя цель — спасти жизнь как можно большему числу американцев, но я также испытываю сострадание к женщинам и детям Японии».

Из частного письма президента Трумэна от 6 августа 1945 года

* * *

«Решая применить бомбу, я хотел увериться, что поступаю в соответствии с традиционными законами войны. Это означало, что я хотел, чтобы бомба была сброшена на военный объект».

«Возвращаясь из Потсдама, я приказал сбросить атомные бомбы на два города...»

Из мемуаров Трумэна

* * *

«Трумэн сказал: «Если они не примут теперь наши условия, то пусть ожидают с воздуха такой сокрушительный ливень, какой еще не видели на нашей планете». Так гангстер говорит своей жертве:

«Если ты не сделаешь того, что я требую, я перестреляю твою семью».

Из книги английского генерала Фуллера

* * *

«Конечно, это мое мнение, но я считал, что ученые и некоторые другие лица, занятые Манхэттенским проектом, добивались применения атомной бомбы только потому, что на ее создание ушли огромные суммы. Об этом хорошо знал Трумэн...»

Адмирал Леги

* * *

«Вряд ли кто-нибудь мог придумать более оскорбительную для американского народа теорию о причинах, побудивших принять решение использовать атомную бомбу».

«Атомные бомбардировки были не столько последней военной акцией второй мировой войны, сколько первой крупной операцией в холодной дипломатической войне против России».

Английский физик Патрик Блэккет

* * *

«Я считаю необходимым заявить, что уже через две недели после того, как я возглавил проект, у меня не осталось никаких сомнений, что он направлен против России».

Дело Оппенгеймера. Из показаний руководителя Манхэттенского проекта генерала Гроувза

* * *

По официальным данным, в Хиросиме погибло 79 тысяч человек. Они не пришли за продуктовыми карточками после того, как сами собой погасли страшные пожары. Цифра эта не точна. Она ничего не говорит о судьбе десятков тысяч солдат местного гарнизона, оказавшихся недалеко от эпицентра взрыва. «Забыты» жители окраин и пригородов, которые приехали в город на работу и не вернулись домой. 270 тысяч смертей — вот дань, заплаченная Хиросимой первой атомной бомбе.

Большинство из них умерло сразу. Никто не мог подумать, что одинокий самолет, появившийся над городом в ясное утро 6 августа, может быть опасен. Последнее, что они видели,— это белый свет, такой яркий, что, казалось, взорвется мозг. Чудовищный шар диаметром в сто метров имел температуру в миллион градусов. В радиусе 500 метров от эпицентра взрыва не осталось в живых никого. Половина из тех, кто находился в радиусе до двух километров, погибли от ожогов. Людей заваливало обломками домов, осколки стекла имели убойную силу пуль, выпущенных из боевых винтовок. Ударной волной смело 6820 зданий и частично разрушило 350.

Для 30 тысяч человек, пораженных лучевой болезнью, агония затянулась на недели, месяцы, годы. Организм не вырабатывал лейкоцитов, которые борются с инфекцией. Люди умирали от самой легкой формы гриппа. Костный мозг переставал вырабатывать красные кровяные шарики.

Сейчас под наблюдением Комиссии по обследованию пострадавших от атомной бомбы (Хиросима) осталось восемь тысяч человек.

* * *

Католическая газета «Пайлот» писала сразу после войны: «В истории человечества ни один варвар не уничтожал человеческие жизни с большей жестокостью. Если бы другая страна совершила это преступление, то на каждой карте, сделанной

человеком, ее границы в течение столетия окрашивались бы в черный цвет, чтобы постоянно напоминать о бесчестии. Мы никогда не сможем выкупить свое доброе имя, даже заплатив за это всем нашим золотом, имеющимся в форте Нокс».

* * *

«Общая стоимость доставки атомной бомбы в Хиросиму может быть оценена в 1 миллион 240 тысяч долларов, включая стоимость самой бомбы, разведывательных полетов и жалованье экипажа бомбардировщика. Разрушено 4,1 квадратной мили. В то время разбомбить одну квадратную милю японских городов стоило три миллиона долларов... Следовательно, разбомбить 4,1 мили стоило бы 12 миллионов 300 тысяч долларов вместо 1 миллиона 240 тысяч».

Генерал Генри Арнольд

* * *

«Чтобы осуществить бомбардировку, равную бомбардировке Нагасаки, потребовалось бы по крайней мере две тысячи самолетов Б-29 — самых больших бомбардировщиков времен второй мировой войны, каждый из которых стоил около одного миллиона долларов».

Из статьи журналиста Лоренса

* * *

Нагасаки — один из красивейших городов Японии. Он расположен в глубине залива и окружен холмами. Город был знаменит своими буддийскими храмами. То, что американцы мало бомбили Нагасаки до рокового взрыва, наводило японцев на мысль, что их враги чтут красоту. Бомба «Толстяк» (длина 3,24 метра, диаметр 1,35 метра, вес 4,5 тонны) взорвалась на высоте 490 метров от земли.

В радиусе 500 метров от эпицентра взрыва не осталось ничего живого. Но и в отдалении обнаружен был остов трамвая — тела его пассажиров от

чудовищной температуры усохли и съежились. Долина реки Ураками после взрыва была сплошным морем огня. Желтые клубы сернистого дыма удушали все живое. Пожар поглощал кислород и выделял углекислый газ. Даже вырвавшиеся из ада погибали от удушья, у большинства шла кровь носом и горлом. Метались сумасшедшие. Нигде не осталось ни былинки. Холмы были покрыты толстым слоем пепла.

Пожар продолжался еще много дней. Его не погасил и ливень. Жирные, черные капли дождя были радиоактивны, они настигли бежавших за холмы. Через месяц у большинства воспалилось небо и гортань, начались кровотечения, тело стало покрываться темными пятнышками, температура поднималась и наступала смерть. Эту болезнь назвали «атомной проказой».

* * *

«Нам надоели рентгеновские лучи. Возможно, самое лучшее, что надо сделать цивилизованным странам,— это объединиться и сжечь все рентгеновские лучи, казнить всех изобретателей, собрать все оборудование в мире и утопить его в океане».

«Пэлл-Мэлл газетт», 1900 г.

* * *

В 1952 году первый взрыв водородного устройства уничтожил остров Элугелаб. Образовался кратер диаметром в полтора километра, куда можно было бы поместить четырнадцать зданий Пентагона. Одной водородной бомбы достаточно для уничтожения всего Нью-Йорка и его окрестностей.

* * *

«Что касается Советского Союза, то его позиция совершенно ясна. Она состоит в том, чтобы обратить великое открытие человеческого разума не против цивилизации, а на ее всесторонний прогресс,

не на массовое истребление людей, а на мирные нужды, на всемирное обеспечение подъема благосостояния населения».

Из Заявления Советского правительства, декабрь 1959 г.

ГЛАВА ПЯТАЯ

ПРОДОЛЖЕНИЕ ДНЕВНИКА НОРРИСА

«*7 мая 1958 года.* Сегодня в 8 утра наша «Мемори», лавируя по узкому каналу между рифами, вошла в маленькую гавань Ала Ваи. Гавайские острова. Гонолулу.

В последние дни я с головой погрузился в литературу по радиации. Я борюсь с искушением ринуться изучать массу интереснейших работ, не имеющих прямого отношения к влиянию проникающей радиации на организм человека в период роста. Просто поражает, как быстро накапливается литература даже в такой узкой области, как моя. В Хиросиме, работая в библиотеке Комиссии, я чувствовал себя в курсе всех событий. Теперь я не успеваю читать все, что выходит. Судя по всему, проблема влияния проникающей радиации на человека с медицинской, экономической, военной, моральной и прочих точек зрения становится одной из основных в наше время. Наверно, в душе я бы все-таки предпочел быть ученым, работающим в башне из слоновой кости. Слишком тревожат меня выводы, которые делает большинство моих коллег. Кстати, я с удовольствием нахожу ссылки на мои ранние работы. О, тщеславие!

Две тысячи страниц отчета Комитета по радиации, заседающего в Вашингтоне, я читал как детективный роман. Мистер Меррил Эйзенбуд из Комиссии по атомной энергии заносчиво утверждает, что людям не страшна радиация, которая в «миллион раз» сильнее той, что дают сейчас радиоактивные осадки в результате ядерных испытаний. Доктор Ральф Лэпп назвал в своем выступлении это высказывание «безрассудным».

Это тот самый Эйзенбуд, что сначала заинтересовался моим предложением регулярно брать пробы воды на морских путях Тихого океана после испытаний на Бикини в 1954 году. Но Комиссия по атомной энергии так и не стала брать пробы, а опубликовала заявление: «У нас

нет свидетельств радиоактивного заражения северной части Тихого океана».

Я абсолютно согласен с Мамфордом, который не оставляет от позиции Комиссии по атомной энергии камня на камне. Он говорит: «Наши лидеры так же намеренно не обращают внимания на предупреждения наших физиков и психологов, наших генетиков и экологов, как они игнорируют протесты полинезийцев и японских рыбаков, чье здоровье они разрушили, а пищу отравили своими ядерными испытаниями». В яхт-клубе состоялся традиционный обед в честь нашего прибытия. Там я узнал новость — на острова пришла небольшая яхта «Ситизен» с экипажем из четырех человек. Они собираются в знак протеста войти в зону ядерных испытаний.

— А ну-ка, скажите свое мнение об этом... сразу, не зная всех обстоятельств дела,— попросил меня один из яхтсменов.

— Видите ли,— ответил я ему,— я не одобряю их способа протеста. Эти люди мне кажутся немного не в своем уме... Но, по-моему, надо обладать большим мужеством, чтобы решиться на такой шаг. Во всяком случае, пора кому-нибудь выступить всерьез против испытаний.

Мой ответ вызвал оживленный спор. Кто-то тотчас возмущенно воскликнул:

— Как? Почему нужно выступать против испытаний? Что в них плохого? Разве мы не должны готовиться к обороне против русских?

Я не политик, и мне было трудно спорить. Насколько я помню, я говорил, что нам не надо было начинать последней серии испытаний. В мире и без того уже огромный запас бомб. Если Россия сбросит на нас 999 бомб, а мы на нее одновременно тысячу, то кто от этого выиграет? Когда Россия односторонним порядком прекратила свои испытания, надо было и нам прекратить свои. Этим бы мы показали всему миру свою искренность и миролюбие. Мы и так уже провели гораздо больше испытаний, чем Россия.

— А вы читали недавнее заявление президента, что он будет просить о прекращении испытаний, как только наши ученые удовлетворятся результатами?

— Слушайте, это же по меньшей мере наивно. Тот, кто хоть немного знаком с исследовательской работой, знает, что ученые никогда не удовлетворятся. С научной точки зрения новые взрывы дадут ответы на некоторые

вопросы, но они же поставят еще столько проблем, что их век не разрешить. Еще более опасно полагаться на мнение военных. Вы можете себе представить военного, который бы сказал: «Я удовлетворен. Я не хочу больше испытывать оружие. Пожалуйста, отберите у меня власть и не подпускайте к бюджету».

Кто-то заметил, что я паникер и что мне надо прочесть книгу Теллера и Ляттера «Наше ядерное будущее», которая развенчивает подобные представления о ядерных испытаниях. Вся наша беда в том, что мы слишком мало пишем для непосвященных, позволяя вводить их в заблуждение людям умным, но лишенным каких бы то ни было моральных устоев. Я читал Теллера. На 142-й странице он пишет, что в случае ядерной войны города бомбить не будут. После Хиросимы и Нагасаки говорить это могут только преступники. Теллер утверждает, что он твердо стоит на своем. Уж лучше бы ему сесть...»

Прервем уважаемого доктора Норриса. Возмущенный научной недобросовестностью Теллера, он еще выскажет немало гневных слов в его адрес.

Доктор Теллер — это тот самый ученый-физик, которого в Америке называют отцом водородной бомбы. Он занимался ею еще тогда, когда в Лос-Аламосе шла лихорадочная работа над созданием атомной бомбы. И он не дал захиреть своему детищу, которое в его многочисленных выступлениях предстает перед легковерными американскими слушателями существом крайне кротким и невинным.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

ЯДЕРНОЕ БУДУЩЕЕ В РАЗЪЯСНЕНИЯХ ЭДВАРДА ТЕЛЛЕРА

Он представляет собой современную думающую машину, не лишенную сердца или чувствительности. Но эти два последних свойства в нем находятся на весьма посредственном уровне и совершенно не способны соперничать по силе с его умственными способностями.

Из характеристики, данной Теллеру одним из его близких сотрудников

...Испытания ядерного оружия всегда производятся в красивейших местах. Веской причиной для этого является выпадение радиоактивных частиц, представляющих

опасность для живых существ. Присутствие человеческого населения не украшает природы. Облачность и осадки тоже мешают наблюдениям за экспериментами. Поэтому в месте испытаний вас обычно встречает солнечный свет и уединение.

Красота природы служит отдушиной в подготовке трудных экспериментов, требующих большого нервного напряжения от всех участников. Внешнее впечатление от взрыва умеряется мощью окружающей природы.

Сама ядерная реакция занимает лишь миллионную долю секунды. В этот миг высвобождается вся энергия бомбы. Ядерный материал разлетается, и реакция сходит на нет. Нагретый высвобожденной энергией воздух образует огненный шар, который расширяется до нескольких миль в диаметре.

Горячий воздух поднимается вверх, превращаясь в бурлящий гриб. Образует прекрасный многоэтажный воздушный замок из кучевых облаков.

Как это ни странно, отнюдь не тепло взрыва создает облака, а именно охлаждение масс воздуха, засасываемых по мере того, как остатки огненного шара устремляются вверх, подобно гигантскому стратостату. Водяной пар, содержащийся в воздухе, охлаждается и конденсируется в капельки. Вот так же образуются грозовые тучи в жаркий летний день.

Облако поднимается на десятки километров ввысь. А там ветры рвут его и разносят в различных направлениях. Радиоактивные осколки деления отправляются вместе с облаками в путешествие, наводящее панику на некоторых слабонервных представителей человеческого рода.

Человек, знающий, что жизнь его небесконечна, часто становится жертвой страшного кошмара — ему чудится, что наступает конец мира. Но это химера. Она проистекает из невежества подавляющего большинства людей, из недостаточной осведомленности о достижениях современной науки.

Беспокойство будет расти с увеличением наших знаний о чудовищных скрытых силах природы. Только знание поможет людям справиться с нелепым и слепым страхом. Я призываю людей к понимаю и мужеству.

Нередко можно слышать обвинения в адрес ученых, чему дают повод сами ученые, делая безответственные

и малодушные заявления. Не надо забывать, что решают не ученые. Они только исполняют веления народа, который свободно избрал законодательные и исполнительные органы власти и дал им свободу решать, что хорошо, а что плохо для его блага.

Я считаю, что ученые должны просто и доходчиво объяснять, что к чему ведет.

Прежде всего нужно развеять миф о вредности ядерных испытаний для человека. Я привожу последние научные данные о влиянии различных факторов на сокращение общей продолжительности жизни человека:

10 процентов сверх нормального веса сокращает жизнь	на 1,5 года;
выкуривание одной пачки сигарет в день сокращает жизнь	на 9 лет;
жизнь в городе, а не в деревне сокращает ее	на 5 лет;
сидячая, а не физическая работа сокращает ее	на 5 лет;
безбрачие	на 5 лет;
мужчина по сравнению с женщиной живет меньше	на 5 лет;
автомобильные катастрофы сокращают жизнь	на 1 год;
1 рентген излучения сокращает жизнь	на 5—10 дней;
далекие радиоактивные осадки сокращают жизнь	на 1—2 дня.

И все же, как мы видим, радиоактивные осадки приносят вред. Этот вред трудно наблюдать. Говорят, после прошедших испытаний около 50 тысяч человек во всем мире должно преждевременно умереть. Но кто сумеет в статистике многих миллионов умирающих от разных болезней выделить эти 50 тысяч. И возможно, в некоторых случаях радиоактивность не сокращает, а наоборот, увеличивает продолжительность жизни. Что же касается фантастических картин будущих мутаций, то здесь еще ничего не ясно и не доказано.

Мы передаем наши качества последующим поколениям в весьма своеобразной и концентрированной форме. От матери и отца ребенок наследует по двадцать четыре хро-

мосомы. Они являются структурами, вдоль которых нанизаны истинные носители свойств — гены.

Гены — это большие спиральные молекулы. Они передают главный план нашего организма и даже нашего характера удивительным химическим кодом. Под воздействием облучения гены могут подвергнуться мутациям — приобрести новую химическую структуру с новым кодом, новыми свойствами. Эти свойства могут оказаться вредными для будущих поколений.

И вот тут мы возвращаемся к проведению ядерных испытаний. Продолжение их необходимо для разработки конструкции чистых бомб.

Часто утверждают, что уже имеющиеся атомные взрывчатые вещества могут уничтожить города и промышленность величайших стран. Зачем же производить дальнейшие усовершенствования и испытания?

Ответ прост: главной целью войны является не разрушение вражеских городов, а разгром вооруженных сил противника. Для этой цели мы нуждаемся в гибком, усовершенствованном оружии всех видов и размеров.

В настоящее время мы создаем чистое оружие, которое воздействует за счет взрывной волны и тепла, но при взрыве которого радиоактивность ничтожно мала.

Ясно, что война была и будет ужасной. Мы отказываемся верить, что войны будут всегда, но мы не должны игнорировать опасность войны, пока в мире существуют коммунистические режимы. Более того, уничтожение этих режимов может принести человечеству мир, для завоевания которого, может быть, даже придется прибегнуть к превентивной войне.

Не следует думать, что ограниченная или даже неограниченная атомная война связана с большими страданиями, чем прошедшие войны. Такая война будет, вероятно, более жестокой, но и более короткой.

История гласит, что война, которая оказалась, возможно, наиболее ужасной в истории человечества, была начата таким посланием президента Конгрессу: «Ты избрал войну. Да будет то, чему суждено быть, а что должно быть, мы не знаем. Знает один бог». По-видимому, единственный возможный путь для свободного человечества — это быть хорошо подготовленным к войне, а что произойдет, знает один бог...

ПРОДОЛЖЕНИЕ ДНЕВНИКА НОРРИСА

«9 мая 1958 года. «...Радиоактивные осадки не представляют никакой опасности для людей». Тогда почему Теллер ратует за создание так называемой «чистой бомбы», которая позволит избавиться от радиоактивных осадков?

Сквозь лицемерно-доверительный тон высказываний Теллера проглядывает сноб, глубоко презирающий тех, кого он называет «человеческим населением». Я вспоминаю рассказы его коллег по Лос-Аламосу, где он вел себя высокомерно и вызывающе, а затем не только отказался подписаться под протестом ученых, восставших против применения атомной бомбы, но и старательно подводил псевдонаучную основу под атомную истерию.

Он мнит себя непризнанным гением-пианистом и эстетом. В его поэтизировании ядерных взрывов есть что-то патологическое. Я не знаком с Теллером лично, но видел его не один раз во время поездок в Беркли. Раз мы лицом к лицу столкнулись в университетском коридоре. Мне хорошо запомнилось его длинное лошадиное лицо и густые косматые брови, нависавшие над угрюмыми зеленоватыми глазами. В облике его было что-то павианье.

Говорят, Теллер входил в инициативную группу, которая сумела повлиять на президента Рузвельта и заставить его принять решение об использовании атомной энергии для военных целей.

Теллер, сын богатого будапештского юриста, всегда был снобом и искал общества людей влиятельных и сильных. С прочими он разговаривает свысока, удобно считая их в интеллектуальном отношении людьми недостойными его изысканного общества. Учился он в Лейпциге и Геттингене, где сблизился с немецким физиком, аристократом Карлом фон Вейцзекером, который впоследствии так много сделал, чтобы помешать Гитлеру иметь атомную бомбу. Теллер же, эмигрировав в Америку, распространял о своем бывшем друге отвратительные слухи, выставляя его поборником гитлеризма.

Он тайком пишет стихи, о качестве которых можно судить по стихотворной азбуке, сочиненной им в Лос-Аламосе для собственного сына:

А — это Атом, но он так мал!
Никто и в глаза его не видал.
Б — это Бомба... Такая громада,
Зря ее, друг мой, трогать не надо.
С — означает Секрет, и о нем
Нужно молчать ночью и днем...

Несмотря на лирические наклонности, в житейском смысле он хитер. Это свойство натуры Теллера проявилось в свое время в Копенгагене, где он получал рокфеллеровскую стипендию, предназначенную для аспирантов-холостяков, скрыв при том, что женат. В 1935 году он насовсем переселился в Штаты, рассчитывая сделать карьеру. И сделал ее.

В Лейпциге Теллер брался доказать Вейцзекеру тезис: «Злобное удовольствие есть чистейшее из удовольствий»,— и неустанно доказывает его всю жизнь.

Когда приступили к созданию атомной бомбы, Теллер, не получивший командной должности, чувствовал себя обойденным. В Лос-Аламосе он завидовал Оппенгеймеру, отказывался сотрудничать с ним. Он возбуждал всеобщее негодование ученых своей заносчивостью и желанием поставить себя вне всяких регламентов военного времени. Однако тщеславие Теллера разбивалось о тщеславие Оппенгеймера, и он уехал из Лос-Аламоса.

После войны Теллер взял реванш. Если у Оппенгеймера была своя бомба, то и Теллер решил создать свою. Впоследствии он называл ее ласково «моя детка».

Оппенгеймер, который приобрел большое влияние, не поощрял действий Теллера. В 1949 году возглавляемый им Консультативный комитет отверг необходимость создания водородной бомбы, как этого требовали Эдвард Теллер и банкир Льюис Страусс. Но через три месяца Теллер добился приказа Трумэна начать работы. И Оппенгеймер с деланным энтузиазмом примкнул к Теллеру.

Водородная бомба была создана. Но Теллер не простил Оппенгеймеру и постарался уронить его в глазах власть имущих. Он его представил чуть ли не коммунистом. Расследование «дела Оппенгеймера» превратилось в унизительнейший для Америки спектакль. Сам Оппенгеймер предстал перед миром мучеником, прикованным к колючему ложу из угрызений собственной совести. «Мы сделали работу за дьявола»,— говорил он в 1956 году, всячески стараясь получить отпущение грехов.

Теллер занял место Оппенгеймера. К нему перешли многие должности «отца атомной бомбы». Пауки в банке передрались, один сожрал другого. Такое бывает. Возможно, Оппенгеймер чем-то не потрафил синедриону миллиардеров...

Часто выступая от имени правительственных учреждений, Теллер понаторел последнее время и в демагогии. Оказывается, он «исполняет веления народа», будто бы жаждущего ядерной войны. Он не стыдился приводить сомнительные научные данные для того, чтобы усыпить бдительность людей, отвлечь их внимание от ядерных испытаний, а ответственность за развязывание новой войны перекладывает на плечи бога.

Я помню 1954 год. Только после испытания одной бомбы на 992 судах рыба оказалась радиоактивной. Она стоила двадцать миллионов долларов и была выброшена за борт. Мы до сих пор не возместили убытков японским рыбакам. А кто измерит ущерб здоровью людей, успевших съесть отравленную нами рыбу?

Японские ученые нашли в рыбе стронций-90. Потом его находили всюду — в воде, в траве, которую едят коровы, в их молоке, в небе Европы и даже во льдах Антарктиды. Стронция-90 в природе не существует. Он создан человеком. Он обнаружен в продуктах деления урана. Это самый сильный яд на земле, одна чайная ложка его способна умертвить все население земного шара.

Стронций-90 по своим свойствам похож на кальций, и поэтому он откладывается в костях. В свое время я писал, что он особенно опасен для детей, кости которых растут и поглощают большое количество стронция-90. Кости составляют 10 процентов веса тела. Они очень чувствительны к излучению.

Какой вред наносит стронций? Экспериментально доказано, что он вызывает костный рак. Период полураспада стронция-90 — 28 лет, а это значит, что через 28 лет действие его будет лишь вдвое слабее. За время всех ядерных испытаний стронция-90 образовалось около 100 килограммов. Четверть из этого количества рассеяна по Земле.

И с каждым испытанием количество радиоактивного стронция все увеличивается. Люди непрерывно получают микроскопические дозы этого яда. Если вы выкурите сразу десять папирос, то никотин убьет вас. Десять папирос,

выкуриваемые за день, не причиняют организму видимого ущерба. Никотин нейтрализуется и выветривается из легких. Ежедневные дозы облучения не выветриваются, они накапливаются в организме.

Конечно, стронций-90 — только один из изотопов, которых надо опасаться. Цезий-137, например, представляет генетическую опасность для человечества. Период его полураспада — 37 лет. Он распределяется по всему организму и приносит вред клеткам, производящим потомство. Мы слишком плохо знаем химию живого организма. И как бы ни старались Теллер и другие преуменьшить опасность, отрицать ее полностью они не могут. Размеры ее будут видны через несколько поколений.

При взрыве образуется громадная воронка, испаряется до 100 миллионов тонн грунта. Частицы, образовавшиеся при конденсации таких пород, чрезвычайно активны. Распространяясь в атмосфере, они выпадают вместе с дождем и снегом в самых различных частях земного шара.

Говорят о создании кобальтовой бомбы, то есть той же водородной, но не со стальным, а с кобальтовым корпусом. Радиоактивное облако от ее взрыва будет смертоноснее в 320 раз. Эйнштейн сказал о ней: «Если удастся ее создать, то радиоактивное отравление атмосферы, а следовательно, уничтожение всякой жизни на Земле станет в пределах технических возможностей».

Но такая техника несла бы смерть и тем, кто мечтает о господстве. Кобальтовую бомбу отвергли и заговорили о «чистой».

У 25 процентов беременных женщин Хиросимы случились выкидыши, у других 25 процентов дети погибли в первый год жизни. 25 процентов родившихся детей до достижения пятилетнего возраста страдают умственной отсталостью и недоразвитостью мозга.

Облучение может изменить половые клетки, и явная или скрытая аномалия передается потомству.

Во всем мире уже произведено такое количество «испытательных» взрывов, что оно эквивалентно 2500 бомбам, сброшенным на Японию. Радиоактивная пыль, например, сообщила высокую активность воде, разнесенной во все стороны морскими течениями. В 200 километрах от Бикини два месяца спустя после взрыва активность морской воды все еще превышала предельно допустимую в 20 раз. Заражается планктон, а вместе с ним и рыба.

Если испытания будут продолжаться на том же уровне и впредь, то частота мутаций каждый год станет увеличиваться вдвое. Практически всякая мутация — это отсроченная беда. Природа не прощает грубого, нерасчетливого вмешательства.

«Мои часы иногда немного врут,— говорит профессор Холдэн, не исключено, что они пойдут лучше, если я поковыряю в них пальцем, но гораздо вероятнее, что они остановятся совсем».

Люди появляются на свет с врожденным иммунитетом. Всякое вмешательство в естественную работу человеческого организма приводит к уменьшению его сопротивляемости. Если удержать способность сопротивляться на том уровне, какова она у десятилетнего ребенка, то человек может прожить больше 800 лет.

Почти все мутации, произвольно вызванные у животных и растений, оказались вредными. Успехи в селекции объясняются тем, что колоссальное количество нежелательных мутантов уничтожают, оставляя очень редкие улучшенные линии.

Национальная Академия наук задала шести видным генетикам вопрос: если бы все население США получило дополнительно по 10 рентген, то к чему бы это привело? Все шесть ученых ответили приблизительно одинаково: это означало бы около 5 миллионов дополнительных мутантов на одно поколение детей.

По сравнению с почти тремя миллиардами населения земного шара несколько тысяч человек, погибших непосредственно в результате испытаний, небольшое число. Но разве не дорог нам каждый человек Земли? Отмахиваться от гибели даже одного человека — это людоедская этика. Суть в том, что каждый, кто готовит взрыв, знает, что он убьет людей. Уже только поэтому нельзя сравнивать взрывы с уличными катастрофами, как это делает Теллер.

Он придерживается классической формулы Вегеция: «Кто хочет мира, должен быть готов к войне». Ему надо вспомнить слова Бенджамена Франклина, который говорил: «Всякая война — это безумие, безумие очень дорогое и весьма пагубное. Когда же человечество уразумеет это и согласится улаживать свои разногласия полюбовно?»

Что-то в этом роде я и говорил своим собеседникам в яхт-клубе. Я мог бы еще рассказать им, как Комиссия по атомной энергии намеренно искажает и скрывает от американского народа результаты научных исследований, я мог бы рассказать им, как был уничтожен мой доклад, плод многолетних наблюдений за несчастными детьми Хиросимы. «Ваш доклад спустили в уборную,— сказал мне секретарь Комиссии по обследованию пострадавших от атомной бомбы, когда я приехал в Вашингтон.— Слушайте, Норрис, занимайтесь своим делом, а не поставляйте пропагандистский материал для красных. Вы хороший работник, некоторые ваши данные нам пригодились, но не будьте наивным. Помните, что нашу работу финансирует Комиссия по атомной энергии. А там не терпят ненужных разглагольствований».

Сначала мне это показалось шуткой. Ведь официально я получил отличные отзывы о своей работе. Я был поражен. Но что мне было делать? К кому обратиться? Может ли один человек бороться с огромной обезличенной бюрократической машиной? Кого я мог обвинить? Это система, преступная система, в которой ответственность за преступления раскладывается на всех.

Кажется, я понимаю ощущения «хорошего немца» в годы, когда в Германии правил Гитлер. Что от него требовалось? Ничего. Да, ничего — просто быть хорошим законопослушным гражданином. Не причинять начальникам беспокойства.

Наше правительство делает ошибку за ошибкой. Оно не считается с предупреждениями ученых. Мы стали пугалом в глазах других наций. Мне кажется, что я такой же хороший гражданин, как и все. И я не меньше других люблю свою страну. Но я никогда не соглашусь с тем, что человек оказывает услугу своей стране, закрывая глаза на недостатки. Напротив, я убежден, что если каждый гражданин не будет активно работать над устранением недостатков, то нагромождение ошибок, которые в прошлом послужили гибели других стран, в конце концов тоже вызовет развал нашего государства.

Конечно, хорошо мне рассуждать о долге гражданина перед своей страной, ничего не сделав для ее спасения. Но я, по крайней мере, стараюсь вникнуть в суть явлений. Таким ли я был в 1951 году, когда уехал из Огайо в Хиросиму? Жизнь заставила меня покинуть башню из слоновой кости...

Я написал доктору Уильяму Меркинзу, который тоже проводил обследование детей в Хиросиме, а ныне пользуется большим влиянием в Американской медицинской ассоциации. Он хорошо относился ко мне и тотчас прислал ответ:

«Дорогой Джон!

Мне понятно ваше состояние, но я не вижу выхода. Заставить Комиссию пересмотреть решение относительно вашего доклада мне не под силу.

Я советую вам не портить себе академическую карьеру и подумать о материальной обеспеченности, которой может лишиться ваша семья. Во всем остальном можете на меня рассчитывать.

Искренне ваш *Билл»*.

Неужели ученый ради материальной обеспеченности должен запечатать свой рот, несмотря на уверенность в своих научных выводах?»

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

«СИТИЗЕН»

Почти месяц провел доктор Норрис на островах, обивая пороги различных учреждений, где он заполнил великое множество различных анкет. Это требовалось для того, чтобы получить разрешение плыть дальше, в Хиросиму.

Но разрешения не давали. Власти были напуганы вызовом, брошенным в лицо американскому правительству горсткой смелых людей, которые на маленькой яхте «Ситизен» решили отправиться в район ядерных испытаний.

Руководителем похода был Альберт Силлитоу, высокий, крепкий пятидесятилетний человек, в прошлом офицер военно-морского флота. Кроме него, в экипаж яхты входили пожилые научные работники Уильям Деррик и Джордж Холмс. Двадцать пятого марта яхта «Ситизен» покинула калифорнийский порт Сан-Педро.

Встревоженные демонстративным рейсом яхты «Ситизен», руководители Комиссии по атомной энергии 16 апреля издали специальное распоряжение, которое запрещало американским гражданам пребывание в опасной зоне. Оно имело почти силу закона, так как Комиссия по атомной энергии была одним из самых могущественных правительственных учреждений.

На Гавайских островах яхту задержали. Но храбрецы не смирились, они решили опротестовать решение Комиссии в суде, так как оно было опубликовано только после их отплытия из Калифорнии. Это было уже в мае, когда на острова прибыл доктор Норрис.

На обеде в яхт-клубе он высказался весьма опрометчиво, отдав должное мужеству «этих людей», но предположив за глаза, что они «не в своем уме». Знал бы он, как развернутся события!

С экипажем яхты «Ситизен» Норрис познакомился при не совсем обычных обстоятельствах. Возвращаясь как-то в полночь к себе на «Мемори», Норрис заметил чью-то яхту, которая, очевидно, отвязалась от причала и дрейфовала прямо на рифы. Норрис поднял тревогу. Яхта была взята на буксир и отведена в безопасное место.

Здесь Норрис с удивлением прочел название яхты — «Ситизен». На борту ее был только Холмс, который крепко спал, пока яхта дрейфовала. Он проснулся, когда яхту уже пришвартовали к причалу.

Холмс молча показал Норрису причальные канаты. Они были обрублены.

— Это уже третий раз,— сказал Холмс.— Нам хотят помешать во что бы то ни стало.

Он достал якорную цепь и накрепко привязал яхту к причалу.

— Теперь им понадобится ножовка,— добавил он угрюмо.

Не яхтсмену трудно представить себе возмущение, которое охватило Норриса, когда он узнал, что судно намеренно пустили дрейфовать на рифы. Для него это было трусливым, подлым преступлением, соизмеримым лишь с поджогом или отравлением. Вызванные им полицейские не проявляли служебного рвения и только посмеивались. Местные яхтсмены уклончиво говорили: «А чего ж вы еще ожидали?»

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

ПРОДОЛЖЕНИЕ ДНЕВНИКА НОРРИСА

«*19 мая 1958 года*. Сегодня у нас на борту были гости. Мне очень хотелось познакомиться поближе с экипажем «Ситизена». Свое отношение к человеку я могу опреде-

лить, только встретившись с ним лицом к лицу. Я верю своим впечатлениям.

Вечер прошел очень хорошо и совсем не так, как я ожидал. Гости были веселы и вели себя непринужденно. Я завидовал их спокойствию. Когда я на что-нибудь решаюсь, у меня всегда остается ощущение, которое можно выразить словами: «Да, но...» Их решение принято безоговорочно. Мы шутили, рассказывали всякие смешные случаи из жизни, и никто не упоминал о политике, зонах испытания ядерного оружия и судебных преследованиях.

Тем не менее я чувствовал, что полностью становлюсь на сторону этих людей. Я верю в их искренность и убежденность.

1 июня. ...Вчера аппеляционный суд отклонил запрос экипажа «Ситизена» об отмене запрета на выход яхты из гавани...

3 июня. Экипаж «Ситизена» заявил сегодня, что 4 июня яхта отплывает независимо от того, будет ли снят запрет или нет.

5 июня. Сегодня послал следующую телеграмму президенту и адмиралу Страуссу, главе Комиссии по атомной энергии:

«Экипаж яхты «Мемори» считает, что рейс протеста яхты «Ситизен» оправдан со всех точек зрения, и почтительно настаивает на немедленном прекращении испытания бомб на Тихом океане. Мы настаиваем также на пересмотре недавнего распоряжения Комиссии по атомной энергии, которым закрыт для судоходства большой район в открытом море».

Каждая телеграмма стоила мне пятнадцать долларов. Пожалуй, лучше было бы купить на эти деньги ящик консервов для предстоящего перехода в Хиросиму.

Вчера вечером я по приглашению местного телевидения выступил в одной из программ. Я зачитал телеграмму, посланную президенту и Страуссу. После этого под слепящим светом юпитеров мы беседовали с местной журналисткой, не очень пикантной дамой средних лет. Диалог наш звучал примерно так:

— Доктор, значит, вы оправдываете решение экипажа «Ситизена»?

— Безусловно.

— Так что же, они хотят умереть?

— Нет, не хотят, но я думаю, они готовы к любому исходу. Это смелые люди. Они хотят, чтобы все осознали недопустимость ядерных испытаний, заражающих атмосферу.

— Вы, наверно, специалист по радиоактивности?

— Нет, я не «специалист по радиоактивности». Я врач. Но я несколько лет изучал воздействие радиации на человеческий организм.

— Что вы можете сказать о радиоактивных осадках?

— Многое. Но, считаясь со временем, которого нам отпущено весьма мало, скажу только, что с пятьдесят четвертого года по пятьдесят восьмой содержание стронция-90 в почве возле Нью-Йорка увеличилось в семь раз.

— А в этом кофе есть радиоактивность? — Она указала на чашечки кофе, которые стояли перед нами.

— Есть.

— Так почему же вы его пьете? — вопросила она с победным видом.

— Да, вопрос не из легких. А что мне еще остается делать?

— Вот я вас и поймала. Хорошо, профессор, а теперь скажите, если бы у меня родился ребенок, он был бы уродом, да?

— Это зависит...

— Понятно. Это зависит от того, будет ли он похож на меня или нет,— сказала она, покривившись.— Ну, а как же обстоит дело с радиацией и наследственностью?

— Об уродах пусть говорят сочинители научно-фантастических ужасов. Но радиация оказывает влияние на наследственность. Об этом говорят опыты на плодовых мухах. В Хиросиме ведутся генетические исследования. Видимые результаты генетических изменений могут проявиться в третьем или даже четвертом поколении... Ни один серьезный ученый не может отрицать этого.

Самый сокрушительный вопрос она задала под занавес.

— Если бы вы держали палец на кнопке, которая может уничтожить Россию в один миг, и знали бы, что русские ракеты уже в воздухе и вот-вот уничтожат Америку, нажали бы вы кнопку?

— Во-первых, я не очень верю, что русские способны на это, а во-вторых, позвольте задать вам встречный вопрос, а вы нажали бы?

— Вы не имеете права спрашивать, что сделала бы я. Сегодня отвечаете вы.

— Но раз вы подготовили подобный вопрос, то, значит, вы сами должны быть готовы ответить на него.

— Ну, так какой же будет ваш ответ?

— Нет.

Как потом выяснилось, последние наши препирательства в эфир не попали. Зрителям надо было спешно показать другие номера программы.

6 июня. Сколько волнений за один день!

Вчера мы ужинали с экипажем яхты «Ситизен». Ни Силлитоу, ни другие никогда не пытались навязать нам свою точку зрения, но, конечно, они чувствуют, что мы полностью на их стороне. За ужином я сказал, что мы, возможно, составим новый экипаж и отправимся на «Ситизене», если их арестуют. Позже, однако, на семейном совете мы решили, что в любом случае мы все вместе останемся на «Мемори». Я сказал о нашем решении Силлитоу, но он только добродушно улыбался и ничем не проявил своего разочарования. Что за человек!

«Ситизен» был готов к отплытию ровно в полдень. У причала собралась большая толпа, в основном настроенная дружественно. Но раздавались и злобные выкрики, а двое даже держали большой плакат с надписью: «Пацифисты, убирайтесь домой!»

Ровно в полдень яхта отчалила, и тотчас же полиция задержала ее, арестовала Силлитоу и отправила его в тюрьму. Через час он предстал перед судьей Уигом и был обвинен в заговоре. «Какой заговор и с кем?» — спросил Силлитоу, но не получил ответа. Уиг сказал, что Силлитоу выпустят, если он даст обещание не повторять своей попытки. Силлитоу такого обещания не дал и был препровожден в тюрьму.

В четыре часа дня с борта «Мемори» я увидел Деррика, который решительно шагал к «Ситизену». Я окликнул его: «Хелло, Билл, зайдите». Но он только махнул рукой.

И через минуту я узнал, в чем дело. Затарахтел мотор, и яхта двинулась к выходу из гавани. Она свернула в канал, экипаж быстро ставил паруса. И вот она уже вышла в открытое море. От восхищения перед такой смелостью у меня по спине пробежала морозная струйка. Я вбежал в каюту и схватил бинокль.

Яхта была уже в трех милях от берега. Репортеры вскочили в скоростной катер, догнали ее и лихорадочно фотографировали. Береговая охрана была застигнута врасплох, так как «Ситизен» уже был за пределами трехмильной зоны. Но кто-то, очевидно, отдал распоряжение не считаться с правилами, и военный катер перехватил яхту в семи милях от берега. Поздно вечером ее привели обратно, а экипаж отправили в тюрьму, где уже сидел Фред Силлитоу.

7 июня. Экипаж «Ситизена» в тюрьме, а на борту ее маячит часовой.

Мы собираемся отплыть 11 июня. Жена у меня храбрая женщина. Джейн считает, что мы должны завершить дело, начатое экипажем «Ситизена».

Она приняла это решение безоговорочно, а я еще колеблюсь. Дело не в том, что я боюсь физической опасности, хотя она и реальна. Меня тревожит необычность этого шага.

Во-первых, я не принадлежу к числу людей, легко нарушающих законы. Я перехожу улицы только при зеленом свете. Кто-то должен выступить с протестом против ядерных испытаний, но почему это должен сделать я?

Не говоря уже о физической опасности, такой поступок определенно положит конец моей академической карьере. Я наивен, но не настолько, чтобы не понять, что ни Комиссия по атомной энергии, ни военные власти не забудут и не простят мне этого. Сейчас они контролируют почти все университеты и колледжи в Соединенных Штатах. К сожалению, условия для моей работы могут предоставить только правительственные и академические учреждения.

Короче говоря, в любом случае моя научная карьера на этом закончится. Может быть, это звучит мелодраматично, но я просто пытаюсь смотреть в лицо фактам. Я стараюсь избавиться от подобных мыслей и не могу. Я родился в бедности, много работал и сделал неплохую карьеру. Мне не хочется от нее отказываться.

Перечитав эти строки, я нашел, что они жалки и эгоистичны. Что поделаешь, я не благородный герой голливудского фильма.

Все мы живем в замкнутом круге повседневности. Все мы боимся чего-то и не замечаем круга, который вот-вот охватит человечество. Не раз уже в истории старались

замкнуть этот круг служители Зла. Но всякий раз подвиг человека Добра размыкал круг. Недаром враги человечества так боятся инициативы любого человека. Она раскрывает людям глаза на Зло и перерастает в общее сопротивление.

Джейн подметила необыкновенное стечение обстоятельств — «Мемори» построена в Хиросиме; на борту у нас уроженец Хиросимы, родители которого погибли во время атомной бомбардировки; я изучаю воздействие радиации на человека, и, наконец, мы оказались на месте, когда понадобилась наша помощь. Джейн видит в этом руку провидения.

Мы проговорили всю ночь и решили плыть.

10 июня. Позавчера мы всей семьей посетили местную тюрьму. Все пять человек экипажа «Ситизена» приговорены к шестимесячному заключению.

Нас ввели в комнату свиданий, узкую, темную, разделенную густой проволочной сеткой. Наши друзья тепло приветствовали нас. Я испытывал к ним теплое чувство, я гордился, что они американцы, что в Америке есть люди сознательные и честные. И вместе с тем меня не покидало ощущение неловкости. С детства мне вбивали в голову, что тюрьма предназначена для плохих людей, а хорошие (или осторожные) люди в тюрьму не попадают. Внутри тюрьмы я побывал впервые в жизни. Что ж, это эмоциональная подготовка.

В яхт-клубе большинство осуждает яхтсменов с «Ситизена». Ничего не зная толком, люди руководствуются тем, что читают в газетах и слышат по радио. Здесь всех, кто сочувствует экипажу «Ситизена», называют или «обманутыми дураками» или «сторонниками коммунистов». По-моему, еще не решено, к какой категории можно отнести нас.

Мы готовы к отплытию. Закупили провиант, заполнили баки горючим. Разбирали вещи, переданные нам с «Ситизена»,— карты Маршалловых островов, радиопередатчик, ящик с газовыми масками... Они хотели воспользоваться ими в зараженной зоне. Какая жалкая защита от радиоактивности! Я запаковал ящик и спрятал его подальше.

Решилась еще одна проблема — должен ли Фред плыть вместе с нами. В разгар жаркого спора он вдруг сказал: «Помните, это мой мир тоже, и я имею такое же

право бороться за него, какое имеете вы». Мы с Джейн замолчали. Наш сын стал взрослым, а мы, наверно, вечно будем смотреть на него как на ребенка. Фред будет с нами.

Оставалось поговорить с Ником. Когда я спросил его, присоединится ли он к нам, Ник достал и показал мне часы с темным обгоревшим циферблатом и запекшимися стрелками, которые показывали навеки остановившееся время: 8 часов 16 минут. Это были часы его отца.

Шестого августа 1945 года отец Ника в последний раз покинул свой домик на окраине Хиросимы и ушел на работу. Три дня бродила мать Ника по горящим развалинам, разыскивая тело мужа. Она нашла то, что от него осталось. Но доза радиации, которую она при этом получила, оказалась смертельной».

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

НА ДВАДЦАТЫЙ ДЕНЬ

«11 июня 1958 года. Ночь. Мы в открытом море. Легкий попутный ветерок, море спокойное, плывем под всеми парусами — бизань, стаксель, грот, фок.

К северу в темноте видны огни Гонолулу, рассыпанные по холмам. Глядя на них, я испытываю смешанное чувство симпатии и горечи. Я не видел более красивого края на земле и более приятных простых людей. Но эта естественная красота быстро сводится шайкой самодовольных существ, у которых уже больше денег, чем они могут потратить. Это они стали ненавистным американским стереотипом в глазах миллионов людей всего мира.

Мы отплывали под покровом темноты и все вглядывались, не появится ли катер береговой охраны. Я назначил свидание местному репортеру и перед самым отплытием вручил ему наше заявление для печати. У причала толпились люди. Среди них оказалось много сочувствующих нашему делу. «Передайте народу Маршалловых островов наши сожаления»,— сказал один. Другой пожал мне руку, на глазах его стояли слезы, он проговорил: «Волнуюсь... Спасибо вам... спасибо...» — и смешался с провожавшими. Чтобы не выдать своих чувств, я спустился к двигателю.

19 июня. Девятый день в море. Плывем без происшествий. По очереди стоим на вахте. Я использую каждую свободную минуту для чтения литературы, которую Джейн называет «радиационной». Слушали новости по радио. По отношению к нам обещают принять «серьезные меры».

25 июня. Пятнадцатый день плавания. Пересекаем демаркационную линию суточного времени. Входим в Восточное полушарие. 26 июня у нас не будет вообще.

В 12.00 судно «Орион» запросило по радио наши координаты. Дали — 14° северной широты и 179° западной долготы. «Куда направляетесь?» — «В Японию». Связь прервалась, но мы слышали, как наши координаты были переданы некоему «Тому Бигби».

Фред высказал догадку, что это условное обозначение штаба ядерного полигона на Эниветоке. «Том» значит «атом», а «Бигби» — «большая бомба».

30 июня. (Японское время.) Мы с Джейн уединились в штурманской рубке. Пора решать окончательно, войдем ли мы в опасную зону.

«Мемори» уже девятнадцать дней в открытом море, а нет и малейшего намека, что испытания собираются прекратить. Наоборот, все говорит за то, что интенсивность их будет нарастать.

— Значит, решено,— спокойно сказала Джейн.

— Да, но...

Наш безопасный плавучий мирок окутывала непроницаемая тьма. Светилась только картушка компаса. Я подумал о коротеньком стихотворении Фреда, сочиненном на манер японского хайку:

Не могу поверить,
что этот теплый дождь,
который так люблю я,
сегодня радиоактивен!

Да, нас и всех людей мира пронизывал неслышный, невидимый, не воспринимаемый ни единым человеческим чувством смертельный дождь, дождь осколков разрушенных атомов.

— Но...— повторил я.

— У нас есть выбор?

— Нет, у нас нет выбора.

В темноте послышались шаги, и в рубку вошел Ник. Напряженным голосом он спросил, о чем мы говорим.

— Надо ли нам входить в зону испытаний?

— Вы не знаете? Разве вы не решили?

У него был злой вид.

— Да, Ник, мы решили. Если все согласны, мы войдем.

— Хорошо,— сказал он.

1 июля. Двадцатый день плавания. Вчера в 11 часов вечера Фред позвал меня на палубу. На юге маячил огонек. Видно было, как судно развернулось и стало приближаться к нам. Я бросился к передатчику и стал вызывать корабль на частоте 2182 килоцикла, на которой по международным правилам переговариваются суда, встретившиеся в море. Никто мне не ответил.

Судно подошло на большой скорости и чуть не врезалось в корму. В темноте оно казалось громадным. Я крикнул:

— Почему не отвечаете по радио?

— Не имеем права. Скоро начинается запретная зона. Собираетесь ли вы войти в нее?

Ветер относил слова, их едва можно было разобрать.

— Да, собираемся.

— Где?

— На четырнадцатом градусе северной широты.

Судно, на борту которого мы успели прочесть номер Б-217, отстало.

Почему оно подходило так близко? Еще немного, и наше суденышко пошло бы ко дну. Нас хотели запугать.

Всю ночь судно шло за нами на расстоянии мили.

Я сел к передатчику и взял микрофон:

— Говорит яхта «Мемори». Просим ответить любое судно, которое слышит нас.

Ответа не было. Я повторил вступление и продолжал:

— Я хочу сделать следующее заявление. Американская яхта «Мемори» входит сегодня в зону ядерных испытаний в знак протеста против этих испытаний. Просим сообщить соответствующим гражданским властям. Также сообщить японскому правительству, так как на борту у нас находится гражданин Японии.

Из приемника не доносилось ни звука. Вряд ли можно было ожидать ответа, потому что торговые и рыбачьи суда теперь обходили этот район стороной.

Б-217 снова догнал нас, и нам зачитали правительственное распоряжение о запретной зоне. Продолжаем идти. Военный корабль следует за нами.

2 июля. В запретной зоне. Я под арестом. На яхте вооруженные матросы.

Сегодня в 8.20 утра Б-217 подошел в третий раз, и командир его крикнул:

— Остановите яхту и приготовьтесь принять на борт людей.

— Я арестован?

— Да, вас арестуют.

— У вас есть ордер на арест?

— Вам все покажут.

К нам на палубу спрыгнули боцман Корвин и матрос Пири. В руках у них было оружие и наручники. Я заявил Корвину протест против незаконного ареста. Он предложил мне идти на Кваджелейн своим ходом. В противном случае нас возьмут на буксир.

В 9.15 мы тронулись на юго-запад. Матросы вежливо отказались сесть с нами за стол. У них с собой консервы и даже вода.

3 июля. В четыре часа утра (мы не спим уже третью ночь) в море вдруг стало светло, как днем. Словно гигантская лампа-вспышка поднялась над горизонтом. Испытания продолжаются. Мы были всего в двухстах милях от места взрыва бомбы.

На мои расспросы о том, что с нами будет, Корвин только отвечает: «Все узнаете на Кваджелейне».

Наши стражи все еще пьют свою воду, но уже едят с нами. Джейн сломила их сопротивление самым коварным способом. Она наварила огромную кастрюлю спагетти, по яхте поплыли ароматные запахи мясного соуса. Потом Джейн сказала нежным голоском: «Мальчики, мы сами не справимся с таким количеством. Вы нам не поможете?» И она подвинула к ним тарелки с аппетитным блюдом. Против этого не устоит ни один мужчина.

Они оказались неплохими людьми. Ведь это же простые американские ребята, а не профессиональные тюремщики. Экипаж их судна обслуживает ядерные испытания, меняет поврежденные взрывами плавучие цели. Я понял, что они нередко подвергаются облучению. Когда я упомянул об этом, Корвин небрежно произнес:

— А, здесь все контролируется. Человек может получать сто рентген в час без всякого вреда для себя.

— И сколько часов?

— Ну, пять-шесть.

Я показал ему книги Лэппа о радиации, где говорилось, что это смертельная доза.

Корвин рассказал нам, как некоторые матросы, для того чтобы получить отпуск, перекладывают дозиметры из карманов рубах в башмаки. Вблизи радиоактивной палубы они показывают большую дозу. Корвин не понимает, что ноги — это неотъемлемая часть тела и что дозиметры и нужно держать в башмаках.

Кстати, теперь они уже вели себя свободно и даже разулись. Когда Б-217 подошел довольно близко, они бросились надевать башмаки. Флотская дисциплина!

4 июля. Атолл Кваджелейн, наверно, самый большой в мире. Он имеет шестьдесят миль в длину и двадцать миль в ширину. Военно-морская база находится на южной группе островов, которые образуют большую овальную лагуну. Даже когда в открытом море бушует шторм, здесь тихо. Из-за разности глубин вода переливается всеми оттенками синего цвета. Красота необыкновенная. Но у нас нет ни времени, ни настроения любоваться ею.

На все вопросы, которые нам задают, мы твердим одно — мы отправились в зону испытаний в знак протеста против действий нашего правительства. Мы требуем открытого судебного процесса. Нас арестовали незаконно, незаконно же отвели на иностранную территорию (подопечная территория не принадлежит США), мы требуем, чтобы нас передали в руки гражданских властей.

8 июля. Пятый день на Кваджелейне. Меня отправляют в военном самолете. Все остальные остаются здесь. Я спрашиваю, что с ними будет. Мне очень вежливо говорят, что «вам все объяснят потом».

Мы познакомились с несколькими маршальцами, которые здесь работают. На ночь им приходится уезжать с Кваджелейна. Когда Америка отняла у японцев Маршалловы острова, все туземцы были переселены на соседние атоллы. Им так и не разрешили вернуться. 4 июля многие из них приехали поглядеть на праздничную церемонию по случаю Дня независимости. К вечеру один маршалец, выпив для храбрости, стал просить разрешения переночевать на Кваджелейне. С ним был его юный сын.

— Мой сын ни разу не ночевал на родном острове,— сказал этот человек.— Сегодня мы хотим остаться здесь. Мы будем спать на пляже.

Военные власти отказали ему. Он стал скандалить. Сына его отправили с острова с другими туземцами, а самого старика посадили на гауптвахту.

Бывшие жители Кваджелейна отказываются вступать в сделку с военными и не берут денег за «аренду» своей земли. Они возбудили судебное дело.

Здесь один закон — приказы Пентагона. Мне все стало ясно, когда я спросил одного офицера, почему бы не вернуть остров туземцам.

— Вы смеетесь? — сказал он.— В этот вонючий кусок коралла мы вложили миллионы.

Меня зовут, надо прощаться с Джейн, Фредом и Ником. Что же будет с ними и нашей «Мемори»?!»

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

9 ИЮЛЯ 1962 ГОДА

Телеграфные агентства всего мира сообщили:

«8 июля в 11 часов вечера по гавайскому времени американцы после двух неудачных попыток и четырех отсрочек третьей попытки взорвали на высоте 300 километров в районе острова Джонстон ядерную бомбу мегатонной мощности».

Жители Гавайских островов, которые находятся в 750 милях от района испытаний, со страхом наблюдали превращение ночи в день. Шесть минут было так светло, что поблекли яркие лампы дневного света на набережной в Гонолулу. Багровым пламенем горели облака. Люди в тревоге звонили в полицию и редакции газет, иные заталкивали сонных детей в машины и на полной скорости уезжали в глубь островов.

Корреспонденты американских газет лихорадочно записывали свои зрительные ощущения и интервьюировали военных руководителей испытаний. Высказывания генералов сливались в один ликующий вопль.

— Наконец-то мы добились своего!

На многочисленных судах, затерянных в необъятности Тихого океана, радисты тщетно слали в эфир свои позывные и обшаривали все диапазоны. В наушниках слышался только треск. Радиосвязь была потеряна.

В этот час миллионы американцев спали глубоким сном, так как в Соединенных Штатах время было уже

далеко за полночь. В сан-францисской тюрьме беспокойно ворочались на койках смельчаки Чеффи, Стоун и Роббинс, не сумевшие добраться до района испытаний на судне «Эврймен-I». Досыпали последние часы на берегу врач Монт Стедмен и его товарищи, готовые отправиться на двухмачтовом судне «Эврймен-II» в опасную зону.

В этот час светились окна Пентагона, здания Комиссии по атомной энергии и Белого дома. Удовлетворенно потирали руки холеные, напористые люди, тайные помыслы которых неведомы простым американцам.

В этот час в Европе уже было утро 9 июля, а в Москве только что началось первое заседание Всемирного конгресса за всеобщее разоружение и мир, на который съехались тысячи делегатов со всех концов мира.

Весть о взрыве в космосе потрясла делегатов конгресса. Это было не просто совпадение. Это был вызов.

На вечернем заседании при полном молчании зала на трибуне появился американец Карлтон Гудлет.

— Господин председатель! — сказал он прерывающимся от волнения голосом.— Досточтимые делегаты! Американская делегация благодарна за возможность, предоставленную ей,— прервать заседание с тем, чтобы сделать следующее заявление в связи с проведением высотного взрыва...

Гудлет пил воду. Стояла напряженная тишина. Даже в самом дальнем углу огромного зала Дворца съездов было слышно, как звякнул стакан.

— После того как высотный взрыв стал действительностью по вине нашего правительства и вопреки мнению всех ученых, мы считаем нашей священной обязанностью в этот день, день начала работы Всемирного конгресса, полностью осудить эту акцию нашего правительства. И как председатель делегации Соединенных Штатов, я получил мандат и уполномочен сделать это официальное заявление на пленарном заседании этого конгресса. Благодарю вас.

«Закончив слово,— писала на другой день «Правда»,— Карлтон Гудлет пошел через зал, бушевавший, как море. Делегаты приветствовали честного борца за правду, за мир. Ему аплодировали в зале. Ему аплодировали и за стенами Дворца съездов — тысячи москвичей, подняв зонтики, стояли у стеклянных стен и жадно наблюдали за всем, что происходило в кулуарах».

Члены американской делегации, самой многочисленной на конгрессе, горячо пожимали Гудлету руки.

Представим себе на минуту огромный зал Дворца съездов. Вглядимся в лица американцев и подумаем, какие пути привели их сюда, какие мысли, воспоминания теснятся в голове их. Наверно, среди них немало Норрисов, долго плутавших в потемках сомнений и теперь выбирающихся на прямую и ясную дорогу открытой борьбы.

Ну, а сам Норрис? Он, наверно, невольно отметил, что прошло ровно четыре года с тех пор, как его той памятной ночью доставили на самолете с Маршалловых островов на военный аэродром Хикам.

Судьба его была такой же, как и у многих американцев, выступивших с протестом против ядерных испытаний. Он познал и тюрьму и нужду. Но он обрел себя в борьбе и никогда не жалел о том, что пережил.

Суд в Штатах не для бедных. Во время процесса было истрачено тридцать тысяч долларов. Адвокатские гонорары, судебные издержки... Но бывали дни, когда он получал до ста писем от доброжелателей. В некоторых были чеки на пять — десять долларов и краткое указание: «В фонд защиты Норриса». От шофера из Массачусетса, от клерка из Огайо...

Его свидетелями согласились стать лауреат Нобелевской премии доктор Лайнус Полинг и известный японский ученый доктор Нишиваки. Их статьи о гибельных последствиях ядерных испытаний известны всему миру. В одной из работ Полинг предсказывал, что в результате уже произведенных взрывов на земле родится четверть миллиона дефективных детей.

Ученым так и не пришлось выступить на процессе. Протоколы сохранили аргументацию суда.

Суд. Вы просто хотите раздуть дело. Предположим, что мы заслушаем ваших свидетелей. Что это даст?

Защита. Установлен биологический ущерб, нанесенный людям в результате ядерных испытаний. И это будет важным свидетельством в нашу пользу.

Суд. Ваш подзащитный обвиняется в нарушении правительственного распоряжения. Суд не интересует его философия. Она не может смягчить его участи.

Защита. Но, ваша честь, мы убеждены, что испытания незаконны. Во-первых, засоряя атмосферу, Соеди-

ненные Штаты нарушают торжественные обязательства, которые они дали перед ООН, подписав декларацию прав человека...

Во-вторых, наше правительство не выполняет своих обязательств по отношению к жителям Маршалловых островов...

Суд. Повторяю, суду нет дела до вашей философии. Речь идет о нарушении правительственного распоряжения. Разбирается уголовное преступление, и суд не может позволить вам использовать этот процесс как трибуну для высказывания не относящихся к делу идеологических воззрений...

Соображения морального порядка во внимание не принимались. Никому не было дела до того, что Норрис волнуется за свою семью, оставшуюся на «Мемори» в лагуне Кваджелейна. Норриса не выпускали, а Нииши Ямаде, которого все они звали Ником, не разрешали въезд на американскую территорию как скомпрометировавшему себя иностранцу. Много месяцев прошло, прежде чем Норрис увидел «Мемори», входящую в бухту, и обнял дорогих ему людей.

А в высших сферах все шло своим порядком. Разрабатывались планы новых испытаний. Адмирала Страусса на посту руководителя Комиссии по атомной энергии сменил Джон Маккоун, впоследствии ставший во главе Центрального разведывательного управления. Это он еще в октябре 1956 года, будучи попечителем Калифорнийского технологического института, обрушился на десятерых ученых из этого учреждения за то, что они открыто осуждают опасность выпадения радиоактивных осадков и «ввязываются в политические споры».

Он же поощрял доктора Теллера, который считал себя рупором правительства и доказывал, что радиоактивные осадки не вредны. Очевидно, это не относилось к области политики. Впрочем, доктор Теллер в 1959 году ушел с правительственной службы. Но это ни в коем случае не означало, что он потерял свое влияние. Просто ему так было легче принимать богатые подношения от владельцев частных фирм.

Шестого августа 1958 года некоторые газеты в США вышли с заголовками: «Нет прощенья за Хиросиму!» Аме-

риканцы пикетировали здание суда, в котором в это время шел процесс Норриса. И хотя многие прохожие, читая плакаты, посмеивались и презрительно фыркали, в души их закрадывалось беспокойство.

В тот день Норриса не пустили в яхт-клуб. Респектабельные знакомые перестали раскланиваться с ним. Для них он уже был не почтенным ученым, а уголовным преступником.

Но страстные слова Норриса и его адвокатов, сказанные в зале суда, доходили до простых американцев. Это происходило благодаря типичному для Америки парадоксу. Газеты — капиталистические предприятия, они не могли отставать от конкурентов. Процесс Норриса был сенсацией. И газеты не могли не печатать судебных отчетов. Иначе читатели стали бы покупать те газеты, в которых они напечатаны.

Так были опубликованы показания Норриса в суде. И, прочтя их, миллионы американцев уже с сочувствием следили за ходом процесса.

— Ваша честь, случилось так, что я впервые в жизни предстал перед судом. О законности моего поступка будет говорить адвокат. Но существуют еще и моральные причины нашего похода на яхте «Мемори» в район испытаний...

— Я думаю, что человек, как вид, может вынести довольно сильное облучение. Но это уже будет не тот мир, который мы знаем, и мне не хотелось бы жить в нем...

— Как врач, я могу представить себе, что человек анатомически приспособится к облучению, но что это будет за человек! Для меня вопрос не в том, может ли человек приспособиться, а должен ли он это делать? Хочет ли он?..

— Мне было стыдно, когда я читал доклады работников Комиссии по атомной энергии. Я был поражен... Я ни на секунду не сомневался, что Комиссия стремится обмануть американский народ. Впервые в истории американской науки ученый, читая доклад и имя его автора, пытается догадаться, кем инспирирована эта чушь, этот так называемый научный труд. Как ученый, я стыжусь своих коллег, которые ставят свое имя под лживыми сочинениями. Мне стыдно, что ученые в угоду Комиссии стараются скрыть опасность атомной радиации...

Норрис приводил научные данные, цитировал слова

виднейших ученых, отказавшихся от сотрудничества с Комиссией по атомной энергии. Судья и обвинитель каждую минуту обрывали Норриса. «Ближе к делу»,— говорил судья. «Философия!» — кричал обвинитель.

— Вы гордитесь тем, что предстали перед судом и получили аудиторию для изложения своей пагубной философии. Вам импонирует роль мученика в глазах неуравновешенных элементов нашего общества,— сказал в заключительной речи судья и огласил приговор.

Норрис приговаривался к двухлетнему заключению. Шесть месяцев ему предстояло отсидеть в «заведении тюремного типа», а остальной срок считался «условным».

Но ни тюрьма, ни нужда не сломили духа Норрисов. Джон Норрис совершил поездку по Америке. Он выступал с лекциями в клубах, школах и университетах. Он рассказывал о путешествии на «Мемори» и призывал к борьбе против ядерных испытаний.

Он организовал поход по периметру окружности, в центре которой могла быть сброшена мегатонная бомба. Демонстранты во главе с Норрисом прошагали шестьдесят миль, говоря всем встречным: «Ни одной живой души, ни одного здания не останется внутри этого круга».

Такие же походы были организованы во многих городах. И вот Норрис в Нью-Йорке участвует в демонстрации сторонников мира, которые несут восемь плакатов. И каждый плакат — продолжение другого.

«МЫ ИЗОБРАЖАЕМ ЭВАКУАЦИЮ НЬЮ-ЙОРКА».

«ВОДОРОДНАЯ БОМБА БУДЕТ СБРОШЕНА НА 42-ю УЛИЦУ В 8 УТРА».

«НАС ПРЕДУПРЕДИЛИ ЗА ПЯТНАДЦАТЬ МИНУТ».

«НАША СКОРОСТЬ: ЧЕТЫРЕ МИЛИ В ЧАС».

«СКОРОСТЬ РАКЕТЫ 10 000 МИЛЬ В ЧАС».

«РАДИУС ПОЛНОГО УНИЧТОЖЕНИЯ: 15 МИЛЬ».

«КОГДА БОМБА ПРИЗЕМЛИЛАСЬ, МЫ ДОБЕЖАЛИ ДО 52-й УЛИЦЫ».

Сзади всех шел человек с лопатой и плакатом: «КОГДА Я ДОБЕРУСЬ ДО БЕЗОПАСНОГО МЕСТА, Я ВЫРОЮ СЕБЕ УБЕЖИЩЕ».

Норрис побывал в «Доме мира» в Вашингтоне и вместе с семьей раздавал листовки у Белого дома. Норрисы ходили с траурными черными повязками на рукавах. На повязках была белая надпись: «Испытания бомб убивают людей».

А в Хиросиме продолжает свою деятельность Комиссия по обследованию пострадавших от атомной бомбы, в которой когда-то работал Норрис. Она по-прежнему публикует фальшивые данные, запрещает японским ученым писать об облученных и умирающих, чтобы «не пугать общественность». Комиссия проникла даже в Хиросимский музей атомной бомбы и установила там свой стенд, цель которого доказать японцам, что ничего страшного с Хиросимой не произошло.

Японцы считают это кощунством.

Экспозиция музея начинается с портретов Лейбница, Планка... Гигантский взлет мысли и гнусное применение великих открытий. Женщины без грудей и рук, стеклянные глыбы, внутри которых видны части человеческого тела, фотографии, фотографии... Картины «художников Хиросимы» Ири и Тосико Маруки: множество призрачных фигур, души убитых взывают к живым: «Опомнитесь!»

Нельзя идти по этому музею и не испытывать чувства досады на человеческую жестокость и глупость. Америка, ты никогда не испытывала даже обыкновенной бомбардировки! Лишь один японский летчик, Набуо Фудзита, в 1942 году на небольшом самолете, базировавшемся на подводной лодке, долетел до западного побережья США и сбросил вслепую несколько зажигательных бомб на Орегонские леса. Его наградили старинным самурайским мечом. Если бы у самураев была атомная бомба, они тоже не пощадили бы мирных городов. Жестокость и глупость — свойства не национальные. И преступные руки снова тянутся к страшным кнопкам...

Человек смертен. Он живет не только ради себя, но и для будущих поколений. Поколения — звенья единой цепи жизни. И самое главное — не оборвать эту цепь.

Хиросима не дает нам забыть, что человечество пока еще находится в опасной зоне, но круг размыкаем...

1963

Я перечитал эту повесть, написанную и опубликованную в журнале «Москва» почти пятнадцать лет назад, и не отказался от нее, несмотря на ее откровенную публицистичность. Я вспомнил свои поездки, работу над трудами и записями американских ученых, мемуарами генералов и государственных деятелей, протоколами заседаний Конгресса США, различных комиссий и комитетов, книгами и дневниками сторонников мира и его врагов, газетными и журнальными репортажами... Многое из прочитанного мною тогда было потом переведено и издано у нас.

Но проблема борьбы за мир, за разрядку международной напряженности не стала менее актуальной за протекшие годы.

На Маршалловых островах уже не проводятся испытания, но океан вокруг них отравлен, он светится по ночам. Регулярно, в часы наибольшей радиоактивности, из воды на берег выходят рыбы. Опираясь на плавники, они бегают по земле и даже взбираются на кусты. Глубоко в земле поселились птицы, никогда не вылезающие из нор. Все побережье усеяно панцирями черепах, не сумевших приспособиться к новым условиям. Очень немногие живые существа, изменив своей природе, научились защищаться от радиоактивности. Жители атолла Эниветок так и не вернулись на родину...

По инициативе СССР большинство государств мира отказалось от ядерных испытаний в атмосфере, под водой и в космическом пространстве. Теперь уже всякий разумный человек понимает, что радиоактивные выделения отравляют нашу кровь, оседают в наших костях, приносят нам, нашим детям, а по наследству и нашим потомкам, неизлечимые болезни. Разумные люди пресекают преступные посягательства на здоровье и жизнь всего человечества.

Уже давно капиталистические дипломаты не стучат кулаками по столу, требуя привилегий и послушания. Но атомное равновесие зависит от непрерывной поддержки, от укрепления политики мира. Вы скажете — слова от частого употребления стираются, как стираются медные пятаки, прошедшие через миллионы рук.

Слово «мир» дремлет до поры на полках газетных строчек. Но случаются события, которые вдруг превраща-

ют его из сухой абстракции в нечто живое, понятное и желанное.

Эти события раскрывают людям глаза, и они с особой остротой воспринимают красоту мира, удивляются величию городов и необозримости пашен, разглядывают свои руки, такие неизмеримо маленькие по сравнению с тем, что сделано ими. Людей охватывает гордость за то, что они принадлежат к великому роду созидателей, и тревога за принадлежащий им мир, за близких, за право дышать, видеть, работать, роптать и радоваться, за жизнь...

Тревога за жизнь — это самое сильное из человеческих чувств. В любой трагедии любой литературной эпохи идет борьба за жизнь человека, и зрители, глядя на сцену, следя, как смерть неотвратимо подбирается к герою, страстно хотят, чтобы он жил, хотят вопреки неумолимой логике трагедийного действия, ибо кровожадность совершенно чужда людям. Кровожаден не человек, а зверь.

Атомная трагедия — это величайшая из трагедий, которые когда-либо приходилось переживать человечеству.

Многие из отрицательных персонажей этой трагедии сошли со сцены, отправились к праотцам, как и их жертвы. Но в Соединенных Штатах у них и сейчас есть немало последователей.

Как это ни странно, но они в своих устремлениях смыкаются с некоторыми своими антиподами, готовыми пожертвовать миллиардом людей ради того, чтобы потом построить «в тысячу раз более высокую цивилизацию».

Легко сказать — уничтожить цивилизацию. Разве эта цивилизация только капиталистическая? Нет и нет. Цивилизация создана сотнями поколений людей труда.

Одна водородная мегатонная бомба создает зону сплошного разрушения в пять тысяч квадратных километров, а радиоактивные осадки поражают людей за тысячи километров от места взрыва.

А только на Окинаве сосредоточено 3000 единиц ядерного оружия при 20 видах боеголовок. Ныне пишут о возможности создания водородной бомбы, помещающейся в кармане. Термоядерная реакция осуществляется при помощи лазеров. Нейтронная бомба создается...

В Соединенных Штатах ранние образцы ядерного оружия рассекречены и создан музей.

Известно, что страны, не располагающие сейчас ядер-

ным оружием, могут создать его в любой момент и к 1980 году из имеющегося у них плутония изготовить 12 000 атомных бомб.

В первую очередь, в случае войны, будут уничтожены все крупные и промышленные центры, погибнет миллиард человек. Оставшимся в живых, людям с изуродованной психикой, больным, придется вновь по камешку сотни лет воссоздавать мир, который может быть разрушен так нелепо и глупо.

И никто не дает гарантии, что в результате мутаций не изменится сама природа человека, как изменилась природа птиц, уподобившихся земляным червям.

Но этого никогда не произойдет. И тому порукой всесилие коллективного Разума миллионов людей, вышедших на смертный бой с Безумием и тайной властью одиночек.

Пророчеству о «Граде обреченном» свершиться не дано.

1976



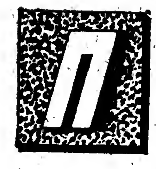
ОЧЕРКИ



В ПОСЛЕДНЕМ ЗАВИДНОМ ГОДУ

Я как живу, так и пишу свободно и свободно.

А. С. Грибоедов. Из письма к П. А. Катенину



о нынешним временам Тегеран не так уж и далек. Всего несколько часов лёту, но бурные события сдвигают время, увеличивают расстояния, и недосягаемым становится для меня Александр Сергеевич Грибоедов, тот, что сидит, скрестив ноги и углубившись в чтение какой-то бумаги, в кресле... на невысоком постаменте во дворе дипломатического здания в иранской столице. Над ним листва высоких деревьев, у ног — большая клумба, розы цветут там в январе, источая аромат, навевая обманчивый покой...

Прошло полтора века с тегеранской трагедии, вызванной неразличимо сплетенными английскими происками, ненавистью к Грибоедову родственника шаха и бывшего премьера Аллаяр-хана, который послал в злополучный день своих людей к русской миссии, чтобы подогревали толпу выкриками: «Господин приказал убить русского посла...» — провокационным выстрелом у ворот посольства, преступным бездействием шаха, до того нередко говорив-

щего: «Кто меня избавит от этой собаки-христианина!» — подстрекательством шиитского духовенства, послушного воле шаха, действиями самого Александра Сергеевича, верного своей клятве: «Голову мою положу за несчастных моих соотечественников»...

Другая эпоха, другие страсти бушуют совсем рядом с армянской церковью в Тегеране, где в братской могиле спят вечным сном служащие русской дипломатической миссии, убитые ровно полтора века назад. Но останков Грибоедова там нет.

Его прах покоится высоко над Тбилиси в монастыре св. Давида на горе Мтацминда. Сюда, к увитой плющом нише с двумя могилами, приходит много людей. Здесь по желанию своего мужа похоронила его Нина Грибоедова, совсем юная и прекрасная, оставшаяся верной памяти поэта до этого печального воссоединения. Люди молча и скорбно смотрят на одно из надгробий, на котором, обхватив распятье, рыдает коленопреклоненная женщина. Изваяние отлито из бронзы по замыслу знаменитого скульптора В. И. Демут-Малиновского, им же сделано и само надгробие из черного камня с портретным барельефом и золотыми буквами: «Александр Сергеевич Грибоедов, родился 1795 года, января 4-го дня; убит в Тегеране 1829 года, января 30-го дня».

Все свое великое и трепетное чувство вложила Нина в слова, горящие на холодном и тяжелом камне: «Ум и дела твои бессмертны в памяти русской, но для чего пережила тебя любовь моя!»

Внизу, в долине Куры, вытянулся по течению реки город, где называют Грибоедова «нашим северным зятем», где живал он наполненно, писал «Горе от ума»... Я перебираю в уме даты и события, но мне все видится, как Пушкин здесь, у еще свежей могилы, после своего путешествия в Арзрум, стоит на коленях и, наклонив голову, плачет.

Незадолго до этого, в июне, неподалеку от Безобдальского хребта, опередив своего человека с вьючными лошадьми, он увидел в зеленой долине на высоком берегу реки крепость Гергеры. Три ручья, с шумом срываясь с высокого берега, впадали в реку, которую Пушкин пересек вброд.

«Два вола, впряженные в арбу, подымались на крутую дорогу. Несколько грузин сопровождали арбу.— Откуда

вы,— спросил я их.— Из Тегерана.— Что вы везете? — *Грибоеда».*

Вспоминая эту встречу с обезображенными останками Грибоедова, которые узнали по простреленной на дуэли руке и везли в просмоленном гробу, Пушкин бросил упрек современникам... да и потомкам:

«Как жаль, что Грибоедов не оставил своих записок! Написать его биографию было бы делом его друзей; но замечательные люди исчезают у нас, не оставляя по себе следов. Мы ленивы и нелюбопытны...»

Но как удовлетворить любопытство теперь, когда и камни уже рассыпались в прах, а реки обмелели или сменили русло?

...Уже месяц я езжу по Кавказу, вчитываясь в скудные путевые записи Грибоедова и Пушкина и пытаясь представить себе, как все выглядело тогда, полтораста лет назад. И не могу. Пушкин ехал с севера на юг, из Грузии в Армению. Арба с волами должна была попасться ему навстречу, а получается, что он будто бы догонял ее, поднимавшуюся от реки на крутую дорогу. Есть широкая зеленая долина, упомянутая Пушкиным, переходящая в лесистые холмы, а потом и в голые горы. Но крепости нет. Впрочем, выясняется, что «Гергеры», а ныне Пушкино, делятся, как сказали местные, на «Гяргяр» армянский и «Гяргяр» русский, одинаково застроенные чистенькими домиками. Может быть, тут действительно была крепость...

В призрачной надежде услышать какое-либо предание, я зашел во двор к преподавательнице литературы в Пушкинской школе Лидии Головкиной. Она только что вернулась из лесу, стояла на веранде в сапогах и ватнике в окружении русых женщин, говоривших на том русском языке, который сохранился в глухих деревеньках Центральной России. На полу я увидел корзины, полные крупных, ядреных рыжиков.

В ответ на мои вопросы женщины пожимали плечами и говорили только, что военный пост здесь, видимо, был, что вон то седло между вершинами называется «Бикетом» — там, наверно, казачий пикет находился, а теперь рыжиков в лесу полно, местные жители грибы не собирают, боятся.

— А вы-то сами откуда приехали? — спросил я.

— Ниоткуда. Мы тоже местные. Прадеды наши от-

ставные солдаты были, русские. Землю им тут давали... Рыжиков соленых не хотите ли?

Соленые рыжики были отменные. Одна из женщин предложила их поесть с хлебом.

— У меня свежий, только что испекла...

— Испекли?

— Ну да, в русской печи.

— Не может быть! В русских деревнях хлеб сами уже не пекут.

— А мы печем!

Я давно не ел такого пшеничного хлеба, душистого, с румяной хрустящей корочкой, пышного.

Потомки кавказских солдат сохранили не один русский язык.

Не знаю почему, но это поразило и меня и моих армянских друзей, и мы всё оглядывались, взбираясь к перевалу. На долину ложился туман, укутывая деревья, закрывая домики.

У самой высокой точки шоссе, откуда открываются оба склона хребта — лесистый северный и каменистый южный, стоит бездействующий фонтан с колоннами и барельефом, который воспроизводит встречу Пушкина с телом Грибоедова. Перевалом уже не пользуются. Гора пронизана насквозь новым тоннелем, южный въезд которого богато отделан розовым туфом. Тут же и новый фонтан с портретом Пушкина.

И все-таки не хочется верить, что Пушкин ошибся, описывая свою встречу. Быть может, грузины с арбой спустились к реке для отдыха, а потом выбирались на «крутую дорогу», которая пересекала реку в другом месте?..

Доверие наше к слову Пушкина неколебимо. Предсказанное им бессмертие «Горя от ума» — лишнее подтверждение пророческого дара. Слезы, пролитые у свежей могилы, напоминают о другом. О живом Грибоедове, который стоял перед Пушкиным накануне своего отъезда из Петербурга в Персию и говорил о предчувствии смерти. А знали они друг друга давно — с 1817 года. И эти двенадцать лет знакомства Пушкин разделил на две части, равные по времени и совсем неравные по жизненным ощущениям Грибоедова.

До 1824 года.

И после.

«Рожденный с честолюбием, равным его дарованиям, долго он был опутан сетями мелочных нужд и неизвестности. Способности человека государственного оставались без употребления; талант поэта был не признан; даже его холодная и блестящая храбрость оставалась некоторое время в подозрении».

Грибоедов уехал из Петербурга, покончил с праздной рассеянностью («Лень губит всякий талант»,— сказал ему Катенин в Тавризе... во сне), работал и в Персии, и в Грузии, и в Москве, и в деревне у Бегичева. Для Пушкина это все была «Грузия», и он прав в своем стремительном описании событий до переворота в судьбе Грибоедова и «начала беспрерывных успехов».

«Его рукописная комедия «Горе от ума» произвела неописанное действие и вдруг поставила его наряду с нашими поэтами,— продолжал Пушкин.— Несколько времени потом совершенное знание того края, где начиналась война, открыло ему новое поприще; он назначен был посланником. Приехав в Грузию, он женился на той, которую любил... Не знаю ничего завиднее последних годов бурной его жизни. Самая смерть, постигшая его посреди смелого, неравного боя, не имела для Грибоедова ничего ужасного, ничего томительного. Она была мгновенна и прекрасна».

Грибоедов любил этот город и даже заботился о его благоустройстве, чему свидетельство — «Записка о лучших способах вновь построить город Тифлис». Ему нравились деревянные галереи, опоясывающие дома и «доставляющие тень, благотворную в здешнем жарком поясе», и он предлагал сохранить их при перестройках. Такие дома с длинными крытыми балконами еще встречаются на старых наклонных и узких улицах. Хорошо бродить по их мостовым, осененным листвой старых деревьев, и вспоминать то немногое, что сохранилось для нас в мемуарах и документах.

В эту вот баню, прославленную Пушкиным, ходил и Грибоедов, учась заодно у банщика грузинскому языку. На площади Ираклия II я вглядывался в уже давно перестроенные дома, стараясь догадаться, в каком из них жил и писал он те явления «Горя от ума», которые читал здесь Кюхельбекеру. А на этой улице, на том самом месте, где стоит сейчас здание Союза писателей Грузии, были дома

командира Нижегородского полка и поэта генерал-майора Александра Герсевановича Чавчавадзе и вдовы начальника артиллерии Кавказского корпуса Прасковьи Николаевны Ахвердовой. Тут Грибоедов нашел свое недолгое счастье, пленившись совсем юной прелестью большеглазой Нины Чавчавадзе. Еще стоит Сионский собор, где они венчались...

Существует легенда, что сразу после свадьбы и нескольких дней торжества молодые супруги уехали в Цинандали, имение Чавчавадзе в Кахетии. В известиях о Грибоедове есть десятидневный перерыв — с 26 августа, когда состоялся бал у военного губернатора Тифлиса генерала Сипягина, и до 6 сентября, которым помечено письмо Паскевичу. У поэта были жестокие приступы малярии, один из них случился во время самого венчания — выпавшее из дрожавшей руки кольцо всех смутило... И все-таки поездка в Цинандали, пребывание «там, где вьется Алазань», не исключено. Хочется в это верить, когда оказываешься в парке над высоким обрывом, над которым висит полуобрушившаяся церковка. В ней, говорят, молодые отслужили благодарственный молебен. Воздух напоен ароматом цветов, тенисты аллеи, громадным липам больше ста пятидесяти лет... Дом Александра Чавчавадзе, «трубадура жизни, радости, любви», просторен. В нем больше тридцати прохладных комнат, с широкой веранды в ясный день видны лиловые горы и белые вершины Кавказа. Где, как не здесь, было пролететь «медовой неделе»...

Грибоедов и прежде бывал в Цинандали, и недаром он писал Ахвердовой за месяц до свадьбы, во время тревожной и утомительной поездки в действующую армию: «Скажите Нине, что так не будет долго продолжаться; вскоре, самое большее через два года, я заживу отшельником в Цинондалах».

Его мечте о спокойной семейной жизни в райском крае не дано было осуществиться. Обязанности звали полномочного министра в Персию...

Не раз уже он проделывал этот путь через Армению, в истории которой важнейшим событием было подписание в маленьком иранском селе Туркманчай договора с Персией в феврале 1828 года. Немало усилий и дипломатического таланта Грибоедова вложено в выработку условий конвенции, по которой к России отходили территории

Эриванского и Нахичеванского ханств, обуславливались исключительное право России иметь военный флот в Каспийском море и контрибуция в 20 миллионов рублей серебром, 45 тысяч персидских армян переселялось на освобожденные русскими земли, туда, где ныне процветает республика, ставшая колыбелью национального возрождения армянского народа.

Договор был результатом побед русского оружия, и при осаде Эривани, под крепостью Аббас-Абад и в других сражениях Грибоедов обнаруживал замеченную всеми храбрость. Но больше всего современники ценили в Грибоедове ум, способности «человека государственного». В Грузии и Армении знают, что́ он сделал для подъема культуры и экономики края. Его заботами спасено множество армян от истребления, основаны в Грузии уездные училища для лиц «свободного состояния» и училища восточных языков, газета «Тифлисские ведомости» и коммерческий банк. Составленный им вместе с П. Завелейским проект учреждения Российской Закавказской Компании привел бы к расцвету местную экономику. Он мечтал, что осуществление проекта «просветит край, обрадует людей, сблизит и соединит узами нравственными разные закавказские народы».

Но дать жизнь задуманному, наделить Компанию властью в бюрократической системе было невозможно, и проект остался неосуществленным.

Тем, кто никак не могут примирить кажущиеся противоречия в жизни Грибоедова — его обличения общественных язв в «Горе от ума» и служебную деятельность, его близость к декабристам и отказ участвовать в обреченной, по его мнению, на провал попытке изменить одним ударом государственный строй России, трудно понять, что он был умнейшим и последовательнейшим человеком своего времени, что он жаждал практических результатов и не чурался труда, призванного искоренить именно те порядки и нравы, которые он бичевал в своей комедии. Он желал России добра. Проявлением этого были и его обличения и его служение на дипломатическом поприще.

В этот раз он ехал в Персию добиваться выполнения условий Туркманчайского договора. Ехал с женой и большой свитой. В караване было 110 лошадей и мулов, ночевали под шатрами на вершинах гор, где царил зим-

ний холод. В Эчмиадзине состоялась пышная встреча. Армянские монахи вышли с крестами, иконами и хоругвями. Грибоедов заночевал в монастыре и начал письмо к своей петербургской приятельнице Варваре Семеновне Миклашевич, хвастался прелестью, игривостью своей молодой жены, которая заглядывала ему через плечо и вдруг сказала:

— Как это все случилось! Где я, что и с кем! Будем век жить, не умрем никогда.

Это было само счастье, и письмо осталось неоконченным...

Эчмиадзин невелик, но в наше время за один день не осмыслишь всего увиденного в пределах его замкнутой зданиями территории. Щедрое армянское солнце заставляет светиться желтый камень, из которого сделано все — и стоящий здесь с четвертого века собор, и хачкары — причудливо иссеченные резцом памятные стелы... Впечатлений полна голова, и поэтому не сразу обнаруживается то, что имеет непосредственное отношение к Грибоедову.

Не знаешь, чему удивляться — то ли мастерству армянских каменотесов и ювелиров всех времен, то ли Гегарду — копью, которым римский воин пронзил ребро распятого Христа, то ли посмертной маске архимандрита и великого композитора Комитаса, то ли святилищу огнепоклонников, обнаруженному под собором при недавней реставрации...

По обе стороны от центрального входа в собор — плиты на могилах армянских католикосов последних 200 лет. На одной из них имя Нерсеса Аштаракеци. Это он во время русско-персидской войны возглавлял отряды армян-ополченцев, сражавшихся бок о бок с русскими солдатами. Во время переговоров с наследником персидского престола Аббас-Мирзой дипломат Грибоедов услышал упрек:

— Вы... для возбуждения против нас армян выписали в Эчмиадзин христианского калифа Нерсеса...

Мне было непонятно, почему духовное лицо названо калифом. Ответ на этот вопрос я решил искать за большой аркой, замыкающей двор монастыря. Сквозь нее виднелся дворец католикоса — Казарапат. Арка же была построена еще в IV веке и называлась воротами Тирадата, в честь тогдашнего армянского царя.

Я получил аудиенцию у католикоса Вазгена I. Это было накануне его семидесятилетия, и меня удивила моложавость красивого лица и прямая фигура старца. Он прекрасно говорил по-русски и только раз обратился к помощнику за переводом. Это когда я сказал о завидно хорошем отношении армян к памятникам старины. Но я не уверен, что Вазген I не знал русского слова, «зависть», просто он тонко дал понять, что монахам не может быть знакомо это мирское чувство. Об Аббасе-Мирзе его святейшество сказал, что тот подразумевал под словом «калиф» одновременно духовного и светского владыку, каковыми были для армян архиереи в старину, то есть до того, как Армения добровольно присоединилась к России.

Празднование 150-летия этого события было в самом разгаре, а Грибоедов имел к нему прямое отношение.

С благословения католикоса я увидел не только его дворец, битком набитый сокровищами искусства — дарами армян всего света, но и старые патриаршьи покои, превращенные в закрытый музей, где хранятся портреты, троны и одежда всех католикосов. В этих старинных сводчатых палатах останавливался и Грибоедов с женой на пути в Персию. Больше негде. На одной из стен я увидел портрет Нерсеса Аштаракеци — пронзительный взгляд, впалые щеки, черный клобук, масса русских орденов, бриллиантовый крест, подаренный Николаем I...

После Эчмиадзина ждала Грибоедовых освобожденная русскими Эривань. Встречали 500 всадников, ханы, армянское и православное духовенство, полковая музыка. Восемь дней пролетели как один. Приехал тесть Александр Чавчавадзе, начальник Эриванской области. Они вспомнили, как ровно год назад русские офицеры поставили и сыграли сцены из «Горя от ума» в заброшенном здании старого Сардарского дворца, на месте которого стоит теперь большое, облицованное мрачноватым камнем винохранилище треста «Арарат». Главную роль играл офицер Зелинский. Грибоедов дал Зелинскому для спектакля свой фрак, помогал советами, подбадривал исполнителей. Сцены имели шумный успех.

Отец и мать Нины проводили Грибоедовых и в семи верстах от города простились с зятем навсегда...

На горе Мтацминда в Тбилиси возле могил Нины и Александра Грибоедовых теперь грузинский Пантеон. Я читаю известные всей стране имена и думаю об имени, которое почитается многими народами Кавказа, о доброй воле человека, мечтавшего их «сблизить и соединить узами нравственными».

Вечереет, и на Тбилиси, как это бывает в горах, сразу надвигается темнота. Вспыхивают миллионы ламп, и город становится похож на опрокинутое звездное небо...

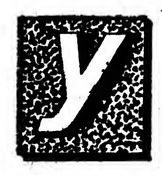
Если так, то верно, что счастливые браки совершаются на небесах.

1978

ОН ВИДЕЛ ЭТОТ ГОРОД ДРУГИМ

Больше веры, больше единства,
а если любовь к тому, то все сделано.

Ф. М. Достоевский



же давно открыта для посетителей Музей-квартира Федора Михайловича Достоевского, что в доме № 5 по Кузнечному переулку. Мимо стендов с копиями документов и страниц из рукописей ходят экскурсанты, но нет (как в квартире Пушкина) ощущения былой жизни...

А тогда, помню, тут еще хлопотали рабочие, на полу лежали грудами рамы и плиты, со стен лохмотьями свисали обои, и были они такие толстые, слоев в двадцать, наклеенных один на другой, и какой-то из самых близких к стене хранил прикосновения плеча или рук великого писателя... Очень важно было определить, какой из слоев, чтобы точно такими же обоями обклеить стены.

Важно было для реставрации узнать и форму окон, и ширину лестниц, но получалась из всего этого некрасивая история... Спор, каким чему быть положено, между заказчиками, проектировщиками, подрядчиками пере-

рос в дикую ссору с увольнениями, оголтелыми обвинениями, обидчивыми письмами, докатившимися до самой столицы, откуда меня и командировали в Ленинград.

Мне казалась оскорбительной для памяти Достоевского эта возня, оскорбительной для самой сущности его, давшего людям такие уроки уважения и любви, после которых человечество уже не должно быть прежним. Он увеличил несказанно совесть мира (если таковая существует), человечество стало духовно богаче, и даже тот, кто не читал Достоевского, непременно будет наделен частицей этого богатства, общаясь с другими. Блажен, кто верует!..

Призвав «враждующие» стороны к благоразумию, я пошел бродить по городу, по городу Пушкина и Достоевского... Для них это были разные города, но людей, которые тут жили, они любили одинаково сильно. И оттого, что жил Пушкин, Достоевский стал тем Достоевским, которого мы знаем.

Инженерный замок встал на моем пути, напоминая своим цветом гигантский, вывернутый наизнанку будуар. Наверно, потому, что традиционная красноватость его обязана своим происхождением рыцарской галантности Павла I, который на вопрос, как красить здание, попросил фаворитку Лопухину снять перчатку и дал ее архитектору Бренна в качестве образца.

Напротив Инженерного замка в верхнем этаже дома, стоящего на набережной Фонтанки, жили братья Тургеневы и собиралось знаменитое литературное общество «Арзамас». Пушкин внимал здесь будущим декабристам, которые «нечаянно отклонялись» от литературы и говорили о рабстве и вольности, о тиранах и тираноборцах. Восемнадцатилетний поэт тут написал оду «Вольность», в которой рассказал об участи Павла I.

...Глядит задумчивый певец
На грозно спящий средь тумана
Пустынный памятник тирана,
Забвенью брошенный дворец...
Он видит — в лентах и звездах,
Вином и злобой упоенны,
Идут убийцы потаенны,
На лицах дерзость, в сердце страх.
Молчит неверный часовой,
Опущен молча мост подъемный,
Врата отверсты в тьме ночной

Рукой предательства наемной...
О стыд! О ужас наших дней!
Как звери, вторглись янычары!..
Падут бесславные удары...
Погиб увенчанный злодей.

Достоевский появился в Петербурге в год гибели Пушкина. Шестнадцатилетнего Федора с братом Михаилом привезли готовиться к поступлению в Военно-инженерное училище. Братья страстно любили Пушкина и чуть ли не всего знали наизусть. В феврале умерла их мать, и это было двойное горе. Федор говорил старшему брату, что ежели бы не было у них семейного траура, то он попросил бы позволения отца носить траур по Пушкину. Дорогой они сговаривались, приехав в Петербург, тотчас сходить на место поединка и пробраться в бывшую квартиру поэта.

Не прошло и года, как веснушчатый бледный юноша Федор Достоевский стоял в строю кондукторской роты Инженерного училища в коридоре бывшего Михайловского замка. Давно «умолк рев Норда сиповатый», да и сын Павла I, либеральнейший поначалу Александр I, приказал перестроить покои, чтобы ничто не напоминало в этом громадном здании с позолоченным шпилем о трагедии, разыгравшейся с его согласия. Но о ней знали все, и тем более пытливый юнкер. И не к юным ли годам восходит тема отцеубийства чужими руками, ставшего трагедией Ивана Карамазова?

Может быть, и прав был Федор Михайлович Достоевский, когда говорил, что решение отца отвезти их в Петербург было ошибкой, «испортило будущность». Но если бы исполнилась его мечта о поступлении в Московский университет, то мы, возможно, знали бы другого Достоевского, непременно гениального, но другого, и не проступали бы в каждом повороте сюжета «Бедных людей», «Двойника», «Униженных и оскорбленных», «Преступления и наказания», «Идиота» петербургские черты, не родились бы драматические пейзажи «самого фантастического» из русских городов, о котором Пушкин говорил:

Город пышный, город бедный,
Дух неволи, стройный вид,
Свод небес зелено-бледный,
Скука, холод и гранит...

Столик для занятий Достоевский поставил в амбразуре окна «круглой каморы», откуда был вид на Фонтанку,

на дом, где Пушкин, вглядываясь в очертания Михайловского замка, некогда писал оду «Вольность». Такой подробности из жизни своего кумира Достоевский не знал, когда смотрел на таинственный город, в котором ему предстояло жить еще несколько десятков лет.

Уже тогда ему «замерещилась... история — в каких-то темных углах, какое-то титулярное сердце, честное и чистое, а вместе с ним какая-то девочка, оскорбленная и грустная...».

В серых глазах его под высоким лбом отражался тусклый свет уличных фонарей. Он склонялся над столиком, читал, писал, пока в спальнях не появлялся барабанщик, бивший вечернюю зорю, и не отправлял его в постель. Но потом он вставал, накидывал одеяло поверх белья и снова садился за столик...

Он тогда зачитывался петербургскими повестями Гоголя, но еще не мог знать горьких гоголевских строк: «Петербург вовсе не похож на прочие столицы европейские или на Москву. Каждая столица вообще характеризуется своим народом, набрасывающим на нее печать национальности; на Петербурге же нет никакого характера: иностранцы, которые поселились сюда, обжились и вовсе не похожи на иностранцев, а русские, в свою очередь, объиностранились и сделались ни тем, ни другим. Тишина в нем необыкновенная, никакой дух не блестит в народе, все служащие да должностные, все толкуют о своих департаментах да коллегиях, все подавлено, все погрязло в бездельных, ничтожных трудах, в которых бесплодно издерживается жизнь их...»

А если бы и знал, то подписался бы под ними обеими руками, потому что, окончив училище, тяготился службой «с употреблением при чертежной Инженерного департамента» и при первой возможности подал прошение об отставке. Как и Гоголю, ему претил аристократический космополитизм знати, накладывавший отпечаток национальной неопределенности на весь быт и облик северной столицы.

* * *

В год отставки, 1844-й, уже были вчерне написаны им «Бедные люди», герои которых, Варенька и Девушкин, жили не «в городе пышном», а в «городе бедном», в городе безобразных доходных домов и деревянных домишек окраин. Петербург «Медного всадника» («грома-

ды стройные дворцов и башен») как бы исчезал из поля зрения Достоевского, и, как отмечают исследователи его творчества, он и потом никогда не изображал центра столицы, ограничиваясь лишь названиями главных улиц и проспектов.

Поглощенные сильными и по большей части горестными чувствами, герои его не замечают городских красот, да и не оправдано было бы психологически, если бы они их замечали.

А видят они пьяных мужиков, артельщиков, слесарного ученика с испитым лицом, «выкупанным в копченом масле», мокрых баб с гнилыми яблоками... «Скучно по Фонтанке гулять! Мокрый гранит под ногами, по бокам дома высокие, черные, закоптелые; под ногами туман, над головой тоже туман. Такой грустный, такой темный был вечер сегодня». Как же далек Девушкин от аристократического Петербурга, если он о Гороховой улице говорит: «Богатая улица. Немецких булочников очень много живет в Гороховой...»

Мрачен Петербург Достоевского, но безнадежности нет, потому что все озарено любовью и состраданием Федора Михайловича к «бедным людям», чутко переданным их величием и благородством.

«Бедные люди» были написаны воспитанником автора «Шинели», но ученик отвергал жестокость гоголевской иронии и внимал главному и любимейшему своему наставнику — автору «Станционного смотрителя».

Достоевского любят называть разночинным интеллигентом и даже «пролетарием умственного труда», что вряд ли верно уже по самой сути его гения. Сам термин «интеллигент» подразумевает нечто массовое, порожденное прогрессом. Дело тут не в древности его рода, не в дворянстве. Не режет ли ухо этот термин, когда мы говорим о явлении уникальном?

Никому не измерить, на сколько голов Достоевский выше героев и типов, им изображаемых. Гаруном аль-Рашидом ходил по мокрому Петербургу Федор Михайлович, не приметный ни внешностью, ни одеждой, и если возвращался он не в халифский дворец, а в комнатку, в доходный дом близ Владимирского собора, то это нисколько не умаляло его величия, которым он щедро наделял и своих маленьких героев.

В эту-то комнатку и ворвались к нему на исходе белой петербургской ночи Некрасов с Григоровичем в

восторге и слезах, которых не могли сдержать при чтении сцены прощания Девушкина с Варенькой. Редактор «Петербургского сборника» Некрасов приговаривал: «Ах, чтоб его!» — и решил сообщить Достоевскому об успехе немедленно. «Что же такое, что спит, мы разбудим его, это выше сна!..» А назавтра Некрасов снес рукопись «Бедных людей» великому критику Белинскому и уже с порога закричал: «Новый Гоголь явился!» — на что Белинский строго заметил: «У нас Гоголи-то как грибы растут». А на третий день и критик говорил Достоевскому, вскрикивая от волнения: «Да вы понимаете ль сами-то, что это вы такое написали!..» И длинную восторженную речь он закончил словами: «Вам правда открыта и возвещена, как художнику, досталась, как дар, цените же ваш дар и оставайтесь верным, и будете великим писателем!..»

«Это выше сна!» Невыразимое это и было гениальностью Достоевского. Уже первое произведение взбудоражило маститых читателей и понудило их к нервическим поступкам. Последовали петербургская поэма «Двойник» и «Роман в девяти письмах», написанный в одну ночь.

* * *

Воспевать белые ночи Петербурга стало традицией в русской литературе. Вслед за Гнедичем, Вяземским, Пушкиным, Лермонтовым отдал дань ей и Достоевский. Но в сентиментальном романе «Белые ночи» странное явление русского Севера и не описано вовсе, а оно чувствуется. Белая ночь в тревоге, которая гонит мечтателя на улицы, залитые призрачным светом... Белая ночь в ощущении мимолетности счастья... «И жаль вам, что так скоро, так безвозвратно завяла мгновенная красота, что так обманчиво и напрасно блеснула перед вами,— жаль оттого, что даже полюбить ее вам не было времени...»

Но кто этот мечтатель? Не Достоевский ли? Нет и нет. Мечтатель — это тот, кто не способен жить настоящей жизнью. «Кругом тебя гремит, кружится в жизненном вихре людская толпа, слышишь, видишь, как живут люди,— живут наяву, видишь, что жизнь для них не заказана, что их жизнь не разлетится, как сон, как видение, что их жизнь вечно обновляющаяся, вечно юная, и ни один час ее не похож на другой, тогда как уныла и до пошлости однообразна пугливая фантазия».

Слабые души уже после нескольких ударов, нанесенных жизнью, спешат забиться в свой заветный «золотой мирок», талант притупляется однообразием пустых мечтаний, подменяющих деятельность, и «человек делается, наконец, не человеком, а каким-то странным существом среднего рода — мечтателем».

Нет, Достоевский был волевым человеком, дело не валилось у него из рук, никакие неурядицы не могли сломить его. Он доказывал это ежедневно и себе и другим. Он и через тридцать лет после «Белых ночей» хотел написать роман «Мечтатель», чтобы еще раз проследить эту человеческую слабость...

«А все-таки моя ночь была лучше дня!»

Достоевский много работал. Работал, пересиливая слабость, ипохондрию. Удивительна воля этого человека, страдавшего припадками падучей и сопряженными с ними страшными головными болями. А чего стоили постоянные переезды с квартиры на квартиру — более полутора десятков сменил их Достоевский в Петербурге за свою жизнь. В начале 1846 года он жил в доме, что на углу Кузнечного переулка и нынешней улицы Достоевского. Волей случая здесь же снял он последнюю квартиру в своей жизни. Но случайно ли то, что он всегда селился в угловых домах? Он любил, чтобы за окном был простор, уличная перспектива, венчаемая, по русскому обычаю, храмом.

* * *

Весной того же 1846 года на Невском проспекте его остановил человек в широкополой шляпе и поинтересовался, что он собирается писать. Так состоялось знакомство с Петрашевским. А потом были вечера по пятницам в деревянном домике Петрашевского у Покровской площади, куда Достоевского влекла мечта о «золотом веке», о всеобщем счастье, «мечта самая невероятная, но за которую люди отдавали всю жизнь и все силы, для которой умирали и убивались пророки, но без которой народы не хотят жить и не могут даже и умереть».

Когда оптический телеграф донес до Зимнего дворца весть о низвержении Луи-Филиппа и провозглашении республики, царь содрогнулся, а в петербургских кофейнях трудно было протолкнуться среди людей, листавших

газеты. Симпатии даже в высшем обществе были на стороне парижан.

На другой день Николай I вошел во время мазурки на бал к наследнику.

— Седлайте коней, господа! Во Франции объявлена республика!

Царь издал манифест, в котором говорилось о «дерзости, угрожающей в безумии своем и нашей богом вверенной России».

Еще до революции сорок восьмого года в кофейнях узнавали человека среднего роста, с бородой, с внешностью, как говорил один из мемуаристов, «театрального разбойника». На него откровенно показывали пальцами.

— Это Петрашевский, у него собираются социалисты.

Пошли слухи, что они собирались отправиться на маскарад в черных домино, скрыв под ними оружие, и убить царя с главнейшими сановниками, чтобы потом провозгласить республику.

То, что было секретом полишинеля для петербургской публики, после революции во Франции показалось опасным царским бюрократам. Но выследили петрашевцев не сыщики Дубельта, а люди министра внутренних дел Льва Алексеевича Перовского, родного дяди Алексея Константиновича Толстого и братьев Жемчужниковых. Представляя «русскую партию» при дворе, в противовес «немецкой», он пустился в соперничество с III Отделением и создал собственную сыскную полицию. Однажды утром император встретил входившего в его кабинет шефа жандармов словами:

— Хорош! Открыт заговор, а я узнал об этом не от тебя, а от Перовского!

Дело раздули. Были допросы и суд. Достоевский объяснял судьям, что не желал «перемен и переворотов, насильственно, революционно возбуждая желчь и ненависть...». Это была правда, но уже одно участие в пропаганде будущего «всеобщего счастья» считалось опасным.

На Семеновской площади под гром барабанов зачитали смертный приговор Петрашевскому, Достоевскому, Плещееву, Дурову, Спешневу, Ханыкову. Уже им завязали глаза, когда прискакал флигель-адъютант с царским помилованием...

Новый приговор звучал так:

«Отставного поручика Достоевского... лишить всех прав состояния и сослать на каторжную работу в крепостях на четыре года, а потом рядовым...»

* * *

В Петербург Достоевский вернулся через десять лет. Вернулся с жаждой творить и жить... Несостоявшаяся казнь не только не сломила его дух, но закалила его, заставила по-иному взглянуть на жизнь. Вечером того страшного дня перед казнью он писал брату: «Как оглянусь на прошлое, да подумаю, сколько даром потрачено времени, сколько его пропало в заблуждениях, в ошибках, в праздности, в неуменье жить; как не дорожил я им, сколько раз я грешил против сердца моего и духа,— так кровью обливается сердце мое. Жизнь — дар, жизнь — счастье, каждая минута могла быть веком счастья... Брат! Клянусь тебе, что я не потеряю надежду и сохраню дух мой и сердце в чистоте».

По возвращении в Петербург Достоевский поселился в меблированных комнатах, а потом жил в основном в районе Мещанских улиц, по словам Н. Н. Страхова, «грязноватых и густо населенных петербургским людом третьей руки».

Это было нагромождение высоких грязных каменных доходных домов. Они строились так, чтобы «не пропадал» ни один квадратный метр дорогой петербургской земли. Большие, «приличные» квартиры выходили окнами на улицу. Это был фасад, но то, что в русском языке метко названо «задворками», являло собой совсем иную картину. Если заглянуть в низкий, сводчатый тоннель ворот такого старого дома, то увидишь целую «анфиладу» тесных, темных дворов-колодцев. В сырых квартирах ютилась городская беднота. Жильцы пускали к себе «угольных» квартирантов — теснота, вонь, болезни...

Это и есть та обстановка, в которой живут петербургские герои Достоевского. Роман «Преступление и наказание» начинается описанием того, как «задавленный бедностью», живущий в каморке, похожей на шкаф или на гроб, Раскольников идет по С-му (Столярному) переулку по направлению к Сенной площади мимо «известных заведений». Нестерпимая вонь из распивочных, люди в отрепьях, пьяные, и снова вонь, вонь, неизменный

спутник нищеты... Как и Раскольникова, самого Достоевского очень угнетали такие картины. Весь в долгах, он трудился, как каторжник, и, чтобы не жить в тесных комнатушках, тратил большую часть заработка на наем сравнительно хороших квартир, потому что считал, что в тесноте и мысль задыхается. Однако ему так и не довелось пожить в просторных палатах, которые были принадлежностью иного, аристократического и уже требовавшего себе доли буржуазного Петербурга, такого далекого и с неохотою описываемого.

Уже не раз отмечалось, что в своих описаниях городских пейзажей Достоевский точен чрезвычайно. Буквально в шагах измерены маршруты его героев, и если он говорит в романе, что в лестнице было десять ступенек, то можно и сейчас разыскать эту лестницу, и в ней будет точно десять ступенек. Следуя описаниям Достоевского, можно и в наше время пройти маршрутами Раскольникова. Описания домов, их этажность, цвет — все точно в романах Достоевского, и кажется, будто в этой точности было нечто вдохновлявшее писателя...

В сгущенной атмосфере Петербурга Достоевского, в сугубо материальной обстановке дух человека томится; «русские мальчики» в вонючих трактирах решают мировые проблемы; и город, столь конкретный в описаниях, становится призрачным и обреченным. И после Достоевского, вооруженные его страстным отрицанием города контрастов, другие «мальчики» будут готовить революцию, а противореволюционная полемика писателя не будет замечаться вовсе, потому что ум человеческий обладает свойством воспринимать лишь то, что отвечает потребностям текущего направления духовной жизни.

* * *

В записной книжке Достоевского есть запись:

«Народ. Там все. Ведь это море, которого мы не видим, запершись и оградясь от народа в чухонском болоте.

Люблю тебя, Петра творенье.

Виноват, не люблю я его.

Окна, дырья,— и монументы».

И вот мы снова вернулись к Пушкину.

Вслед за Гоголем Достоевский говорил о Пушкине

как о «явлении чрезвычайном и, может быть, единственном явлении русского духа», прибавляя от себя — «и пророческом».

Пушкина, как и Достоевского, несмотря на всероссийскую и даже мировую стихию их творчества, невозможно представить себе без Петербурга, без точных примет, объемлющих жизнь, дух и плоть великого города, увиденного сквозь магический кристалл гениальности.

В последний год жизни Пушкин пишет поэтическое завещание, вещий смысл которого опирается на петербургский образ:

Я памятник себе воздвиг нерукотворный,
К нему не зарастет народная тропа,
Вознесся выше он главою непокорной
Александрийского столпа.

В своей речи, произнесенной в 1880 году, во время открытия памятника Пушкину в Москве, Достоевский проникновенно и гордо говорил о великом поэте, о его месте в истории русской литературы, о типах русских людей, «верных и схваченных безошибочно» Пушкиным.

По мнению Достоевского, уже сам Пушкин есть пророчество, так как он пришел и осветил «направляющим светом» ту правильную дорогу, на которую ступило национальное самосознание, блуждавшее сотню лет в потемках после петровских реформ. Пушкин — народный поэт, нашедший «свои идеалы в родной земле». Но в национальной русской силе поэта, в народности его поэзии Достоевский увидел и его «всемирную отзывчивость», выразившуюся в поразительном умении Пушкина перевоплощать свой дух в дух чужих народов. И в этом Достоевский видел пророчество, как видел он его в реформах Петра I и в приятии и усвоении русским народом достижений чужих наций. «Для настоящего русского Европа и удел всего арийского племени так же дороги, как и сама Россия, как и удел своей родной земли, потому что наш удел и есть всемирность, и не мечом приобретенная, а силой братства и братского стремления нашего к воссоединению людей».

С 1873 года Достоевский начал публиковать свой «Дневник писателя», в котором и в откровенно публицистической форме, и в художественных зарисовках высказывался свободно и смело. Тогда он дал оценку архитектуре Петербурга нелицеприятную и, в публицистической запальчивости, несправедливую:

«Удивительна мне архитектура нашего времени. Да и вообще архитектура всего Петербурга чрезвычайно характеристична и оригинальна и всегда поражала меня,— именно тем, что выражает всю его бесхарактерность и безличность за все время существования...»

Богатый заказчик говорит у него архитектору:

«Дожевское-то окно ты мне, братец, поставь неотменно, потому чем я хуже какого-нибудь ихнего голоштанного дожа; ну, пять-то этажей ты мне все-таки выведи жильцов пускать; окно — окном, а этажи чтобы этажами; не могу же я из-за игрушек всего нашего капиталу решиться».

Капиталистическая анархия, неуважительное отношение буржуа к культурному наследию, спесь нуворишей, стремление и невинность соблюсти, и капитал приобрести, а оттого и тошнотворная архитектура — все это верно подмечено и прекрасно сказано, но почему убийственная ирония распространяется на весь петербургский период, почему Достоевский не признает ни барокко, ни русского классицизма — этой привычной гордости нашей? И как это вяжется с его словами о пророчестве Пушкина, который был явлением той же культуры, что и Петербург? Или с его утверждением, что русский народ принял петровскую реформу, ощутив ее высшую цель? «Ведь мы разом устремились тогда к самому жизненному воссоединению, к единению всечеловеческому!» — читаем мы в том же «Дневнике писателя», в его речи о Пушкине, сказанной, правда, через семь лет после рассуждений об архитектуре Петербурга.

Достоевского часто обвиняли в противоречивости его взглядов. Но противоречивость эта кажущаяся. Его обвиняли чуть ли не в бунте против культуры и истории, в низвержении ценностей и даже усматривали в этом русскую национальную черту на том основании, что Достоевский признавал нигилистическую природу русского человека и прозревал революцию с ее громадной ломкой.

Иррациональность характера и убеждений Достоевского общеизвестна. Она проистекала из колоссальной внутренней свободы, характерной вообще для мыслящих русских в XIX веке; Достоевский — лишь самое яркое выражение этого явления. Но иррационализм его ни в коем случае не есть анархия мышления. В своих суждениях он руководствовался духовным началом, не прибе-

гая к систематизации, этой принадлежности науки, тщетно борющейся с антиномиями.

Отрицание архитектуры Петербурга имеет славянофильские корни. Но Достоевский был объемнее и глубже всех славянофилов, вместе взятых. В том же «Дневнике писателя» он говорит о разладе славянофилов с действительностью, об односторонности их воззрений. И если он зачеркивает, подобно им, подражательную архитектуру Петербурга, не видя в ней проявления русской духовности, то Петербург-город для него остается все-таки исключительно русским явлением, в котором, как в фокусе, собираются все противоречия и страсти России. Для него народ — это не только крестьяне и помещики, для него народ — и все, что объемлет собой понятие «Петербург», с его беднотой, с его нарождающимся рабочим классом и буржуазией. И все западники, социалисты, анархисты, атеисты — это тоже уже неотъемлемо от России, как и предчувствие грядущей революции. Здесь он признавал то, в чем отказывал архитектуре Петербурга, признавал переработку, переиначивание заимствований на русский лад. И символ «бога истинного» у Достоевского — это народное понятие о доброте и зле. Оно не универсально для всех народов. Обладание собственным таким понятием свидетельствует о силе и жизненности народа, а без этого он — «этнографический материал».

Прославляя русский народ и даже наделяя его чертами исключительными, способностью к разрешению мировых противоречий, Достоевский никак не умалял роли и достоинств других народов. И потому с полным правом говорил: «Никогда вы, господа, наши европейцы и западники, столько не любили Европу, сколько мы, мечтатели-славянофилы, по-вашему, исконные враги ея».

Достоевский считал, что нельзя построить справедливое общество без морального преображения каждого человека, без восприятия им православной этики. Но как преобразить человека? «Все у него отнято, до самой законной инициативы. Все права русского человека — отрицательные... Чем хуже — тем лучше — это ведь не одна только фраза у нас, а, к несчастью,— само дело».

И он звал: «Поймите меня: самовольное, совершенно сознательное, и никем не принужденное самопожертвование всего себя в пользу всех есть, по-моему, признак вы-

сочайшего развития личности, высочайшего ее могущества, высочайшего самообладания, высочайшей свободы собственной воли».

А вот иная свобода. «Какая свобода? — Одинаковая свобода всем делать все, что угодно, в пределах закона. Когда можно делать все, что угодно? Когда имеешь миллионы. Дает ли свобода каждому по миллиону? Нет. Что такое человек без миллиона? Человек без миллиона есть не тот, который делает все, что угодно, а тот с которым делают все, что угодно».

Последним романом Достоевского о Петербурге был «Подросток», герой которого грезил в промозглую петербургскую погоду: «А что, как разлетится этот туман и уйдет кверху, не уйдет ли с ним вместе и весь этот гнилой, склизлый город, подымется вместе с туманом и исчезнет, как дым, и останется прежнее финское болото, а посреди него, пожалуй, для красы, бронзовый всадник на жарко дышащем, загнанном коне?»

* * *

Из последней квартиры Достоевского, что в Кузнечном переулке, его тело вынесли ровно в 11 утра 31 января 1881 года. Тридцать тысяч человек провожали его в последний путь. В университете и в гимназиях в тот день не было занятий. Семьдесят венков от студентов и учеников, от писателей и музыкантов, от врачей и судебных следователей, от инженеров и военных несли за его гробом. Юнкера Инженерного училища были в полной парадной форме. Похороны вылились в манифестацию, какой еще не видел Петербург.

Л. Н. Толстой в тот год написал Н. Н. Страхову: «Как бы я желал уметь сказать все, что я чувствую о Достоевском! Вы, описывая свое чувство, выразили часть моего. Я никогда не видел этого человека и никогда не имел прямых отношений с ним; и вдруг, когда он умер, я понял, что он был самый близкий, дорогой, нужный мне человек...»

«Это были национальные русские проводы национального русского писателя»,— говорилось в отчете о похоронах.

1971

ВОСПИТАНИЕ ВОЛИ

Памяти преподавателя
истории русской литературы
М. М. Шишкевича

1



олодой человек был невысок, коренаст. Чуть кривоватые кавалерийские ноги скрывались полами длинного восточного халата. Высокий лоб его оттеняли аккуратно подстриженные темные жесткие волосы и прямая линия густых бровей, нависших над глубоко посаженными умными глазами. Крупный нос, немного выпяченные, как бы надутые, губы и квадратный, гладко выбритый подбородок говорили о воле, граничившей с упрямством, и о капризной переменчивости настроений.

Сейчас он был доволен собой. Сквозь балконную дверь светил в комнату уличный фонарь, доносилась бравурная музыка. На бухарестских бульварах играли духовые оркестры. Толпы разодетой публики устремлялись к зданиям, где шли спектакли итальянской оперы и французской комедии. Молодой человек в который раз удержал себя от соблазна выйти в этот теплый июльский вечер на улицу, смешаться с толпой, поволочиться за молодыми кокетливыми румынками или пойти в полковое собрание, где ре-

жутся в штосс... Впрочем, играть не на что — все проиграно, до копейки, еще неделю назад. Пришлось занимать. Положение это — унизительное для каждого, а для него в особенности...

Молодой человек оглядел комнату. Стол, освещенный двумя свечами, был завален листами желтоватой бумаги, исписанной бисерным стремительным почерком. На полу валялись такие же листы, но уже скомканные, отвергнутые... Сегодня он поработал как следует — сочинял «Записки фейерверкера» с самого обеда и до вечера, хотя и мешали приятели-офицеры, заглядывавшие к нему и изрекавшие благоглупости, которые стоило бы записать... Вот, опять нетерпимость, раздражительность, излишнее самолюбие, которые вкупе с привычкой к праздности и непоследовательностью составляют его главные недостатки. Целых три месяца он ничего не делал после того, как докончил «Отрочество» и отослал Некрасову в «Современник»... Нельзя же считать работой сидение время от времени над «Романом русского помещика» и «Записками фейерверкера». Еще вчера он целый день читал то Лермонтова, то Гёте — лишь бы не приниматься за дело. Да, дни проходят ничтожно! Вот нынешний... Ни одного воспоминания не останется, ни одного сильного впечатления...

Заметив непоследовательность в мыслях, молодой человек вздохнул. Сегодня он поработал, выполнил свой урок. Еще учась в Казанском университете, пять лет назад, он начал вести дневник и составил для себя правила для развития воли и памяти и с тех пор каждое утро назначал себе все, что должен был делать в продолжение целого дня, определяя даже самые мелочные обстоятельства, даже сколько трубок курить в день. И спать себе определил как можно меньше — во сне ведь воля отсутствует вовсе. Всего правил сорок три. И выдуманы они были, чтобы, покидая прискучивший университет, за два года в деревне усвоить весь университетский курс наук, изучить медицину, сельское хозяйство, полдюжины иностранных языков, написать диссертацию и достигнуть средней степени совершенства в музыке и живописи...

Он полистал дневник. «Встал в восьмом часу, до 10 ничего не делал, от 10 до 12 читал и дневник, 12 до 6 завтрак, отдых, некоторые мысли о музыке и обед, 6 — 8 музыка, 8—10 хозяйство. Второй день ленюсь, не исполняю назначенного...» Пришлось дополнять правила: «То, что предложил себе делать, не откладывай под предлогом рас-

сеянности или развлечения; но тотчас, хотя наружно, принимайся за дело». Так он заставил себя написать «Детство», искоренил некоторые пагубные страсти, выработал правило по нескольку раз переписывать сочинения. И главное — преодолевать праздность, писать, писать и вспоминать почаще, что Теккерей тридцать лет собирался написать свой первый роман, а Дюма пишет по два в неделю...

Молодой человек открыл страницу дневника, исписанную утром:

«7 июля. Скромности у меня нет! вот мой недостаток.

Что я такое? Один из четырех сыновей отставного подполковника, оставшийся с 7-летнего возраста без родителей под опекой женщины и посторонних, не получивший ни светского, ни ученого образования и вышедший на волю 17-ти лет, без большого состояния, без всякого общественного положения и, главное, без правил; человек, расстроивший свои дела до последней крайности, без цели и наслаждения проведший лучшие годы своей жизни,— наконец изгнавший себя на Кавказ, чтоб бежать от долгов и, главное, привычек, а оттуда, придравшись к каким-то связям, существовавшим между отцом и командующим армией, перешедший в Дунайскую армию 26 лет, прапорщиком, почти без средств, кроме жалования (потому что те средства, которые у него есть, он должен употребить на уплату оставшихся долгов), без покровителей, без уменья жить в свете, без знания службы, без практических способностей; но — с огромным самолюбием! Да, вот мое общественное положение...»

Сейчас, поработав основательно, он стал более благосклонным к себе. Все это преувеличение. Оттого-то он и кажется себе ленивым и никчемным, что не привык к бездействию. Когда он не пишет или ему не пишется, тогда и появляются такие вот записи в дневнике. Но он тотчас прогнал эту мысль, чтобы не давать себе потачки... Вспомнился приезд в Южную армию и представление ее командующему, троюродному брату отца, старому князю Михаилу Дмитриевичу Горчакову, чьи блистательные и богатые родственники густо населяли штаб. Михаил Дмитриевич встрепенулся, когда услышал адъютанта, докладывающего о прапорщике графе Льве Николаевиче Толстом, обласкал, назначил в Двенадцатую артиллерийскую бригаду, а потом перевел в управление начальника артиллерии генерала Сержпутовского и забыл своего захудалого родича. Аристократические знакомства как-то быстро

прекратились, оставив неприятное ощущение неуменья жить в свете...

Молодой человек продолжал читать свою утреннюю запись:

«...посмотрим, что такое моя личность. Я дурен собой, неловок, нечистоплотен и светски необразован. Я раздражителен, скучен для других, нескромен, нетерпим... и стыдлив, как ребенок. Я почти невежда. Что я знаю, тому выучился кое-как сам, урывками, без связи, без толку и то так мало. Я невоздержан, нерешителен, непостоянен, глупо тщеславен и пылок, как все бесхарактерные люди. Я не храбр...»

Прапорщик Толстой стремился на войну с турками. Знал ли он, что они когда-то долго держали в заточении его предка, петровского дипломата Петра Андреевича Толстого, наделившего всех многочисленных Толстых графским титулом? Под крепостью Силистрией прапорщик получил еще одну возможность испытать свое мужество. Русские войска готовились к штурму крепости, а пока были перестрелки, вылазки, стычки. Толстому случалось бывать под огнем, когда его посылали с приказаниями в траншеи, и он пока не мог не кланяться пулям, что больно било по самолюбию — он ставил крест на карьере военной и уповал на литературную.

«...Я неаккуратен в жизни и так ленив, что праздность сделалась для меня почти неодолимой привычкой. Я умен, но ум мой еще никогда ни на чем не был основательно испытан. У меня нет ни ума практического, ни ума светского, ни ума делового. Я честен, то есть люблю добро, сделал привычку любить его; и когда отклоняюсь от него, бываю недоволен собой и возвращаюсь к нему с удовольствием; но есть вещи, которые я люблю больше добра,— славу. Я так честолюбив и так мало чувство это было удовлетворено, что часто, боюсь, могу выбрать между славой и добродетелью первую, ежели бы мне пришлось выбирать из них.

Да, я нескромен; оттого-то я горд в самом себе, а стыдлив и робок в свете».

Последние строки записи совсем уж отдавали ребячеством. Смешно... Он охотно уничтожил бы их, если бы не дал себе слова никогда не уничтожать написанное, потому что дорожил такими вот выражениями своих настроений, признаниями глуповатыми, но искренними. Просто

теперь у него было другое настроение, и он с удовольствием добавил к записи перечисление сделанного сегодня.

Толстой вышел на балкон. Он любил вечерами смотреть на уличный фонарь, светивший сквозь густую листву дерева. Недавно прошла гроза, воздух был влажный, дышалось легко...

Он обернулся и встретился глазами с хорошенькой хозяйской дочкой, которую, как и его, влек этот свежий вечер. Она лежала на окне, облокотившись. По улице прошел шарманщик, наигрывавший вальс. Музыка постепенно удалялась, и, когда звуки шарманки затихли совсем, девочка вздохнула, мотнула головой, прогоняя томление, встала и быстро отошла от окна.

Прапорщику стало так грустно-хорошо, что он невольно улыбнулся и еще долго смотрел на фонарь, который то и дело заслоняли раскачиваемые ветром ветви дерева. Он смотрел на забор, на небо — все казалось ему прекрасным, и сам он, и жизнь были не такими скверными, как прежде...

2

А через несколько дней пришлось сниматься с места. Наступило время испытаний и раздумий. Время, принесшее зрелость...

Уже была снята осада Силистрии, и русские войска отошли за Дунай, потому что главнокомандующий, фельдмаршал Паскевич, получил секретное донесение о возможных действиях австрийской армии, собиравшейся соединиться у дельты Дуная с англо-французским десантом. Вся Европа ополчилась на Россию. К сентябрю врагу были уступлены Валахия и Молдавия.

К берегам Крыма направлялся соединенный англо-французский флот. Волны вздымали 89 военных кораблей и 300 транспортных судов. Французский главнокомандующий Сент-Арно самонадеянно докладывал:

«Лишь только я высажусь в Крыму и бог пошлет нам несколько часов штиля,— кончено: я владею Севастополем и Крымом».

Штиль был ниспослан, и после высадки в Евпатории 62-тысячная армия союзников двинулась на Севастополь. 8 сентября на реке Альме их встретила 35-тысячная русская армия. Было отбито несколько лобовых атак англичан. Французы совершили обходный маневр, и русским

войскам пришлось отступить. По поводу этой победы герцог Кембриджский сказал: «Еще одна такая победа, и у Англии не будет армии».

Командующий русскими войсками в Крыму князь Меншиков растерялся и отвел армию к югу, за Севастополь, открыв союзникам доступ к городу.

Эти вести дошли до Льва Толстого в Кишиневе. Он тотчас стал проситься в осажденный Севастополь из желания, как писал он позже брату Сергею, «видеть эту войну, отчасти для того, чтобы вырваться из штаба Сержпутовского, который мне не нравился, а больше всего — из патриотизма, который в то время, признаюсь, сильно напал на меня».

Право же, стоит проследить дела и мысли Толстого, беспрестанно упрекающего себя в лени и других смертных грехах. В этих упреках было сознательное дисциплинирующее начало. Диву даешься, сколько же делалось им помимо исполнения прямых служебных обязанностей.

В сентябре и октябре записи его в дневнике коротки, да и мало их очень.

И так у него будет всегда. Раз он занят делом, нет смысла вести дневник и осыпать себя упреками. Восемь лет он не притронется к дневнику — с ноября 1865 года и по ноябрь 1873 года, когда будет писать «Войну и мир».

Вот и теперь. Все дела уложились в такую запись:

«21 октября. Много прожил я жизни в эти дни. Дела в Севастополе все висят на волоске. Пробный листок нынче будет готов, и я мечтаю ехать...»

За это время в Севастополе под руководством Корнилова и Нахимова все жители от мала до велика построили много бастионов и редутов. На рейде затоплены корабли, сотни морских пушек перенесены на позиции. Отбит штурм, во время которого погиб Корнилов.

А что это за «пробный листок»? Он-то и увлек тогда Толстого и, пожалуй, сделал из него военного писателя. В сентябре семеро офицеров штаба артиллерии Южной армии надумали создать Общество для содействия просвещению и образованию среди войска. Душой всего дела стал Лев Толстой, составивший проект устава общества. Но, полагая, что легче для начала издавать журнал, они решили выпускать еженедельно «Военный листок», который должен был «поддерживать хороший дух в войске» понятным солдату слогом, содержать «описания сражений, не такие сухие и лживые, как в других журналах; подви-

ги храбрости, биографии и некрологи хороших людей и преимущественно из темненьких; военные рассказы, солдатские песни, популярные статьи об инженерном и артиллерийском искусстве...»

Денег на издание журнала не было, и потому Толстой велел продать яснополянский дом. За него дали пять тысяч рублей ассигнациями. Уже и пробный номер журнала был готов, с двумя очерками Толстого: «Как умирают русские солдаты» и «Дяденька Жданов и кавалер Чернов». Командующий Горчаков переслал проект журнала военному министру, а тот доложил его государю...

Ради этого пробного номера Толстой и задержался с выездом в Севастополь. Почти вся семерка офицеров уже была в осажденном городе, а один из них — Комстадиус — даже убит. Его Толстой знал очень близко. «Он был членом нашего общества и будущим издателем журнала. Его смерть более всего побудила меня проситься в Севастополь. Мне как будто стало совестно перед ним».

Эту запись он сделал уже по пути, в Одессе, где были еще видны следы вражеской бомбардировки, нанесшей ей мало ущерба, но поддержавшей торговый дух одесситов — в городе бойко торговали осколками бомб. В Одессе же Толстой узнал о подробностях дела, в котором был убит его товарищ.

«Дело предательское, возмутительное. 10 и 11 дивизии атаковали левый фланг неприятеля, опрокинули его и заклепали 37 орудий. Тогда неприятель выставил 6000 штуцеров... И мы отступили, потеряв около 6000 храбрых. И мы должны были отступить, ибо при половине наших войск по непроходимости дорог не было артиллерии и, бог знает почему, не было стрелковых батальонов. Ужасное убийство. Оно ляжет на души многих! Господи, прости им. Известие об этом деле произвело впечатление. Я видел стариков, которые плакали навзрыд, молодых, которые клялись убить Даненберга (генерала, командовавшего русскими войсками.— *Д. Ж.*). Велика моральная сила русского народа. Много политических истин выйдет наружу и разовьется в нынешние трудные для России минуты. Чувство пылкой любви к отечеству, восставшее и вылившееся из несчастий России, оставит надолго следы в ней. Те люди, которые теперь жертвуют жизнью, будут гражданами России и не забудут своей жертвы...»

В этих словах была картина войны и пророчество.

Толстой торопил ямщика, и тот за день одолел дорогу

от Одессы до Николаева, грязную, извивавшуюся в степи, повторявшую очертания лиманов. На перевозе в Николаеве старый отставной моряк, начальствовавший на пароме, нагнал тревогу, рассказывая о потерях наших войск, о ранении Нахимова... Толстой мрачно глядел на почти черную воду реки и, кутаясь в кавказскую бурку, ежился то ли от холодного ноябрьского ветра, то ли от мрачных мыслей. Моряк решил развеселить угрюмого офицера анекдотом про казака и Менчикова (так в народе произносили фамилию командующего).

— Так вот, значит, ваше благородие, поймал этот казак арканом аглицкого князька и повел его к Менчикову. Ведет он его, а князек достал пистоль и выстрелил в казака. «Ей, не стреляй»,— кричит ему казак. А тот опять палит. «Ей, не балуй»,— опять говорит казак. Князек и в третий раз стрелил, да опять промахнулся. Казак и начал его лупить плетью. Привел, значит, казак князька, а тот давай Менчикову жаловаться, что казак его бил. «Ты что же это, братец?» — спрашивает Менчиков казака. А казак говорит, что он учил английского князька стрелять. «Коли он начальник, да не умеет палить, так его казаки и вовсе будут стрелки никудышные». Уж как Менчиков смеялся...

На постое Толстой аккуратно занес в тетрадь все, что услышал за день. Отложив дневник, он стал обдумывать «Юность», хотя до сих пор по пути писал рассказ «Рубка леса». Он рад был, что не расслабился, не ленится именно сейчас, не на покое, а в пути. Несмотря на усталость, ему думается хорошо и пишется...

Через несколько дней, добираясь где в экипаже, а где в лодке, он очутился в осажденном Севастополе. Слухи в дороге были один страшнее другого. Слышал, как Меншикова называли «Изменщиковым» и что будто бы его уже взяли под стражу.

— Онадысь провезли шестериком железную карету. Должно, под Менчикова.

Толстой приехал в Севастополь 7 ноября. Его поразили деловитость и боевой дух защитников города. «Все слухи, мучившие меня дорогой, оказались враньем. Я прикомандирован к 3 легкой [батарее] и живу в самом городе. Все укрепления наши видел издали и некоторые вблизи. Взять Севастополь нет никакой возможности...» Ключом обороны Корабельной стороны был Малахов курган с его Корниловским бастионом. Городскую сторону прикрывал четвертый бастион, на который в то время и на-

правлялись все вражеские атаки. Здесь вел удачную минную войну Тотлебен.

Чувства Толстого (с 6 сентября подпоручика) противоречивы. С одной стороны, он восторгается «героями нашими моряками и нашими солдатами», радуется, что на южной стороне сосредоточено 500 орудий и между лабиринтами батарей приходится блуждать как в лесу. Он пишет брату: «Во времена древней Греции не было столько геройства. Корнилов, объезжая войска, вместо: «Здорово, ребята!» — говорил: «Нужно умирать, ребята, умрете?» — и войска кричали: «Умрем, ваше превосходительство. Ура!» И это был не эффект, а на лице каждого видно было, что не шутя, а *взаправду*, и уж 22 000 исполнили это обещание».

С другой стороны, от него не укрылась бездарность генералов (он исключает из их числа «порядочных» людей: Нахимова, Истомина, Тотлебена), воровство поставщиков и интендантов, жалкое положение солдат...

В этой противоречивости отражалось истинное положение вещей. Гордость за русских людей. И стыд за извечный российский непорядок. И надежда — «Россия или должна пасть, или совершенно преобразоваться».

3

В Севастополе он провел всего несколько дней, а потом выехал на позиции своей батареи в Эски-Орду. Любопытно, что в самом Севастополе, под вражескими бомбами, мысли его светлы, горькие же выводы он делает там, где не свистят пули и где больше досуга у всех окружающих, чтобы поговорить о неудачах. И у Толстого приподнятого настроения как не бывало. С офицерами своей батареи он сходится плохо. И сколько бы он ни укорял себя в дневнике за отсутствие простоты в отношениях с товарищами, высокомерие его замечают. Он стремится к сближению с офицерами, а это значит — надо принимать участие в их попойках и картежной игре. У него вырываются стихи, трогательные в своей обнаженности, похожие на вирши подростка, а не двадцатишестилетнего мужчины, который давно уверовал в свою исключительность:

Когда же, когда, наконец, перестану
Без цели и страсти свой век проводить,
И в сердце глубокую чувствовать рану,
И средства не знать, как ее заживить.

Кто сделал ту рану, лишь ведает Бог,
Но мучат меня от рожденья
Грядущей ничтожности горький залог,
Томящая грусть и сомненья.

Впрочем, он играл даже наедине с самим собой, примеряя различные облики.

Поездка в Севастополь за орудиями в начале декабря снова ненадолго приводит Толстого в восторженное состояние. Там, где люди заняты делом, там, где они сражаются и умирают, нет места для несносного самоедства, мыслей о собственной никчемности. «Чудо, как хорош Севастополь»,— отмечает он в дневнике.

Именно эта поездка дала впечатления для очерка «Севастополь в декабре месяце». Приподнято-торжественное настроение повествования родилось в то самое утро, когда Толстой наблюдал на заре чуть окрашенный небосклон над Сапун-горой, темно-синюю поверхность моря, вслушивался в раскатистые выстрелы и бой склянок на кораблях. Город просыпался, солдаты мыли ледяной водой лица, тащились возы с окровавленными покойниками... Толстой переехал в лодке на Графскую сторону, где была странная смесь городской и бивачной жизни: бабы продавали булки, мужики с самоварами предлагали горячий сбитень, всюду валялись ядра, пушки, спящие солдаты, а те, что не спали, делали свое дело так буднично, словно жили не в осажденном городе, а где-нибудь в Туле или Саранске. Толстой зашел в большую залу дворянского собрания и говорил с ранеными, побывал в трактирах, слушал толки моряков и офицеров, почтительно выслушивал рассказы о четвертом бастионе. Он даже добрался до этого четвертого бастиона, откуда несли раненых на носилках. И его опять поразила будничность героизма русских людей, отсутствие суеты, привычность к лишениям. Он приглядывался к матросам-артиллеристам, к их скуластым лицам, широким плечам, к их спокойным, неторопливым движениям. И потом он скажет, что во всем этом видны «главные черты, составляющие силу русского,— простоты и упрямства; но здесь на каждом лице кажется вам, что опасность, злоба и страдания войны, кроме этих главных признаков, проложили еще следы сознания своего достоинства и высокой мысли и чувства».

И вот тут-то он проникнется убеждением, что Севастополь нельзя взять, что сила русского народа непоколебима. Но если даже Севастополь будет отдан, эти люди

способны сделать во сто раз больше, чем делают. Страшна будет отдача пружины, которую сжимают враги. И еще он понял, что воюют люди не страха ради и не ради наград, а ради другой, высокой побудительной причины. Причину эту он увидел в любви к родине, чувстве, о котором редко говорят, но таят в глубине души, чувстве *стыдливом* в русском человеке.

Перед отъездом он постоял на набережной Графской стороны. Играла музыка, и слышались выстрелы, до странности вторившие музыкальным тактам. По зеленоватому морю неслись ялики и шлюпки... «Славно!» — сказал он себе.

Жизнь на позиции после этой поездки показалась еще более тусклой. Наконец пришел ответ на прошение об издании «Военного листка». Николай I «изволил признать неудобным издание оного». Горчакова попросили, чтобы он посоветовал «гг. офицерам вверенных вашему сиятельству войск присылать свои статьи для помещения в «Русском инвалиде».

Неудача с журналом «огорчила ужасно». Изменились все планы. Работа нескольких месяцев, мечты о своем журнале оказались напрасными. А Толстой связывал свою будущность с журналом. Теперь же надо было либо подыскивать место, либо поступать в военную академию. Для журнала заготовлена «гибель матерьялов», и Толстой пишет письмо за письмом Некрасову, надеясь пристроить в «Современнике» не только свои вещи, но и написанные другими основателями предполагаемого журнала. Он обязуется поставлять ежемесячно от двух до пяти листов статей военного содержания и надеется на согласие Некрасова, поскольку тот признавал в Толстом «несколько литературного вкуса». Горечь неудачи вылилась в откровенную ненависть к Николаю I, которая проявилась особенно в «Хаджи Мурате», когда обстоятельства уже позволяли это проявление.

5 января 1855 года подпоручика Толстого переводят в 3-ю батарею 11-й бригады, стоявшую на реке Бельбек, верстах в десяти от Севастополя. В Эски-Орде ему было скучно, но теперь он с сожалением вспоминал о прежней батарее. Капитан Филимонов, новый командир его, — человек добрый, но грубый, любит сальные анекдоты. Старший офицер Одаховский — «гнусный и подлый полячишка». Все остальные офицеры были под стать своим командирам, на серьезные разговоры не шли, убивали время за

картами. В землянке, где поместили Толстого, было холодно и сыро.

Теперь деньги, вырученные за яснополянский дом,— пять тысяч ассигнациями — уже не казались неприкосновенными, и Толстой ввязался в картеж. Два дня и две ночи он играл в штосс и спустил все деньги Одаховскому. Потом он описал свое состояние в «Двух гусарах». Карты захватили его. «Какой-то густой туман игорной страсти застилал все его душевные способности; даже раскаяния не было». Потом на него нашел страх, и он стал настолько гадок себе, что и жить не хотелось. Поехав по делам в Севастополь, он попросился к генералу Хрулеву, собиравшемуся атаковать Евпаторию. Толстого не взяли, и, верно, он бы погиб в своем отчаянном состоянии во время этой неудачной атаки. По возвращении он снова сел играть с Одаховским, который определенно был шулером, и проиграл еще двести рублей. Толстой был как в тумане, все ему чудилось, что отыгрывается, карты ложатся как надо и он получает обратно свои деньги. Пришлось даже унижаться перед Одаховским и просить, чтобы тот играл еще...

«Предложу завтра Одаховскому сыграться, и это будет последний раз. Переводил балладу Гейне и читал «Горе от ума». Завтра непременно писать и много.

12 февраля. Опять проиграл 75 р.».

И это не последняя запись о проигрышах. Но что удивительно — неудачи словно бы подстегивают Толстого. Он пишет. И много. В мыслях и делах его чувствуется какая-то лихорадочность. И в то же время мысли его ясны и глубоки. Это зародыши кристаллов, которые вырастут в насыщенном растворе действительности до громадных размеров и будут удивлять еще своей прозрачностью и многогранностью.

18 февраля скончался Николай I. В Лондоне Герцен раздавал мальчишкам-газетчикам мелочь, чтобы побыстрее разносили весть о смерти императора от «Евпатории в легких». С начала войны царь не спал, клал земные поклоны перед иконами и таял. Поговаривали, что он не вынес унижения и отравился. Вместо Меншикова новый царь назначил командующим Горчакова. «Великие перемены ожидают Россию,— записывает Толстой.— Нужно трудиться и мужаться, чтобы участвовать в этих важных минутах в жизни России».

Он пишет проект о переформировании армии, намере-

ваясь послать его одному из сыновей покойного императора. Все зло в нынешнем армейском устройстве. И кому, как не ему, графу Толстому, увидеть это зло, поскольку он «по своему рождению и образованию выше среды», в которую его поставила армейская деятельность. Он снова поглядывает свысока на эту «среду», но замечания его об униженном состоянии солдат, о лихоимстве многих офицеров очень метки. Он предлагает не давать начальникам пользоваться доходами с продовольствия. Еще вчера он восторгался (и будет восторгаться) подвигами солдат, а сегодня пишет, что «человек, у которого ноги мокры и вши ходят по телу, не сделает блестящего подвига». Он сетует на необразованность солдатской массы, на непонимание ею духа религии.

Третьего марта он причащался. И на следующий день записал: «Вчера разговор о божественном и вере навел меня на великую громадную мысль, осуществлению которой я чувствую себя способным посвятить жизнь. Мысль эта — основание новой религии, соответствующей развитию человечества, религии Христа, но очищенной от веры и таинственности, религии практической, не обещающей будущее блаженство, но дающей блаженство на земле». Именно в этот день было положено начало совершенно бесплодному делу, которому он отдал не меньше (если не больше) энергии, чем своим гениальным романам. Лишь громадное честолюбие и гордость могли толкнуть Толстого на ложный путь основателя новой религии, увенчавшейся ироническим отношением к ней современников и прозванной «толстовством».

Да, это зародилось в дни войны, но, к счастью, не завладело им сразу, потому что мысли о войне и мире, стремление разобраться в сложностях человеческих отношений, тяга к литературному творчеству были сильнее. Впечатления, которые он впитывал в эти дни как губка, не уместились бы в рассказы и очерки, в замыслы, лихорадочно рождавшиеся в его голове и тотчас осуществлявшиеся.

4

О себе Толстой рассказал больше, чем какой бы то ни было другой писатель. Как ни странно, но это не облегчает работу пишущим о нем, а затрудняет... Любая его биография — лишь свод его высказываний, снабженный

поверхностными комментариями. Кто возьмет на себя смелость соревноваться с гением в описаниях сокровенных движений души? Предельная откровенность Толстого в его дневниках никак не помогает понять главное, потому что Толстой-писатель на много голов выше Толстого-человека. Толстого надо искать в его произведениях, а не в дневниках. Факт жизненный выходит из-под его пера в художественном произведении таким преображенным и обогащенным, что кажется уже творением природы, а не человека. Но от этого не вянет интерес к жизненному опыту Толстого, к тому, что делало несокрушимо достоверными любые его вымыслы.

Период с марта по август 1855 года — самый богатый в его жизни впечатлениями и замыслами.

В начале марта в Севастополь приехал командующий Горчаков со всем своим штабом. Толстой побывал у него, «был принят хорошо», но упования на то, что высокопоставленный родственник возьмет его к себе адъютантом и тем самым избавит от прозябания на бельбекской позиции, оказались напрасными. Толстой не вышел чином для этой должности, хотя был уже поручиком. В штабе Толстой встретил многих своих знакомых по Южной армии. Был тут и знаменитый кутила, родственник и друг Лермонтова офицер Алексей Столыпин, получивший от поэта прозвище Монго, а от Толстого характеристику: «Человек пустой, но с твердыми, хотя и ложными убеждениями». Был и еще один Столыпин, Аркадий, один из самых активных деятелей семерки офицеров, задумавшей издание «Военного листка», — отец Петра Аркадьевича Столыпина, будущего премьер-министра, боровшегося не на жизнь, а на смерть с революцией в России.

В штабе Толстой узнал, что в ночь с 10 на 11 марта готовится вылазка для уничтожения укреплений англичан, подобравшихся к самому Малахову кургану. В дневнике Толстого об этой ночи сказано коротко: «Имел слабость позволить Столыпину увлечь меня на вылазку, хотя теперь не только рад этому, но жалею, что не пошел с штурмовавшей колонной». Об этой странице жизни Льва Толстого можно только догадываться, листая журнал «Современник», где летом того же года Некрасов поместил очерк Аркадия Столыпина о вылазке, указав при этом, что он рекомендован «Л. Н. Т.», становившимся уже непререкаемым авторитетом в петербургских литературных кругах. Толстой не был обязан принимать участие в вылазке, но

мог ли он отказать себе в этой «слабости», не удовлетворить своего любопытства, не разделить опасности с товарищами! И он был с ними уже в восемь часов на развалинах Малаховой башни, дожидался одиннадцати, полной темноты, когда началась схватка, когда по приказу генерала Хрулева под вражескими залпами русские солдаты пошли в атаку и, вместо одной, захватили три линии неприятельских траншей. Уже половина русских офицеров была перебита и переранена во время ожесточенных вражеских контратак, когда горнисты протрубили отступление. Но в громе битвы трубы не были слышны, и пришлось посылать ординарцев, чтобы части отходили. И не тогда ли они со Столыпиным встретили иеромонаха Иоанникия, которого солдаты называли просто Аникой, в рясе, изорванной вражескими штыками, увешанного отнятыми у англичан трофеями — штуцерами?..

И вот тут-то и начинается то, что поражает воображение. То, что отличает великого человека от обыкновенного. Сколько времени понадобилось бы обыкновенному человеку, чтобы оправиться от возбуждения ночного боя и переключить свои мысли на нечто иное, далекое от рутинных служебных обязанностей, если бы даже он, этот обыкновенный человек, не лишен был литературной жилки? В лучшем случае он стал бы записывать только что пережитое... Толстой же на другой день написал первый десяток страниц «Юности», вернувшись ровно на десять лет назад, когда у него появились впервые мысли о нравственном усовершенствовании и деловом подходе к построению собственной будущности, когда решил он не терять даром ни секунды и проникся отвращением к бессвязным мечтам, когда взялся он за воспитание своей воли, сознательно готовя себя для великого назначения...

Он писал «Юность», перелистывая время от времени страницы дневника, и если вглядеться повнимательней и в то и в другое, то увидишь его теперешние мысли, приписанные далекому, десятилетнему, прошлому. А «новые» правила... «быть деятельным, рассудительным и скромным» окажутся старыми, неустанно повторяющимися. И в конце концов становится ясной обманчивость рефлексивных дневниковых записей, и все сильней вырисовывается натура цельная и целеустремленная, человек, гордый талантом, данным от природы, и твердо знающий, как его надо развить.

Его подстегивают похвалы в письмах Некрасова, и тогда же, в марте, он задумывает и начинает писать рассказы о Севастополе «в различных фазах», продолжает работу над кавказским рассказом «Рубка леса». И это при частых поездках в город, куда готовится выступить батарея. В начале апреля он с батареей уже на четвертом бастионе, защитники которого несли самые тяжелые потери. Как раз в то время неприятель начал жесточайшую десятидневную бомбардировку города. Участники обороны называли эту канонаду адской, рассказывали, как взрывы пороховых погребов, треск лопающихся бомб, крики людей сливались в один непрерывный гул, описывали невыносимый звон в ушах и тягостное ожидание на сердце... А Толстой, где бы он ни находился — в городе ли, на бастионе,— продолжает урывками, но непременно писать все те же свои рассказы. И злит его вовсе не канонада, а насморк, мешающий выполнить задаваемый каждое утро урок. Опасность отметает все суетное, чувства обострены до предела. Полтора месяца провел Толстой на четвертом бастионе, дежуря на батарее по четыре дня через восемь. И теперь ему не до копания в душе, не до плача о собственном несовершенстве. Дневниковые записи говорят о совсем ином настроении:

«12 апреля. 4-й бастион. Писал «Севастополь днем и ночью» и, кажется, недурно и надеюсь кончить его завтра. Какой славный дух у матросов!.. Солдатики мои тоже милы, и мне весело с ними... Стрельба, как кажется, увеличилась с нашей стороны и уменьшилась с ихней.

13 апреля. Тот же 4-й бастион, который мне начинал очень нравиться, я пишу довольно много. Нынче окончил «Севастополь днем и ночью» и немного написал «Юности». Постоянная прелесть опасности, наблюдения над солдатами, с которыми живу, моряками и самим образом войны так приятны, что мне не хочется уходить отсюда, тем более что хотелось бы быть при штурме, ежели он будет.

14 апреля. Тот же 4-й бастион, на котором мне превосходно. Вчера дописал главу «Юности» и очень недурно...»

Неужели передышка после стрельбы разрывающихся бомб, писание на колене плодотворнее сочинительства в кабинетной тиши? Неужели война — это праздник? Не будем спешить с выводами и поверим иным мыслям и наблюдениям, которые Толстой приберег для новых, севастопольских рассказов.

Нет, запах пороха и крови совсем не привлекателен для писателя. Но именно здесь, на войне, человеческие отношения обнажены — торопливость перед лицом смерти заставляет проявляться открыто и лучшие и худшие стороны людских характеров. Как под увеличительным стеклом проходят они чередой; от зоркого взгляда Толстого не ускользают и самые малости, жадно поглощаемые памятью, собираемые впрок. Что же до войны вообще, то, как бы ни была она плодотворна для писателя, какими бы чистыми и патриотическими побуждениями он ни вдохновлялся, остается «одно из двух: или война есть сумасшествие, или ежели люди делают это сумасшествие, то они совсем не разумные создания, как у нас почему-то принято думать».

Все сложно, все противоречиво. Но в простоте ли истина? И вся эта сложность взваливается на одного человека, а он раздробит ее в течение своей долгой жизни на сотни характеров, но и в них она не вместится и потребует бесконечных авторских отступлений, призванных прояснить сложности бытия, но не проясняющих их, потому что великий дар перевоплощения затмевает его честолюбивую тягу к философским обобщениям.

О пребывании Толстого в Севастополе существует мало воспоминаний. Одно из них через сорок лет сочинено Одаховским, весьма обогатившимся на игорном азарте молодого графа, а теперь пожелавшим иметь прикосновение к его всемирной славе. Толстой не одобрил этих воспоминаний, рисующих некрасивого, умного офицера, хорошего товарища, но дерзкого с начальством. При желании в них можно выделить зерно истины, узнать, как офицеры жили в Севастополе на Екатерининской улице, как сходились и проводили время, как спорили Толстой с Тотлебеном, как Толстой командовал горной батареей (чего не было) и имел столкновение с начальством из-за того, что сразу же записал остатки фуража в приход, дав пример честности другим батарейным командирам и ударив их этим самым по карману... Впрочем, так бы оно и было, а уж такой абзац и вовсе верен:

«Стоянка с батареей в резерве, видимо, томила графа Толстого: он часто, без разрешения начальства, отправлялся на вылазки с чужими отрядами, просто из любопытства, как любитель сильных ощущений, быть может и для изучения быта солдат и войны...»

О пребывании на четвертом бастионе в воспоминаниях

Одаховского нет ни слова. Зато как хорошо, как ясно описаны в последнем севастопольском рассказе Толстого впечатления молодого артиллерийского офицера Володи Козельцова, узнающего постепенно порядки на батарее, обычаи офицеров, махинации с фуражом. И не так же ли Толстой тянул жребий, кому из офицеров первому идти с орудийной прислугой на четвертый бастион? И не так же ли Толстой быстро привык к вою бомб и ядер на бастионе и твердил себе: «...Вот я и на Малаховом кургане, который воображал совершенно напрасно таким страшным! И я могу идти, не кланяясь ядрам, и трушу гораздо меньше других! Так я не трус?» И не так же ли напускная смелость вскоре подверглась испытанию при виде трупов, выкидываемых в ров? И он тоже страдал, когда убивало и ранило его солдат. И он тоже спал в блиндаже, с потолка которого сыпалась земля при орудийных выстрелах, и было «жутко немножко и весело». Бомбы часто рвались у самого порохового погреба...

Вернувшись на реку Бельбек, где ему поручили сформировать взвод горной артиллерии, Толстой 31 мая подводит итог: «Дней с пять планы сочинений и толпы мыслей все более и более шевелятся во мне». Здесь он в третий раз переделал рассказ «Рубка леса» и отослал его Некрасову. А из Петербурга уже приходили вести о неслыханном успехе первого севастопольского рассказа. «Статья эта с жадностью прочлась всеми нами,— писал ему Панаев,— от нее все в восторге — и, между прочим, Плетнев, который отдельный ее оттиск имел счастие представить государю императору на сих днях». Толстому льстит это внимание, но он гордился бы еще больше, если бы знал, что Писемский писал Островскому, как им «ужас овладевал, волосы становились дыбом от одного воображения» при чтении рассказа, написанного «до такой степени честно, что тяжело становится читать». И это тогда Горбунов, возвращаясь с чтения с Писемским, услышал от него, мрачного, исполненного зависти:

— Этот всех нас за пояс заткнет, или бросай перо. Офицеришка всех заклюет!

Теперь возможность больших литературных заработков стала основательной, и Толстой уже мечтает поправить ими свои дела — больше того, выкупить имение и отпустить на волю своих крестьян. Он снова становится придирчивым к себе, снова ругает за «лень», снова вырабатывает правила, которые принесут ему «известную степень

успеха», когда вот он, этот успех, уже осеняет голову артиллерийского поручика...

И все меньше он верит в возможность удержать Севастополь. Последней попыткой переломить ход военных действий было сражение на Черной речке, на котором настоял барон Вревский, присланный из Петербурга для наблюдения за действиями главнокомандующего Горчакова. Толстой участвовал в этой злополучной операции четвертого августа и написал песню, которую вскоре распевала уже вся армия, смеясь над незадачливыми генералами.

Гладко вписано в бумаге,
Да забыли про овраги,
А по ним ходить...

Но он рад был бы, наверно, отказаться от популярности этого речения, живущего в народе безымянно уже больше сотни лет, если бы удача отнеслась благосклоннее к русскому оружию, если бы само это оружие не оказалось столь устаревшим по милости ближайших советников покойного императора, если бы не было дикого воровства и шкурничества...

27 августа союзники штурмом овладели Малаховым курганом. Решено было оставить Севастополь. Войска были выведены, город зажжен, пороховые погреба взорваны, военные суда, стоявшие в бухте, затоплены. В приказе по войскам отдавалось должное длительной обороне города, упоминались события 1812 года, когда врагам досталась на время и сама Москва...

28 августа Льву Толстому исполнилось ровно двадцать семь лет. В этот день он смотрел на город, объятый пламенем, на французские знамена на наших бастионах, на молчаливые колонны русских войск, уходивших прочь, и, как у всех, у него было тяжелое, «сосущее» чувство. Он смотрел с Северной стороны на оставленный Севастополь, «с невыразимой горечью в сердце вздыхал и грозился врагам». И плакал.

Его ждала Россия, ему предстояло совершить великий подвиг в тиши Ясной Поляны — написать «Войну и мир». Но был бы этот подвиг возможен без чистых и святых слез в тот горестный день?..

1978

ИЗ РОДА АРШБА

1



В Сухуми полным-полно Аршба.

Если перефразировать кавказскую поговорку о вездесущих лакцах, то получится так: «Разрежь арбуз, и оттуда выскочит Аршба».

В редакции газеты — Тариэл Аршба.

Первый доктор наук в Абхазии — знаменитый врач Сократ Аршба.

Всесоюзную спортивную базу в Эшере, известную всем нашим чемпионам, проектировал Эрик Аршба, строил Заур Аршба, а заведует ею бывший боксер Рафаэль Аршба.

И такая «семейственность» всюду.

Алексей Аршба, сражаясь в Севастополе, добыл двадцать восемь «языков» и погиб в разведке. Через двадцать лет после войны нашли фотографию Алексея, молодого, улыбающегося, в бескозырке и бушлате, с пулеметными лентами крест-накрест на груди, и показали ее старой матери Маруше Аршба. Местный фотограф запечатлел миг этой встречи. Морщинистое лицо старой абхазки

невозмутимо, а в глазах боль... Снимок попал на выставку, обошел едва ли не все журналы мира и получил несчетное число наград.

Сухумские Аршба ведут счет фамильным заслугам. Но жестоко ошибется тот, кто подумает, что Аршба — чисто городское племя, возросшее в сени жестяных и мохнатых пальм сухумского прибрежного бульвара.

Все абхазы — исконные деревенские жители. Лишь в последние полвека, подстегнутые всеобщим образованием, они хлынули в города и даже стали переливаться через край родной республики. Но так уж повелось — никогда ни один из них не обрывает связей с деревней и родом своим. Он помнит наперечет сотни и сотни родственников и несет по отношению к ним определенные обязанности.

Это и хорошо, и плохо.

Хорошо, потому что даже в городских условиях сохраняются прекрасные народные традиции, этикет и этика. Плохо, потому что стоит человеку выдвинуться, как многочисленные родственники заявляют о своих «правах», ищут его покровительства. Этот пережиток родового строя, к сожалению, далеко не всегда предоставляет равные возможности способным людям и тем, кто не отмечен каким-либо талантом. Кроме того, завелись и новые дурные обычаи, вроде разорительных похоронных пиров, на которые обязаны съезжаться едва ли не тысячи занятых людей...

Но зачем думать о дурном в краю, где круглый год светит солнце, а земля щедра на плоды, где люди гостеприимны и добродушны, а море, по выражению Горького, смеется. Наблюдая за сравнительно молодыми людьми, часами выстаивающими кружком на углах улиц и оживленно обсуждающими новости, можно получить превратное представление о тлетворном влиянии южного солнца на любовь к труду.

Поговорить здесь любят. И в застолье, и просто так. И в городе, и в деревне. И говорят интересно, с живописными подробностями, умело плетя сюжетную канву. Не был исключением и мой новый друг, историк, предложивший мне поехать в горы и посмотреть на Аршба в их первозданном виде.

Несколько часов езды поездом в сторону Ткварчели стали обширной лекцией о быте и нравах абхазов в прошлом и настоящем.

Желание и умение абхазов говорить проистекает от двух причин. Первую стоит поискать во все той же обра-

зованности. Добравшись до знаний, бывшие деревенские жители воспринимают их страстно и даже восторженно. Мир становится для них каждодневным открытием, и они с неистовостью неофитов желают поделиться им со всяким желающим послушать...

Вторая причина — в традиции.

— В абхазских деревенских общинах,— говорил историк,— ораторское искусство высоко ценилось издревле. Его шлифовали в застольных речах и на мирских сходках. Деревенские демосфены даже совершенствовали свое мастерство на специальных, если так можно выразиться, семинарах, собиравшихся в крупных селениях и городах. По преданию, древние абхазы раз в год, весною, в дубовой, не существующей сейчас роще на священной Пицунде устраивали «праздник красноречия». Вошел в историю случай, с которого началось знаменитое Лыхненское крестьянское восстание. 26 июля 1866 года неграмотный крестьянин Осман Шашба произнес перед семитысячной толпой страстную речь. И она длилась восемь часов подряд. Три переводчика, излагавшие ее для присутствовавших царских чиновников по очереди, охрипли и не могли больше говорить. А знаменитый оратор все гремел над возбужденной площадью, время от времени обращаясь, по традиции, с вопросом к крестьянам: «Так ли я передал ваши мысли?» И все кричали: «Так, так!» Ну, скажите, кто в наши дни способен на такую длинную и горячую речь? Разве что Фидель Кастро...

— Мне говорили, что и Шулиман Аршба был хорошим оратором...

— Замечательным!

Историк задумался.

— Да, Шулиман Аршба... Мудрец и патриарх рода Аршба. Он знал все тайны народной агрокультуры, у него был лучший в округе виноград и лучшее вино, он вывел новые сорта яблок... Я с ним встречался не раз. Впервые в 1938 году. Шулиман тогда был еще совсем молодым. Ему и ста десяти лет не было. Я только что кончил институт и преподавал историю в школе села Гуп, неподалеку от Ткварчели, занимался этнографией. Мы с моим другом, тоже учителем, отправились к Шулиману порасспросить о кое-каких обычаях. Пришли к воротам его дома, вы его увидите... Шулиман до своего последнего дня не прекращал трудиться. И в тот день он тоже работал, полол в огороде кукурузу. Мы окликнули его. Он вышел из кукурузы

и, как нам показалось, даже не взглянув на нас, пошел через двор в дом. На нем были белоснежная рубашка и чистые галифе. Немного погодя он вышел из дому, но уже в архалуке, застегнутом на все пуговицы, и лишь тогда ответил на наше приветствие и начал беседу. Казалось бы, что тут такого, подошел бы к нам в рубашке. Нет, он счел это неприличным. Его белая рубашка до сих пор перед глазами стоит...

А вскоре,— продолжал историк,— произошло событие, едва не кончившееся кровопролитием. Мой друг-учитель влюбился в девушку из рода Аршба. Звали ее Ксенией. Она тоже полюбила моего друга Кадыра и дала обещание стать его женой. А надо вам сказать, что похищение невесты с ее согласия — у нас и сейчас один из способов заключения брака. Сперва умыкают, потом расписываются. В тот традиционный набег нас выехало из Гупа человек пятьдесят. Все друзья жениха, разряженные, веселые, верхом на лучших лошадях... Ныне едут умыкать в машинах. Жених вез бурку — в нее мы должны были поймать Ксению, которая обещала выпрыгнуть из окна своей комнаты на втором этаже. Однако, подъехав, невесты в окне мы не увидели. Возле дома были ее родственники, а в дверях стояла мать с топором в руках. Это значило, что родители наотрез отказываются выдать Ксению за Кадыра. Для него это было страшным позором. До революции за отвергнутого не вышла бы замуж потом ни одна девушка. Среди приехавших конников поднялся ропот, кое-кто предлагал напасть на дом и отнять Ксению силой. Я знал, что так и может произойти, потому что вернуться в свое село без девушки значило подвергнуться насмешкам, обвинению в трусости. Особенно будут стараться женщины, они у нас умеют разжигать страсти. А если в схватке кого-нибудь случайно убьют, начнется мщение... Кадыр бросился к Шулиману Аршба и попросил вмешаться и уладить дело. «Сынок,— сказал старик,— я помню рождение твоего отца. Я знаю, что ты не можешь вернуться в Гуп, но я знаю и людей, которые тебе помогут...» Шулиман собрал стариков, и они пошли к дому невесты. Мать ее, по обычаю, не имела права разговаривать с Шулиманом, но она не выпускала из рук топора. Молча она загородила ему дорогу в дом.

— А почему же она не хотела выдать Ксению замуж? За учителя все-таки?

Историк помялся, а потом сказал:

— Видите ли, в те годы у некоторых еще были сильны сословные предрассудки. Некогда существовала кастовость. Были князья, дворяне, «анхаю» — свободные крестьяне, крепостные и рабы. Аршба были «анхаю», а отец жениха, очевидно, когда-то стоял на более низкой ступени общественной лестницы. Во всяком случае, Шулиман Аршба пренебрег предрассудком. Он прекрасно знал все неписаные законы и тысячи прецедентов, и это дало ему возможность найти выход из положения. Но не сразу. Сперва начались переговоры между стариками. Обе стороны уселись на поляне метрах в ста пятидесяти друг от друга и общались через «послов», которые сновали то в одну сторону, то в другую. Там все и решили. Потом устроили нечто вроде митинга. В своей речи Шулиман подчеркивал, что надо избежать кровопролития. Он одолевал ожесточение спокойствием и здравым смыслом. «Раз девочка полюбила и хочет замуж, ее хоть в сундук запри... Через неделю, через месяц она все равно поставит на своем, и снова будет вражда. Так лучше по-доброму сделать». Были соблюдены все церемонии, страстям дали успокоиться, а на другой день сам Шулиман Аршба вывел за руку девушку из дому и подсадил на лошадь. И на свадьбе был почетным гостем, стрелял в честь невесты. «Шулиман,— спросил его кто-то,— как глаза?» — «Видят».— «Вон три ореха на кончике ветки. Собьешь?!» Принесли винтовку, и он, не сходя с тахты, на которой сидел, сбил все три ореха. Какое у него было зрение! В горячую пору, если дня не хватало, ночью полол кукурузу, при лунном свете. Куда нам, молодым, до него, столетнего!.. Каждую былинку видел...

2

Не было видно ни зги в том Аиде, каким представилось нам ущелье реки Гализги дождливым вечером, когда мы спрыгнули с площадки вагона и захрустели гравием где-то на полустанке, не доезжая Ткварчели.

Поезд отгремел прочь, унося с собой железнодорожный перегар, и на нас нахлынули запахи мокрой земли, листвы и цветов. Рокотала невидимая река.

Дождь ударил еще пуще. Напоенный им воздух льнул к лицу, как мокрое теплое полотенце.

Мой проводник неплохо знал подземное царство и весьма уверенно свернул на тропу, которая круто устремилась вверх и уже не поощряла никаких вольностей — шаг впра-

во, шаг влево, и на вас набрасывалась свирепая колючая растительность.

Вскоре мы вышли на каменистую дорогу, но она тоже шла в гору, и чем дальше, тем круче был подъем. Историк примолк, заглушенный одышкой. Мы одолевали кручу все медленней и медленней, как вдруг позади послышались быстрые шаги. Нас догнала пожилая худощавая женщина с мешком за плечами. Лицо ее осветил огонек трубки на длинном чубуке, который она держала в углу рта.

— Хулыбзиа! — сказала она, и очевидно было, что это «Добрый вечер!».

Историк объяснился с ней по-абхазски. При слове «Москва» она вежливо улыбнулась, сказала что-то, пыхнула трубкой и исчезла в мокрой тьме.

— Что она сказала?

— Медленно идем, а ей надо спешить,— ответил с грустью бывший горец.— И жить мы будем меньше. По ее понятиям, я совсем молодой человек, а у меня уже сердце...

— Сколько же ей?

— Лет девяносто, не меньше.

— Надо было бы нам помочь ей донести мешок?..

Историк промолчал. Мы все еще тяжело дышали.

— А она тоже из рода Аршба?

— Наверное... Здесь сплошные Аршба.

В темноте угадалось его размашистое движение. Он уверенно свернул в сторону и после еще двадцатиминутного подъема остановился у железных ворот, за которыми лаяла, похоже, целая свора разъяренных псов...

И вот уже большая светлая комната, в очаге весело пляшет огонь, кипит в котле вода для мамалыги, дергается курица с отрубленной головой, лежит наготове вертел, рубиново светится прошлогоднее вино, радостно улыбаются хозяева — вступают в силу абхазское гостеприимство и этикет.

Хозяйка держит кувшин с водой и чистое полотенце.

— Помой руки, да приму на себя твои беды! — говорит хозяин.

Полагается отказываться, уступать ему место, долго препираться с ним из вежливости. Входит племянник хозяина, молодой инженер, смотрит на нас и весело смеется. Броня этикета рассыпается в прах. Но гостеприимство есть гостеприимство. Говорят, хозяин обязан принять ночного гостя, если даже это убийца его сына.

На столе обычная абхазская пища, привлекающая в наши дни пристальное внимание геронтологов, которые мечтают добраться до тайны долголетия. Густая кукурузная каша, которую варят в котле, непрерывно размешивая ее большой деревянной мешалкой. Когда она уже в тарелках, в нее втыкают ломти упруго-резиноватого сыра. Ее едят руками, формируя пальцами белые шарики. Едят с сыром, с густым кислым молоком, с фасолью, со всякой зеленью, с мясом. На десерт — початки молодой вареной кукурузы, грецкие орехи, фрукты, мед. И это все, если не считать терпкого вина, способного вызвать опьянение разве что в очень большой дозе.

Одновременно на столе появляется гордость дома — потрепанный журнал «СССР на стройке» 1948 года (был такой). В нем на развороте трое в черкесках. У двоих на груди золотые звездочки Героев Социалистического Труда, у третьего — орден Ленина.

— Это мой отец Вартан Аршба, это мой брат Владимир Аршба, это я — Николай Аршба,— поясняет хозяин.— Отец и брат стали Героями в один год. В сорок седьмом. Отец собрал на своем участке по семьдесят пять центнеров кукурузы с гектара. Владимир снял два урожая табака за одно лето.

О себе он умолчал.

В комнату вошел невысокий пожилой человек, и все встали. Он был старше всех по возрасту.

— Здравствуйте! Садитесь, пожалуйста,— сказал он.

Это был Владимир Аршба.

3

Я уже знал от историка, что Вартана Аршба, отца Владимира и Николая, нет в живых. Но я не знал, что этот старик с орлиным носом, глядевший со страницы журнала, положив руку на кинжал, был храбрым человеком, до революции силой отстоявшим свою землю от посягательств князя Шмафа Ачба и говорившим смелые речи под большой липой, где шумели крестьянские сходки.

Неграмотный, Вартан Аршба стал одним из первых председателей местного колхоза, носившего тогда название «Любовь». Он делал на дереве зарубки, учитывая чужой труд, и с облегчением уступил место приезжему чело-

веку, которого за невиданные здесь очки прозвали «четырехглазым». С четырьмя сыновьями он рубил лес, корчевал пни и сжигал их. Возил на новые поля навоз...

Война взяла жизнь одного из его сыновей. Другой стал кадровым военным. Двое остались в колхозе. Владимир был бригадиром, а отец — звеньевым у него. Работали все вместе. В январе начинали пахать. В феврале ударял мороз, проникал в рыхлую почву и убивал вредителей. От января до марта все листья и стебли сгнивают в земле. В марте они боронили поле трижды. Сажали кукурузу и трижды ее пропалывали. Следили, чтобы ствол от ствола был на расстоянии не больше и не меньше шестидесяти сантиметров. И не жалели навозу. И отрезали метелки у кукурузы через одну, чтобы початки были покрупнее. По три-четыре початка на каждом стволе. Сколько любви и труда вложено в эту кукурузу, что сварена и теперь горой лежит на столе, такая вкусная с аджикой — толченой зеленью с перцем и солью!

Никто из сидевших за столом абхазов не курил. Но толк в табаке они знали. Курильщики о табаке ничего не знают, они только курят. Покажи им листья сорта «самсун» или «трапезунд», что они скажут? Ничего. Они не знают, что «самсун» ароматнее, что листья у него равномернее распределяются вокруг стебля, что ухода за ним больше. Аршба растили табак и кукурузу одновременно. Сажали табак семнадцатого марта. Рассаду выращивали заранее в теплицах. Сверлили в земле палкой ямки и под каждый корень подкладывали навоз. Еще снег был в горах, а табак уже зеленел. Через четыре дня после высаживания — прополка. Через шесть дней — новая прополка. Через десять дней — окучивание. Земля становилась крепкой, того и гляди задушит табак. Надо тонкой палкой все время рыхлить у стебля. Через 25 дней первая ломка листьев. До июля шесть раз ломают листья.

Однажды Владимир заметил сломанный стебель. Он отрезал его ножом, а через несколько дней на остатке стебля появились новые ветки и листья. И он решил провести эксперимент — снять второй урожай после июля. Посоветовался с отцом. Отрезали верхушки у всех стеблей, пропалывали, окучивали, протыкали палочками дырки в земле у корней и набивали их навозом. Получилось. Правда, качество листьев второго урожая было похуже.

В тот год урожай кукурузы и табака был такой, что наградили всех троих Аршба.

Может быть, специалисты по табаку будут говорить, что в Абхазии заново открыли Америку. Но Аршба тогда никто не подсказал, что творилось до них в мировой практике. Судили же справедливо, по результату.

Но и кукуруза, и табак не исконные культуры в здешних местах. Когда-то тут сеяли только просо. Значит, в течение двух-трех поколений был получен навык, крестьянский опыт, позволивший выращивать такие громадные урожаи. Кто же был собирателем этого опыта, кто хранил секреты крестьянской агрономии?

— Как кто? — сказал Владимир Аршба.— Старики всё знали и говорили, как делать. Земля у нас хорошая, климат — лучше не бывает. Не ленись, работай, и будет урожай. Когда мы с отцом ставили рекорды, еще жив был Шулиман Аршба. Отец к нему ходил советоваться, все к нему ходили. Он все помнил, все умел. Это он построил у нас собственными руками первые табачные сушильни...

— Ну, что ты сидишь! — раздался вдруг голос хозяйки дома.— Зачем терпишь?

Все подняли головы и увидели, что ее взгляд устремлен на мужа. В лице Николая Аршба не было ни кровинки. Он сидел неподвижно и давно уже молчал.

— А! — сказала, махнув рукой, хозяйка.— Пропорол ногу ржавым гвоздем и все равно надел тесные сапоги. Сними, гости простят тебя...

Общими усилиями заставили Николая снять сапог. Носок пропитался кровью. Все в один голос стали уговаривать Николая воспользоваться машиной племянника, съездить в Ткварчели и сделать противостолбнячный укол. Но он только сказал:

— Промою водкой.

И вышел.

У абхазов считается постыдным говорить о физической боли. Ее терпят и молчат. У них даже есть предание, напоминающее балладу Алексея Константиновича Толстого «Василий Шибанов».

Однажды абхазский народный трибун, увлекшись своей речью, нечаянно пронзил посохом с острым железным наконечником ногу молодого соседа, который, несмотря на страшную боль, терпеливо ждал конца выступления старейшины, не выдавая страдания ни единым звуком, подобно стремянному князя Курбского.

И хотя Николай скоро вернулся, было уже не до застольных разговоров, потому что его бил озноб...

4

Утро было солнечным.

Мы спали на втором этаже. Историк вышел на балкон и поманил меня к себе. И когда я увидел то, что было сокрыто вчера темнотой ущелья и мрачной завесой дождя, он развел руки и улыбнулся гордо, будто сам только что сотворил окружавшую нас благодать.

Мне показалось, что мы каким-то чудом перенеслись в замок английского лорда средней руки.

Усадьба Аршба была на вершине холма, плоской, превращенной в обширный луг с короткой ярко-зеленой травой, на котором росло с десяток могучих деревьев. Луг с двух сторон замыкали два больших дома с роскошными белыми лестницами, которые вели на вторые этажи. Справа виднелось какое-то приземистое, но очень длинное строение с тонкими колоннами по всему фасаду. Слева луг заканчивался длинной, тоже белой балюстрадой, за которой открывался вид на ущелье и снежные вершины Кавказских гор.

И если у всякого порядочного английского лорда имеется газон с купами деревьев, то такого вида, ручаюсь, нет ни у одного. Уже пожелтевшие поля, окаймленные зеленым кустарником, ниспадали террасами к реке Гализге, бившейся с шумом в теснине, а за ней вздымались волнами покрытые лесом горы, сиреневые скалы над ними, а еще выше, в синем небе, таяли белые шапки пиков.

Но сказать, что так тут живут лишь Герои Труда, значило бы погрешить против истины. В низине и на плоских вершинах холмов виднелись такие же добротные двухэтажные дома и просторные дворы-лужайки.

За балюстрадой, окаймлявшей двор усадьбы Аршба, начинался склон холма. Там был сад и росла кукуруза. Маслянисто поблескивал инжир, прятались в листве румяно-матовые персики, желтели яблоки и алыча, оранжево светилась хурма. Несколько могучих ореховых деревьев и чинар, обвитых лозой, казалось, кряхтели под тяжестью великого множества лиловых гроздьев «изабеллы». Кукуруза рядом и та напоминала лес, стебли ее были четырехметровой высоты.

Была поздняя осень. Радиоприемник вещал сводку погоды — Москве обещали минус четыре градуса ночью и снег, а здесь, на земле древней Колхиды, в благорастворении воздухов вспоминались слова Пушкина о том, что «на-

ше северное лето — карикатура южных зим». Но вспоминалось и другое. Малярия, от которой в иные годы вымирала половина населения. Ее теперь нет, как нет болот и диких зарослей, преображенных руками земледельцев в поля кукурузы, чайные и табачные плантации, сады, питомники экзотических лекарственных растений.

Неслышно подошел и стал рядом Николай Аршба. Боль в ноге, к счастью, прошла, он давно встал и работал по дому. Снова вступил в действие ритуал гостеприимства.

Плодовитый писатель прошлого века Вас. Немирович-Данченко писал о своем путешествии в Абхазию:

«Возьмите любого крестьянина — грузина, абхазца, горца,— как он красив, ловок, как он сумеет всюду и при всякой обстановке отстоять свое достоинство, не растеряться, не ударить в грязь лицом! И в этой бедной семье абхазского поморья мы встретили такой изящный прием, как и в других местах горного Кавказа. Обитатель этого шалаша нисколько не стыдился своей бедности, и владетельный принц едва ли мог принять нас с таким же достоинством и радушием...»

Шалаш в этом дворе был. Николай показал плетеную хижину, в которой жили Аршба во время оно. Посреди ее лежали камни очага, на стенах была развешана утварь, ставшая старинной за какие-то три последние десятилетия. От этого домашнего музея, сохранявшегося для пущего оттенения теперешнего благополучия, мы прошли к длинному, этак метров двадцать пять, зданию с тонкими колоннами.

— Что это?

— Свадебный дом. На триста человек гостей. Только что закончил строить,— скромно ответствовал Николай.

— Неужто у вас так часто бывают свадьбы? Или это общий дом, для всех соседей?

— Нет, это дом только нашей семьи.

У Николая и его жены была лишь одна приемная дочь, да и та только-только пошла в первый класс. Так неужели для нее?..

— А! — сказала мне тихо жена хозяина.— Вы знаете мужчин! У всех есть свадебные дома, и он тоже захотел...

Известно, что вопрос престижа для горца всегда был наипервейшим. Но если прежде его честолюбие удовлетворялось славой храбреца, трудолюбивого хозяина, а то и просто умением ловко носить черкеску и оружие, то

теперь, с достатком... Право же, в щедрых похвалах Советской власти, которыми пересыпались вчерашние тосты, не было и тени демагогии и неискренности. Не было ее и в тостах, поднимавшихся за русского человека, за русского крестьянина, который живет в трудных природных условиях, который только и мечтать может о буйном произрастании культур и в то же время долгие годы отрывал кусок ото рта своих детей, чтобы поднять из нищеты и феодальной тьмы меньших братьев своих.

А знают ли они об этом? Оказывается, знают. Знают и ценят. Многие служили в армии и побывали в северных краях. И неизменно приносили с собой любовь и уважение к русскому человеку. И недаром они называют своих сыновей именами друзей по оружию. Тяга к русскому проявляется и в том, что в некоторых деревнях древнее слово «аб» вытесняется русским «отец».

Историк с негодующей усмешкой рассказывал, что в крестьянских семьях появляются такие мужские имена, как Маладец, Салдат, Герой, и женские — Девочка, Светличка... В ином доме встретишь Ивана и его брата Ваничку. Может быть, это смешно, но показательно.

5

Лет семьдесят тому назад в Ткварчельском урочище среди субтропической растительности кое-где были расчищены поляны, на которых стояли жалкие хижины крестьян, с великим трудом вырывавших у леса свою скудную долю земли. Холодная пора здесь длится недолго, но старики помнят, как все сбивались у примитивных очагов, как снег врывался сквозь плетенные из прутьев стены и таял на личиках лежавших в люльках младенцев. Раскрывая полированные дверцы шкафов и разглядывая свои многочисленные костюмы, вспоминают они, как давали очередному жениху на свадьбу кто целую рубаху, кто штаны без заплат, кто щегольские сапоги. Это так и называлось: «жениться в чужих штанах». Для свадеб возводились навесы на столбах, но какое расстояние лежит между ними и нынешними «свадебными домами» с их бетонными стенами и шиферными крышами!

Они работали на своих полях и несли тяготы барщины на дворянских, хотя в общем-то взаимоотношения крестьян со знатью были своеобразными, этакая смесь ро-

дового общинного строя с феодальным. Дворяне отдавали своих детей на воспитание в крестьянские семьи, возникало молочное родство, но оно же приковывало крестьян к дворянскому роду, накладывало на них дополнительные обязательства в отношении феодала, который не стеснялся брать со своих «родственников» подати.

Крестьяне-общинники стремились к лучшей жизни. Они строили дома, расчищали под поля новые участки, но все это у них правдами и неправдами отбирали, хотя внешне сохранялось нечто вроде военной демократии — и общинники, и дворяне собирались на сходки в специально отведенном месте, под громадной липой, что росла между Гупом и Ткварчели.

Революционные события в России докатывались и сюда. На сходке тот же Вартан Аршба, по рассказам, заявил дворянам: «Люди похожи друг на друга — две руки, две ноги... Вот и работайте на себя».

Набирала силу крестьянская община, старики поощряли взаимопомощь, вырабатывалась солидарность. Старейшины Гедлач и Шулиман Аршба в 1905 году запретили всем Аршба выходить на прополку дворянских полей. Князь Ачба тогда вызвал Гедлача, но тот не явился. Князь приехал к нему сам.

— Почему бунтуешь народ? — спросил он.— Вели людям выходить...

— Я сам пристрелю всякого, кто будет на вас работать. Хватит! — ответил Гедлач. По преданию, он внедрял в крестьянских хозяйствах цитрусовые, организовал доставку в Абхазию из Греции мандариновых и лимонных саженцев.

После смерти Гедлача Аршба старейшим в роду стал Шулиман Аршба, о котором с таким уважением и восторгом рассказывал историк. Шулиман уважал только труд, и недаром в народе стал знаменитым один из его застольных тостов, самые удачные из которых в Абхазии имеют хождение наравне с другой неписаной литературой — сказаниями и песнями.

Это было уже перед революцией. Князья Таташ и Дмитрий Маршания в сопровождении молодых дворян приехали повеселиться к ткварчельскому целебному источнику. Они заехали к местному крестьянину Якубу Тарба, который, по законам гостеприимства, устроил им угощение, позвав и местных старейшин.

Знать вела себя шумно, хвасталась богатством, кос-

тюмами, болтала о знаменитостях, произносила тосты, на которые Шулиман Аршба счел нужным ответить так:

— О князьях и дворянах я говорить не буду. Не мое это дело. Дай бог прожить нам, крестьянам. Это благословенное имя. Выпьем за него!

По-абхазски «крестьянин» — анхаю — означает «тот, кто трудится».

Все поняли намек, и дворянское хвастовство за столом прекратилось.

В 1916 году у того же Тарба произошел конфликт с местным князем Ачба. Княжеский сынок взял, не спросясь, крестьянскую лошадь, загнал ее и, чтобы замести следы, сбросил ее с обрыва. Но Тарба решил не оставлять этого дела так и обратился к крестьянским старейшинам. Во главе с Шулиманом они собрались под знаменитой липой и вызвали князя. Князь приехал с целой свитой.

— Чего вам надо? — надменно спросил он стариков.

Те сказали, в чем дело.

— Ну и что! Как же вы собираетесь заставить меня расплатиться с ним?

— А так,— сказал Шулиман Аршба.— Мы сейчас же пошлем человека, возьмем у вас равноценную лошадь и отдадим Якубу Тарба.

Князь схватился за кинжал.

Все встали, и князь увидел, что с миром ему не сладить.

Шулиман Аршба дожил до 1957 года, и было ему тогда более века с четвертью.

На его глазах произошло преображение родного ущелья и все Аршба, его младшие родственники, зажили иной жизнью.

Но изобилие не приходит само.

Хороший климат, плодородная земля — это еще не все.

В каждый клочок этой ухоженной земли вложен громадный труд земледельцев Аршба, которые брали пример со старика Шулимана и следовали его советам. Он едва ли не до самых последних своих дней не расставался с мотыгой и садовыми ножницами. И учил других работать не за страх, а за совесть.

В одной из последних книг известного в Абхазии этнографа И. А. Аджинджала говорится, что Шулиман Аршба «до своей смерти пользовался большим авторитетом и влиянием в обществе. Он построил оригинальную мельницу, которую передал в общее пользование своего села.

Он бесплатно обслуживал нужды своего поселка. Толковый и рассудительный, он так поставил себя, что каждый, у кого было какое-либо дело, считал необходимым для себя прийти к нему и посоветоваться, и даже во время какого-либо дела, касающегося всего села, приглашали его».

6

Шулиман Аршба никогда в жизни не болел. Но в сто двадцать лет у него стало портиться зрение. Встревоженного старика немедленно и с почетом доставили в сухумскую больницу на обследование.

Он потребовал, чтобы к нему явился какой-нибудь из видных представителей городских Аршба. На зов патриарха рода приехал тогдашний начальник милиции города Сухуми полковник Нури Богданович Аршба.

— Садись,— величественно приказал старик.— Я позвал тебя, чтобы рассказать историю рода Аршба. Кроме меня, ее уже никто не помнит, а я стар и когда-нибудь умру. Я неграмотен, но раз ты пришел, будешь записывать мои слова...

Начальник милиции делал заметки...

Цепкая память Шулимана хранила древние сказания, мудрые суждения стариков, подлинные происшествия былых лет. Он сочинял стихи и читал их на празднествах.

Историю своего рода Шулиман Аршба диктовал и одному из правнуков. Тетрадь, исписанная ученическим почерком, хранится в одном из главных научных учреждений Абхазии.

Запись начинается так:

«Пусть не канет в забвение род Аршба. Пусть будущие поколения знают об этом роде. И если кто из нашего рода и через тысячу лет опозорит свою фамилию, пусть будет проклят!»

Шулиман пересказывал толки стариков об Александре Македонском и греческом царе Константине. О христианстве и мусульманстве в Абхазии. Все это казалось ему очень важным для истории, потому что было у Шулимана чувство высокой гражданственности и ответственности перед будущими поколениями, которые, как он не без основания полагал, могут позабыть о прошлом. В знании истории он видел духовное богатство.

Но поразительнее всего была рассказанная им история предков Аршба, чем-то напоминающая страницы сред-

невековых хроник и уходящая в старину лет на триста. Старик назвал ее «книгой».

То, что запомнил полковник Аршба, дополнено записью в ученической тетрадке. Читая переложение рассказа старика, надо помнить, что имена героев не могут быть переданы русскими буквами даже приблизительно, так как в абхазском языке около восьмидесяти звуков, среди которых есть щелкающие и свистящие, и что дикие обычаи и нравы, побуждавшие героев к жестоким поступкам, были когда-то законом гор.

«В этой книге нет ничего лишнего. Она говорит то, что было. Пусть ее читает молодежь! Кто прочтет ее до конца, пусть сам будет счастлив до конца своей жизни! Пишет эту историю 123-летний Ш. Аршба. Эту историю слышал я сто лет тому назад в доме Бого Аршба... Говорили об этом Баху, Бого, Чыху-ипа, Чаранықуа Аршба и также Даур Ачба. До этого дня сохранял все в своей памяти. А я хочу оставить ее в виде записи, в виде книги. Пусть мои знакомые, друзья и родственники, читая эту книгу, вспоминают меня!»

7

На Кубани, там, где ныне раскинулась станица Кувинская, жили три брата Аршба — Чоура, Псгуагу и Канчора. Старший брат был женат и имел шестилетнего сына. Жили все братья неплохо, пасли собственных овец, совершали набеги через Кубань и воровали там лошадей. Но вскоре это сравнительно спокойное существование было нарушено...

Местный вождь Алоуа выдавал замуж свою любимую дочь и решил к свадьбе подарить ей шубу из шкурок неродившихся ягнят.

И вот уже ханский слуга осадил коня у хижины трех братьев и потребовал шкурки.

Старшему брату не понравилась надменность ханского слуги, и он переспросил:

— Хан просит или приказывает?

— Хан не просит. Это приказ!

— В таком случае шкурок не будет!

Дерзкий ответ был тотчас доложен хану, и тот в великом гневе отправил за шкурками целый отряд во главе со своим сыном.

С гиканьем налетели всадники на стоянку пастухов,

Там был лишь Чоура. Его схватили, привязали к дереву и стали вспарывать животы суягным овцам...

Когда два других брата вернулись к себе, все уже было кончено — на земле лежала груда овец, еще дрыгавших в смертельной муке ногами, а всадники с добычей удалились.

Канчора и Псгуагу отвязали брата, все трое вскочили на коней и, не раздумывая, бросились в погоню.

Похитители не торопились. Подскакав, Канчора крикнул ханскому сыну:

— Ты нанес нам оскорбление, которое можно смыть только кровью! Стреляй первым!

Тот выхватил из чехла ружье и выстрелил, но не попал. Тогда прогремело ружье младшего брата, Псгуагу. Сын Алоуа с размозженной головой поник в седле, и его высокая каракулевая шапка свалилась под ноги коня. Остальные похитители бросились наутек.

Теперь вступал в свои права закон кровной мести, и братья знали, что ни хан, ни его многочисленные родственники не успокоятся, пока не убьют троих.

Они поехали к своей хижине, и Чоура, взяв к себе в седло шестилетнего сына, навсегда ускакал с братьями из родных мест. Жену он оставил, потому что женщинам не мстят.

Они перевалили через горы и оказались в горном селении Псху. Братья рассказали обо всем местному князю Маршану, и он дал им убежище.

Но руки у хана Алоуа были длинные, и братьям пришлось бежать дальше, в Бзыбское ущелье, что ведет к озеру Рица. Местный князь Чачба согласился дать им убежище при условии, если они примут участие в военном походе. Он собирался напасть на вождя племени садзов князя Аредбу.

В сражении на мысе Адлер старший брат Чоура был убит. И убийца взял себе его ружье.

Канчора и Псгуагу оставили племянника у одного из жителей селения Чачба-Яшта, а сами перебрались в селение Адзюжба, что на берегу моря, возле реки Кодор. Местный князь Маргания дал им убежище и даже выделил участок в лесу. Под деревом, увитым виноградной лозой, они поставили шалаш и стали в нем жить.

Но когда виноград поспел, к дереву явился человек с корзиной.

— Чего тебе надо? — спросили братья.

— Я сажал этот виноград, а теперь пришел собирать его.

— Если у тебя есть совесть,— сказали ему,— не делай этого. Что тебе одна корзина винограда, а нам нечего есть.

— Вот еще! Будут тут всякие бродяги говорить, что мне делать!..

Братья сочли это оскорблением, и, когда человек влез на дерево, один из них сбегал в шалаш за ружьем и застрелил его.

И снова братья бежали. И снова нашли убежище. На этот раз в селении Чубурхинджи у реки Ингур. Они стали батраками у местного князя.

И надо же было так случиться, что через несколько дней этот владетель задавал пир в честь садзского князя Аредбы, приехавшего в гости с большой свитой. Принимая у гостей плети и оружие, батраки вдруг узнали одно из ружей — оно когда-то принадлежало их старшему брату.

Во время пира, разнося еду, они осторожно спросили нового владельца ружья, откуда оно у него.

— Я купил его за одну пулю,— хвастливо сказал садз.— Когда на нас под Адлером напал князь Чачба, я убил его воина и забрал добычу...

После пира и гости и хозяева легли вздремнуть. Но братья не спали. Они оседлали двух коней, и средний брат сказал младшему:

— Возьми пистолет, пойди и скажи садзу, что ты возвращаешь ему пулю и забираешь ружье обратно, потому что оно принадлежало нашему брату. Если он спит, разбуди его — спящего убивать не полагается. Разбуди, скажи и выстрели в ухо...

Так и было сделано.

Но в переполохе после выстрела братья разминулись. Средний брат бросился с конем в реку Ингур и переправился на другой берег. Младший же брат бежал в противоположную сторону и очутился в селе Первая Бедия. Там Канчора рассказал местному князю Ачба о своих приключениях.

У князя в ущелье реки Гализги была большая тюрьма, где он держал рабов, пополняя их число из пленных, захваченных во время набегов. Но князь Ачба жил не только за счет работорговли, ему нужны были крестьяне и воины.

— Я дам тебе место возле тюрьмы. Корчуй лес, живи. Отработаешь на моем поле. Будешь ходить в набеги...

Ткварчели (Атква ркял) — значит «загон для пленных». Теперь это большой город угольщиков. Из окрестностей его пошли все Аршба.

Канчора женился на девушке по имени Сангулиапха. У них было семеро сыновей и две дочери.

И вот родословная: Маху сын Канчоры, Машап сын Маху, Башыху сын Машапа, Джамбора сын Башыху, Гыд сын Джамборы и, наконец, Шулиман сын Гыда. Ему предстояло прожить на свете сто двадцать семь лет.

Средний брат Псгуагу, оказавшись за рекой Ингури, стал основателем мегрельского рода Алшибая.

От сына старшего их брата пошел абхазский, тоже многочисленный, род Аншба.

Каким образом в этой фамилии «р» заменилось «л» и «н», могут объяснить только лингвисты.

Шулиман рассказывал, что раз в три года все потомки Аршба собирались вместе, чтобы скрепить фамильный союз. Он помнил заслуги всех предков во всех коленах.

«Всем молодым Аршба,— диктовал он,— желаю быть достойными своих отцов. Уважайте себя и своих гостей. Знайте родину Апсны (Абхазию) и помните своих предков...

Аршба сеяли пшеницу и просо, у них было много скота, они всегда ели мясо, сыр, кислое молоко. У них было много фруктов и особенно винограда. Они занимались сбором дикого меда... Они любили работу. Ночью мало спали, зато не нуждались....»

Любопытны его заповеди новым поколениям своего рода:

«Нам надо учиться, чтобы иметь побольше ученых и разных деятелей... Образование и труд — вот что возвысит род Аршба. Если найдется среди вас глупец, не отпускайте его в город, не давайте ему позорить нас. Если ты ненасытен, на государственную службу не иди! Русский человек остается скромным, какой бы пост он ни занимал, каким бы ученым он ни был. Вот у кого нужно учиться Аршба...»

Запись в ученической тетради перевел историк, и он уверял, что память у Шулимана Аршбы была прекрасная. Рассказ старика редко противоречит действительным историческим событиям. Удивительно, как точно старики запоминали всякие происшествия и предания.

— Память нашего поколения устроена несколько по-

другому,—добавил историк.— А надо бы помнить абхазскую пословицу: «Конь околеет — поле останется, человек умрет — слово останется».

8

Шулиман считал, что он родился в 1830 году. И, пожалуй, это правда. Он хорошо помнил события времен Крымской войны 1853—1855 годов.

«У меня были уже усы и борода, я был зрелый мужчина»,— говорил он.

Хотя бои с турками шли и на абхазской земле, Шулиман в то время очутился довольно далеко от нее. Каким-то образом он попал на русский корабль и был привезен в Новороссийск. В составе сформированной там части его перебросили в Крым. Команда охотников-разведчиков, в которую его зачислили, действовала в привычной для него обстановке, в горах, давая возможность русским отрядам наносить удары по флангам соединенных англо-франко-турецких войск...

Там-то Шулиман Аршба и узнал русских людей. И когда вскоре турецкие эмиссары стали подбивать абхазов на переселение в Турцию, стращая их, что русские перережут всех подряд, у него появилась возможность оказать добрую услугу своим односельчанам.

Он говорил, что не надо верить ни туркам, ни собственным князьям. Русские — совсем не звери, у них много грамотных людей и очень развиты всякие ремесла. Он говорил это на крестьянских сходках под громадным деревом между селами Гуп и Ткварчели.

И хотя агитаторы уверяли, что в Турции даже ослов кормят рисом и украшают золотом, что там растут тыквы величиной с буйвола, что там — рай, из долины Гализги уехало очень мало людей.

Да и те вернулись, бежали из Турции тайком, добираясь до родины долгие годы. Они рассказали страшные вещи.

Абхазов везли на турецких пароходах, не давая воды по нескольку суток. Тысячи и тысячи умирали от болезней, гибли дети, женщин отбирали и продавали в гаремы. На турецком берегу беглецов ждала нищета и гнет собственных князей, которые, возродив крепостное право, стали продавать крестьян целыми семьями туркам...

Русское правительство, стремясь избавиться от бес-

покойных подданных, поощряло выселение. Более ста тысяч человек ушло в чужие края.

Шулиман Аршба навсегда запомнил «махаджирство», великое переселение, и даже через девяносто лет говорил: «Мы, Аршба, не поверили туркам, и правильно сделали».

9

Едва ли не с тех пор Шулимана стали считать мудрецом и чутко прислушивались к каждому его слову.

Уважали его еще и за то, что он стал кузнецом. Это будет тем более понятным, если вспомнить, что в середине прошлого века многие абхазские крестьяне еще пахали бревном с торчащим из него суком, пололи поля не железными, а самшитовыми мотыгами и считали оружие самым дорогим достоянием семьи.

Шулиман до поры трудился в хозяйстве своего отца Гыда, сеял и растил просо и кукурузу, пас стада на альпийских лугах, отрабатывал барщину на поле князя Ачбы, охотился в горах на медведей, но его все больше тянуло в соседнее село Члоу, где жили знаменитые кузнецы. Один из них, Кобан Цвижба, и стал учителем Шулимана.

В пантеоне абхазских языческих богов, вслед за высшим богом Анцвалу, больше других почитался покровитель кузнечного ремесла Шашвы. И хотя абхазы давно стали либо православными христианами, либо мусульманами, культ Шашвы оставался в силе.

Кузница считалась святилищем, а наковальня — ее алтарем. Если на крестьянской сходке кого-либо подозревали в нечестном поступке, то его приводили в кузницу, где он при всех давал клятву чести.

Это была внушительная церемония.

Подозреваемый брал молот, бил им по наковальне и говорил: «Клянусь этой святыней, если я виновен и, несмотря на это, произнес ложную клятву, пусть Шашвы разобьет молотом мою голову на десять частей».

Кузнец становился как бы жрецом Шашвы и самым почитаемым в роде.

Но почет этот доставался непросто. Звание кузнеца получал лишь настоящий искусник. Он должен был делать не только топоры, молотки, подковы, обручи для бочек, ножницы и другие предметы хозяйственного обихода, но и шашки, кинжалы, пистолеты и ружья. Кавказские кузнецы хранили свои секреты и славились на весь свет. Не-

даром еще царь Алексей Михайлович требовал присылки с Кавказа «пансырного дела мастеров, для булатного сабельного дела сварщиков, самых же добрых мастеров...».

Золотые руки были у Шулимана. Его кинжалы рассекали медные пятаки, без вреда для себя. Делал он их из старинных лошадиных подков. Шестизарядное ружье, все детали которого он отковал сам, сделало имя кузнеца Аршба легендой.

Но Шулиман знал не одно кузнечное дело. Вырезанные им роговые ложки хранятся во многих семьях как реликвии. Он был замечательным плотником. Сделанная им семьдесят лет назад мельница работает и по сей день. Она автоматически перестает работать, когда кончается засыпанное зерно.

Но удивительно совсем другое — у этой мельницы нет ни одной металлической детали, все выточено из твердых пород дерева. Говорят, что таких общественных мельниц он построил немало.

Шулиман сам сложил себе дом — в нем восемь комнат и метровые каменные стены. Каждая балка, дверь, стойка вытесаны им собственными руками. Никогда в жизни не видев ветряной мельницы, он изобрел ее сам. Она стояла на крыше и вращала жернова прямо у очага, когда нужна была свежая мука для мамалыги.

В феврале 1918 года Шулиман поехал в Сухуми.

Город шумел как растревоженный улей. Всюду митинговали, слышались слова «меньшевики», «большевики», «революция». В бухте стоял вспомогательный крейсер «Дакия», возвращавшийся из Трапезунда в Севастополь. По набережной прогуливались матросы. Как-то они увидели офицера в черкеске с золотыми погонами. Контуженая рука висела на груди, поддерживаемая черной перевязкой. Это был офицер абхазской сотни «дикой дивизии» князь Николай Эмухвари.

Несколько матросов подошли к нему.

— А ну, скидай погоны, царский холуй, а то сами снимем!

— Не вы мне их дали, не вам и снимать их, — гордо ответил князь.

Один из матросов рванул с плеча Николая Эмухвари погон. Тогда князь, сильный и проворный, выхватил здоровой рукой наган, уложил матроса в упор и бросился бежать. Рассвирепевшие матросы, запутавшись в двориках и переходах восточного города, не догнали его.

Они вернулись с телом убитого на крейсер и просемафорили оттуда: немедленно разыскать и выдать убийцу, власть в городе передать военно-революционному комитету. Для острастки город обстреляли из корабельных орудий.

В Сухуми началась паника. Жители бросали дома и бежали в горы.

В городе не было военно-революционного комитета, но его тут же создали. Возглавил его большевик Ефрем Эшба.

Шулиман вернулся в Ткварчели. Слухи, которые доходили в ущелье, казались совершенно неправдоподобными. Князя Николая Эмухвари задержали и отдали под суд. Председательствовал на суде дворянин Ефрем Эшба. Оба, князь и дворянин, были из села Бедиа и в детстве дружили. Теперь они смотрели друг на друга с ненавистью.

У Шулимана Аршба от таких хитросплетений классовой борьбы в голове стоял туман.

Бывший дворянин, а ныне большевик, Эшба настоял на том, чтобы князя Эмухвари выдали матросам. Когда князя доставили на миноносец «Дерзкий», он выхватил спрятанный в рукаве черкески браунинг и застрелил еще одного матроса. Однако теперь убежать Николай Эмухвари не мог...

Но вскоре власть захватили меньшевики, уверявшие, что они за трудовой народ. Против них боролась крестьянская дружина Нестора Лакобы «Киараз».

События волнами докатывались до гор. На сходках говорили горячие речи лихие всадники Нестора Лакобы. В поисках красных врывались в дома меньшевистские каратели Тарасхана Эшба, двоюродного брата большевика Ефрема Эшба. Теперь уже не род шел на род, а становились злейшими врагами члены одного рода. Гражданская война ломала вековые понятия.

Молодежь уже не восторгалась самодельными винтовками Шулимана. У горцев теперь были многозарядные маузеры и даже пулеметы. Дороги стали непроходимыми, их оседлали бандиты. Дома горцев, как в древности, превращались в крепости. Но и это не спасало. Бандиты врывались в дома, убивали и грабили.

Шулиман Аршба организовал отряд самообороны, и бандитам больше не было хода в ущелье. Свою молодежь старики Аршба держали в повиновении и встретили

твердую власть, которую наконец установили большевики, с облегчением, а когда крестьянам разрешили поделить между собой княжеские земли, то и с благодарностью.

10

О замечательном писателе лучше всего говорят книги, им написанные. О замечательном земледельце лучше всего скажет обработанное им поле или взращенный им сад. Впрочем, книги остаются, а поле или сад переходят в другие руки. Но сад Шулимана Аршба разросся, и в окрестностях Ткварчели вас угостят яблоком или грушей и непременно скажут: «Этот сорт вывел старый Шулиман».

И еще скажут, что у него был лучший в округе виноград и лучшее вино.

И посоветуют посмотреть его усадьбу — его дом, его сад, его пасеку... А дом и в самом деле примечательный. В его толстых стенах восемь прохладных комнат с очень высокими потолками. По его примеру, разбогатев, стали строить дома окрестные жители.

В двадцатые годы в этом доме останавливался академик Н. Я. Марр. Старый Аршба рассказывал ему народные легенды об ацанах — карликовом племени, которое жило в горах до абхазов. Здесь записывал академик неизвестные варианты нартского эпоса и сказание об Абрскиле, богатыре, который боролся за правду на земле. Грозный небесный владыка заточил Абрскила в подземелье и обрек его на тяжкие муки. Он расшатывает столб, к которому прикован цепями. Но всякий раз прилетает неведомая птичка и садится на столб. Абрскил хватает всегда лежащий возле него молот, мечет его в птичку, но та улетает, а молот, падая на столб, вгоняет его еще глубже в землю.

Не тут ли родилась у Марра соблазнительная мысль о том, что один из самых известных мифов прошел «через абхазскую среду», что легенда о прикованном герое-богатыре — кавказского происхождения, «докатившаяся до Греции, где она претворена в сказание о Прометее»?

Тогда же в доме Шулимана Аршба жил знаменитый геолог В. В. Мокринский, который по распоряжению Дзержинского приехал сюда с экспедицией искать ткварчельский уголь. Об угле знали еще в девяностые годы прошлого века, когда к его залежам привел разведчиков Эдрас Аршба. Но разработку его, затевавшуюся Бутми де Кацманом и Л. Г. Рабиновичем, так и не осуществили. Гео-

логическая карта района попала в руки англичанина Галловея, который издал двухтомное описание месторождения. Любопытно, что Мокринский узнал в ленинградских архивах об этой карте, спросил о ней Шулимана, а тот отвел геолога в дом Эдраса Аршба, где бережно хранилась копия карты.

Крестьяне из рода Аршба были проводниками и носильщиками экспедиции. Участники ее вспоминали: «Продовольствие для сотрудников доставлялось без взвешивания, но ни разу ничего не пропадало. В тех случаях, когда носильщик иногда съедал в пути банку консервов, он просил записать ее за ним».

Для того, кто знал моральный кодекс Аршба, эта честность не была бы удивительна.

Мокринский никак не мог выговорить абхазского названия поселка, в котором жил Шулиман и другие Аршба, и он назвал его по имени одного из своих проводников, Хухуна Аршба. Как это ни курьезно, но название Хухун закрепилось за селением, так оно зовется и по сей день.

11

Нестора Аполлоновича Лакобу знали в Абхазии все. Выгнанный из Тифлисской духовной семинарии за революционную пропаганду, несостоявшийся священник стал большевиком-подпольщиком.

В 1917 году он сколотил легендарную крестьянскую дружину «Киараз» и сражался за установление Советской власти в Абхазии. Он был первым председателем Совета Народных Комиссаров республики.

Перестав носить шашку, он по-прежнему не слезал с коня. Ему хотелось успеть сделать все — и построить Черноморскую железную дорогу, и осушить болота, над которыми тучей вились малярийные комары, и превратить Абхазию в субтропический рай, и, наконец, добывать свой, ткварчельский уголь...

Нестору Лакобе было всего тридцать с небольшим, он носил черные щегольские усы и верил в счастливое будущее.

Как-то, продираясь сквозь заросли на берегу Гализги, он выехал к дому Шулимана Аршба.

Высокий стройный старик в бешмете, стянутом по талии узким наборным серебряным поясом, встретил его приветливо.

— Добро пожаловать! — сказал он величественно.— Проходи в дом, да приму я твои беды на себя!

В доме началась веселая суета. Во дворе громко блеял обреченный на заклание козленок, в кухне над очагом кипела вода в котле для мамалыги...

В тот день Лакоба узнал многое о Шулимане Аршба. Он был пленен образцовым порядком в хозяйстве старика, восхищался садом, полем, пасекой. И уж не тогда ли пришло ему в голову противопоставление, которое, сражаясь с троцкистами, он высказал на партийной конференции в 1927 году:

— Абхазская пчела не заражена никакими «социальными» и «политическими» болезнями, у нее нет ни национального вопроса, ни вопроса внутрипартийного положения, головотяпством она не занимается, а дает очень вкусный, мировой известности мед. За этой пчелой поухаживать было бы куда интереснее, чем хотя бы за нашими оппозиционерами, потому что оппозиционеры много святых правил нарушают, а пчела дает прекрасный мед.

Отошли в прошлое некогда злободневные политические заботы. Встали на очередь другие. И среди них была коллективизация. Нашлись руководители, не захотевшие разобраться в крестьянской психологии, растолковать, объяснить... В начальственном высокомерии они посчитали лишним пойти на поклон к старикам, распоряжались, кричали и даже сажали несогласных в тюрьму. И дело... не шло.

В Абхазии еще помнят, как в газете появилась карикатура — дюжий молодец крутит точильный камень, а двое других прижимают головой к камню старика. И под карикатурой подпись: «Шулиману Аршба надо обточить мозги».

Жестокость и политическую неуместность такой административной ретивости первым понял Нестор Лакоба.

Шулиману в тот год исполнилось сто лет.

— Эх, вы! — сказал Лакоба уездным руководителям.— Разве так борются с несознательностью? Оказывая неуважение старикам, вы проявляете близорукость. Сегодня вы разрушите почтение к старшим, завтра люди перестанут уважать власть...

Лакоба опередил почтальона, везшего газету, и приехал в Ткварчели.

— Шулиман,— сказал он,— ты очень хорошо знаешь, что такое «киараз»...

— Знаю,— ответил старик,— так называлась твоя боевая дружина...

— Нет, Шулиман, я говорю о другом, я говорю о народном обычае. А в Абхазии нет человека, который бы лучше тебя знал обычаи...

«Твоя радость — наша радость»,— говорят абхазы, и это не просто слова. Они привыкли бескорыстно помогать друг другу. Если человек строит дом, к нему стекаются помогать все соседи. Все вместе они всегда убирали урожай на поле одного, потом другого, не забывая и поля вдов и сирот. Совместный труд спорился. Конец работ отмечали веселым застольем. Если у кого-нибудь была свадьба, то готовили ее, собирали продукты всем миром... Все это называлось объемным словом «киараз».

— Шулиман,— говорил Лакоба,— колхоз — это и есть киараз. И даже больше. Все станет общим, и работа пойдет веселей...

— Это хорошо,— сказал Шулиман.— А завтра придет лентяй Заур, наденет мою черкеску и станет каждый день резать себе на обед моих кур...

— И ты позволишь ему это делать?

— Нет, не позволю. Но люди говорят, что даже штаны будут общими,— кто хочет, тот и наденет. Я не хочу надевать чужие штаны!

Лакоба оглядел чистоплотного старика и улыбнулся.

— Это неправда. Твой дом, твои ульи, твой двор останутся твоими. Кое-кто хотел сделать общим и это, но партия их осудила. По-русски это называется «перегиб». А твой лентяй Заур, разве не станет он работать лучше на глазах у всех?

— Может быть. Только он не мой...

«Кто владеет языком, тому принадлежит община»,— гласит старая абхазская поговорка. На ближайшей крестьянской сходке Шулиман Аршба сказал речь, начинавшуюся традиционными словами: «Люди, да положу я голову свою за вас...» Она была построена по всем канонам народного ораторского искусства. И когда Шулиман произнес заключительное: «Утомил я вас словом, простите! Добро да пребудет с вами!» — многие колеблющиеся уже верили в колхоз.

Шулиман руководил в колхозе разбивкой садов, постройкой мельниц и сушильных сараев, учил молодежь искусству выращивать кукурузу, а руководителям давал мудрые советы. И хотя в свои сто с лишним лет он уже

не мог работать так быстро, как прежде, его по-прежнему слушался любой инструмент, и он охотно делился своими навыками. Особенно полезен он был в кузнечном деле. Но при необходимости выходил и на прополку.

Он нашел родник и украсил его каменной кладкой, чтобы обществу было удобно брать ключевую воду.

Дела в колхозе шли на лад. На глазах Шулимана люди покидали плетеные, продуваемые всеми ветрами хижины и строили себе высокие просторные дома. Он показывал всем, как делать кирпич и выжигать известь.

В августе 1942 года к границам Абхазии подошел 49-й горнострелковый корпус немцев. 15 августа враги заняли Клухорский перевал и продолжали продвигаться по Военно-Сухумской дороге. Они были уже в 25 километрах от Сухуми. Их отбросила 46-я армия генерала К. Н. Леселидзе.

Род Аршба дал много бойцов и командиров нашей армии. Часть полковника К. Я. Аршба пять раз удостаивалась благодарности Верховного Главнокомандующего, начиная со сражения под Москвой...

В трудную годину Шулиман отдал для армии лошадь, организовал изготовление вьючих седел для наших горных частей.

Он не поощрял тех, кто, используя трудности с продовольствием в городах, спешил нажиться. Рассказывают, что, услышав раз на базаре в городе, как один ловкач похвалялся красивой каракулевой папахой, Шулиман спросил его:

— Сколько ты заплатил за эту папаху? Извини, конечно, за вопрос...

— Две тысячи.

— Гм... Стоило ли платить две тысячи рублей, чтобы украсить двухрублевую голову?

Ловкачу не стало проходу. Всякий раз, увидев его папаху, люди вспоминали острое слово старика и хохотали...

12

Когда Шулиману минуло 120 лет, к нему зачастили собиратели фольклора и врачи.

Первые записывали с его слов предания и песни. Он и сам часто выступал на праздниках с тостами, рассказами и собственными стихами. Среди них были и сатиричес-

кие: «Насмешка в песне попадает в цель не менее метко, чем пуля из ружья»,— говаривал он.

За год до смерти о нем писали:

«Творчество старейшего народного певца Сулеймана Аршба глубоко патриотично. Он отзывается на все волнующие события современности. В последнее время стал плохо видеть и заставляет внуков читать себе газеты, слушает радио. Он сочиняет рассказы и стихи, не записывая их, но может читать их без ошибки. Даже стихи многострофные, больших размеров сохраняет в памяти и охотно читает их на праздниках и торжественных вечерах».

В Государственном архиве Абхазии среди «фольклорных материалов», записанных с его слов, есть стихотворный тост, сочиненный им, очевидно, в ответ на поздравления:

Я вырастил сад, я сделал вино
И выпью за то, что известно давно:
Без дружбы людской не прожил бы и дня,
Без дела и вовсе не стало б меня.

Врачей же интересовал секрет его долголетия.

13

Когда Шулиману Аршба было 122 года, в Абхазии проводился опрос и обследование долгожителей. В книге-отчете был помещен его портрет и такая подпись:

«На вопрос: «Как у вас зубы, откройте рот» — он ответил: «Зубы начали портиться. Один давно шатается». И действительно, только один зуб, нижний, у него оказался больным. Все остальные зубы в прекрасном состоянии».

Там же есть портрет его ближайшего родственника Эдраса Аршба, которому было тогда сто четырнадцать лет. Он прославился тем, что еще в 1899 году первым привел геологов к знаменитому впоследствии Ткварчельскому месторождению угля.

Абхазия славится своими долгожителями. Туда без конца ездят научные экспедиции из разных стран. Ученые изучают условия жизни долгожителей, надеясь подсказать людям, как прожить десяток-другой лишних лет. Лишних? Вернее, недожитых. Установлено, что у животных продолжительность жизни в 6—7 раз больше того периода, когда заканчивается их рост. По логике, человеку, у которого рост заканчивается в 20—25 лет, полагается жить на све-

те от 120 до 170 лет. А он живет в среднем семьдесят лет и задолго до смерти становится дряхл и нетрудоспособен.

Сколько же писано-переписано про долгожителей! Начиная с Мафусаила, которому, как утверждает один явно сомнительный документ, в день смерти стукнуло 969 лет. Претендовали на нацию долгожителей англичане. По их сведениям, некий Фома Керн умер в возрасте 207 лет и пережил 12 английских королей, а Томас Парр прожил 152 года, в 120 снова женился, в 130 выполнял все крестьянские работы, но, призванный ко двору, от праздного и нездорового образа жизни очень скоро скончался. И так далее. Самой большой сенсацией оказался труд их соотечественника Гарвея, который доказал, что никто из английских мафусаилов не жил более 110 лет. И все-таки в самых разных частях света люди жили и до ста пятидесяти лет.

В 1903 году писали о крестьянине Смоленской губернии Санихине, который в возрасте 127 лет совершал двухверстные прогулки. Донскому казаку Кибучину в 1886 году было 136 лет. В 1883 году в Казахстане жил отставной солдат Родион Анисимов 156 лет. Но больше всего долгожителей у нас оказалось в Абхазии.

Как и многие долгожители, Шулиман Аршба не курил, вино пил в меру, довольствовался абхазской кухней (немудреной, но мудрой — там готовили ровно столько, сколько могли съесть, а остаток предпочитали отдавать курам, чем разогревать через несколько часов), ел фрукты, овощи, мед, жевал неторопливо, никогда не переедал, дышал горным воздухом.

В отчете обследователей подробно записаны советы Шулимана Аршба по части еды:

«Нужно есть пищу разнообразную не только потому, что одинаковая пища надоедает, а потому, что разнообразная пища дает больше сытости и больше здоровья. Вот,— говорил он,— овощи, фрукты, виноград очень полезны и вкусны, а сытости они дают меньше, чем мясо. Чтобы быть сытым, фруктов надо съесть очень много, а много съесть трудно. Значит, для сытости надо есть мясо, а для хорошего самочувствия и удовольствия — овощи и фрукты, и виноград, и мед. Жиров надо есть меньше. Жирная пища тяжелая, надо ее избегать... От сладостей человек жиреет. А много жира, полнота ускоряет старость. Помните народную пословицу: «Ешь просто, доживешь лет до ста». Я прожил больше ста...»

Он, как и многие абхазские старики, считал полезным для здоровья употребление острого красного перца, но после ста лет не злоупотреблял им. В его огороде и на столе всегда были лук, чеснок, кресс-салат, кинза, чабер, чебрец, майоран, базилик, мята, петрушка, укроп, сельдерей, портулак, тмин, барбарис... Сад давал яблоки, груши, инжир, хурму, гранаты, айву, мушмулу, кизил, персики, сливы, черешню, вишню, виноград, орехи... Благодатная природа давала возможность есть свежие плоды земли едва ли не круглый год.

«Старейший садовод Абхазии,— записано в том же труде,— 122-летний Шулиман Аршба говорит, что если человек работает на винограднике и питается виноградом, он должен быть здоровым и жить сто лет. Обследование выяснило, что большинство долголетних людей Абхазии съедает за сезон не менее 50 кгр. винограда, а немало есть и таких, которые съедают даже по 100 кгр. винограда за сезон. Особенно много потребляют старики виноградного сока, которому придают исключительно лечебное значение. Они считают, что для старика виноградный сок так же полезен, как материнское молоко младенцу».

Поселок Хухун, в котором жил Шулиман Аршба, стал предместьем города Ткварчели. Он никогда не менял места жительства, никогда не менял образа жизни. В том же отчете о Шулимане говорилось:

«Вся история Ткварчели и история местных людей, огромные изменения, преобразование селения из 4 домишек в большой индустриальный центр, с многотысячным населением, все произошло у него на глазах. Это живой свидетель многих исторических событий. Он все прекрасно помнит. И рассказывает так, как будто видит сейчас перед глазами прошлую жизнь более чем за сто лет. В молодости он был пастухом и охотником, возчиком на арбе, кузнецом и слесарем. Познакомился с одним русским рабочим-революционером. «Лучшим другом он мне стал. Я сам ему своими руками винтовку сделал и подарил». Последние 50 лет больше занимался садоводством. И сейчас его сад один из лучших в окрестностях Ткварчели. На здоровье никогда не жаловался. И память сохранил необыкновенную. Все помнит до малейших подробностей. Если бы записать все, что он запомнил, набралась бы целая книга. Он помнит хорошо события времен Крымской войны 1853—55 годов...»

К сожалению, это «если бы записать все» осталось благим пожеланием.

Женился Шулиман в сорок лет (поздняя женитьба обычное явление среди долгожителей Абхазии), прожил с женой душа в душу более семидесяти лет. Его жена Уардахан была работяща, беспрекословно признавала авторитет мужа. И в молодые годы у него никогда не было повода для ревности[1]. Он был доволен своими двумя сыновьями и двумя дочерьми, множеством внуков, правнуков...

Сам Шулиман Аршба обладал ровным характером, любил шутку, ни с кем не ссорился по пустякам. «Злые люди долго не живут»,— говаривал он. Всеобщее внимание и уважение, особенно в старости, создавали покойное ощущение удовлетворенности, своей полезности для людей. В Абхазии считается едва ли не преступлением прекословить старикам и не оказывать им знаков внимания, и это тоже немаловажная причина их долгожития. Не потому ли из обследованных в свое время 1216 долголетних людей Абхазии ни у одного не обнаружили ни пороков сердца, ни повышенного кровяного давления?

14

Когда пишут о долгожителях, то непременно одной из причин их долголетия называют занятие любимым делом, непрерывный труд. Называют Гёте, который в 80 лет дописывал «Фауста», Павлова, который умер на 86-м году жизни от случайного заболевания, Вольтера, дожившего до 84, Ньютона — до 85, Верди — до 88, Микеланджело — до 89, Тициана — до 87 лет.

Шулиман Аршба трудился до последнего месяца своей жизни. Заповедь Шулимана помнят многие Аршба. Ее записали и врачи:

«Только труд приносит радость жизни. После работы пища слаще, отдых приятней и сон крепче».

Но важно отметить и то обстоятельство, что подавляющее большинство долгожителей, перешедших столетний рубеж, живут в деревне и занимаются земледелием.

---

[1] Кстати, это в Сухуми провели эксперимент на обезьянах — самку разлучили с самцом, перевели ее в клетку к другому самцу, и через неделю наблюдений за счастьем соперника у брошенного от ревности случился инфаркт.

Никто не станет отрицать, что деревенский труд остается самым разнообразным, он ближе всего к природе, в гармонии которой заключена великая мудрость.

Человек постигает отдельные тайны природы и сперва удачно их использует, но при гипертрофии этого использования часто вредит гармонии.

Домашняя скотина и злаки уже были у человечества еще до писаной его истории. Есть фантастическое предположение, что некогда существовала не техническая, а биологическая развитая цивилизация, оставившая нам в наследство многие виды домашних животных и растений. Во всяком случае, человечество уже мечтает о бережном познании природы, а биология становится одной из самых почитаемых наук.

У Шулимана Аршба страстное желание трудиться сочеталось с тягой к поэзии и знанию родной истории. Кто-то назвал его «деревенским инженером» за изобретательность, за умение создавать полезные вещи из железа, камня, дерева, но он не менее хорошо умел создавать новые сорта фруктов, выращивать гигантскую кукурузу, ухаживать за пчелами, выбирать место для лозы так, что его вино оказывалось лучшим в округе... Этот человек был гармоничен.

15

Мы с историком перешли по качающемуся висячему мосту над Гализгой, взобрались на откос железной дороги и оглянулись. В ущелье уже сгущались сумерки, сады казались сплошным морем, и не видно стало дома Шулимана Аршба. Справа Ткварчельская ГРЭС загрязняла окружающую среду густыми клубами дыма. Она возвращала нас в привычный мир.

Мы унесли с собой портреты старика, чтобы переснять их для сухумского музея. На одном он был совсем молодой, в длиннополой черкеске, с пистолетом и кинжалом на поясе, стягивающем юношескую талию. На обороте стоял штамп сухумской фотографии — 1915 год. Значит, ему было тогда 85 лет. В самом деле, лицо совсем молодое, красивое, черная борода, а волосы седые...

Говорят, и на сей счет у него была шутка: «Мои волосы старше моей бороды на восемнадцать лет».

На другом портрете он — стодвадцатипятилетний.

До моста нас проводил Сандро Аршба, сын старика

Шулимана. Как старший в семье, он унаследовал дом и живет в нем со своими детьми, внуками, правнуками. Младший сын Антон родился, когда Шулиману было под восемьдесят. Теперь он полковник в отставке и живет во Львове.

Все в доме так, как было при жизни Шулимана. Разве что прибавилась газовая плита. Но она в тот день отказала, и огонь развели в старом очаге, где готовили пищу при жизни старика. Это было в большом каменном сарае при доме. Тут же, за тонкой дощатой стенкой, вздыхала скотина. Искры и дым тянуло вверх, к отверстию в крыше. Закопченные стены и балки, блики огня на лицах, неторопливый разговор о последнем годе жизни Шулимана Аршба...

Вставал он с рассветом, медленно одевался, умывался и начинал ежедневную прогулку по усадьбе, подмечая непорядок — то ли ветку в саду, которую надо подпереть палкой, чтобы не сломалась под бременем плодов, то ли сорную траву на кукурузном поле... Он обходил сараи, заглядывал на кухню, в коровник, подбрасывал корму курам и шел на пасеку. У него было более сотни колод — выдолбленных внутри обрубков древесных стволов, которые он предпочитал ульям. Когда-то он лучше всех умел найти в лесу пчелиную семью и водворить ее у себя на пасеке. И не одну семью увезли от него куда-то на север и даже за границу. Абхазская пчела оказалась самой доходной в мире, и у нее был хоботок длиннее, чем у других, и летала она дальше. Когда Шулиману говорили, что в Америке абхазская пчела начинает вытеснять итальянскую, он приосанивался.

Перед завтраком он делился с сыном Сандро своими наблюдениями и планами, и тот, тоже уже старик, стоя почтительно выслушивал отца. За стол Шулиман садился сам-пятнадцатый...

После завтрака он принимался за привычную работу — полол, ухаживал за плодовыми деревьями, возился на пасеке. Через каждые полчаса садился отдыхать. Век с четвертью — не сто лет, когда он мог работать без устали по нескольку часов.

По вечерам в доме всегда были гости. Приходили послушать старика, рассказать новости, почитать письма об успехах Аршба, покинувших родное ущелье...

Шулиман Аршба умер в 1957 году. У него было совер-

шенно здоровое сердце, но отказал мочевой музырь. Делал операцию врач Сократ Аршба.

После операции Шулиман сказал ему:

— Я хотел обмануть тебя, но обманул меня ты.

Это означало, что старик надеялся умереть во время операции, так как после нее ему предстояло жить «не по-людски», со шлангом. Такая жизнь казалась ему постыдной.

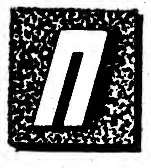
Он перестал есть и почти не пил. И прожил еще 22 дня. И все дни сохранял полную память. Ум его был острым, а слова мудрыми.

Он захотел умереть и умер, потому что гармония его существования была нарушена.

Он прожил на свете 127 лет.

1974

НАЧАЛЬНИК ГАРНИЗОНА



ервого мая 1945 года на Дворцовой площади в Ленинграде состоялся парад войск местного гарнизона. Принимал парад маршал Говоров.

Небо над городом в ту победную весну было чистое. До налетов ли немцам, курляндская группировка которых доживала свои последние дни. Солнце щедро изливалось на громадную площадь, зажигая тысячи начищенных пуговиц и золото погон. Зимний дворец, однообразно закрашенный серой краской, весь в язвах от осколков, еще ждал обновления.

Войска выстроились фронтом к дворцу и «александрийскому столпу», на верхушке которого ангел попирал змею, олицетворившую собою врагов России.

Командующий парадом генерал Степанов вдохнул чистый майский воздух, и над затихшей площадью гулко разнеслись слова команд:

— Равняйсь!

— Смирно-о-о!

— Равнение на середину!

— Товарищи офицеры!

Маршал Говоров, как всегда подтянутый и мрачноватый, ехал вдоль фронта парада не на коне, а стоя в открытой машине, что было тогда невиданным новшеством.

Солдаты и матросы отвечали на его приветствия весело и четко. Довольная улыбка шевельнула седую щеточку маршальских усов...

Отгремел салют.

— Парад, смирно!

— К торжественному маршу!

— Поротно!

— На одного линейного дистанция!

— Военно-электротехническая академия прямо, остальные напра-а-во!

— На пле-чо!

— Равнение направо!

— Ша-а-гом марш!

Торжественным маршем, позванивая орденами и медалями, шли молодые, но уже заслуженные офицеры. Усердно печатая шаг, шла совсем еще зеленая молодежь. Степанов вглядывался в раскрасневшиеся, подрагивавшие от напряжения лица и чувствовал, как его спину покалывает холодок восторга. Когда с ним поравнялся начальник Военно-морского пограничного училища контр-адмирал Садников, мысли Степанова вдруг воскресили ночь на 1 сентября 1941 года...

Тогда он провожал отряд моряков, сформированный из курсантов училища. Над городом гудели вражеские самолеты, слышались взрывы бомб. Капитан второго ранга Садников по личному приказу Ворошилова вел отряд занимать оборону на правом берегу Невы у Ивановских порогов. Генерал смотрел на ровные шеренги морских пограничников, а видел тех, что уходили в ночь, застегнув наглухо бушлаты и надвинув покрепче бескозырки. Они не дали тогда немцам форсировать реку, а через месяц уже сами в составе морского десанта, высаженного в Шлиссельбурге, прыгали в холодную воду и шли в атаку под шквальным пулеметным огнем. Их мало осталось в живых, но они захватили плацдарм и потеснили немцев.

В этот солнечный день, когда уже так близка была желанная победа, бессменному начальнику Ленинградского гарнизона Степанову вдруг стало больно за тех, кто никогда уже не увидит солнца. Неумолимая память разворачивала перед ним картины блокады, вызывала из небытия изможденные лица, горящие отчаянием и мужеством гла-

за... А тихие стоны умирающих не могла заглушить даже бравурная музыка сводного оркестра... Очнуться от воспоминаний Степанова заставил рокот самолетов, пролетавших над площадью, по которой уже проезжала мотопехота, шли танки и самоходки. Да, армия не та, что в начале войны. Теперь она, пожалуй, и в самом деле «всех сильней», как пелось в довоенной песне. Скоро войне конец, для большинства армейцев военные будни кончатся, но пограничники останутся на переднем крае.

Григорий Алексеевич Степанов родился 27 ноября 1897 года в деревне Звад, что затерялась в лесах и болотах между Новгородом и Псковом. Бедная была эта деревня, тщетно пытавшаяся прокормиться на торфяной, вечно мокрой земле, где сорные травы осинец и костер душили чахлые всходы ржи. «Осинец да звонец — так и жизни конец»,— говорили мужики и занимались отхожим промыслом. В деревне тесали клепки, заготовляли дрова, клюкву и грибы для ненасытного Петербурга, заводы которого алчно поглощали и мужиков, с нужды менявших лесное раздолье на спертый воздух рабочих казарм.

В городе мужики, не сдерживаемые уже общинной дисциплиной, привыкали к водке. Прикосновение к «цивилизации» сгубило и Алексея Степановича Степанова, который вернулся в деревню горьким пьяницей, буйным во хмелю, бившим жену свою Прасковью Сергеевну смертным боем, выгонявшим ее из избы вместе с детьми на мороз... Алексей Степанович свихнулся от пьянства и помер в какой-то из петербургских больниц в 1908 году.

Прасковья Сергеевна осталась с четырьмя малолетними сыновьями и приемной дочерью («воспитанкой», как говорят в тех краях), взятой в лучшие времена из детского дома. Так кончилось детство Григория Степанова, который успел кончить три класса земской школы. Стал он общественным пастухом, что помнят и по сей день престарелые жители деревни Звад, с гордостью и даже с каким-то удивлением воспринявшие восхождение своего земляка к генеральскому званию. На «Егория», когда первый раз в году выгоняют коров на пастбище, напекли, по обычаю, пирогов для пастуха, да и потом наделяли его кто хлебом, а кто деньгами, что было большим подспорьем для обнищавшей семьи. Работал он и батраком у торговца из лежащего неподалеку большого села Вшели.

В канун войны Григорий тоже стал отходником, пополнил армию столичного пролетариата. Сперва был чернорабочим, а потом молотобойцем в Ортопедическом институте, пока в мае 1916 года его не призвали в армию и не отправили служить в финский город Вильмонстранд.

Военная служба Григорию Степанову понравилась. Уставной порядок, определенность положения после стольких лет полуголодного существования и неустроенности навсегда внушили ему привязанность к армии. И недаром генерал-лейтенант Степанов с большой теплотой вспоминал о начале своей службы:

«Мне лично пришлось пройти унтер-офицерскую школу в старой армии. Вспоминаю май 1916 года. Маленький город в Финляндии. В числе молодых, недавно прибывших солдат и я — рядовой 172-го запасного полка. В августе нас отбирают в учебную команду. В нее направляют лучших, наиболее выносливых и дисциплинированных. Программа учебной команды была невелика, но строго нацелена. Младший командир — унтер-офицер должен быть мастером огня, отлично знать уставы, строй, отработать командный голос, уметь вести хозяйство подразделения. Учились от зари и до зари...

С тех пор прошло уже более четверти века, но я и до сих пор помню то, чему меня учили в этой команде. Нельзя сказать, что все обстояло там идеально. Однако надо признать, что качество воинской подготовки было высоким».

Но едва Степанов получил унтер-офицерский чин, как рухнули все армейские устои. Свершилась Февральская революция, поставившая рядом с офицерской властью выборную солдатскую власть. В июньские дни 1917 года Степанов оказывается в бушующем Петрограде, участвует в демонстрации, выступает на митинге тотчас после большевистского агитатора и поддерживает его от имени солдат. Он всей душой воспринял ленинские лозунги «Вся власть Советам!», «Долой десять министров-капиталистов!», «Вся земля народу без выкупа — немедленно!», призывы же керенских и «гоцлиберданов» отвергал. О том, что случилось со Степановым в те дни, можно судить по короткой записи в служебном деле:

«За выступление против Временного правительства в июне 1917 года на митинге в городе Петрограде арестовывался и содержался под стражей 12 суток».

В конце августа унтер-офицера Григория Степанова

в составе маршевого батальона отправили на фронт под Ригу, в 37-й Туркестанский полк. Там царила паника. Немцы теснили 12-ю армию. Генералы, утратившие власть, растерялись. Солдаты бежали целыми подразделениями. Не помогал и суровый приказ генерала Корнилова расстреливать бегущих на месте.

Фронт развалился, и уже в августе Григорий оказался в родной деревне, благо до нее было недалеко. Тотчас после вооруженного восстания в Петрограде он съездил в столицу, где пытался устроиться куда-нибудь на работу. Но там было тревожно и голодно. Заводы не работали, питерских пролетариев посылали делать революцию на местах. Двадцатилетний крестьянский парень вскоре вернулся в деревню, уклад которой еще не начинал ломаться.

Все так же собирались парни и девки на «беседы» — посиделки — то в одной, то в другой избе по очереди. Девушки пряли лен, парни сидели у стены. Иногда плясали. На престольный праздник, в Михайлов день, никто не работал. Муж приемной сестры Сергей Федотов был дорожный рабочий, а потому зажиточней других. Он одолжил Григорию пиджак и голубую рубаху. Малый в тот вечер на «беседе» был неотразим, и девушки сочли его завидным женихом, хотя их родители смотрели на Григория косо. «Из батраков»,— говорили они.

Немало песен было попето. Немало стаивано у калиток с девушкой, когда уж все переговорено, а расставаться не хочется. Но так и не женился Григорий, и хорошо, наверно, сделал, потому что вскоре началась для него военная страда во всесжигающем пламени гражданской войны.

31 июля 1918 года войска Антанты захватили город Онегу, а 1 августа — Архангельск. «Проводить «прежнюю» политику неразрыва с Антантой после Онеги — смешно,— писал Ленин.— Нельзя же даму с ребеночком сделать опять невинной».

Началась мобилизация в Красную Армию. Григория Степанова отправили в Петроград и зачислили в отдельный Василеостровский батальон, влившийся на Северном фронте в 1-й Рязанский полк.

Под Плесецкой англо-американский отряд полковника Гендерсона был остановлен. В тяжелых боях участвовал и взвод, которым командовал Григорий Степанов. В тридцатиградусный мороз, отражая атаки, красноармейцы рыли окопы полного профиля. Плохо одетые, голодные, они

не пропустили врага. 1 декабря прямо на позиции Степанов был принят в партию.

А через несколько дней его свалило жесточайшее воспаление легких.

Степанову исполнилось ровно двадцать два года, когда он впервые увидел Ленина. Молодой помощник командира роты Новгородского полка обороны был послан на губернский съезд Советов, который избрал его делегатом VII Всероссийского съезда Советов рабочих, крестьянских, красноармейских и казачьих депутатов.

В Москве к вокзалу для встречи делегатов были поданы грузовики. Держась за кабину, Степанов рассматривал засыпанные снегом улицы столицы, покрытые копотью стены домов — из каждого окна торчала жестяная труба печки-буржуйки, при помощи которой можно было на несколько минут согреть комнату даже таким скудным топливом, как газета. Трамваи не ходили. Обовшивевшее население терзал тиф.

5 декабря 1919 года в числе 1300 делегатов съезда, одетых в основном в военные шинели, Степанов пришел в Большой театр. Когда Михаил Иванович Калинин объявил, что слово для доклада ВЦИК и Совнаркома предоставляется Ленину, он восторженно аплодировал вместе со всеми, враждебно поглядывая на царскую ложу, где сидели бундовцы и меньшевики во главе с Мартовым.

Степанов смутно помнил потом, что происходило на съезде, не умея по молодости выделить главное. Но Ленина он запомнил навсегда. Запомнил быстрые движения, картавость, доверительный тон выступлений — вождь обращался к нему, и только к нему. И удивительный оптимизм. Впрочем, всем хотелось верить в то, что говорил Ленин. В конец разрухи, в прекрасное будущее, когда люди перестанут воевать и начнут работать.

Гражданская война приближалась к концу. Войска Западного фронта вели бой уже под Гродно. Помощнику командира 54-го стрелкового полка Григорию Степанову приказали поднять в атаку залегшую роту. Но он так и не дошел до цели. Артиллерия белополяков вела шквальный огонь по всему фронту наступающих. Взрывная волна подбросила Степанова и швырнула на землю. Пришел в себя он уже в госпитале.

Молодые поправляются быстро. Через несколько месяцев зажила рана, отпустила контузия, и Степанов стал слушателем Высших военных курсов Западного фронта, открытых командованием Красной Армии в городе Смоленске.

— Рота, подъем! Боевая тревога! Боевая тревога!

Григорий проснулся не сразу. Крик дневального казался ему продолжением кошмаров, которые мучили его после контузии головы.

— Вставай, Гриша, подъем! — кричал сосед по нарам, толкая его в плечо. Степанов очнулся. Через секунду он уже натягивал штаны, наматывал портянки... Бегом к пирамиде. Схватил трехлинейку, щелкнул затвором...

— Рота, становись! — уже слышалась новая команда.

Это было 9 марта 1921 года. Еще не рассвело, но уже отчетливо просматривался плац, роты в строю, пар от дыхания сотен людей. Митинг был коротким.

— Товарищи курсанты! — сказал комиссар курсов.— При поддержке мирового империализма в городе Кронштадте контрреволюционные элементы подняли мятеж. Во главе контрреволюционеров стоит бывший царский генерал Козловский. Контрреволюционеров активно поддерживают меньшевики и эсеры... Для маскировки цели мятежа и его организаторов создан ревком во главе с эсером Петриченко...

Вопросов не было. На курсах учились бывалые воины — от командиров рот до командиров и комиссаров полков. Все шестьсот человек получили дополнительное оружие — по нагану и по две гранаты. Сытно поели. Впоследствии Степанов даже записал для себя: «Первое и второе блюда были приготовлены из конского мяса, а это было, по тому времени, отличным питанием...

Петроград, придавленный серым небом, был тоскливо пустынен. Из двух с половиной миллионов жителей в нем осталось семьсот тысяч. Редкие прохожие равнодушно скользили взглядом по отряду, направляющемуся разоружать флотский экипаж в казармы на Крюков канал.

В казармах курсантов встретили неприязненно, но мирно.

— Ну, морячки, сдавайте оружие!

— Берите, коли надо...

На моряках были все такие же широченные клеши. Некоторые «для красоты» нашили на них перламутровые пуговки. Революционным духом здесь и не пахло. Да и не было уж среди моряков тех, кто в семнадцатом году брал Зимний и утверждал революционный порядок.

— За отказ подчиниться Советской власти экипаж будет расформирован. Стройся и на вокзал...

— А мы не против Советской власти...

— Мы за Советы, да только без коммунистов!

Выкрикнувшего мятежный лозунг взяли под караул как зачинщика. Но в общем обстановка была непонятная. Бывшие офицеры — командиры экипажа — отсиживались по домам. Галдевших морячков посадили в тот же эшелон, на котором приехали курсанты, и отправили куда-то на юг.

С Лисьего Носа форты Кронштадта были видны как на ладони, но взять их оказалось непросто. Уже отбито несколько атак, предпринятых по льду Финского залива, уже деморализованы некоторые части, сконцентрировавшиеся в районе Сестрорецка и Ораниенбаума... Новый удар готовился тщательно. Курсантов из Смоленска и Витебска свели в бригаду. В части прибыли триста делегатов X съезда партии во главе с К. Е. Ворошиловым.

Степанову дали взвод и отправили в разведку к Седьмому форту. Главное было узнать, не взорван ли лед вокруг укреплений.

Две ночи подряд Степанов с товарищами, одетые в белые халаты, подползали к самому форту, слышали разговоры и ругань часовых. Время от времени из форта били наугад пулеметы. Пули, визжа, рикошетили об лед. И тогда разведчики замирали. Нет, лед у форта не взорван, он толст и надежен, проволочных заграждений нет...

В три часа ночи на 17 марта цепи двинулись к Седьмому форту. Они прошли уже половину пути по льду, когда заговорили пулеметы мятежников. Снаряды крепостной артиллерии стали крошить лед, который, разлетаясь со страшной силой, валил с ног бойцов, увечил и убивал их.

Вскоре стало светло. Наступление захлебнулось, цепи залегли в полутора километрах от фортов.

Делегат X съезда, комиссар 6-й стрелковой дивизии Смирнов встал и бросился вперед, увлекая бойцов. Степанов служил в этой дивизии во время польской кампании.

На его глазах Смирнова скосила пуля. Но порыв уже был подхвачен, бойцы ворвались в Седьмой форт.

Мятежники отступали к Шестому форту. Их по пятам преследовали курсанты, обегая громадные полыньи, пробитые снарядами...

Когда взяли Шестой форт, Григорий Степанов едва не валился с ног от усталости. Но его послали доложить П. Е. Дыбенко о том, что бригада взяла форты и выступает в направлении Кронштадта. И снова лед, лед, скользят ноги, болит каждая мышца. Из Кронштадта доносились пулеметные очереди и взрывы. Там уже шел уличный бой...

Впереди Степанов заметил залегшую цепь. В бинокль он увидел белые халаты. Свои! Но никто из бойцов не двигался. Подойдя поближе, Степанов увидел трупы. На голом льду всю цепь скосила пулеметная очередь. Как шли, так и полегли один подле другого.

Бывший председатель Центробалта, лихой моряк и командир Дыбенко обрадовался известию о подкреплении. Он сказал Степанову, что в городе идет бой за каждый дом. Вскоре в город ворвался кавалерийский полк, прискакавший из Ораниенбаума. В уличных боях кавалерия была слабой подмогой, но именно она сломила сопротивление мятежников — среди них пронесся слух, что прибыла конница Буденного...

Григория Алексеевича Степанова за героизм, проявленный при подавлении кронштадтского мятежа, наградили боевым орденом Красного Знамени.

Впоследствии Степанов говорил, что кочующая из учебника в учебник фраза об атаке Кронштадта «по тонкому льду» неправильна. Лед был прочный вокруг Кронштадта в ту морозную ночь. И говорил со знанием дела — именно он, красный разведчик, был послан проверить состояние льда перед атакой.

Утром 19 марта курсанты построились и по льду походным порядком ушли в Ораниенбаум. Шли в ногу, под свой оркестр.

В октябре того же года Степанов стал пограничником. Командиром 1-й роты 1-го погранполка 1-й пограндивизии.

Это было ровно через месяц после того, как Совет Труда и Обороны постановил:

«Передать охрану сухопутной и морской границы РСФСР во всех отношениях в ведение ГПУ, для чего создать отдельный пограничный корпус войск ГПУ».

Степанов не прослужил и месяца в городе Сестрорецке, как его перевели на другой берег Финского залива, в Усть-Лугу. Ехать туда пришлось через город Кингисепп, бывший Ямбург, где некогда служил А. И. Куприн («Поединок» был написан по ямбургским впечатлениям). Ныне город, дважды побывавший у Юденича, лежал в развалинах. На руинах висели лозунги, призывавшие к борьбе с мировым империализмом. У обочины железной дороги валялись искореженные паровозы.

К месту службы Степанов добирался на лодке по реке Луге.

Тяжела оказалась новая служба. Сняв клетушку у местных жителей, Степанов стал объезжать подчиненные ему кордоны.

«В кордоне насчитывалось не более 7 бойцов,— вспоминал Г. А. Степанов.— Поэтому приходилось нести службу по 14—16 часов в сутки. Отдельных зданий, где бы размещались кордоны, на первых порах не имелось; хорошо, если кое-где удавалось самим оборудовать под дежурку старую баню, сарай. В 1923 году в деревне Муромицы, недалеко от Псковского озера, был выстроен первый дом для кордона. Это был праздник... Продуктов получали тогда недостаточно, приходилось самим промышлять и охотой, и рыбной ловлей... В числе пограничников имелись малограмотные и даже неграмотные... Недоедавшие, недосыпавшие, плохо одетые бойцы самоотверженно несли службу... При свете лучины (коптилки были далеко не всюду) молодежь сама училась грамоте: читала газету, книгу, изучала оружие, военное дело...»

К сожалению, не осталось никаких сведений о том, как проходила служба самого Степанова. Он был человек чрезвычайно скромный, и, если ему приходилось писать, он почти никогда не упоминал о себе, о своей роли в тех или иных событиях. А граница в те годы жила напряженной жизнью. Редкие кордоны пограничников всякий день подвергались опасности полного уничтожения. Их командир, сутками не слезавший с коня, ежечасно подвергался риску попасть в засаду...

В стране, разоренной гражданской войной, не хватало самого необходимого: хлеба, обуви, одежды, спичек, керосина, соли, мыла... Доставка контрабанды в Россию су-

лила громадную прибыль. Вдоль всей границы действовали «транзитные лавки», на которых по ночам зажигались красные фонари, служившие маяками для продавцов и покупателей контрабандных товаров. Обозы в первое время шли через границу почти в открытую, контрабандисты были прекрасно вооружены и готовы на все. Особенно много контрабанды доставлялось зимой по льду Финского залива. Обратно вывозилось золото и другие ценности. Только на северо-западной границе ежегодная стоимость контрабанды составляла более десяти миллионов золотых рублей.

Пользуясь контрабандистскими явками, шпионы всех мастей легко пересекали границу в обоих направлениях.

Степанов со своей ротой не раз вступал в настоящие бои с отрядами контрабандистов и вскоре отбил у них охоту к наглым попыткам пересекать границу. Тогда торговцы контрабандными товарами переменили тактику. Границу с Эстонией в свое время проложили наспех. Угодья некоторых деревень оказались за рубежом. Деревню Мертвицы, например, граница разрезала пополам, и поэтому для крестьян она не существовала. Об одном из случаев применения контрабандистами новой «тактики» рассказывал сам Степанов:

«Глухой осенней порою по проселочной дороге медленно двигалась скорбная процессия. Старая кляча с усилием тянула телегу с гробом. Хмурый возница шел рядом с пожилой женщиной, закутавшей лицо в платок. «Кормильца хоронят»,— подумал шедший мимо пограничник Богданов. При виде его возница хлестнул лошадь, ускорил шаг, а женщина стала рыдать. Это насторожило пограничника. Документы были в порядке, и все же он потребовал открыть крышку гроба: вместо покойника там лежала ценная контрабанда».

Время от времени Григорий Степанов писал при неверном пламени коптилки пространные письма. За неимением конвертов он свертывал их треугольниками и отправлял в Сестрорецк. Ответа он всякий раз дожидался с нетерпением.

С Валентиной они познакомились на танцевальном вечере в сестрорецком клубе. Семнадцатилетней девушке приглянулся бравый подтянутый командир, но не успела она узнать Григория поближе, как его перевели в далекую Усть-Лугу. И вдруг он появился снова в Сестрорецке, веселый и добрый, в новенькой гимнастерке, затяну-

тый в поскрипывающие ремни. Валентине нравилось, что за ней ухаживает совсем «солидный», двадцатипятилетний мужчина, да еще награжденный орденом, что тогда было великой редкостью. Но она еще не думала всерьез о замужестве, и его предложение застало ее врасплох. Григорий сказал, что ему дали всего три дня отпуску, и просил решить его судьбу тотчас...

А через неделю молодожены уже пытались наладить быт в краю, где мало кто говорил по-русски, где не было никаких развлечений, где население пробавлялось только контрабандными товарами, с чем так непреклонно боролся командир-пограничник. Проводя иногда по нескольку суток одна в комнатке, которую сняли молодожены, Валентина поплакивала. Степанов очень боялся, что такая жизнь ей надоест и она уедет от него. Но Валентина справилась с собой, и они весело тянули бечевой против течения Луги лодку с пожитками, когда Степанов получил приказ о переводе под Кингисепп, на разъезд Сала, куда его назначили комендантом пограничного участка.

Это было в то самое время, когда установилась новая структура пограничных войск: застава, комендатура, отряд, округ. Коменданту подчинялись пять застав, и он приравнивался по должности к командиру батальона. Три комендатуры составляли пограничный отряд.

Новая должность Степанова была очень ответственной. Он сменил на ней знаменитого впоследствии Генриха Тедера, который по заданию Центрального Комитета эстонской компартии принял участие в подготовке восстания таллинских рабочих. Рабочие выступили 1 декабря 1924 года с оружием в руках.

Но восстание не удалось. Многие рабочие после разгрома бежали в Советскую Россию. Буржуазное правительство Эстонии обещало большую денежную награду тому, кто выдаст скрывавшегося Тедера. Степанову хватало забот на границе в это тревожное время...

Именно на таких, как Степанов, опиралось Советское государство, создавая новую армию. Малоимущий крестьянин, батрак, рабочий, нижний чин в старой армии... столь безупречное происхождение открывало перед ним все возможности. Не хватало лишь образования, которое в то время, когда училась вся страна, было делом наживным.

Высшая пограничная школа, а затем Военная академия имени Фрунзе дали Степанову знания, необходимые кадровому командиру.

Об одиннадцатом, «ударном» выпуске академии есть неоднократные упоминания в современной мемуарной литературе. Прославленные полководцы, листая старые фотоальбомы, вспоминают годы учения с проникновенной теплотой, понятной всякому, кто пребывал в стенах какой-нибудь из «альма-матер»...

Уже в марте 1928 года стали прибывать для сдачи вступительных экзаменов кандидаты в слушатели академии. Их размещали в общежитии Третьего дома Советов. По любопытному совпадению в 1919 году Степанова, делегата VII Всероссийского съезда Советов, поселили в том же здании и едва ли не в той же комнате, где он жил теперь.

Готовиться к экзаменам было трудно. В каждой комнате — по 20—30 человек. Кто зубрит, кто развлекается — шум стоит невообразимый. Степанов, затыкая уши, упорно штудировал уставы.

Генерал армии М. И. Казаков вспоминает о сакраментальной фразе члена экзаменационной комиссии старшего преподавателя тактики П. А. Ермолина:

«— Сказыте, позалуйста, товарисс командир, сто сказано в уставе на странице (называет точно страницу) о действиях авангарда?

У Ермолина было ужасное произношение и не менее ужасный профессорский педантизм».

Но если с уставами командиры справлялись, то с общеобразовательными предметами дело было из рук вон плохо. Тот же Казаков вспоминает экзамены по географии и настолько слабые знания поступавших, «что их ответы вызывали недоумение у членов экзаменационной комиссии и сдержанный смех среди слушателей академии, которые являлись сюда поразвлечься «откровениями» новичков».

В конце концов все решало рабоче-крестьянское происхождение, послужной список и страстное желание учиться... Степанова зачислили в академию, и с октября начались занятия в старом здании на улице Кропоткина.

Преподавателями академии были в основном бывшие офицеры и генералы царской армии, и среди них — прославившийся впоследствии своим подвигом Д. М. Карбышев. Они давали обширные знания и требовали от слуша-

телей полной отдачи сил. М. И. Казаков пишет: «Объективно оценивая труд профессорско-преподавательского состава академии того периода, я не могу не высказать ему самой искренней признательности за те знания, которые он нам дал, и за то, что еще на академической скамье нас приучали к углубленной самостоятельной работе».

Лучшие традиции русской армии, многовековой опыт ее, сконцентрированный в лекциях профессоров академии, становился той прочной основой, опираясь на которую развивали военное искусство будущие полководцы Великой Отечественной войны.

Трудоспособность Степанова в годы учения поражает. Он не только догоняет своих товарищей, получивших до академии более фундаментальное образование, но и принимает самое активное участие в общественной жизни. Он член центрального партийного бюро академии. Мало того, он становится ответственным редактором партийного печатного органа академии «Фрунзевец-ударник», многие страницы которого посвящены вопросам военной теории. Трудно было узнать в подтянутом и начитанном командире бывшего пастуха и молотобойца. Впрочем, с рабочим классом связь у него самая тесная — жена Валентина работает на Электрозаводе строгальщицей...

В мае 1931 года на традиционной встрече выпускников академии с членами Политбюро выступал Михаил Иванович Калинин. Он говорил о священном долге командиров — всегда быть готовыми к защите Родины. После завтрака выпускники пели в Георгиевском зале боевые песни, признанные танцоры лихо плясали. И среди них был Григорий Степанов...

У офицеров-армейцев есть поговорка: «Дальше Кушки не пошлют, меньше взвода не дадут». У пограничников что ни назначение, то «Кушка». Служба их всегда протекает вдали от центров цивилизации и сопряжена со многими опасностями.

Г. А. Степанова назначили начальником Джебраильского пограничного отряда. Если до сих пор ему доводилось служить только на севере, то после академии он отправился на юг, в Азербайджан.

Граница с Ираном проходит по быстрому Араксу, который то и дело переходили конные отряды бандитов, державших в страхе местное население. Новый начальник изучал обстановку. Только в 1930 году на этом участке

границы произошло девяносто стычек с бандитами — 97 бандитов убито, 19 ранено; убит 21 пограничник.

Буквально через месяц после прибытия Степанова адъютант отряда Гусаров доложил ему: в два часа ночи пограничники вступили в бой с бандой, уходившей за кордон после ограбления села Моллы; два бандита убиты; погибли начальник заставы Резиньков и три красноармейца.

Степанов узнал, что пограничники погибли из-за своей беспечности. Они попали в засаду, потому что шли без охранения. Разведка же была организована из рук вон плохо. Такие выводы сделал Степанов в своем приказе.

В отряде хромала дисциплина, почти всех бойцов трепала жестокая малярия, люди страдали от чирьев и умирали от брюшного тифа. Заболела и жена Степанова. С тяжелой формой дизентерии он отправил ее в Тбилиси и не получал от нее несколько месяцев ни одного письма. Беспокойство его все возрастало, так как он знал, что Валентина ждет ребенка...

Но подчиненные видели Степанова всегда спокойным и уверенным. Любопытно читать первые приказы Степанова по отряду: решив дать бой болезням, он дотошно занимается вопросами гигиены, заботится о банях, о чистоте пищи, об огородах и свежих овощах. Бойцы подробно инструктируются, как пользоваться сетками от комаров, что были повешены над каждой кроватью,— «с вечера убивать комаров внутри сетки... не соприкасаться с сеткой во время сна...».

К четырнадцатой годовщине Октября положение в отряде стало гораздо лучше. «Пролетарский праздник трудящиеся СССР встречают в обстановке развернутого социалистического строительства и тяжкого кризиса всей капиталистической системы...— говорится в праздничном приказе по отряду.— Вступили в строй: АМО, Харьковский тракторный, в ноябре месяце пускается в строй Нижегородский автозавод...»

Страна строила, накапливала мощь. А на юге возникла угроза жизни миллионов советских людей. На одном из участков границы, которую охранял отряд Степанова, вспыхнула эпидемия чумы, занесенной из-за рубежа. 10 декабря 1931 года умер старший лекпом 2-го пограничного участка Андреев, оказывавший помощь заболевшему красноармейцу Куликову...

Чума! Теперь на пограничников возлагалась и задача

создать новый заслон, не пропустить страшную болезнь из очага заражения. И они с этой задачей справились...

Но было бы ошибкой думать, что, занятые борьбой с многочисленными болезнями, пограничники ослабили охрану границы. Степанов понимал, что без разведки, без слежки за каждым шагом бандитов ему с ними не совладать. А помочь в этом ему могли только местные жители и... сами бандиты — те из бандитов, которых бы удалось переманить на свою сторону, заставить работать против главарей...

Степанов, уже ставший членом исполкома Нагорно-Карабахской автономной области, был прекрасно осведомлен о действиях бандитов, о грабежах и убийствах, о запугивании местного населения. За пять последних лет жители пограничных селений были по горло сыты террором сарыкской и ахмедлинской банд, во главе которых стояли злейшие враги Советской власти мусаватисты Назар Джафар Кулу оглы и Абдулла Искандер оглы.

Крестьяне уже сами извещали пограничников о появлении бандитов, все реже удавалось тем уходить без потерь. Когда же было обещано прощение явившимся с повинной, многие пособники бандитов потянулись в комендатуры сдавать винтовки.

Степанов разговаривал с каждым, но по большей части это была мелкая сошка, запуганные крестьяне, желавшие порвать с бандитами и вместе с тем боявшиеся их мести. Но через них Степанов нашел дорогу к одному из приближенных главаря сарыкской банды. С тех пор этот бандит именовался в оперативных документах «источником». Имя его осталось неизвестным.

29 февраля 1932 года на дому у «источника» был задержан брат главаря Сулейман Кулу оглы. При нем били винтовка и кинжал. На допросе он сказал, что банда уходит в Персию.

На другой день в селении Сарык было схвачено еще восемь бандитов вместе с их главарем. Тогда пришли сдаваться и ахмедлинские бандиты. Но в последний момент главарь их Абдулла Искандер передумал, и в перестрелке он и еще пятеро бандитов были убиты.

В послужном списке Степанова появилась запись: «Под непосредственным руководством т. Степанова банда была тщательно агентурно проработана и впоследствии им же ликвидирована (изъята), обезоружена и главарь убит без единой жертвы с нашей стороны».

И тотчас его забрали в Москву. Приказ о назначении Степанова помощником начальника отдела боевой подготовки Главного управления пограничных войск был подписан в тот же месяц, когда он доложил о ликвидации банд.

Проезжая Тбилиси, Степанов наконец встретился с женой. Волнения окончились. Григорий Алексеевич стал счастливейшим из отцов. Дочери он дал не совсем обычное имя — Нинель. Впрочем, в те годы коммунисты часто давали своим детям имена, которых не было в святцах. Владлен, Марлен, Октябрина, Трактор... Если имя Нинель прочесть наоборот, то получится «Ленин».

В Москве Степанов три года командовал школой, которая ныне стала Высшим пограничным командным училищем. Был начальником отдела Главного правления пограничных войск.

Подошел тревожный 1939 год. На финской и эстонской границах назревали события, которым суждено было стать важной вехой в истории нашей страны. И тогда комбрига Степанова, знакомого с местными условиями по прежней службе, назначают начальником пограничных войск Ленинградского округа.

* * *

«Господин посланник!

По сообщению Генерального Штаба Красной Армии, сегодня, 26 ноября, в 15.45 наши войска, расположенные на Карельском перешейке у границы Финляндии, около с. Майнила, были неожиданно обстреляны с финской территории артиллерийским огнем. Всего было произведено семь орудийных выстрелов, в результате чего убито трое рядовых, один младший командир, ранено семь рядовых и двое из командного состава. Советские войска, имея строгое приказание не поддаваться провокации, воздержались от ответного обстрела.

Советское Правительство, ставя Вас об этом в известность, считает нужным подчеркнуть, что оно уже во время недавних переговоров с гг. Таннером и Паасикиви указывало на опасность, которую создает сосредоточение большого количества регулярных финляндских войск у самой границы под Ленинградом...

...Советское Правительство, заявляя решительный протест по поводу случившегося, предлагает финляндскому правительству незамедлительно отвести свои войска подальше от границы на Карельском перешейке — на 20—25 километров, и тем предотвратить возможность повторных провокаций.

Примите, господин посланник, уверения в совершенном к Вам почтении.

Народный Комиссар Иностранных Дел СССР

В. Молотов».

— Если не отведут финны войска, быть войне,— сказал Степанов своему шоферу Саше Гусеву, когда они возвращались по Выборгскому шоссе от моста, неподалеку от которого пролилась кровь красноармейцев. Мощная машина «ЗИС-101» уже приближалась к Ленинграду. От границы до города было рукой подать — всего тридцать два километра.

Гусев кивнул. Он был озабочен и все поглядывал на крылья машины, смятые сильным ударом. Степанов очень торопился к месту обстрела; с проселочной дороги неожиданно вывернул на шоссе грузовик и вдруг остановился с заглохшим мотором; Гусев не мог затормозить — дорога обледенела...

И вот результат. Гусев досадовал, что такое случилось с ним, лучшим шофером управления. Но комбриг не сказал ни слова в упрек, видел, что шофер не виноват... Хороший начальник, справедливый — зря никогда не ругает...

Степанов был еще под впечатлением встречи с финским пограничным начальством. Развязно посмеиваясь, тот утверждал, что снаряды были не финские, а советские — ваша, мол, артиллерия проводила учебные стрельбы...

Разговор происходил на железнодорожном мосту через реку Сестру. Единственном мосту, перекинутом через границу у Ленинграда.

Под мостом журчала студеная вода реки. На той стороне виднелись столбы проволочных заграждений. Черной стеной стоял еловый лес. Раскачивались на порывистом ветру кроны двух гигантских сосен, на сучьях которых темными пятнами выделялись полушубки наблюдателей.

Правее сосен, на бугре, высилось бетонное укрепление. Дорога за мостом упиралась в противотанковый ров...

И так вдоль всей границы. Мирное население эвакуировано. Укрепления разрисованы окнами — под дома. Начальники застав докладывают — финны приводят на берег Сестры новое пополнение, устраивают молебствия, после чего солдаты смачивают речной водой головы и дают клятву сражаться насмерть.

Из Москвы зачастили начальники. Степанов возил на границу Ворошилова, Мехлиса, начальника пограничных войск комдива Соколова...

(Впоследствии, лет через пятнадцать, Степанов коротко записал: «Приезд Мехлиса. Мой доклад ему. Скептически-барское отношение к моей информации. Вопрос: «Финны будут драться?» Я ответил: «Да. Армия небольшая, но хорошо подготовленная».

Зима, а наши войска плохо обмундированы. Неудовл. дисциплина...»)

Оснований для тревог достаточно. Степанов, спавший последние месяцы лишь урывками, дремал под мерный бег машины. Но это только казалось Гусеву, старавшемуся вести машину плавно.

Быть войне! Впрочем, война в Европе уже началась. С сентября 1939 года доклады Степанова в Москву напоминают разведсводки с театра военных действий.

Он пристально следит за усиленным строительством укрепленного района на Карельском перешейке. Эстонцы торопятся возвести укрепления под Нарвой. И в Финляндии и в Эстонии полностью отмобилизованы запасные. Шюцкоровцы пропагандируют идею «Великой Финляндии», которой следует простираться не больше и не меньше как до Урала. В Эстонии зашевелились контрреволюционные организации «Национальный трудовой союз», «Русский общевоинский союз», «Братство русской правды». Но русские, что живут в приграничной полосе на эстонской стороне, не поддаются на агитацию, распевают советские песни, уходят через границу в Россию... Сами эстонцы поговаривают о желательности присоединения к Советскому Союзу.

Но главное — финны. Весь октябрь поступали сведения о перемещении их войск к границе. В Москву ехала делегация Паасикиви, обгоняя финские полки, двигавшиеся на машинах и пешим порядком. Степанов встречал Паасикиви все у того же железнодорожного моста через

Сестру, который, за неимением другого, подготовили к пропуску автомашин.

Паасикиви был мрачен. Он ехал в Москву договариваться, не имея достаточных полномочий. На границе его догнал выпуск газеты «Ууси Суоми», в передовице которой ему советовали держаться на переговорах с Советским правительством независимо. Советский Союз, мол, не решится применить силу, так как для установленной вдоль границы финляндской артиллерии достаточно 2—5 минут, чтобы обрушить на Ленинград целые тонны стали...

Делегация Паасикиви возвращалась 15 октября. Начальник штаба Степанова полковник Дреев выехал к мосту и увидел, что финская сторона к приему своей делегации не готова. Он послал майора Окуневича вызвать финских пограничников, но те бросились к пулеметам и дали очередь по советским командирам. Пули никого не задели, а прибывший вскоре финский пограничный комиссар принес свои извинения. Напряженность росла.

Обстрелы становятся все чаще. Нет, финны не уступят. Война будет непременно. И первыми начнут бой пограничники. Очень важно захватить мост через Сестру. Наблюдатели докладывают, что и сам мост, и подступы к нему заминированы...

Уже стемнело, когда машина Степанова остановилась у дома № 4 на Литейном проспекте, где тогда располагался его штаб.

Из донесения по телефону Ленинградского пограничного округа о начале военных действий против Финляндии:

«8.00 30 ноября 1939 года началась артиллерийская подготовка фортов и береговых батарей на участке. 8.00 все подразделения Сестрорецкого Краснознаменного пограничного отряда перешли в оперативное подчинение 7-й армии. 8.30 все заставы этого отряда перешли линию границы...»

Начальник Сестрорецкого пограничного отряда майор Андреев решил, что операция по захвату железнодорожного моста через Сестру начнется за три минуты до начала артиллерийской подготовки. Он твердо помнил, что

сказал ему комбриг Степанов после совещания начальников отрядов в Ленинграде.

— Я надеюсь на вас, товарищ майор. Главное, чтобы уцелел мост...

Двадцать одна пограничная застава. А напротив — двадцать один финский пограничный кордон и пост на железнодорожном мосту у станции Белоостров. Финские кордоны должны быть разгромлены силами советских пограничников, чтобы расчистить дорогу частям РККА. Но полевые части белофиннов тоже подошли к самой границе и могли вступить в бой при первых же выстрелах...

Вечером 29 ноября о приказе перейти границу знал уже каждый боец. Начальник штаба отряда потом составил «описание боевых действий», не лишенное пафоса:

«Много знают пограничники бессонных ночей, но ночь на 30 ноября 1939 года не забудут никогда. После получения приказа несоюзная молодежь хотела идти в бой комсомольцами, а комсомольцы — быть коммунистами, 118 комсомольцев подали заявления в ряды ВКП(б)...»

В семь утра все уже были на исходном положении. Майор Андреев приехал на заставу № 19. Именно здесь, у моста, и надлежало ему быть.

О том, что произошло в то хмурое туманное утро, пограничник Снисарь рассказал коротко и красочно:

«Начальник заставы лейтенат т. Суслов вызвал бойцов Горбунова, Лебедева, командира отделения Миненко и меня. В кабинете был майор т. Андреев. Майор рассказал нам о боевой задаче, которую мы должны решить. Под конец беседы он осмотрел всех нас и неожиданно спросил:

— А вы не трусите, товарищи?

Мы не дали ему больше говорить. Как же мы могли трусить, если мы с таким нетерпением ожидаем боевого приказа. Майор Андреев улыбнулся и пожал руки каждому из нас. Еще не начались действия, но мы выходим на охрану красной половины моста. В 6.00 утра к нам пришел начальник заставы лейтенант т. Суслов. Здесь же он рассказал, как будем действовать. Наше время приближалось ужасно медленно, казалось, что оно остановилось.

Вот, наконец, наше время. Лейтенант т. Суслов громко кашлянул — сигнал к началу. Мы все бросаем несколько гранат к домику стражников и под возгласы лейтенанта Суслова: «Вперед! За Родину!!!» — быстро несемся через мост.

Лейтенант замахнулся, чтобы бросить гранату, но в это время был ранен в руку. Белофинские пулеметы перекрестным огнем били по мосту. Белый длинный след прокладывали трассирующие пули. Нас уже ничто не могло остановить. Вперед и только вперед!

Отделенный командир т. Миненко обнаружил провод, идущий под мост, он немедленно доложил лейтенанту.

— Обрезать! — приказал лейтенант.

Эти провода шли к минам, заложенным в фермах моста. В 8.00 мост был наш. Начала стрелять наша артиллерия. Через наши головы засвистали тысячи снарядов. Небо осветилось заревом, как будто из-за леса выходило солнце большое. Долго бушевал могучий огненный шквал...»

Пограничники хорошо подготовились к войне. Пограничная разведка к 15 октября 1939 года получила «данные по основным оборонительным объектам и сведения о группировках финских войск». От полка до корпуса командиры знали от пограничников все о минных полях, о состоянии мостов и дорог... Для действий наших войск на финской территории «было подобрано и передано частям РККА 25 проводников, хорошо знающих финскую территорию и финский язык».

На Степанова была возложена обязанность охранять тыл армии, которую вел на прорыв финских укреплений командарм 2-го ранга Мерецков. Финны оборонялись отчаянно. Наши войска несли тяжелые потери, отвоевывая буквально каждый метр. Финны стреляли из-за толстых бетонных стен, они были лучше одеты, хорошо обучены. Много хлопот доставляли их снайперы, прозванные «кукушками» и «глухарями». Отчаянно действовали в нашем тылу финские диверсанты... С ними-то и боролись пограничники Степанова.

«Банды,— докладывало командование пограничных войск,— имеют строгую военную организацию с разделением на отделения и взводы во главе с унтер-офицерами (младший комсостав), действующими под руководством офицеров белофинской армии.

Состав отдельно действующей диверсионной банды в редких случаях доходит до 80—100 бандитов (до роты). Как правило, отдельные банды действуют в составе 25—40 бандитов и меньше. Все бандиты снабжены лыжами,

хорошо владеют ими и поэтому являются очень подвижными».

Диверсант, вооруженный автоматом и виртуозно владевший финским ножом, был серьезным противником. Группы финнов подкарауливали и обстреливали войсковые колонны, взрывали мосты, перехватывали обозы... И тактика их всегда была одна — налет, короткий бой. Как только подходило подкрепление и возникала угроза удара с фланга, финны ускользали, и лишь лыжня, петлявшая в дремучем лесу, говорила об их недавнем визите. Поди догони их, снискавших славу лучших лыжников в Европе...

Но всякое действие вызывает противодействие. Степанов дни и ночи занимался сколачиванием отрядов, способных бороться с увертливыми диверсантами. Такой род боевых действий был привычным для пограничников. В отряды отбирали лучших лыжников, самых выносливых и ловких. В рукопашном бою они научились владеть ножами не хуже финнов. Винтовка со штыком была не самым удачным оружием для бойца, ставшего на лыжи.

Вскоре пограничники не только поприжали диверсантов, но и сами стали совершать глубокие рейды в тыл противника...

1 февраля 1940 года советские войска начали штурм линии Маннергейма. Семнадцать дней подряд ходили в атаку полки на укрепления финнов, неся по сравнению с ними двадцатикратные потери. Наконец линия была прорвана и пал Выборг. Финляндское правительство запросило мира. Новая граница стала проходить в 150 километрах от Ленинграда...

* * *

«...5 апреля 1940 г.

...Погранотряды закончили выставление застав и комендатур, приняли от частей РККА государственную границу и приступили к несению службы по ее охране на всех участках...

Начальник погранвойск НКВД
Ленинградского округа
комдив Степанов...»

* * *

За мужество и героизм, проявленные в боях с белофиннами, было награждено почти две тысячи пограничников. Степанов, с введением новых званий ставший генерал-лейтенантом, прикрепил над карманом генеральской тужурки второй орден Красного Знамени.

Отодвинутая за линию Элисенваара, Энсо, Выборг, новая граница требовала от него неусыпных забот. Собственно говоря, граница еще не установилась. 11 апреля Степанову доставили записку, которую передали бойцам Выборгского пограничного отряда два финских офицера. Она была написана по-русски: «Где теперь граница? Отступаете ли Вы и куда? Когда мы можем посоветоваться? Ответ через погранпункт Легкусанлахти 12 апреля 1940 г. в 10.00».

Еще не начались переговоры о новой границе, а бойцы уже каждый день задерживали нарушителей, среди которых были военные разведчики. «Отмечается усиленное строительство финнами оборонительных укреплений вблизи границы. Строятся огневые точки, противотанковые рвы и эскарпы, надолбы, проволочные заграждения, артиллерийские и другие наблюдательные пункты и т. п.»,— докладывал Степанов в Москву.

Читая донесения с границы, понимаешь, как сложна и напряженна была служба Степанова в тревожном 1940 году. Группами переходят границу граждане Эстонии, объясняя это «поисками лучшей жизни и желанием остаться на жительство в СССР». Гремят выстрелы, и падают с простреленными головами пограничники... Вдоль латвийской границы проходят тысячи демонстрантов с красными флагами и портретами Сталина... Каждый день вторгаются в наше воздушное пространство самолеты без опознавательных знаков. Эстонское приграничное население собирается в толпы с лозунгами: «Да здравствует Красная Армия», «Примите нас к себе, быстрее открывайте границу!» — и требует: «Давайте вашего комиссара, хотим разговаривать!» И тотчас ленинградские пограничники сообщают: «По имеющимся данным, реакционные круги Эстонии и Латвии с целью срыва существующих договорных отношений готовят провокационные нападения на части и гарнизоны Красной Армии, дислоцированные в этих странах, и на пограничные части, охраняющие границу Советского Союза...»

И доброе и дурное одинаково требовало быстрых решений, точной реакции.

Наконец граница с Эстонией перестала существовать. Зато на границе с Финляндией едва ли не каждый день гремели выстрелы. Советские и финские пригpаничные представители часто встречались в городе Иматре. Советскую комиссию неизменно возглавлял генерал Степанов.

Поведение финнов было вызывающим. Да и как могло быть иначе, если их начальник генерального штаба Гейнрихс уже нашел дорогу в немецкий генеральный штаб и вскоре стал причастным к выработке плана «Барбаросса»... В годовщину независимости Финляндии премьер-министр Рюти сказал на банкете: «Я вполне уверен, что мы снова завоюем свое».

Сперва заседания советской и финской сторон проходили более или менее мирно. Русские и финские офицеры даже находили возможным обсуждать проблемы минувшей войны, что нашло отражение в архиве генерала Степанова.

«Финны мне заявили на совещании: «Ваша артиллерия решила зимнюю кампанию». Пехоту и авиацию оценили плохо».

В мае 1941 года финны произвели артиллерийский выстрел, и снаряд разорвался на нашей территории. И хотя председатель финской комиссии генерал-лейтенант Лаатикайнен пытался убедить Степанова, что это «случайный снаряд от случайного выстрела», тот уже прекрасно разбирался в дипломатической тактике финнов.

В состав финской комиссии входил полковник Аминов, бывший офицер царской службы. Как-то в перерыве между заседаниями Степанов вызвал его на откровенность.

— Чем вызвана такая перемена в поведении комиссии? Ведь прежде мы как-то могли договориться,— сказал Степанов.

— Нас взяли за горло и приставили револьвер к виску,— ответил Аминов.— Повторяем ошибки...

«За горло взяли немцы»,— догадался Григорий Алексеевич.

Когда же он стал говорить о самолетах, вторгающихся в наше воздушное пространство, Аминов ядовито заметил:

— Это самолеты не наши, а ваших союзников.

Да, Степанов уже имел сведения, что в Финляндии

появились немецкие военнослужащие. У границы сосредоточивались войска. Пограничники не раз задерживали финских разведчиков, так называемую «маршрутную агентуру», которая собирала сведения о военных объектах, изучала коммуникации... Генерал был уверен, что идет подготовка к войне.

В конце мая 1941 года состоялась внеочередная встреча комиссий. И она оказалась последней. В Иматру финны приехали не втроем, как обычно, а всемером. На этот раз генерала Лаатикайнена сопровождали еще два полковника генерального штаба и пограничники полковники Инкала и Вилламо.

Со Степановым были полковники С. Дреев и А. Андреев (впоследствии генерал-полковник, Герой Советского Союза).

Финны, усмехаясь, отрицали все — и нарушения границы, и сосредоточение войск...

Когда полковник Вилламо служил на северной границе Финляндии, ему за самодурство дали прозвище «лапландский царь». Подвыпивший полковник на заседании пограничных комиссаров выкрикнул какое-то, как утверждал Степанов, «антисоветское ругательство». Инкала поддержал его. Степанов не снес оскорбления. Он встал и заявил, что советская комиссия прекращает переговоры. Впоследствии Степанова даже упрекали в том, что он был не до конца «дипломатичен» и не принял извинений финского генерала.

Григорий Алексеевич был прав. Дальнейшие переговоры ни к чему бы не привели.

Немецкие и финские офицеры уже в открытую разглядывали в бинокли советскую сторону. По ночам с финской территории границу освещали прожекторами. В Хельсинки стали прибывать немецкие транспорты с солдатами и вооружением.

В середине июня пограничники ранили при переходе границы немецко-финского агента, зашифрованного в документах буквой «Т».

— Скоро опять война, у нас к ней готовятся,— сказал «Т», доставленный к Степанову в Ленинград.

Тревога Степанова переросла в уверенность.

Вот как он действовал в последние предвоенные дни:

«При очередной встрече с начальником штаба Ленинградского военного округа генерал-лейтенантом Никишевым я его просил, чтобы он принял меры и подтянул к

границе дивизии, дислоцировавшиеся на Карельском перешейке.

Командующий ЛВО генерал-лейтенант Попов в это время был в командировке...

Начальник штаба мне заявил, что без разрешения Генерального штаба никаких мероприятий он провести не может, и стал при мне звонить в Генеральный штаб, прося разрешения привести дивизии в боевую готовность и подтянуть к границе. Ему было отвечено: «не паниковать и никаких мер не принимать»... Из кабинета т. Никишева я позвонил зам. министра внутренних дел СССР генерал-лейт. Масленникову, доложил ему об обстановке на границе и просил разрешения привести в боевую готовность пограничные части и занять оборону в подготовленных оборонительных сооружениях на границе.

Мне также было категорически заявлено (как будто Генштаб и МВД СССР заранее договорились): «не паниковать, поднять бдительность, усиленно охранять государственную границу».

Мы с начальником штаба ЛВО Никишевым, докладывая по команде об обстановке на границе, не проявляли никакой паники, а выполняли свой долг перед Родиной, т. к. мы были глубоко убеждены, что все эти приготовления со стороны финнов вызваны подготовкой к войне.

Несмотря на такую недопустимую, безответственную реакцию на мои тревоги, я не мог быть пассивным наблюдателем и принял меры, повысившие боеготовность пограничных войск».

Вернувшись от Никишева, Степанов тотчас приказал всем начальникам отрядов увеличить боекомплекты и возвести дополнительные огневые сооружения. Велел всем заставам получить походные кухни. На складах не хватало их для всех, что Степанов расценил как возмутительное головотяпство интендантов. На свой страх и риск генерал эвакуировал с границы семьи командиров.

Но он понимал, что без артиллерии и противотанковых средств, с одним только стрелковым оружием пограничники долго не выстоят. Однако артиллерийских частей в его распоряжении не было...

Некий философ сказал: «Те, кто не помнят прошлого, обречены пережить его заново».

«Граждане! При артобстреле эта сторона улицы на-

иболее опасна». Ленинградцы привычно не замечают этой надписи на одном из домов Невского проспекта. Теперь на проспекте не видно никаких других следов артиллерийских налетов, а сама сторона, о которой говорится в грозном предупреждении, наиболее людная, поскольку более щедро освещается скудноватым северным солнцем.

Но стоит бросить взгляд на эту регулярно подновляющуюся надпись, как в памяти всплывает героическая и горестная эпопея, еще не ставшая достоянием истории для очень многих ленинградцев...

«Русские вооруженные силы представляют собой глиняный колосс без головы. У них нет хороших полководцев. Гигантские пространства России таят в себе неисчислимые богатства. Германия должна экономически и политически овладеть этими пространствами... Когда эта операция будет проведена, Европа затаит дыхание».

Эти слова, сказанные Адольфом Гитлером 9 января 1941 года, стали прелюдией к катастрофической ошибке Германии, которую еще Бисмарк предупреждал против попыток расширения своих владений на Восток, ибо, как говорил он, русские медленно запрягают, но быстро ездят...

В 1941 году, в упоении победами в Европе, Бисмарка никто не вспоминал. На германскую армию работала добрая половина промышленности Европы. 152 дивизии вскоре были стянуты к границам нашего государства. Они должны были внезапно напасть и в короткое время выйти на линию Архангельск — Астрахань. Первая часть плана была выполнена 22 июня 1941 года...

В планах немецкого командования, казалось, было учтено все. Но стратеги «третьего рейха» забыли исторические уроки; забыли главное свойство русского народа — его стойкость в борьбе, его способность мириться с любыми лишениями, его иммунитет к панике. В смертельно опасные минуты русские всегда проявляли удивительную сплоченность и упорство, всегда находили в своей среде вождей и военачальников, способных не только командовать, но и отражать в своих помыслах и деяниях настроение народа.

Группой немецких войск «Север», насчитывавшей 29 дивизий, или полмиллиона человек, командовал генерал-фельдмаршал фон Лееб. Шестидесятипятилетний генерал уже стяжал лавры за прорыв линии Мажино, после чего он получил свой жезл и рыцарский крест. Как представитель старой гвардии кадровых офицеров, он относился

насмешливо к «выскочкам» национал-социалистам, которые, однако, ценили его боевые и деловые качества. Перед ним была поставлена задача — захватить Прибалтику и, наступая через Псков и Лугу, к 21 июля овладеть Ленинградом. То есть через месяц после начала войны.

Одновременно с севера на Ленинград наступали финские войска — 15 пехотных дивизий и 3 бригады.

Несмотря на неблагоприятные условия, созданные фактором внезапности, несмотря на превосходство противника в живой силе и особенно в авиации, русские войска к середине июля сумели сдержать наступательный натиск. Под Лугой на строительстве оборонительных сооружений ежедневно работало до полумиллиона ленинградцев. Из личного состава кораблей Военно-Морского Флота и курсантов училищ были сформированы бригады морской пехоты. 80 тысяч моряков теперь сражались на суше. Своей отвагой они заслужили у врага прозвище «черная смерть».

Но мы вернемся к первым дням сражений. Наши дивизии стали подходить к границе на Карельском перешейке только после нападения Германии. Всю тяжесть первого удара противника пограничники приняли на себя.

На советско-финской границе военные действия начались в ночь на 29 июня 1941 года. В три часа утра, после артподготовки, «юго-восточная» армия финнов пошла в наступление, имея задачу ворваться в Ленинград с севера. Одновременно еще одна финская армия получила задачу наступать на Онежско-Ладожском перешейке, выйти на реку Свирь и содействовать немецкой группе «Север» в уничтожении советских войск восточнее Ленинграда.

Но, как отмечают историки, «пограничные части к этому времени сумели принять ряд дополнительных мер по укреплению советских рубежей, что послужило одной из причин более организованного и длительного сдерживания крупных сил противника».

Нетрудно увидеть в этом большую заслугу командования пограничных войск Ленинградского округа и самого генерала Степанова, не побоявшегося ответственности за то, что он «поддался на провокацию». Впрочем времени для подобных обвинений уже не было...

Григорий Алексеевич Степанов часто цитировал угрозу из вражеской газеты: «Зеленые фуражки советских пограничников мы постараемся перекрасить кровью в

красный цвет». Но стойкость пограничников ошеломила финнов. Стоит привести удивительную хронику первых двенадцати часов сражения у города Энсо, составленную по донесениям штаба:

«4 ч. 10 м. Противник силою до батальона возобновил наступление на участках 5 и 6 погранзастав. Заставы ведут бой.

6 ч. 00 м. Заставы 5 и 6 ведут бой в окружении.

6 ч. 39 м. После трехчасового боя противник занял город Энсо.

8 ч. 15 м. После пятичасового боя 5 погранзастава прорвала кольцо окружения. Погибли начальник заставы младший лейтенант Худяков и инструктор службы собак Щербаков. Есть раненые.

8 ч. 47 м. Старший лейтенант Бабякин, будучи раненым, возглавил личный состав 5 и 6 погранзастав и взвод красноармейцев и ведет бой за Энсо.

13 ч. 15 м. Противник выбит из города Энсо.

15 ч. 40 м. На ряде участков противник отброшен за линию государственной границы. Бои не прекращаются ни на час. К границе подходят подразделения Красной Армии...»

Это здесь пограничник Андрей Бусалов подпускал по три сотни финнов на 30—40 метров к нашим окопам и косил их из старого, но верного «максима». Он отразил три атаки. Вся лощина перед заставой была устлана трупами. По Бусалову стали вести огонь из четырех пулеметов. Первая пуля ударила его в ногу, вторая — рванула руку, третья попала в живот... А он все стрелял...

— Пока я жив, не уйду от «максима»...

Четвертая пуля пробила сердце. Именем Андрея Бусалова теперь названа одна из застав.

В центре Ленинграда, на улице Пестеля, стоит дом, весь фронтон которого занимает гигантская памятная доска. Надпись на ней гласит:

«Слава великому советскому народу!

Доска воздвигнута в честь героической обороны полуострова Ханко (22 июня — 2 декабря 1941 года) в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов.

Слава мужественным защитникам полуострова Ханко!»

Вместе с моряками, летчиками и артиллеристами стояли насмерть и пограничники. Дни и ночи сыпались на их позиции снаряды, бомбы, мины. Надрывались радиорупоры:

— Рус, вы окружены, уходить некуда, сдавайтесь!

— Идите вы к...! — слышалось в ответ.

В знаменитом письме к барону Маннергейму, так похожем на письмо запорожцев к турецкому султану, ханковцы зло смеялись над потугами врага.

Мало того. Осажденные захватили шестнадцать соседних островов.

Один из эпизодов сражения на Ханко описан генералом Степановым:

«На скалистом острове Бенгштер находился маяк, корректировочный пост и гарнизон шюцкоровцев. Отсюда противник не давал прохода нашим катерам, мешал ханковцам поддерживать сообщение с Большой землей.

Командующий военно-морской базой полуострова Ханко приказал пограничникам захватить остров. Начальник отряда майор Губин решил послать на выполнение боевой задачи только добровольцев.

И вот в строю стоит пятьдесят один пограничник. Все — коммунисты и комсомольцы.

С наступлением темноты десантники погрузились на «морской охотник». В ночь на 27 июля в назначенный час из бухты Пограничной корабль под командованием лейтенанта Беляева взял курс к острову Бенгтшер.

Ночную тишину разорвали гулкие выстрелы. На высадившихся пограничников обрушился ливень свинца. Белофинны открыли стрельбу из автоматов, станковых пулеметов, пушек. Завязался ожесточенный бой. Старший политрук Румянцев с группой в шесть человек первым высадился на остров и закрепился там. Забрасывая фашистов гранатами, комиссар с группой смельчаков, маскируясь за камнями, метр за метром продвигался к цели. Но вражеская пуля смертельно ранила Румянцева. Оставшаяся пятерка бойцов продолжала выполнение боевой задачи.

С другой группой в составе пятнадцати пограничников в центре острова уже действовал старший лейтенант Курилов.

Оставалась горстка людей. Положение создалось критическое. К маяку подошли два финских миноносца и несколько катеров. Они потопили пограничный корабль и поставили дымовую завесу. В воздухе появились финские самолеты. Но и после этого пограничники не прекратили борьбу.

Наступило утро. Белофинны через рупор обратились

к пограничникам с призывом сдаться в плен. В ответ по всему острову раздались выстрелы, в окна маяка полетели гранаты....

Почти все пограничники полегли в этом неравном бою, но жизни свои они отдали не напрасно: враг уже не мог использовать Бенгтшер в своих операциях против ханковцев...»

Гибли десятки и сотни героев, сдерживая врага, рвавшегося к Ленинграду...

Когда началась война, семья Степанова была в Москве. С ним жила только восьмидесятилетняя мать Прасковья Сергеевна. Генерал дома не бывал, и старушка одна в большой квартире со страхом смотрела в окна, за которыми метались лучи прожекторов, рвались бомбы, багрово светилось небо. Она просила Григория отправить ее в родную деревню, где, как ей казалось, будет тише и спокойней.

Степанов согласился и велел отвезти мать в Звад. Мог ли он думать, что наступление немцев будет стремительным, что вскоре они захватят Лугу и по шоссе мимо его родной деревни пойдут на Новгород вражеские грузовики и танки?

Сестра генерала Мария Семеновна и ее дочь Анна Сергеевна и поныне живут в Зваде.

— Как немец подходить стал,— рассказывает Анна Сергеевна,— так мы вещи, трех моих детишек и бабушку Пашу на подводу и в лес... Шли долго по гати до возвышенной поляны. И корова с собой. Прожили там с народом недели три, пришли немцы на поляну. Баба Паша боится из-за сына-генерала. Немец откинул полог и вошел к нам в землянку. «Зольдат?»— спрашивает. Выгнали нас в деревню, а она уж сожжена. Наш дом остался, только стекол нет. Бабушка по дороге притомилась, плохо ей стало, так один немец чашку кофе ей дал — сердобольный оказался. Потом у нас телку отобрали проезжие немцы. Выбрали старосту, из раскулаченных, выделили землю, стали посылать на покосы. Потом появились партизаны, мужики пошли все в лес и стали у нас руководить... Бабушка Паша все говорила про немцев: «Когда-то их, проклятых, выгонят отсюда!» А тут моего мальчика маленького Шурика убило снарядом. Принесли в избу, бабушка увидела, и стало ей плохо. Слегла и все говорила: «Надоела я вам». Уснула и не проснулась больше. Было

это в августе сорок первого. В сосновом бору мы ее похоронили...

Не скоро узнал генерал Степанов о смерти матери. Август был для него месяцем очень тревожным. Немцы вели наступление на станцию Мга, стремясь соединиться с финнами на Свири и замкнуть кольцо вокруг Ленинграда.

С началом войны пограничные части оказались в странном положении. Казалось бы, они присоединились к тем армейским единицам, на участках которых им пришлось сражаться. Сохранились штабы отрядов и комендатур. Но с ними никто не считался, пограничные подразделения использовались разрозненно.

Пограничные части, оторванные от своих баз снабжения, часто не получали ни продовольствия, ни боеприпасов. Как докладывал генерал Степанов члену Военного совета А. А. Жданову, «не имея по табелям походных кухонь, командование пограничных частей не в состоянии своими силами организовать питание бойцов горячей пищей. Базы же снабжения частей Красной Армии зачастую отказывают пограничным частям и подразделениям в зачислении их на довольствие... Войска НКВД, имея значительные потери на фронте, по тем же причинам личным составом и материальной частью совершенно не пополняются...»

Генерал Степанов понимал, что дело идет к совершенной ликвидации пограничных частей, и он стал бороться за сохранение их. До конца своей жизни он разрабатывал проблему использования пограничных частей в военных действиях. Он считал, что такие отборные части способны выполнять любые задачи в современной войне. Очень подвижные, они незаменимы для охраны войскового тыла, уничтожения десантников и диверсантов, ликвидации прорывов вражеских войск...

«Войны теперь не объявляются,— писал Степанов.— Тем более что будущая война разразится внезапно, воздействие противника на тылы фронтов и тыл страны будет большим. На раскачку времени не будет».

Генерал всякий день ездил в Смольный и требовал внимания к пограничным частям. Много дала одна из поездок на позиции с главнокомандующим Северо-Западным направлением маршалом Советского Союза К. Е. Ворошиловым. Ради маскировки маршал был в плаще и зеленой фуражке. Степанов вспоминал, что в конце длительного разговора в машине Климент Ефремович признался:

— Я сожалею, что пограничных войск мало, а ведь это настоящая гвардия. В этом и моя вина. Я, будучи наркомом обороны, недооценивал пограничные войска и старался их сократить...

Генерал Степанов предложил Военному совету из пограничных отрядов, действовавших в составе 7, 14 и 23-й армий, создать полки и свести их в дивизию. Вторую пограничную дивизию можно было сформировать из пограничных отрядов, действовавших на участке 8-й армии. Предложение Степанова приняли.

Начальник охраны войскового тыла Северного фронта генерал-лейтенант Степанов приступил к формированию 1-й дивизии войск НКВД, командиром которой назначили полковника Донскова. Группа Донскова, ставшая костяком дивизии, пятнадцать дней удерживала город Кексгольм и оставила его по приказу командования 20 августа. А уже 22 августа началось сколачивание дивизии, что само по себе стало важной вехой в истории пограничных войск.

Немецкие дивизии рвались на соединение с финнами восточнее Ленинграда. К 10 августа фон Лееб, перегруппировав части, снова перешел в наступление. В этой грозной обстановке наши генералы и офицеры проявили чудеса распорядительности.

Степанов вспоминал:

«Уже 28 августа меня вызвали на Военный совет фронта, на котором присутствовали тт. Косыгин, Молотов и Маленков.

Спросили меня, в каком положении находится формирование дивизии. Я доложил, что дивизия еще полностью не сформирована: нет артиллерии, минометов. Стрелковые полки сформированы, но еще не сколочены. Необходимо два-три дня, чтобы личный состав подразделений узнал друг друга.

Мне было заявлено, что фашистские войска подходят к станции Мга, назревает угроза — последняя железная дорога будет перерезана. Ленинград будет блокирован. Надо немедленно выбросить дивизию для обороны ст. Мга.

1-я Пограничная дивизия была поднята по тревоге, на станции Грузино посажена в жел. дор. эшелоны и к вечеру 28 августа разгружена на левом берегу Невы в районе Петрушино — Отрадное, ст. Пелла. Железнодорожный мост через р. Неву, что в районе д. Отрадное, через кото-

рый проходили эшелоны с частями дивизии, обстреливался артогнем пр-ка...»

За этим суховатым сообщением генерала видятся его бессонные ночи, четкая и плодотворная работа. От начала формирования дивизии и до вступления ее в бой прошло шесть дней!

После войны в своих многочисленных статьях Григорий Алексеевич Степанов называл сотни и сотни имен тех, кто отличился в боях под Ленинградом. Он описывал бои, которые вели курсанты Петергофского военно-политического училища на Кингисеппском направлении. Он рассказывал о мужестве курсантов Высшего военно-морского пограничного училища, о схватках многих пограничных отрядов и подразделений... Все это объединялось в его сознании в замечательную эпопею пограничных частей, не посрамивших своего высокого звания в августе — сентябре 1941 года.

Он гордился, что пограничникам удалось сформировать три дивизии и отдельную погранбригаду, остановившие захватчиков на самых опасных рубежах.

Бойцы Первой дивизии, которой командовал полковник С. И. Донсков, разгрузились под обстрелом и сразу же вступили в бой. 1-й полк пошел в наступление на Отрадное. 7-й полк взял станцию Горы. 2-й полк трижды брал станцию Мга. В боях был убит командир полка майор Жеребцов, выбыло из строя 80 процентов личного состава.

5 сентября на дивизию перешел в наступление 39-й механизированный корпус немцев. Поредевшие батальоны и роты, которыми командовали уцелевшие младшие лейтенанты, не выдержали удара. Дивизия была разрезана надвое. 2-й и 7-й полки отошли в район Новой Ладоги, откуда 600 бойцов были перевезены под огнем кораблями Ладожской военной флотилии. 1-й стрелковый полк переправился на правый берег по железнодорожному мосту, который был тотчас взорван.

Часть подразделений и артиллерийский полк, приданный дивизии, отходили с боями по левому берегу реки в направлении Шлиссельбурга.

«Чтобы дать возможность части дивизии переправиться на правый берег реки Невы на участке Марьино — Шлиссельбург, подразделения дивизии во главе с командиром дивизии полковником Донсковым продолжали вести упорные бои, особенно за 8-ю ГЭС и деревню Марьино,— вспоминал Г. А. Степанов.— Командир артиллерий-

ского полка майор Буданов и сейчас на лице имеет шрам, полученный в штыковой схватке с противником».

8 сентября противник вступил в Шлиссельбург. Но в тот же день было решено силами пограничников и одной артиллерийской батареи занять крепость Орешек и не дать немцам возможности переправиться и соединиться с финнами. Так началась героическая оборона Орешка, неоднократно воспетая в романах, рассказах, очерках. Правда, Г. А. Степанова огорчало то обстоятельство, что, изображая подвиги моряков-артиллеристов, писатели забывали о нескольких подразделениях пограничников из Первой дивизии, которые составляли костяк гарнизона...

Но вернемся к боям у станции Мга. Немцы сделали попытку с ходу форсировать Неву. Г. А. Степанов писал об этом опасном для Ленинграда порыве противника:

«Утром 31 августа 1941 г. мне звонит по телефону член Военного совета обороны г. Ленинграда П. С. Попков и спрашивает меня:

— Известно ли вам, что в районе Ивановских порогов фашисты пытаются форсировать Неву? Что могут предпринять пограничники?

Я доложил, что таких данных не имею. Известно мне, что 1-я дивизия ведет тяжелые бои за станцию Мга. Попков подтвердил, что его сведения достоверны.

В моем распоряжении тогда находились только истребительные батальоны, все остальные части вели боевые действия. Было принято решение отправить для обороны правого берега Невы пять полнокровных истребительных батальонов. Для переброски городской Совет предоставляет автобусы. Истребительные батальоны были подняты по тревоге, обмундированы, доукомплектованы командными кадрами, довооружены, каждый батальон обеспечен радиостанцией. Вся эта работа была проделана в течение 16 часов. Командиром сводного отряда был назначен полковник Лоскутов. Он получил задачу: занять оборону по правому берегу р. Невы от порогов до Шереметево и не допустить форсирования реки противником. Группу противника, захватившую остров на Ивановских порогах,— уничтожить.

К утру 1 сентября 1941 г. сводный отряд занял оборону... и выполнил задачу... О принятых мерах было доложено тов. К. Е. Ворошилову. Мероприятия были одобрены.

Командование Ленфронта было очень обеспокоено за безопасность этого района, так как если бы противник

сумел форсировать р. Неву, ему удалось бы соединиться с финнами, и это поставило бы в катастрофическое положение оборону г. Ленинграда. Поэтому, одновременно распоряжением тов. Ворошилова и приказом командующего КБФ вице-адмирала Трибуца, в районе Ивановских порогов в ночь на 1 сентября 1941 года было выброшено Высшее военно-морское пограничное училище НКВД под командованием капитана 2-го ранга Садникова (ныне контр-адмирал в отставке) с задачей занять оборону на р. Неве в районе Ивановских порогов...

Таким образом, правый берег Невы был прикрыт сводным отрядом истребительных батальонов, Высшим военно-морским пограничным училищем НКВД, двумя эсминцами, 302-м дивизионом КБФ, 1-й дивизией НКВД, и они-то в боевом содружестве не допустили форсирования реки Невы...

В сентябре и октябре 1941 года на Невский участок были переброшены 265-я стрелковая дивизия, 86-я сд, 20-я стрелковая дивизия НКВД, только что сформированная под командованием полковника А. П. Иванова...

О тяжелых кровопролитных боях на «пятачке» Невской Дубровки знают ленинградцы. Прорвать оборону немцев и соединиться с 54-й армией, наступавшей из района Волхова, не удалось. Но в результате активных действий на этом участке Ленфронта были скованы 8 немецких дивизий».

Любопытно, что всюду у Степанова слышны нотки «пограничного патриотизма». Всю жизнь он потом добивался, чтобы не был забыт ни один герой-пограничник. Собственно говоря, все соединения и части, которые перечисляет Степанов, впоследствии выходили из его подчинения, но он по-прежнему отечески опекал их, подбрасывал подкрепления.

— Удивительно, откуда он людей брал — по сотне присылал,— вспоминает бывший командир 20-й пограничной дивизии генерал-майор Александр Павлович Иванов.— Или вот, в декабре сорок второго послали дивизию на прорыв блокады... У фронта получить автоматы для дивизии было трудно. Двадцать автоматов осталось в резерве у Жданова. Их вручали дивизиям торжественно. А Степанов дополнительно подбросил нам семнадцать автоматов и три миномета. Откуда взял, неизвестно. «Бери, говорит, Саша!»

Откуда у начальника гарнизона Ленинграда могло

появиться оружие — это понятно. Как-никак военных заводов в Ленинграде было много, и директора их предпочитали со Степановым дружить. Ну, а что касается дружески-ласкового «Саша», то с командиром дивизии у них были давние отношения. Еще когда Степанов учился в Высшей пограничной школе, Иванов в ней был начальником кавалерийского обучения. Сухому и быстрому Иванову массивный и степенный Степанов казался увальнем. «Тюфячок! Будь энергичней!» — кричал он в манеже. И они вместе, смеясь, вспоминали поучения Иванова:

— Конь должен тебя почувствовать. Конь требует энергичного человека. Ты ему покажи себя, настрой его, тогда он тебе подчинится...

Может показаться странным смех там, где каждый день гибнут люди, где живет сознание народного горя... И тем не менее жизнь брала свое. Смеялись, шутили... Нам, военному поколению, кажется даже, что смеялись чаще и веселей, чем смеются сейчас... А может быть, это просто говорит возраст. «В наше время все было лучше...»

На Карельском перешейке пограничные части к концу сентября 1941 года отступили на линию старой государственной границы и здесь стояли насмерть. Обороной руководил полковник Андреев, впоследствии ставший крупным военачальником, командующим Воронежским военным округом.

На участок Финский залив — Кайворово 13 сентября вышла только что сформированная 21-я дивизия войск НКВД, костяком которой стали окружные школы младшего состава погранвойск. Под командованием полковника Папченко двадцать дней и двадцать ночей отражала дивизия атаки противника.

Из 21-й дивизии генералу Степанову доставили письмо лейтенанта Ширяева: «Если погибну, отошлите письмо моей семье. Иду в бой, иду, полный веры: враг будет уничтожен. Да здравствует полная победа Русского народа!..» Ширяев скончался от ран.

Из обращения начальника войск НКВД и начальника Политуправления войск НКВД от 29 сентября 1941 года:

«Вам, бойцам, командирам, политработникам войск НКВД, героическим защитникам города Ленина, наследникам-носителям прекраснейших традиций великого рус-

ского народа, его мужества, свободолюбия, его любви к жизни, презрения к смерти — передаем чекистский привет...

Аполлонов, Мироненко»

* * *

С одной стороны, пограничники героически сражались на подступах к Ленинграду и заслужили благодарность командования и любовь народа. Но с другой...

Другую сторону мы почерпнем в отчетах и рефератах генерала Степанова. К началу войны в Ленинградском пограничном округе несли службу: на Карельском перешейке — 5, 33, 102 и 103-й погранотряды, на северном побережье Финского залива — 1-й отряд пограничных судов, на полуострове Ханко — отдельный отряд береговой охраны, в Прибалтике — 7, 9 и 11-й погранотряды. Сила немалая...

По всем правилам, в первые же дни войны в бой вступают регулярные армейские части, а пограничники приступают к охране войскового тыла. Однако правила сочиняются в мирное время, и всякая новая война вносит свои коррективы. Пограничники на фронте не были сменены. «Это обстоятельство,— писал Степанов,— приковало погранчасти к обороне своих участков и лишило Начальника войск охраны тыла основных его сил». Мало того, чрезвычайное положение на фронте заставило «затыкать» пограничниками прорывы, создать на основе пограничных частей три новые стрелковые дивизии.

И опять же это еще не все. 1000 добровольцев-пограничников было отобрано и послано в немецкий тыл для организации партизанских отрядов...

«Таким образом, в начале войны и к моменту установления блокады Ленинграда значительных реальных сил в распоряжении Начальника войск фактически не было»,— продолжает Степанов.

И все-таки тыл Ленинградского фронта охранялся хорошо. Большую роль сыграл в этом организаторский талант Григория Алексеевича Степанова.

Он стоял на том, чтобы ему оперативно подчинили военные училища Ленинграда и его пригородов. Начальники училищ стали начальниками девяти районов, объединив под своим командованием истребительные батальоны, войсковые части, части НКВД и милицию. Были взя-

ты под контроль все дороги, исключены любые лазейки для вражеских лазутчиков и предателей родины.

Немецкие разведывательные органы срочно готовили из жителей оккупированных областей шпионов, снабжали их взрывчаткой и радиостанциями и перебрасывали через линию фронта. Правда, подавляющее большинство новоиспеченных «шпионов», попав в расположение советских войск, тут же интересовались, где находится комендатура, и отправлялись сдаваться. На допросах они объясняли, что шли в немецкие разведывательные школы только ради того, чтобы получить возможность попасть к своим. И это была правда.

«Немецкие разведывательные органы,— писал Степанов,— пытались направлять в Ленинград большими и малыми группами жителей из временно оккупированных районов под видом отпущенных «милостивым победителем» для распространения панических слухов и ведения агитации в пользу фашизма; они также пытались направлять со шпионскими целями подростков и девушек, вербуя их среди жителей Ленинграда, не успевших вернуться в город с оборонных работ в предместьях».

Были среди тех, кого останавливали патрули и заставы, и убежденные враги. Пробираясь в Ленинград, такие во время налетов вражеской авиации подавали сигналы фонариками, собирали разведданные, совершали диверсии...

Под руководством Степанова в сентябре был разработан «план борьбы с дезертирством, проникновением вражеской агентуры в Ленинград и поддержания революционного порядка в городе». А еще в августе в самых верхах решался вопрос о том, как быть со злостными дезертирами и бандитами. После колебаний было принято решение ввести смертную казнь и расстреляны первые десять человек. Боялись прежде всего, что узнают немцы и используют это в своей пропаганде...

По плану создавалось три заградительных зоны, граница последней из которых шла уже по линии Обводного канала.

«С начала установления первой зоны заграждения (22.8.41) и до конца декабря 1941 г. — сообщал Степанов,— служебными нарядами войск НКВД ОТ ЛФ было задержано 73 302 чел. Из числа задержанных разоблачено:

Шпионов	— 249
Дезертиров	— 3490
Бандитов	— 116
Парашютистов	— 16
Уклонившихся от призыва в Красную Армию	— 4751
Расхитителей продгрузов	— 214.

Остальные задержанные до 50 000 чел. представляли преимущественно военнослужащих, неорганизованно отходивших с фронта и отставших от своих частей».

Особенно строгий порядок был наведен на железных дорогах. Там работали так называемые «тройки», пресекавшие всякое нарушение военного порядка. В июле и августе 1941 года (до занятия немцами станции Мга) из Ленинграда было отправлено 982 эшелона с различными ценностями. 391 эшелон увез 554 976 жителей Ленинграда. А всего было эвакуировано тогда 652 570 человек.

Финские войска вышли к берегу Ладожского озера с севера. С захватом Шлиссельбурга немцы вышли на берег Ладоги с юга. Ленинград был блокирован. Для подвоза провианта и боеприпасов оставался один путь — воды Ладожского озера, но и он был под контролем немецкой авиации.

Немецкие генералы рассматривали Ленинград в бинокли. Артиллерийские снаряды обрушивали дома на Невском проспекте. Верховный Главнокомандующий И. В. Сталин был недоволен действиями командования Ленинградского фронта. К. Е. Ворошилов был сменен. 12 сентября в Ленинград прибыл новый командующий генерал армии Г. К. Жуков.

Первый среди плеяды нового поколения русских полководцев, волевой, целеустремленный, Жуков за короткое время изыскал в городе резервы, перевел часть войск с Карельского перешейка на самое опасное направление — у Пулковских высот — и, наконец, собрав в кулак пятьдесят тысяч солдат, предпринял контрудар в направлении Колпино — Ям-Ижоры. Немецкое командование было вынуждено бросить в бой войска, готовившиеся прорвать оборону Ленинграда, и с этих пор навсегда потеряло наступательную инициативу.

Уже в начале октября Жуков был отозван под Моск-

ву, где началось крупное наступление немецких войск. Под угрозой оказалась столица государства. Но у немецкого командования уже не хватило сил, чтобы завершить удар на главном направлении. Отчаянное сопротивление всюду дробило немецкие силы. Один Ленинград удерживал возле себя более чем трехсоттысячное войско.

Наступила зима. Гитлер окончательно отказался от мысли взять Ленинград штурмом. Он решил уморить его голодом, истерзать артиллерийскими налетами. Эта задача была возложена на генерал-полковника Кюхлера, который в 1940 году во главе 18-й немецкой армии взял Антверпен. Закончил он войну на Западе выходом к Па-де-Кале у Дюнкерка.

Если в секретной директиве верховного командования германских вооруженных сил, известной под названием плана «Барбаросса», говорилось, что «лишь после обеспечения этой неотложной задачи, которая должна завершиться захватом Ленинграда и Кронштадта, следует продолжать наступательные операции по овладению важнейшим центром коммуникаций и оборонной промышленности — Москвой», то уже в директиве немецкого военно-морского штаба от 29 сентября 1941 года мы читаем:

«Фюрер решил стереть город Петербург с лица земли. После поражения Советской России нет никакого интереса для существования этого большого населенного пункта. Финляндия также заявила о незаинтересованности в существовании города непосредственно у ее границы. Предложено тесно блокировать город и путем обстрела из артиллерии всех калибров и беспрерывной бомбежки с воздуха сровнять его с землей. Если вследствие создавшегося в городе положения будут заявлены просьбы о сдаче, они будут отвергнуты... С нашей стороны нет заинтересованности в сохранении хотя бы части населения этого большого города».

900 дней продолжалась блокада. По единодушному мнению историков, блокада Ленинграда и подвиг его защитников не могут идти ни в какое сравнение с теми осадами городов и крепостей, с теми страданиями защитников их, которые известны нам из прошлого.

Все, кто знал Григория Александровича Степанова, в один голос говорят о нем как о добром человеке и заботливом семьянине. Он тяжело переживал разлуку с женой

и единственной дочерью. Часто писал им письма, жалуясь в них, что ответы получает реже. В самые тяжелые дни сентября 1941 года он выкраивал время, чтобы написать письмо.

«...У меня пока все в порядке. Дома не бываю. Обстановка с каждым днем все обостряется. Ленинградцам придется здорово драться, чтобы отстоять свой город. Враг крепко поплатится. Ленинград — не Париж. Будем драться до последнего.

Возможно, что связи не будет — письма посылать будет трудно. Прошу не беспокоиться. Воспитывай нашу славную дочурку. Береги себя. Только ты можешь ей сейчас помочь, воспитать ее патриоткой нашей родины...

Наверное, Нелинька уже пошла в школу. Как хотелось бы ее увидеть...

Моя дорогая доченька, как ты себя чувствуешь? Хорошо ли учишься? Думаю и надеюсь, что ты будешь учиться так же хорошо. Воспитай в себе ненависть к фашистам. Это они виноваты, что мы разлучены. Мы все должны жить одной мыслью — уничтожать самого страшного врага.

Мужайся, моя дорогая дочурка. Не забывай папу. Я всегда с тобою. Помогай маме, чем можешь...»

Слова эти, обращенные к девятилетней Нинели, совсем не покажутся выспренними и нарочитыми, если вспомнить обстоятельства, в которых они писались. В тот тяжкий 1941 год Степанова, как и почти всех русских людей, не покидала уверенность в победе. Но он понимал, что избавление от беды потребует больших жертв. Свою судьбу он не мог отделить от судьбы родины. Свое счастье он ставил в зависимость от общего счастья. В том же году он писал дочери: «Надо все перенести. Разобьем фашистов и тогда счастливо заживем». Именно в этом видны черты поколения, выдержавшего величайшее испытание в истории.

Дочери Степанова было столько же лет, сколько Тане Савичевой, которая за два года блокады похоронила всех своих родных, а потом и сама угасла от истощения. Записная книжка, в которой Таня отмечала даты смертей, стала ныне символом и мерой мук миллионов ленинградцев.

Сколько же их погибло голодной смертью? Д. В. Павлов, отвечавший за снабжение Ленинграда продовольст-

вием, считает, что от голода погибло 632 тысячи человек. Историк Ф. И. Сирота приводит другую цифру.

Генерал в отставке Георгий Васильевич Денисов, который всю войну был военным комендантом Ленинграда и по долгу своей нелегкой службы почти каждый день виделся с начальником гарнизона осажденного города генерал-лейтенантом Степановым, вспоминает, что к началу блокады в северой столице было более трех с половиной миллионов человек. В первые месяцы войны они со Степановым не раз объезжали улицы и площади, на которых таборами жили беженцы из Карелии и Прибалтики. С жизнью под открытым небом мирились, так как было тепло, но есть хотели все. Военкомы раздавали деньги семьям военнослужащих прямо из мешков и уговаривали эвакуироваться. Но никто не хотел уезжать из Ленинграда — никто не верил в длительность гитлеровских успехов. Среди первых жертв голода были беженцы...

Голод, голод! Когда загорелись Бадаевские склады, когда немецкие самолеты — волна за волной — все сыпали бомбы в пожар, когда по улице текла река расплавившегося и горевшего сахара, Степанов сжимал в ярости кулаки...

И уже вскоре ленинградский хлеб составлялся по такому рецепту:

«1. Мука ржаная	50%
2. Солод	10%
3. Жмых	10%
4. Целлюлоза (опилки)	15%
5. Соевая мука	5%
6. Обойная пыль	5%
7. Отруби	5%»

125 граммов липкого и несытного хлеба получали в день ленинградские дети. Триста граммов в день — таков был рацион подчиненных Степанова, несших патрульную службу в городе. Всякий месяц в частях НКВД от 500 до 1000 человек заболевали дистрофией. Во фронтовых частях хлебная норма была больше.

Какие неожиданные ситуации создавал голод! Неизменный степановский шофер Саша Гусев стал пухнуть от голода и уже был близок к смерти, когда генерал спас его, послав... на фронт. В войсках иногда давали несколько кусочков сахара или комочек масла. Те, у кого были

семьи в городе, не ели сахар, а относили его, при случае, детям. По этому поводу в частях устраивали собрания и решали, кому съесть сахар, а кому умереть... Кто должен жить — боец или дети? Об этом писать и даже думать больно. Голод часто толкал на преступление, и он же рождал подвижников, выявлял самое светлое в человеке, побуждал к самопожертвованию...

В Ленинграде не было электричества, не работал водопровод. В ледяных квартирах, спалив в печках последнюю мебель, умирали десятки тысяч семей. Транспорт не работал. По завьюженным обледенелым улицам истощенные ленинградцы брели на работу и с работы многие километры. Брели с санками за водой к прорубям. Брели с санками, на которых лежали трупы близких. Люди умирали прямо на улицах. Грузовики ежедневно объезжали город, собирая трупы. Взрывали землю и хоронили в братских могилах людей, не зная даже их имен...

В северной части города есть памятник, о котором говорят — пусть никогда больше не будет поводов ставить такие памятники. Это Пискаревское мемориальное кладбище. Весной 1942 года на это, ныне красиво устроенное место приехали генерал Степанов и комендант города полковник Денисов.

— Идем,— рассказывает Денисов,— а из-под земли торчат руки. Солнышко уже припекает, и по рукам мухи ползают. Сотни тысяч трупов едва присыпаны лежат. Сил ни у кого не было хорошо засыпать. Степанов встревожился — скоро совсем тепло будет, все разлагаться начнет, эпидемии пойдут... Срочно доложил Кузнецову. Приняли меры...

В связи с этим любопытно свидетельство из биографии маршала Говорова, с весны 1942 года возглавлявшего войска на Ленинградском фронте.

«Вот сидит он (Говоров), возвратившись из очередной поездки в войска, в своем кабинете в Смольном — строгий, внешне сухой, неприветливый человек, с коротко подстриженными усами на усталом, несколько одутловатом лице. Внимательно слушает члена Военного совета Ленинградского фронта А. А. Кузнецова, который возглавляет в городе комиссию по оборонному строительству... В разговоре Кузнецов вдруг вспоминает, как еще совсем недавно приходилось брать с фронта саперов, чтобы они взрывчаткой отрывали братские могилы на Пискаревском кладбище. В них хоронили тех, кто умер от истоще-

ния: население Ленинграда, хотя и не ходило в атаки, несло ежедневно огромные потери от голодной смерти.

Серые глаза командующего пристально смотрят на собеседника. Командующий продолжает внимательно слушать. И только заходившие желваки на скулах да нервное потирание рук выдают его волнение».

Это случилось летом 1942 года, когда полегчало немного и появилась возможность у жены с дочкой приехать в Ленинград. Обратно Степанов провожал их сам, так как с членом Военного совета летал в Москву на совещание. Погоды не было. Шесть часов проблуждал самолет в воздухе, летчик не знал точно, над чем летит. Бензин был на исходе, решили приземлиться. Все привязались ремнями. Степанов сказал Валентине, что если сядут на немецкую территорию, то он застрелит ее и дочку, а потом и сам... Сели в трех километрах от переднего края, у своих.

Этот случай подчеркивает одну из главных черт Степанова — его безоговорочную преданность Родине. Здесь компромиссов для него не было. И в то же время все отмечают его такт, дипломатичность, нежелание обострять отношения там, где не было на то особой нужды. Не любил он и чрезмерной командирской лихости, которая граничит с пренебрежением к человеческой жизни. Ветераны вспоминают случай, когда он встретил подразделение, которое лихой старшина вел под артобстрелом в... баню. Солдаты на всю жизнь запомнили, как генерал приказал отвести людей в укрытие и отчитал старшину...

В начале 1942 года Степанов начал формирование пограничных полков из остатков погранотрядов, которые выходили из боев. Этим полкам постепенно передавались функции охраны войскового тыла.

«Городская партийная организация,— писал позже Степанов,— руководители ленинградских коммунистов товарищи А. А. Жданов и А. А. Кузнецов требовали от пограничников неустанной бдительности, высокого мужества, воинского мастерства. А. А. Жданов лично неоднократно справлялся, как идет формирование погранполков, а позднее — как идет служба и боевая подготовка в них. Он требовал, чтобы полки всегда находились в полной боевой готовности и в случае прорыва противника стойко обороняли занимаемые рубежи...»

Особенно важная задача была возложена на 104-й и 105-й пограничные полки.

Даже «сто двадцать пять блокадных грамм с свинцом и кровью пополам» не выдавались бы, если бы не была создана известная ныне всем и каждому Дорога жизни. Хлеба оставалось в городе на десяток дней, когда на лед Ладоги вышли разведывательные группы. Они нашли трассу через озеро, которая шла от мыса Осиновец на остров Зеленец, а оттуда на Кобону и Лаврово. И уже 22 ноября 1941 года, когда толщина льда едва достигла 13 сантиметров, по льду пошли первые машины. Они везли хлеб, они проваливались под лед, их расстреливала и бомбила немецкая авиация. Но они шли и шли. Машины ремонтировались на льду, под ураганным ветром.

Ледовую трассу охраняли пограничные полки. Дорога жизни сразу же оказалсь под пристальным вниманием немецкой разведки. Едва ли не половина вражеских лазутчиков, пробиравшихся в Ленинград, была поймана на Ладоге.

«Ежесуточно через КПП следовали 3—3,5 тысячи автомашин с грузами и до 8—9 тысяч эвакуированных...— писал Степанов.— Всего за период действия зимней трассы 1941—42 гг. через КПП «Ладожское озеро» проследовало до 500 000 эвакуированных, причем наибольшая часть из них приходилась на февраль, март и апрель месяцы 1942 г.»

По свидетельству военного коменданта блокадного Ленинграда генерала Денисова, к зиме 1942/43 года хлебные карточки были выданы едва ли более чем полумиллиону человек...

Пограничники не только охраняли ледовую трассу. Их автоколонна доставила в город более тысячи тонн продовольствия.

Общепризнано, что знаменитое снайперское движение зародилось в частях по охране тыла Ленинградского фронта. Разумеется, снайперы были и прежде, но именно генерал Степанов увидел, что мастеров меткого огня можно воспитывать сотнями, что этому делу можно придать большой размах. И в самом деле, ленинградский почин был подхвачен войсками НКВД, а потом и всей армией.

Степанов считал, что первым знаменитым снайпером среди пограничников был Михаил Миронов. С упорством

таежного охотника он выслеживал и подстреливал фрицев. Его последователями стали знаменитые снайперы, впоследствии Герои Советского Союза старшина Иван Вежлицев и красноармеец Петр Галиченков.

Галиченков как-то сутки просидел в разбитом, промерзшем танке, без хлеба и воды, но добился своего — дождался появления немецкой автоколонны, подбил зажигательной пулей мотор головной машины и хладнокровно перестрелял семерых гитлеровцев...

Когда же появились сотни и сотни снайперов, каждый из которых имел по сотне гитлеровцев на своем счету, это производило впечатление грозное. Начальник войск НКВД генерал-майор Аполлонов в специальных приказах отмечал заслуги ленинградцев-пограничников, только за полгода истребивших из снайперских винтовок до тридцати тысяч захватчиков. То ли в качестве курьеза, то ли как пример находчивости он привел в обзоре случай со снайпером 108-го погранполка охраны тыла Ленинградского фронта Кузько, который «однажды в оптический прицел заметил, как немец, лежа, отрывал ячейку, голова была спрятана, а зад виднелся. Кузько решил уничтожить фашиста и применил для этого оригинальную хитрость. Он выстрелил в зад немца, ужаленный пулей гитлеровец приподнялся. А это только и нужно было Кузько. Второй пулей фашист был прикончен».

Юмор юмором, а дело это было серьезное. Если полистать солдатские газеты Ленинградского фронта, выходившие в 1942 году, то можно увидеть, какую громадную работу проделал генерал Степанов, популяризируя снайперское движение. Он собирает снайперов, награждает лучших великолепным оружием, вникает в каждую мелочь снайперских боевых будней...

В январе 1943 года войска Ленинградского и Волховского фронтов прорвали немецкую оборону и потеснили немецкие войска от берегов Ладожского озера. Появилась возможность увеличить приток продовольствия в городе. Меньше чем за полмесяца была проложена железная дорога. За девять суток сооружен 1300-метровый железнодорожный мост через Неву. По ночам с интервалом в пять минут стали ходить поезда. Окончательно же блокада Ленинграда была снята в январе 1944 года, когда наши войска под руководством генерала Говорова, перей-

дя в наступление из районов Пулкова и Ораниенбаума, совместно с Волховским и 2-м Прибалтийским фронтами окончательно разгромили северную группировку немцев.

27 января по старинной русской традиции небо над Ленинградом окрасилось фейерверком. Был дан салют двадцатью четырьмя залпами из 324 орудий.

Генерал Степанов уже готовил своих людей к восстановлению границы. В мастерских заготавливали полосатые столбы, портные в частях получали заказы на зеленые фуражки, офицеры изучали пограничные инструкции...

И как только летом 1944 года Финляндия объявила о своей капитуляции, пограничные полки, делая за сутки по сорок километров, марш-броском вышли на границу.

В июне 1944 года при захвате штаба 13-го финского полка береговой артиллерии было найдено «Наставление» так называемого Восточно-Карельского просветительного отдела штаба финской армии. Генерал Степанов выписал для себя ту часть, которая касалась притязаний финской буржуазии: «Если в Финляндии теперь недостает строительного леса, то богатые леса Восточной Карелии ждут превращения их в капитал... В Восточной Карелии лес преимущественно старый, зрелый, в то время как в Финляндии он молодой, мало пригодный в качестве строительного материала. К тому же вывоз леса из Восточной Карелии при наличии большого числа рек и озер стоит малых затрат. Экономическая же выгода от этого очень велика... Только залежи апатитов в Восточной Карелии составляют не менее 2—3 миллионов тонн. Если бы Финляндии достались богатые залежи апатитов Кольского полуострова, то мы могли бы даже вывозить их на мировой рынок. Если бы мы имели Баренцево и Белое моря, мы сумели бы в несколько раз увеличить нашу рыбную промышленность...»

Интерес к Финляндии со стороны ленинградского пограничного начальника вполне понятен. Он вновь и вновь делает выписки из истории советско-финляндских отношений, анализирует предательское поведение финской буржуазии, недоверие к которой он питал всю жизнь.

Он настороженно приглядывался к ведущим политическим деятелям Финляндии, с которыми ему пришлось столкнуться в дни послевоенных переговоров.

«После окончания войны с Финляндией,— вспоминал Степанов,— председателем Контрольной комиссии в Финляндии был назначен т. Жданов А. А. Мне было предло-

жено сопровождать его в Хельсинки, чтобы там разрешить некоторые вопросы по арендованному нами р-ну Порккала — Уд.

На финскую границу встречать прибыл Урхо Кекконен, ныне президент Финляндской республики, Вуори, ныне посол Финляндии в СССР, и начальник полиции г. Хельсинки, фамилии сейчас не помню. Я ехал с ними в одном купе.

Вуори хорошо владел русским языком и был своего рода переводчиком.

В разговоре он сожалел, что правительство Финляндии не сделало для себя разумных выводов после войны с СССР 1939—40 г., а пошло на очередную авантюру, недооценив мощь Советского Союза.

Финляндия вторично получила суровый урок, и теперь новое правительство Финляндии безусловно сделает правильные политические выводы и установит добрососедские отношения с Советским Союзом...

Урхо Кекконен всю дорогу читал. Время от времени он спрашивал Вуори о содержании нашей беседы. Из слов Вуори я заключил, что Кекконен согласен с ним».

К финской военщине отношение Степанова было самое суровое. Если читатель помнит, как перед самой войной Степанов покинул заседание пограничной комиссии в Иматре из-за антисоветских выпадов полковников Вилламо и Инкала, то он без удивления узнает, что председатель Контрольной комиссии А. А. Жданов потребовал удаления из пограничной стражи этих самых полковников, что и было немедленно сделано.

Закончилась служба генерала Степанова в 1950 году.

Но и после своей отставки Григорий Алексеевич жил напряженно, в полном сознании того, что его опыт нужен Родине, подрастающему поколению. Он выступал в школах, писал статьи, заботился о сохранении памяти героев войны, рецензировал военные труды... Смерть застала его в поездке. Он умер в поезде Ленинград — Москва 5 июня 1963 года.

1972

СОДЕРЖАНИЕ

ПОВЕСТИ

ОЧЕРКИ

Жуков Д. А.

Ж 86 Богатырское сердце: Повести, очерки.— М.: Советский писатель, 1985.— 480 с.

Книгу Дмитрия Жукова составили повести о замечательных русских людях — художнике В. В. Верещагине и борце Иване Поддубном, очерки об А. С. Грибоедове, Ф. М. Достоевском, Л. Н. Толстом и наших современниках. Повести «Несущие смерть» и «Круг размыкаемый» рассказывают о создании атомной и водородной бомб и борьбе сторонников мира против ядерной угрозы.

Ж $\frac{\textbf{4702010200—141}}{\textbf{083(02)—85}}$ **56—85**

ББК 84.Р7

Дмитрий Анатольевич Жуков

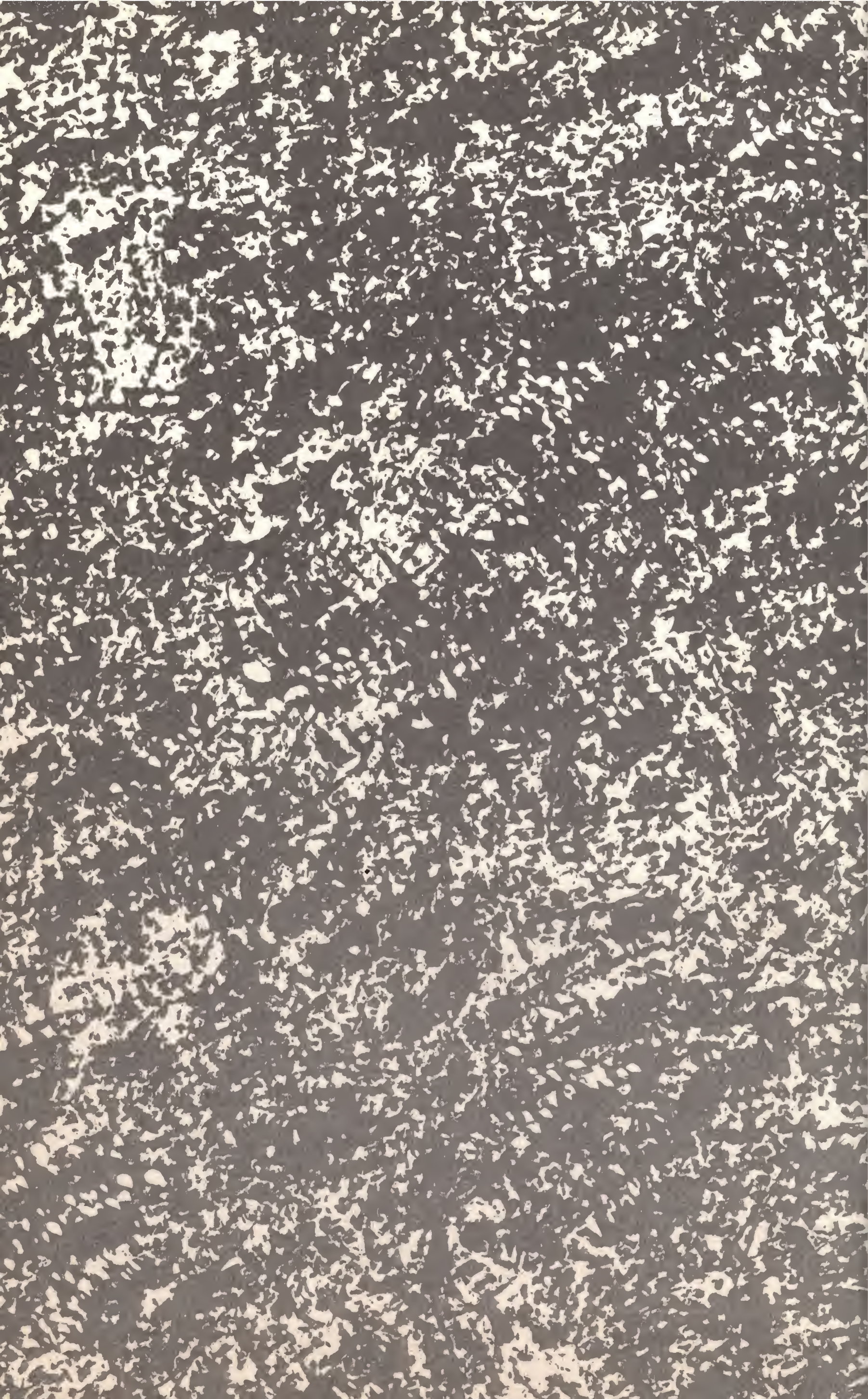
БОГАТЫРСКОЕ СЕРДЦЕ

М., «Советский писатель», 1985, стр. 480
План выпуска 1985 г. № 56

Редактор *Г. Н. Иванов*
Худож. редактор *Е. Ф. Капустин*
Техн. редактор *З. Б. Хамидулина*
Корректор *Л. М. Вайнер*

ИБ № 4918

Сдано в набор 29.10.84. Подписано к печати 12.04.85. А 06428. Формат 84×108 1/32. Бумага тип. № 2. Литературная гарнитура. Высокая печать. Усл. печ. л. 25,20. Уч.-изд. л. 26,72. Тираж 100 000 экз. Заказ № 682. Цена 1 р. 80 к. Ордена Дружбы народов издательство «Советский писатель», 121069, Москва, ул. Воровского, 11. Тульская типография Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, 300600, г. Тула, проспект Ленина, 109

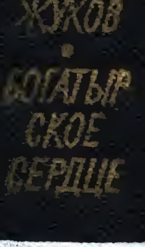




1 р. 80 к.






ДМИТРИЙ
ЖУКОВ
БОГАТЫР
СКОЕ
СЕРДЦЕ

